

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

11



1960

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVI

№ 1

Январь, 1960 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
НАТАЛЬЯ ДАВИДОВА — Любовь инженера Изотова, роман	3
НИКОЛАС ГИЛЬБЕН — Ленин. Земля на горах и на равнине. Ты можешь?.. Стихи. Перевел с испанского О. Савич	73
Н. РЫЛЕНКОВ. — Два стихотворения	77
В. ДУДИНЦЕВ — Новогодняя сказка	78
С. МАРШАК — В начале жизни. (Страницы воспоминаний)	97
АННА АХМАТОВА — Новые стихи	151
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
В. ВЕРЕСАЕВ — Записи для себя. Фрагменты из книги	154
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
Н. МЕЛЬНИКОВ — День на далекой стройке	167
ПУБЛИЦИСТИКА	
ДМИТРИЙ РУДЬ — Ключ к изобилию	185
В МИРЕ НАУКИ	
Академик М. Н. ТИХОМИРОВ — О библиотеке московских царей (Легенды и действительность)	196
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	
Т. МОТЫЛЕВА — Духовная капитуляция одного критика	203
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. МАКЕДОНОВ — Красота простоты (Еще об Исаковском)	210
<i>К 100-летию со дня рождения А. П. Чехова</i>	
В. ЛАКШИН — Чехов и Лев Толстой	223
НАТАЛИЯ МОДЗЕЛЕВСКАЯ — Рыцари вечного разлада. Письмо из Варшавы	246
А. АНАСТАСЬЕВ — Реплика критику	254

(См на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	258
Б. Сарнов. Новые стихи Михаила Светлова.— А. Мацкин. Игорь Ильинский и его книга.— В. Аникин. Друг народной песни.— М. Злобина. «Триумфальная арка».	
<i>Политика и наука</i>	272
Я. Тавров. Азбука хозяйствования.— В. Тулов. Личные контакты — верный путь к миру.— Г. Сухарчук. Выдающийся сын китайского народа.— Р. Катанян. Повесть о прекрасной жизни.— Кандидат технических наук В. Истрин. Начало большого пути.	
КОРОТКО О КНИГАХ	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

НАТАЛЬЯ ДАВИДОВА

★

ЛЮБОВЬ ИНЖЕНЕРА ИЗОТОВА

Роман

Глава первая

От Алексея пришла телеграмма: «Встречайте воскресенье, вагон пять. Еду». Лена разглядывала голубоватый листок. Телеграмма была подана в семь часов утра. Алексей всегда рано вставал.

Когда-то давно Лена спросила брата — она запомнила этот смешной разговор:

— Алеша, тебе хочется быть большим начальником?

— Мне? — Алексей подумал. — Хочется.

— Что бы ты тогда сделал? Ну если бы, например, ты был директором завода?

— Я бы... — Алексей улыбнулся. — Я бы перестроил первым делом крекинги.

— А людям?

— Бензин тоже людям. Ну, сделал бы столовую для рабочих и инженеров, похожую на ресторан. Ну, построил бы бассейн для плавания. Ну...

— Пожалуй, ты не можешь быть большим начальником, — засмеялась Лена.

— Да? Ты так думаешь? Может быть, может быть. А может быть, и могу.

— Но мы этого никогда не узнаем, — сказала Лена, любившая, чтобы последнее слово оставалось за ней.

И оба засмеялись. Спустя три года Алексей стал директором завода.

А еще через три года, после больших неприятностей, уже не директор, он возвращался домой. «Вагон пять. Еду». Алексей в качестве директора завода — это было странно и смешно для семьи. Все улыбались, когда говорили «наш директор». Однако постепенно к этому привыкли. И гордились Алексеем. Впрочем, им гордились всегда.

И вот теперь Алексей снят с работы. Лена не сомневалась, что брат — жертва несправедливости. Деликатный и в то же время твердый. Не улыбнется кому надо, повысит голос на кого нельзя. Какие у него планы, очень ли он расстроен, за что его сняли — дома ничего не знали, все случилось быстро и неожиданно.

В общем, как бы там ни было, завтра он будет дома. Все поправимо. Если у человека руки, ноги целы, сердце и голова на месте, то ничего еще не потеряно. Так считали в семье. Настоящее место Алексея было не на заводе, а за письменным столом, в лаборатории. Лена всегда говорила, что брат родился для науки. Интересно, как теперь сложится его жизнь?

Сейчас, разглядывая телеграмму, Лена пыталась угадать, должна она позвонить Вале, сообщить, что брат приезжает, или не должна. Не будет ли это бесцеремонным вмешательством в его личные дела? Скорее всего Алексею будет приятно, если Валя придет на вокзал встретить его. Лена представила себе хорошо знакомый перрон и высокую фигуру Вали в светлом пальто, очередную Валину немислимую шляпу и Валино круглое лицо с очаровательной улыбкой. Всем своим видом она будет показывать, что наконец-то дождалась Алексея, и проявлять фальшивую заботу о его здоровье. Здоровье у Алексея было прекрасное. А может быть, не надо ей звонить? Последнее время в письмах Алексей не спрашивал про Валу, не упоминал ее имени. Поди угадай! Черт, как это трудно, Алексей такой скрытный, если дело касается любви.

Лена подошла к телефону, и в это время раздался звонок. Она подняла трубку и услышала взволнованный молодой голос:

— Товарищ Изотов Алексей Кондратьевич приехал?

— Н-нет,— удивленно протянула Лена.— У телефона его сестра. А кто со мной говорит?

— Его знакомая.

И короткие гудки возвестили, что знакомая Алексея не желает разговаривать с его сестрой. Теперь Лена решила обязательно позвонить Вале, хотя бы назло той девчонке, которая бросила трубку. Удивительно, у Алексея всегда были очень воспитанные знакомые.

Вали дома не оказалось, но по тому, как елейно разговаривала ее мать, Лена поняла, что Валя сидит на мели и побежит встречать Алексея. Время от времени Валя решительно начинала собираться за него замуж. Валя была старая подруга Лены, они вместе учились в школе.

Лена усмехнулась. Бедный Алешка, нелегко быть холостым и многообещающим молодым человеком. Однако красивая и неглупая Валя до сих пор не сумела женить его на себе.

Как, должно быть, брат сроднился с заводом, в каждое такое дело люди вкладывают душу. Алексей всегда любил работу в цехе и был влюблен в крекинги, кажется, с тех самых пор, как услышал это слово и узнал, что оно значит. Вера Алексеевна, мать Лены и Алексея, рассказывала, что ее сын чуть не в третьем классе понял, что такое валентность, и это необычайное знание оказало влияние на всю его жизнь. Он стал химиком, потом нефтяником-переработчиком, потом специалистом по нефтяному машиностроению. А он ученый, только ученый. И, не будь войны и увлечения заводом, был бы теперь доктором наук.

Завтра Алексей войдет в дом, где все его планы и начинания всегда встречали понимание и поддержку, в дом, где обожают его и Лену и откуда все-таки и он и она готовы удрать, как только подвернется возможность. Отчего это? Эта вечная тоска по любимому дому и вечное стремление уехать из любимого дома куда-нибудь подальше. Подальше, подальше, и писать письма и стремиться обратно.

По квартире бродит старая тетя и глотает капли на сахаре; ей кажется, что у нее от волнения болит сердце. Тетя готовит любимые кушанья Алексея и не хочет знать, что он уже давным-давно любит все другое.

Пахнет печеньем, уксусом, лекарствами и немного газом. Тетя Надя не ладит с конфорками, газом часто пахнет в квартире. Пахнет книгами и старой кожей, мячами, боксерскими перчатками — всем, что окружало юность Алексея и сегодня вытасчено с антресолей, чтобы он обрадовался и удивился, как бережно все сохраняется.

Как еще можно показать любовь и сочувствие? Стараются тетя Надя. «Семья — это все», — бормочет тетя, не имевшая своей семьи.

Лена вдруг видит, как постарела мать, хотя после работы она забежала в парикмахерскую и сделала завивку к приезду сына, и отец постарел, лицо у него не старое, но изменилась походка.

В так называемой столовой не слишком уютно. Недавний ремонт не помог. Квадратный обеденный стол на толстых ножках, жесткие деревянные стулья, кушетка; каждый, кто садится на нее, спрашивает: «Почему вы ее не выбросите?» Обстановка двадцатых годов, когда не заботились об уюте. Тогда некому было этим заниматься, и позже тоже некому, и теперь все еще некому. Лена не живет с родителями, у нее с мужем квартира в новом доме в Черемушках.

Все-таки что-то надо сделать. Лена относит к Алексею в комнату синюю вазу для цветов, старые, черного мрамора, часы с охотником, большую керамическую пепельницу и коробку шоколадных конфет, лежавшую в буфете.

И вот Алексей стоит перед нею.

Солидное драповое пальто немного широко ему, мягкая серая шляпа, желтые ботинки, желтый портфель с ремнями. Все новенькое. Одна перчатка надета, другая небрежно сжата в руке.

У него вид процветающего деятеля. Лена улыбается: правильно, чем хуже дела, тем лучше надо выглядеть. Молодец!

Лена прижимается щекой к груди Алексея. Прошло то время, когда брат и сестра были очень нежны и дружны, потом очень холодны, а теперь опять все на своих местах. Лена трется о мягкий ворс пальто, целует неловко Алексея в глаз, оба смеются. Шляпа на голове Алексея сползает назад, но не падает, а останавливается на затылке.

Лене надо отойти в сторону и уступить место Вале, которая появилась у вагона с красными тюльпанами и с таким милым и симпатичным выражением лица, что Лена не могла ей не улыбнуться. Высокая, ростом почти с Алексея, стройная, круглолицая, с ямочками на нежных розовых щеках, с выбивающимися из-под платка короткими прядками темных волос, Валя держалась как обычно, по-хозяйски, очень спокойно и уверенно. Обняла Алексея, поцеловала в губы, обняла Лену, подмигнула — мол, все образуется, мужайтесь.

Прохожие на перроне оборачивались, провожали Валю одобрительными взглядами. «Умеет держаться, этого не отнимешь», — подумала Лена.

Но на лице Алексея не было заметно радости. Оно стало непроницаемым и насмешливым. «Кажется, мне влетит за проявленную инициативу», — решила Лена.

— Чемодан в купе, — сказал Алексей и ушел в вагон.

— Как я рада, что он приехал, — с чувством сказала Валя.

Алексей вышел из купе со старым, потрепанным чемоданом. Валя снисходительно улыбнулась.

— Что привез? Книги? — спросила Лена.

— Каталитический крекинг, — сострила Валя.

— Конечно, — ответил Алексей. — Конечно, конечно, — возбужденно повторил он.

И Лена с удивлением обнаружила, что он смотрит не на Валю, а на невысокую беленькую девушку, неизвестно откуда взявшуюся. Девушка смотрела на него широко открытыми, сияющими глазами.

— Ну вот, я вас встречаю, — негромко проговорила она. — Здравствуйте, Алексей Кондратьевич, с приходом.

— Тася! — сказал Алексей. — Как я рад!

— С приходом, — ответила девушка. — Хорошо, что вы приехали.

Она не замечала презрительной усмешки Вали, удивления Лены, она вообще не видела их. Ее лицо было поднято к Алексею, удлиненные, отянувшиеся к вискам зеленоватые глаза смотрели на него с ожиданием.

— Я очень рад и благодарен, — наконец проговорил Алексей. — Я не ждал, не верил. Здравствуйте, Тася.

Ого! Три молодые женщины встречают одного бывшего директора. Лена оценила комизм положения и с интересом смотрела на незнакомку. Этой Тасе на вид было года двадцать два. Ее очень светлые волосы были коротко, модно острижены, чуть впалые щеки горели румянцем. Она была в сером костюме и черном свитере, туфли у нее были на высоких тонких каблуках, правая рука забинтована и на перевязи. От нее пахло иодом и духами. «Интересно, кто такая», — подумала Лена. Несомненно, что это она звонила вчера по телефону. «Очень хорошенькая, делает честь Алешкиному вкусу».

— Познакомимся, — сказала Лена. — Я сестра Алексея Кондратьевича.

Девушка крепко и сильно пожала руку Лены и поклонилась Вале. Та еле кивнула и отвернулась. Девушка не заметила Валиной бестактности.

«Молодец! — подумала Лена. — Интересно, как Алексей будет выходить из положения».

Алексей улыбался как ни в чем не бывало. На Валу он не смотрел. Что-то он обдумывал, очевидно относящееся к этой беленькой девушке в сером костюме. Он был доволен, это было написано на его скуластом лице. Знай Алексей, что девушка придет его встречать, он не сообщил бы домой номер поезда и вагона — Лена в этом не сомневалась. Но теперь уже поздно, придется ему примириться.

Смешная была ситуация, смешнее всего была Валя. Потеряв обычную сдержанность, она с высокомерным и утомленным лицом начальника, которого подчиненные заставляют ждать, нетерпеливо постукивала ногой.

Начал моросить мелкий дождичек, и солнце, только что освещавшее опустевший вагон, скрылось.

— Пора двигаться, — зло сказала Валя, но быстро взяла себя в руки, взмахнула красным цветком и улыбнулась.

— Так идемте, — просто сказал Алексей и поднял чемодан.

Тася покачала головой.

— Я не пойду с вами, я хотела вас только встретить. До свидания.

Крепко пожав руку Лены и не взглянув в Валину сторону, она быстрыми шагами ушла вперед.

Лена, Валя и Алексей медленно двинулись вслед за нею. Лена ждала, что брат сейчас объяснит, кто эта девушка, но он молчал. Валя деланно рассмеялась, ямочки обозначились на ее щеках.

— Вот чудачка! — сказала она.

— Чем же? — спросила Лена.

— Не знаю. Вообще. Слишком модная. Алешик, откуда у тебя такая знакомая?

— От верблюда, — не слишком остроумно ответил Алексей.

Валя пожала плечами.

— Как дома? — спросил Алексей Лену. — Старики здоровы?

— Все в порядке.

— Как твои дела? — спросила Валя Алексея.

— Прекрасно, — ответил Алексей. — Меня назначили министром.

А твой?

— Служу, Алешик, — проворковала Валя.

— Замуж не вышла?

Валя понимала, что ей дают отставку, но продолжала улыбаться и помахивать своими тюльпанами.

Вышли на площадь.

— Сядем в такси. Не возражаете? — Подняв руку, Валя остановила машину с зеленым огоньком.

Глава вторая

В детстве ездили на Волгу. Жили в деревне, мечтательно настроенная тетя, длинноногая худая Лена с косицами, перекрученными жгутом, и Алексей, бледный, тихий, серьезный мальчик, который боялся змей и испортил себе глаза чтением.

Родители оставались в Москве, отец годами не отдыхал, не брал отпуска. Мать, Вера Алексеевна, тоже никуда не уезжала, хотя летом бывала свободна от работы в школе.

Алексею навсегда запомнилась зеленая поляна у Волги, деревенские ребята сидят кружком, едят дикий лук. Едят до тошноты, до того, что слезы выступают на глазах. Наконец все уже перестали есть и смотрят на Алексея, а он все ест и ест, задыхается и ест, запикивает опротивевшие перья лука в рот, только чтобы доказать себе и ребятам, что он не московский заморыш в очках, каким его здесь считают.

Потом ребята бегут к реке и начинают плавать до бревнышка за пристанью. Куда все, туда и Алексей. Все поплыли, и он поплыл. Ребята плавают долго, вылезают из воды посиневшие, дрожащие, прыгают, чтобы согреться. Только Алексей остается в воде, плавает, хочет доказать всем, что он не устал, что ему хоть бы что.

Алексей плавал сперва по-собачьи, потом на боку, потом особым, собственным стилем, который он называл брассом.

Однажды, когда Алексей совершенствовал свой брасс, к нему подошел загорелый татуированный человек в трусах, спросил:

— Мальчик, как тебя зовут?

— Алеша.

— Это очень хорошо, что тебя зовут Алеша,— восхитился человек.— Хочешь по-настоящему плавать учиться?

— Хочу.

— А шапочку резиновую мы тебе дадим, хочешь?

Алексей глотнул воздух, ни у кого из ребят не было резиновой шапочки.

— Придешь завтра на водную станцию, спросишь Ивана Ивановича.

Тренер детской секции спортивного общества Иван Иванович стал кумиром Алексея.

— Чтобы плавать, надо плавать,— говорил этот волжский мудрец и романтик. Алексей, в восторге от глубины и лаконичности изречения, тренировался как бешеный.

Через год мальчика допустили к соревнованиям.

В свои первые соревнования Алексей провалился, не занял никакого места, даже последнего. Но Иван Иванович верил в Алексея. Счастливы должны быть дети, которым попадаете такой взрослый. Это может быть мать, старуха бабушка, учитель, все равно, но обязательно должен быть кто-то, кто может сказать: «Бейся, ты победишь!» Иван Иванович верил в Алексея, самого маленького, слабого и худенького, верил в силу человека, который может все.

Чтобы плавать, надо плавать. После Волги осенью, и даже глубокой осенью, Алексей плавал в Москве-реке. Уже совсем холодно, жутко по-

думать о том, чтобы влезть в воду. Алексей плавал. Мальчишки на берегу знали Алексея, уважительно говорили: «этот псих».

Победа пришла сперва маленькая, никем не замеченная, кроме Ивана Ивановича. Потом больше, больше, потом настоящий успех.

В пятнадцать лет Алексей стал чемпионом Москвы среди юношей.

У спортсмена, у победителя не может быть узких плеч, слабых рук, впалой груди. Алексей вырос широкоплечим, здоровым, с могучими мускулами, подтвердив на своем примере, что спорт полезен для здоровья.

Когда он поступил в институт, пришлось выбирать — химия или плавание. Алексей выбрал химию. Бассейн, состязания, аплодисменты, улыбки девушек — от всего пришлось отказаться.

Однако в жизни Алексея спорт оказался важным не только для здоровья.

Чемпион — это не только талант, это характер. Дело он выбрал себе трудное и опасное, профессию смелых. Как говорил один его приятель: «Не забывайте, что нефть загорается, а водород взрывается».

— Что, что ты хочешь знать? — говорит Алексей сестре, расхаживая по комнате в старой пижаме с мокрыми после ванны волосами. — Я тебе объяснял, что наша работа такая...

— Нефть загорается, а водород взрывается, — говорит Лена.

— В данном случае это было не главное.

— А что?

— Мелочи губили. Колонны мощные монтируем, а пока наладили производство несчастных шпилек... Вот только сейчас начали приходиться наши шпильки.

— Не за шпильки же тебя сняли! Что ты мне голову морочишь? Если бы за крекинги, этому я бы еще могла поверить.

— Крекинги сыграли известную роль, — смеется Алексей.

— Скажи, ты с кем-нибудь не поладил? Что случилось?

— Несправедливость, — усмехается Алексей.

— Я была уверена, что несправедливость, — серьезно говорит Лена, встает с кресла, в котором сидит, подводит Алексея к зеркалу на стене. — Смотри, сколько у тебя седых волос.

— Такое свойство волос.

— Такое свойство души, — отвечает Лена. — У меня вот нет.

— Ты женщина, я мужчина, к тому же нефтяник.

Алексей отшучивается — значит, дело серьезно.

— Как только я сам окончательно пойму, что случилось, за что и почему меня поперли, где моя ошибка, я тебе расскажу. Я должен обдумать, в чем я был прав, а в чем виноват.

— Будешь извлекать уроки из своих неприятностей? — смеется Лена.

— Обязательно.

Алексей изменился, выглядит старше. Он страдает — видно, его крепко ударило, — но не жалуется. Будет молчать, переживать один и «извлекать уроки».

— Но все-таки что случилось? — допытывается Лена со свойственным ей упорством.

— Ты спрашиваешь «что»? Сорвано было пять сроков пуска завода. Вот «что». Выговоры я имел примерно два-три в год. Ну и что? Конечно, я директор был плохой. А завод построили героически. Много было нового, неизвестного — и одолели. Каким чудом? Люди — удивительное чудо. Я вижу на твоём бюрократическом лице немой вопрос, тебя формулировочка интересует. Могу сказать — снят за необеспечение сроков ввода завода в эксплуатацию.

Лена вздыхает, пригорюнивается. Господи, выговоров имел примерно два-три в год. Нахлебался, бедняга. Зато нет худа без добра. Теперь уж он покончит с заводом наверняка и будет заниматься чистой наукой. Честолюбивое воображение сестры всегда рисовало Алексея крупным ученым, профессором, и ей казалось непонятным, почему он упорно уходит от своей судьбы.

Еще в школе Лена возмущалась: на вечерах, когда другие выступали со сцены с речами, читали стихи, танцевали и были на виду, Алексей в коридоре возился у рубильника или подвешивал лампочки. Что за любовь к незаметной работе! А ведь он не лишен честолюбия.

— Как же так, Алешенька? — упрямо говорит Лена. — Я не понимаю.

— Кое-кто торопился скорее ленточку перерезать. Отрапортовал и пошел. Что дальше будет, ему наплевать. А я хотел такие крекинги, чтобы давали хороший бензин и в полтора раза больше. Мне важно было не только построить завод, но и то, что будет потом.

— Я так и знала. Опять крекинг. Я еще помню, как ты говорил, что война моторов — это и война моторного топлива.

— Правда. Говорил. — Алексей улыбается.

— Вопрос в том, у кого будет больше бензина. Это усвоила вся наша семья. Даже тетя Надя.

— Не только больше, но и лучше.

— Да, да. Знаменитое «октановое число». Ну и что — эта мечта осталась?

— Осталась.

— Значит, опять завод?

— Вероятно.

— Но ты ученый! Ты создан для науки!

— Завод тоже наука.

— С тобой спорить бесполезно!

— Тогда не спорь, — благодушно говорит Алексей. — Я буду потакать тебе, а ты мне.

Оба смеются.

Лене хочется расспросить брата про девушку на вокзале и узнать, как он теперь относится к Вале. Но и этот разговор нелегко начать.

— Да, — как бы вспоминая, говорит Лена, — я все хочу тебя спросить, Алешенька...

— Спроси, спроси, — усмехается он.

— Как у тебя с Валею?

— Я Вале год не писал. Устраивает тебя?

— Меня — да. Но Валею, наверно, не устраивает.

Алексей хмурится: о таких вещах не разговаривают даже близкие люди. Настойчивость Лены ему неприятна. Он смотрит на Лену. Сестра пополнела, у нее здоровый, цветущий вид. Исчезло выражение упрямства, которое всегда было на ее лице. Выражение исчезло, но упрямство осталось.

— Слушай, а кто была девушка на вокзале? — спрашивает Лена.

— Одна знакомая.

Этот ответ Лена уже слышала вчера по телефону от самой знакомой.

— Алешенька, я меньше всего хочу вмешиваться в твои дела, — с достоинством произносит Лена.

— Как бы не так, ты очень хочешь вмешиваться, но это тебе не удастся, — говорит Алексей.

Лена огорчена, она собиралась серьезно поговорить с братом обо всем, а он отшучивается. Алексей производит впечатление мягкого, покладистого человека, но он не мягкий и не покладистый. Говорить с ним — как камни таскать. Он любит только, когда Лена рассказывает

про своих больных, про операции, которые она делала,— словом, про свою хирургию. Тогда он слушает, удивительно хорошо слушает. Он упорный, но Лена тоже упорная, и то, что она решила сказать, она скажет.

— Все-таки Валя — дрянь,— говорит Лена.

— Валя — твоя подруга,— напоминает Алексей.

— Очень симпатичная та девушка на вокзале, которая тебя встречала,— говорит Лена.

— Вот как? — смеется Алексей.— Чем же?

«Тем, что она не Валька»,— хочется сказать Лене, но она отвечает:

— Молодая, очень молодая, как это хорошо!

На лице Алексея отвратительная ухмылка, знакомая Лене еще с тех далеких времен, когда брат кричал ей: «Все девчонки дуры!»

Надо считать, что разговор окончился ничем. Брат стал жестче, суворее, мудрее. И дело тут не в морщинах, которые появились на его загорелом добром лице.

— Я так и думала, что тебя сняли несправедливо,— говорит Лена, вдруг задохнувшись от жалости.

— Нет, Ленуся, чего-то мне не хватает для номенклатурного работника.

— В войну ты был главным инженером, и никто не находил, что тебе чего-то не хватает для номенклатурного работника.

— Несравнимые вещи. То война, и главный инженер не директор.

— Возможно. Но я считаю, что твое место — в лаборатории,— опять принимается за свое Лена. Она способна без конца бить в одну точку.

— Пойдем-ка чай пить,— говорит Алексей,— так будет лучше. И с мамой я еще совсем не разговаривал.

Лена вздохнула. Почему в разлуке мы забываем, какие, в сущности, невыносимые люди наши дорогие, любимые, близкие, эти хорошие люди с плохими характерами.

— Идем к маме. Сейчас она начнет ахать и жаловаться, держись. Ждали тебя, ждали, дождались, слава богу,— с грубоватой нежностью говорит Лена и толкает брата к дверям.

Алексей улыбается. Он знает, что ему предстоит выслушать главным образом неприятные новости и жалобы домашних. Это понятно — он тот, кто принимает все на себя.

Смешно: семья, дом родной работает, как машина, в его отсутствие, а стоит Алексею появиться, машина разлаживается. И Алексей должен выручать, помогать, налаживать, он самый сильный, опора семьи, как говорится.

— Как дела, мамочка? — спрашивает Алексей мать.

— Неважно, дорогой,— отвечает Вера Алексеевна, почти готовая заплакать от участливого голоса сына, от того, что он здесь, с нею, ее взрослый умный сын, ее гордость.— Все воюю, сыночек, устала.

Алексей берет руки матери в свои и целует. У нее маленькие руки с пальцами, испорченными ревматизмом. Когда-то ее руки были обморожены и до сих пор болят в холодную погоду.

— Мама, мама...

— Так устала, что никуда больше не гожусь.

Алексей не разрешает себе улыбнуться, хотя ему знакомо это предисловие.

— Конечно, так я и поверил,— говорит он.

— Да, мы старая гвардия,— свирепо соглашается Вера Алексеевна,— я ведь напрямую режу, я не молчу.

— Уж наша мама не молчит,— вставляет Лена, никогда не отличавшаяся почтительностью.

— Не лезь,— ласково просит сестру Алексей,— не вмешивайся. Тетя Надя, а ты? — обращается он к старушке, которая не спускает с него глаз.— Как ты?

— Сердце, Алешенька, сердце,— жалуется тетя Надя,— и ноги, ах, ноги стали отвратительные.

— А в кино ты ходишь по-прежнему? — Алексей улыбается.

— Никогда мне телевизор не заменит кино,— презрительно отвечает тетя Надя.— Если бы не ноги...

Старушка никогда не жалуется, но сегодня приехал Алексей, и ей хочется, чтобы ее пожалели.

— Я тебя свожу к хорошему врачу в ближайшие дни,— обещает Алексей.

— Не надо! То, что врачи скажут, я знаю сама,— говорит тетя Надя,— ты лучше мать своди.

— И маму тоже.

— И меня не води, как-нибудь без врачей пока обойдусь,— отзывается Вера Алексеевна.

Лена насмешливо подмигивает Алексею, но он серьезен. Мать и тетя кажутся ему беспомощными, хотя они вовсе не беспомощны. Какое-то чувство виноватости испытывает Алексей за то, что вот он высокого роста, молодой, ничего у него не болит и еще долго не заболит, а они маленькие, седые, больные.

— Мама, ты не рассказала, как у тебя дела в школе,— говорит Алексей.

— Твои дела важнее моих,— отвечает Вера Алексеевна,— ты должен добиваться. Иди в Цека. Как это так? Ты член партии, ты обязан заботиться о своей репутации. Пускай тебя опять назначают директором завода, и ты своей работой докажешь...

— Мама,— с неудовольствием перебивает Алексей,— я ничего не хочу доказывать...

— Неправильно! — гремит Вера Алексеевна и обрушивается на сына со всей страстью своего нестареющего сердца.

Алексей уже подумывает, как удрать от бурных наставлений матери. Увы, у него не хватит терпения и кротости выслушать все то, что ему здесь скажут.

— Мамочка, ты не обидишься, если я на часок схожу к друзьям?

— Конечно, Алеша, иди, а мы будем тебя ждать,— грустно отвечает Вера Алексеевна.— Но подумай о том, что я тебе говорила.

Ни к каким друзьям Алексей не пошел, а, надев чистую рубашку, пошел звонить по телефону-автомату Тасе, девушке, которая встречала его на вокзале.

Глава третья

В войну Алексей просился в армию. Нефтепереработчики были нужны на заводах. В армию его не пустили.

Он мечтал работать на каталитическом крекинге, давать бензин нашим танкам, ему приказали заниматься смазками. Это была узкая область нефтепереработки, не интересовавшая Алексея. Он почти ничего в ней не знал. Как топливник, Алексей относился ко всем этим делам свысока. Колдовская кухня. Никогда он не думал, что придется заниматься этим. Пришлось.

Алексей очутился в глубоком тылу, главным инженером на заводе номер такой-то. Завод был маленький, военного времени, спешно поставленный в степи, очень важный. Проектировали его, сидя в дымной хате, при свечах; по чертежам, прикрепленным к стене, ползали тараканы.

Завод работал с невиданной производительностью. Когда с фронта прилетел подполковник с требованием дать новую смазку для новых полуавтоматов, завод дал.

На заводе Алексея считали человеком с практической хваткой. У него была только немного необычная манера держаться. Сестра ему однажды сказала:

— Ты приходишь и, не обращая ни на кого внимания, начинаешь думать на глазах у всех. Ты обнаженно думаешь. Так нельзя. Может быть, это принято в восточных странах с древней цивилизацией, но у нас это производит странное впечатление.

Лена умела иногда сказать такую глупость, которая запоминалась. «Восточные страны с древней цивилизацией». Да, там, кажется, считается, что думать — это занятие, которое требует времени. На заводе к Алексею привыкли, не смеялись, когда он замолкал на полуслове, потревоженный какой-нибудь мыслью.

После войны в жизни Алексея произошел крутой поворот. На этот раз движением управлял он сам. Это было бесконечно трудно. У замминистра изблюбленная поговорка была такая: «Я тебе выговор объявил — благодари. Я тебя должен был снять. Я тебя снял — благодари. Я тебя должен был под суд отдать». Алексея он хотел назначить главным инженером на большой завод. Казалось, что сопротивление бесполезно. «Партийный билет положишь!» Но Алексей сопротивлялся. Он знал, что этот раз — последний в его жизни, когда он еще может попробовать встать на ту дорогу, по которой ему хотелось идти.

— Один родился, чтобы смазки готовить, масло на палец чувствует, другой создан, чтобы самолеты конструировать, третий, чтобы замминистром быть. А я хочу заниматься крекингом нефти, — сказал Алексей.

Замминистра побагровел. «Юродивого решил изображать?» И вдруг перестал рычать. Может быть, просто устал. Он наклонил лысую голову, закрыл ладонью глаза и негромко сказал: «А иди ты к черту». Послав Алексея к черту, он дал ему возможность начать новую жизнь.

Алексей поступил в аспирантуру. Он снова стал бедным, молодым, беззаботным человеком, ничего не решал, ничего не приказывал, ничего не подписывал, а только слушал, что ему говорят, читал, думал, учился.

Неужели это он готовил недавно литиевую смазку, которая хорошо держит давление, неужели он ходил проверять бочки, где был обнаружен брак, и распорядился раздвинуть двести бочек, неужели это он бегал по двору, приказывал уничтожить мазутные ямы, отлично зная, что уничтожить их нельзя, а можно только засыпать песочком в день приезда замминистра?

Алексей как замороженный шел к невидимой точке, которая светила ему вдалеке. Она светила только ему, была видна только ему одному. Чего он добивался? Диплома? Звания кандидата наук? Оно тогда начинало входить в моду, и то больше по той причине, что это звание хорошо оплачивалось и все хотели быть кандидатами.

Рядом сидели мальчики в очках, или хромые, или с пороками сердца, освобожденные от армии, и девушки, которых случайный ветер занес в двери нефтяного института и даже прибил к аспирантуре. Они были детьми в сравнении с Алексеем. Они учились, как все аспиранты в мире, не особенно ретиво. У них было много времени в запасе. У Алексея времени не было.

Жизнь после войны была дорогая. Деньги, которые Алексей получил за два изобретения, сделанных на заводе, он отдал матери. Денег тогда было много, их радостно тратили и очень быстро истратили. У Алексея была беспечная семья, не созданная для богатства. Долго удивлялись,

вспоминая, какие были возможности, сколько всего можно было купить. А потом и вспоминать бросили про те «сумасшедшие, большие деньги».

Алексей устроился на подмосковный завод. Когда-то студентом он мыл здесь полы на термическом крекинге, вытирал насосы концами, подливал в поршневые насосы масло. Ночью на вахте пел песни, чтобы не заснуть. Теперь он работал сменным инженером в цехе. И продолжал заниматься в аспирантуре, заочно.

Лена в ту пору уехала работать в Германию. Она вернулась в Москву как раз перед защитой диссертации Алексея. И сразу пошла к нему в институт, в лабораторию, посмотреть маленькую установку каталитического крекинга из молибденового стекла. Алексей сделал ее своими руками и гордился ею больше, чем изобретениями в области масел и смазок.

— Ну, а что будет дальше?

Лена стояла перед ним в коричневом костюме, ее русые волосы того же оттенка, что и у Алексея, слегка потускневшие, были собраны сзади в узел, она казалась надменной и разговаривала резко. Так она раньше не разговаривала.

Из института они пошли пешком к Крымскому мосту.

— Что дальше? Меня зовут в институт. Там как раз носят сейчас с крекингом нефти. Ты ведь знаешь, моя диссертация — скорость крекинга и...

— Крекинга, крекинга... Я иногда думаю, Алеша, что ты невменяемый. Жизнь не крекинг твоей нефти!

— А что же, если не крекинг? Что, по-твоему, жизнь? — Алексей замедлил шаги. Неужели два года в Германии научили Лену мыслить по-новому и она сейчас скажет что-нибудь пошлое, философско-обывательское, что всегда было ненавистно им обоим? Он ждал. Его обычно кроткое лицо было напряженным.

— Не беспокойся, — усмехнулась Лена, — я не скажу ничего ужасного, что заставит тебя презирать меня.

Она была умная, все понимала. Заодно она отчитала его.

— Ты ведь человек беспощадный. Человеческих слабостей, ошибок, минутной запальчивости ты не прощаешь. Тебе стоило бы поучиться у нашего папы, как относиться к людям. Талантливый человек — добрый человек. Это бездарный, как правило, злой и непримиримый.

— Все правильно. Чего ты кричишь? — спросил Алексей.

— Я вдруг увидела, что у тебя измученное лицо, что ты какой-то одинокий. И мне стало жалко тебя. Как у тебя дела там?

«Там» относилось к Вале.

— Все так же.

Это означало, что Валя по-прежнему держит себя так, как будто она любит Алексея, но не решается выходить за него замуж, должна подумать, еще подождать. То она звонила, вызывала Алексея на свидания, была нежной, внимательной, ей все было интересно, то не подходила к телефону, ее невозможно было застать дома, при встречах она торопилась и врала с вежливым и ласковым лицом.

«Я люблю Алешку», — говорила Валя с очаровательной небрежностью. Следовало понимать, что вот она такая, легкомысленная, молодая, но она его любит «по-своему», «так, как она умеет».

Если бы Алексей был повнимательнее, если бы он сам в своей лаборатории крекинга не забывал по неделям о Вале, то мог бы заметить, как часто она уклоняется от прямых и точных ответов на самые пустяковые вопросы. Он мог бы заметить выражение сдержанной скуки на ее лице, когда он рассказывал ей о заводе или институте. Но она даже завала очаровательно: постукивала ладошкой по сведенному зевотой ма-

ленькому роту, шурила глаза и улыбалась. Я такая, я, бедняжка, не выспалась и зеваю.

Валя кончила институт иностранных языков по английскому отделению. В этот институт поступали разные девушки и по разным причинам, некоторые потому, что собирались работать в миссиях и посольствах или стать женами дипломатов. А для этого, как известно, полагается знать иностранный язык и быть хорошенькой.

Алексею нравилось, когда Валя говорила, что будет переводить ему статьи из журналов. Но когда она стала называть его «дарлинг», он запертил. Валя сказала: «Ты прав». Она была безвкусна, но понятлива.

«Ведь надо было ему влюбиться именно в такую»,— огорчалась Лена. В том, что Валя «такая», человек с моралью стяжателя, Лена не сомневалась.

...Лена продолжала говорить:

— Как я соскучилась в этой Германии. Я там часто мечтала: ты в институте, занимаешься наукой, женился не на Вале и счастлив, я работаю в больнице Склифосовского. Мама перестала курить, папе больше не грозят неприятности на работе. Тетя Надя ходит на дневные сеансы в кино, не пересказывает содержания картин и не говорит о болезнях. В квартире сделали ремонт, у всех есть новые зимние пальто. И мы все вместе, живая-здоровая наша семья. И я в Москве. Я пешком хожу потому, что по Москве страшно соскучилась. Плохо жить на чужбине.

Лена снова была похожа на себя, добрая, незлобивая, ироничная.

Алексей пожал локоть сестры. Они могли забывать друг о друге, но они были близкие друзья.

— Алеша, ты надень на защиту костюм, который я тебе привезла. Будешь стоять на кафедре красивый на фоне своих таблиц и стеклянных трубок. Только не откашливайся, и не говори «вот», и не трогай все время подбородок. Брюки не короткие?

— Когда-нибудь я тебя отблагодарю по-царски,— пообещал Алексей.— Эти старые хрычи в Ученом совете не любят диссертантов в рваных штанах. После защиты отосплюсь, и мы заживем так, как ты мечтала в Германии.

Алексей похудел, глаза ввалились: работал последнее время очень напряженно. Да и работал ли он когда-нибудь в своей жизни иначе?

— А в Европе,— с грустью сказала Лена,— люди относятся к себе по-другому. Едят в определенные часы и каждый день гуляют.

Через месяц Алексей защитил диссертацию, но получил назначение не в научно-исследовательский институт, а на строительство нового нефтеперерабатывающего завода директором, откуда теперь и был снят.

Человек редко вспоминает пережитое, некогда задумываться, надо спешить. Но если жизнь ударила, приходится остановиться, подумать, надо сообразить, где ошибка. Сколько Алексей ни ломал голову, обвинить себя ни в чем не мог. Он не хотел быть директором, ему сказали: ты член партии, бывший главный инженер, кандидат наук, чем ты не директор? Ты директор. И он стал директором и работал на совесть. Он не обеспечил «сроки ввода завода в эксплуатацию», зато он обеспечил другое. Правда, результаты его труда станут видны позднее, потому что он работал на будущее завода, а это кропотливо, долго, незаметно. Крекинги, построенные Алексеем, будут давать то, что, по его убеждению, они и должны давать.

«И это будет неплохая производительность»,— сказал себе Алексей, закуривая. Он ходил по тротуару возле станции метро и раздумывал о

своей жизни.— А что меня сняли — это ничего, это, может быть, и правильно, директор я был плохой. Теперь я буду научным сотрудником института и займусь реконструкцией старых крекингов, раз уж мне не придется больше строить новые. Существующие крекинги в стране должны давать больше бензина».

Алексей ждал Тасю. И волновался.

«Она будет моей женой»,— подумал Алексей, увидев, как Тася вышла из метро и стала искать его в толпе. Она поднимала голову, потому что была маленькая, а тот, кого она искала, был высоким. Она была в том же сером костюме и черном свитере, как и на вокзале, только светлые волосы повязаны розовым прозрачным платочком, а через руку переброшен плащ.

— Здравствуйте! Я не опоздала? — спросила Тася.

— Нет,— улыбнулся Алексей, взял Тасю под руку, и они пошли к электричке, которая должна была привезти их на подмосковный крекинг-завод.

Тасе нужно было на завод по делам, Алексей вызвался ее сопровождать. Шел второй день пребывания Алексея в Москве.

Глава четвертая

— Вы не сердитесь, что я вас вытащила на завод? — спросила Тася, когда они сели в электричку.

Алексей пожал плечами — ему было совершенно безразлично, куда ехать, важно было быть рядом с нею, видеть ее.

— Вы очень молчаливы, зря слов не тратите,— рассмеялась Тася.— Хочу вас предупредить, что там, по дороге к заводу, пылица страшная. Странное дело — как нефть, так пыль и ветер. Хоть и под Москвой, а все равно.

Она разговаривала свободно и держалась свободно. Во всей ее подобранной фигурке чувствовалась энергия. И голос у нее был негромкий, но энергичный. Алексею нравилось слушать, как она говорит.

— Мне все кажется, Алексей Кондратьевич, что времени не хватит,— засмеялась она опять.— До того дошла, что свидания на заводе назначаю.

Она подняла на алексея зеленоватые глаза, чуть припухшие, чуть оттянутые к вискам, и Алексей прикоснулся к ним губами. Сердце его колотилось. Тася отодвинулась и притихла. Алексей взмолился:

— Я нечаянно, Тасенька, я больше не буду, не отодвигайтесь от меня, не бойтесь. Честное слово, каждый поступил бы точно так же на моем месте.

Тася улыбнулась и приложила левую, незабинтованную, руку к щеке.

— Как рука? — спросил Алексей.

— Пустяки, рука пройдет. Даже следа не будет. Сойдет, как загар. Это все химики знают.

— Фенол, чтобы его черт побрал,— пробурчал Алексей.— Счастье, что в лицо не попало.

Не так давно Тася была на заводе Алексея в командировке. Там они и познакомились. Она работала в селективном цехе и получила страшный ожог, когда на колонне, заполненной жидким горячим фенолом, отвалился краник и она зажала это место рукой. Она кричала: «Откачивайте!» — и не отпускала руку. Алексей не видел ее тогда, ему рассказали, «доложили», и сейчас он представил себе ее маленькую фигуру на фоне гигантской колонны, где течет расплавленный фенол.

Женщины должны иметь другие профессии. Пусть будут врачами, учительницами, медицинскими сестрами, чертежницами, пианистками. А в цехах, среди огня, газа и нефти, останутся крепкие, здоровые мужчины.

— Если бы я отпустила руку,— сказала Тася,— я бы потом себе никогда не простила. В ту минуту я ничего не думала, конечно, только чтобы откачали скорее и перекрыли.

Поезд подходил к станции.

Тася вытащила из кармана расческу и протянула Алексею. Он причесал ее мягкие волосы — сама она не могла — и, отодвинувшись, любовался своей работой, розовым лицом Таси, ее зеленоватыми глазами, узкими бровями, почти смыкавшимися на переносье. Странное лицо, прекрасное, необычное.

— Прическа великолепная. С вас три рубля,— сказал он.

— У меня есть идея. Все зависит от того, как мы управимся на заводе,— сообщила Тася.

Алексей подавил улыбку — о заводе Тася говорила с большой важностью и часто произносила само слово «завод».

— Пока я буду занята в лаборатории, вам, может быть, будет интересно посмотреть работы по автоматике. Это стоит посмотреть. Я могу вас познакомить с товарищами, которые этим занимаются,— говорила Тася. Они стояли на привокзальной площади в ожидании автобуса на завод.

Это было смешно. Тася не подозревала, что «товарищи», с которыми она могла познакомить Алексея, наверняка были его приятели или знакомые.

— Сейчас я вам устрою пропуск,— сказала Тася, когда они подошли к проходной. Она взяла телефонную трубку, намереваясь кому-то звонить.

— Не беспокойтесь.— Алексей попросил вахтера соединить его с директором и сразу пожалел, что позвонил. Тасе хотелось показать ему завод, и пусть бы она поводила его, пусть бы поважничала, если ей это доставляет удовольствие. Он все испортил, идиот.

Тася имела временный пропуск, Алексею, по приказанию директора, выписали разовый.

Когда вошли на завод, Тася сказала:

— А я хотела вам покровительствовать. Вы, наверное, меня считаете большой нахалкой.

Она была смущена, поэтому держалась еще независимее и свободнее. Алексей смотрел на нее, только на нее, но непроизвольно отмечал изменения вдоль дороги, новый путепровод, шлагбаум, выставочный стенд, которого не было раньше, вдали новую градирню.

Тася шла так, как будто идти по пыльной дороге для нее удовольствие.

— Дело в том, что вы не похожи на начальника, вы похожи на моряка, на капитана рыболовной шхуны...— сказала Тася.

— Сознайтесь, что у вас голова набита бреднями.

— Набита,— согласилась она почти печально.

Навстречу ехал черный «ЗИМ». Машина остановилась, из нее вышел толстый, высокий человек.

— Вот это начальник,— шепнула Тася.— Это я понимаю.

Это был директор завода, он торопился в горком, но хотел пожать Алексею руку. Пробасил: «Вечерком домой мне позвони, обменяемся», сел в машину и уже из машины, показав глазами на Тасю, спросил:

— А это кто?

— Сотрудница,— ответил Алексей не слишком любезно.

— Ну, давай, давай, действуй! — Директор подмигнул, машина отъехала и опять остановилась. — Ты там подскажи Петруничеву, чтобы он тебя по заводу поводит! — крикнул директор. — Пускай кое-что новенькое тебе покажет!

Алексей догнал Тасю и сразу увидел, что она огорчилась.

— Что? — спросил он. — Тася...

— Не знаю, почему мне взбрело в голову, что вы не знаете подмосковного завода и вам будет интересно посмотреть, и я думала, что недолго задержусь в лаборатории и мы пойдем погуляем в лесу. Здесь, за поселком, лесок есть хороший.

— А мы и пойдем. Я ради вас поехал, не ради завода.

— Теперь я вижу, что вам нелегко будет вырваться отсюда... — Она махнула маленькой рукой в черной перчатке.

— Нелегко, но я вырвусь, — засмеялся Алексей. — Вон идет толстая Маша. Давно я ее не видел. Маша, Маша! — крикнул Алексей женщине в синей спецовке...

Через час в павильоне, где торгуют пивом и ржavo-рыжей рыбой под маринадом, они выпили по стакану портвейна, съели холодные котлеты и запасались двумя плитками шоколада и сигаретами. Тася пила и ела с аппетитом и, поставив граненый стакан на мокрую клеенку, пошла к стойке посмотреть, чего бы еще можно было купить и съесть. Видно было, что ей нравится такая еда и нравится сидеть на табуретке в пивной. Она попросила лимонаду.

За соседним столиком пили пиво молодые рабочие. Насмотревшись на Тасю и одобрив дружным смехом ее аппетит, они продолжали свой разговор.

— У нас нет такого указания барахло выпускать, — говорил один.

— ...мороки много, а плана он дает мало...

— ...черт с ней, с премией. Витальку жалко. Виталька-то заслужил.

Тася оглянулась на рыжего паренька, который говорил про Витальку. Лес оказался не близко, и пришлось шагать по шпалам заводской узкоколейки, идти через поселок. Три года назад здесь не было этой узкоколейки и поселка не было. Тася шла на высоких каблучках, ее удлинненные зеленоватые глаза на все смотрели с любопытством. Алексей шел рядом и думал о том, что в лесу он поцелует Тасю.

Улица, застроенная городскими домами, заканчивалась футбольным полем, за полем начинался лес.

Они шли по тропинке сквозь молодой сосняк, теплый, пахучий, прозрачный. Попадались и белые березки в черных сапожках, и дрожащие осинки, и мохнатые елки, но больше всего сосны, поэтому и было в лесу так светло и пахло так пряно, опьяняюще.

— В хороший лес я вас привела! — радовалась Тася. — Самое удивительное, что здесь растет вереск. Я нигде под Москвой не видела вереска. Сейчас вам покажу.

Она нагнулась, сломала темно-зеленую веточку, понюхала, бросила Алексею.

— А потом будет вся розовая. Понюхайте, пахнет, — сказала она, — ...медом.

Алексей прижал к лицу шершавую, сухую веточку.

Они прошли еще немного в глубь леса, нашли поляну — солнечный пятачок — и сели на пиджак, который Алексей снял с себя и бросил на землю. Тася села и сразу поднялась. Алексей понял: она остерегалась сидеть рядом с ним. Глаза у нее стали тревожными и улыбались беспокойно.

— Вы устали,— сказал Алексей, закуривая.— Посидите.

Тася отыскала пенек, села, подстелив плащ, сняла жакет и осталась в свитере. Пригревало солнце, вокруг было спокойно, тихо, прекрасно. Вдалеке раздавались детские голоса.

Тася сидела на пенке выпрямившись, независимо, положив ногу на ногу, в черном свитере, который был ей велик.

Она заговорила об отце. Ее отец был стар и тяжело болен.

—...Нас осталось двое, никого больше нет. И мама умерла. Так жаль отца! Как заставить человека жить? Врачи предупредили меня, что сердце у него очень плохое...

Алексей ждал, что Тася еще расскажет ему о себе, но она молчала. Вот человек, подумал Алексей, которого нельзя обидеть.

На заводе она была уверенной в себе, веселой, а сейчас казалась грустной и слабой, и надо было ее защитить, спрятать от невзгод и трудностей, согреть.

«Ну, старик, ты влип окончательно»,— сказал себе Алексей, который только и хотел этого и теперь был счастлив, глядя на Тасю, все еще сидевшую на пенечке, на почтительном расстоянии от него. «Соблюдаем дистанцию»,— подумал Алексей, и даже за это он был благодарен Тасе.

Он все-таки поднялся с земли и стал ходить по поляне, большой, широкоплечий, заколдованный ее предостерегающими глазами. Не отойти, не подойти.

— Где вы будете теперь работать? — спросила Тася.

Все, что он не рассказал сестре, он рассказал ей, этой девушке, которую видел пятый раз в жизни. «Она должна все знать».

— В вас инженер оказался сильнее руководителя,— заметила Тася, когда Алексей рассказал ей, почему он распрощался с директорством.

Потом она сказала:

— Такой человек, как вы, имеет право на ошибки и имеет право на их исправление.

— Мне предлагают быть главным инженером на строительстве, недалеко от Москвы. Зовут директором на пусковой завод в Белоруссию. Сестра, например, считает, что я «родился для науки». Это семейная формулировочка. А мне без завода работать неинтересно. Как вы считаете, можно родиться для завода?

— Вы имеете в виду для должности директора завода?

Алексей внимательно посмотрел на Тасю. Она была из тех, кто не упустит возможности высмеять или сострить.

— Этот выпад мстительной аспирантки я пропускаю мимо ушей,— сказал Алексей,— хотя я встречал людей, которые родились для торговли газированными водами. Некоторые рождаются даже для того, чтобы стать бюрократами. Я сделал наблюдение: бюрократ, когда он еще мальчик, обязательно троечник, ленивый, ему лень учиться, а потом вырастает — и ему лень делать настоящее дело по-настоящему, и он становится бюрократом.

— А вы для чего родились? — улыбнулась Тася.

— Всю жизнь рвусь к крекингу нефти. Роковая любовь. В войну заставили заниматься маслами. Занимался.

Алексею хотелось сообщить Тасе, что, занимаясь по необходимости маслами, он получил несколько авторских свидетельств, но он подумал: «Нечего распускать хвост перед девочкой» — и не стал хвастаться. «Когда-нибудь потом».

— Автомобильные смазки, то да се,— сказал он.

— Я знаю, что вы работали с солидолом,— сказала Тася.— Жирные синтетические кислоты вместо хлопкового масла. Вы за автомобильные смазки даже лауреатство получили?

— Да, — буркнул Алексей, — за это.

Она знала его работы. Впрочем, ничего удивительного. Она же химик. Нефтяник.

— Надо было еще работать, а я мечтал о другом. Потом вырвался, поучился немного. Занимался крекингом.

— В институте до сих пор целая лаборатория установочка из молибденового стекла, которую вы сделали. Мне показывали, — сказала Тася.

Она и это знала!

— Я ее целый год делал. Откуда вы знаете? — удивился Алексей.

— Мне было интересно, и я узнала. Разве нельзя было? — Тася пожалала плечами, как будто ничего особенного не было в том, что она расспрашивала лаборанток о бывшем аспиранте-заочнике товарище Изотове. Алексей был обрадован. Она интересовалась им, узнавала о нем и просто призналась в этом.

— Да, не сумел одновременно строить детские садики, выпускать нефтепродукты и решать свою техническую задачу, — сказал Алексей.

— А теперь сумели бы?

— А теперь я буду заниматься только одной технической задачей: повышением производительности. Мне всегда было обидно видеть, когда могучие механизмы слабо и вяло работают. В этом есть что-то ненормальное. Это просто невыносимо, — пошутил Алексей, — я не могу этого допустить.

— Это здорово, — задумчиво проговорила Тася.

— Пойду работать в научно-исследовательский институт, но выторгую себе свою тему.

— Это здорово, — повторила Тася.

Она размышляла, думала о нем и его делах, одобряла, все понимала. И она была такая хорошенькая...

Он протянул ей руку.

— Пойдемте, становится холодно.

Алексей помог ей надеть жакет и плащ. Когда он застегивал пуговицы плаща, ее нежное лицо оказалось так близко, что он не удержался и поцеловал ее.

— Я люблю тебя, — сказал Алексей.

Тася молчала и смотрела в землю.

— Пойдем.

Они вышли из леса, пошли поселком.

У Таси было растерянное лицо. Она молчала.

Алексей остановился.

— Тася, я ничего не сделаю такого, чего вы не хотите, — проговорил он медленно. — Вы не хотите, чтобы я говорил вам, что я люблю вас?

— Не знаю, — тихо сказала Тася, — кажется, хочу.

Она посмотрела на Алексея.

— Ну вот! — с преувеличенным восторгом воскликнул Алексей. — Прекрасно! Мне больше ничего и не надо... до завтра.

— А что завтра?

— Ничего. Завтра мы увидимся. Днем погуляем, а вечером вы придете к нам, познакомитесь с моими родными.

— Днем я, может быть, буду занята. — Тася потрясла короткими волосами, она отстаивала свою независимость.

— У нас с вами мало времени, и нельзя манкировать свиданиями. А то...

— Что «а то»?

— А то мне будет очень плохо.

Алексей посмотрел на Тасю, и она ответила ему нежным и смущенным взглядом.

Глава пятая

В первый раз Тася увидела Алексея возле строительства маслоблока на его заводе. Подъехала машина, пыльный зеленый «ГАЗ-69», из него выпрыгнул молодой человек в рабочем комбинезоне, стремительно и легко вскарабкался по наружной железной лестнице наверх, где шел монтаж оборудования. Тасе сказали: «Приехал директор». Молодой человек этот приехал без шофера, и через двадцать минут он так же с разбегу сел за руль и уехал.

Она успела разглядеть и запомнить его лицо, широко расставленные темно-карие глаза, лоб выпуклый и большой. Лицо его из-за едва заметной скуластости казалось неправильным. Русые волосы, на лбу отчетливые залысины. Он был высоким, с широкими плечами и широкой грудью, настолько широкими, что он казался ниже ростом, чем был на самом деле.

Лицо Алексея запоминалось не красотой, а выражением сосредоточенности, доброты и скрытой силы. Он не заботился о производимом впечатлении, у него был редкий дар быть всегда самим собой. Тася это сразу почувствовала, он был естественным и простым, хотя знал, что на него смотрит много глаз. В тот день и час что-то заботило его, и это было написано на его лице.

«Чем он занят? — подумала Тася. — Наверно, чем-то серьезным. И... кто та счастливая женщина, которую он любит?» Алексей показался Тасе теремом, она стала о нем думать.

— Потом я видела вас еще и еще. Я даже искала вас по заводу, мне хотелось на вас посмотреть, — рассказывала Тася Алексею.

Они сидели в армянском кафе на Неглинной и разговаривали. После прогулки в сосновом лесочке прошло меньше суток.

— Говори мне ты, — попросил Алексей. — Зачем откладывать? Попробуй.

— Попробую. Ты мелькал передо мной, как будто у тебя были крылья, а я останавливалась и стояла, как будто у меня были гири на ногах.

— Да, я там слишком много бегал сам и мало заставлял бегать других, — согласился Алексей.

— Этого я не знаю. Я попадалась вам в разных местах, но вы смотрели мимо, мимо, мимо меня. И я решила с вами поговорить. Мне хотелось знать, способны ли вы заметить что-нибудь, кроме контрольно-измерительных приборов.

— Что оказалось?

— Подождите. Мне было очень трудно придумать, как поговорить с вами. С чем я могла к вам явиться? Никаких выдающихся соображений я не имела. Одно важное дело у меня было, но оно решалось в отделе техники безопасности, а не с директором. Так я ничего и не придумала. А дальнейшее вам известно.

Дальнейшее состояло в том, что после аварии на селективной установке Алексей в приказе отметил поступок Таси, и они познакомились.

— А как ты меня первый раз увидел?

— Ты стояла в лаборатории, в розовом платочке.

— Вообще ты повел себя довольно ловко.

— Предложил подвезти тебя в город? Это называется ловко? Я всех подвозил. А тем более ты была пострадавшая, с забинтованной рукой и бледненькая. Я за тебя испугался.

— А я боялась, что кто-нибудь еще попросится ехать.

— Я еще больше боялся.

За соседним столиком сидела семья. Толстая мама, толстый папа и трое худых черноглазых детей. Мама и папа ели чебуреки, холодную и горячую форель, а дети ничего не ели, кроме мороженого, и пили лимонад.

Алексей заказал все, что было на соседнем столе, и, кроме того, фруктов и бутылку армянского вина «Воскеваз».

— Я не хочу быть толстой, как та тетя,— шепнула Тася на ухо Алексею.

— Папа, возьми меня на ручки,— попросил самый младший мальчик за соседним столом.

— Я тебя так возьму, что ты у меня будешь прозрачный, бледный,— ответил папа.

Мальчик не обратил внимания на эту странную угрозу и, опустив лицо к стакану с лимонадом, продолжал гудеть, чтобы его взяли на ручки.

— Дайте ему еще мороженого,— распорядился папа.

Алексей посмотрел на Тасю, сдерживая смех.

Когда кто-нибудь входил в кафе, дробно постукивали бамбуковые палочки, висевшие на месте дверей. Пахло чебуреками, южной кухней, травами, острой приправой, кисленьким вином. Потолок был из деревянных балок, на высоких полках стояли глиняные кувшины, на стенах нарисованы синее небо и яркое солнце. Яркое солнце светило в этот день и на московских улицах, и хотелось сидеть здесь, и в то же время тянуло уйти под настоящее, а не нарисованное небо.

— Жизнь вдруг изменилась. Раньше все было нельзя, а теперь стало все можно. Почему-то можно сидеть днем в кафе, можно шататься по улицам. Непривычно,— улыбнулась Тася.— Хотя с каждой минутой я чувствую, что все больше привыкаю.

— Я тоже привык, и не хочется думать о том, что скоро уезжать,— сказал Алексей.

— Я не понимаю,— быстро сказала Тася.

— Сегодня утром я был в институте, оформлялся. Темой моей будет повышение производительности каталитического крекинга, решать ее будем на Комаровском заводе. Об этом мы договорились.

— Как, уже?! — воскликнула Тася, и в ее голосе прозвучала легкая обида.

— Сколько я могу ходить безработным погоревшим директором? Ну пять дней, от силы неделю. Поэтому я тебе вчера ответственно заявил, что времени мало. А ты не придавала моим словам никакого значения. Отнеслась легкомысленно.

— Я виновата,— покорно согласилась Тася.— Я как-то забыла, какой ты человек. Одержимый проблемой повышения производительности. Когда ж ты уезжаешь?

— До моего отъезда у нас еще есть целых пять дней. А потом, в общем-то, у нас целая жизнь впереди.

— Да, жизнь,— с гримаской разочарования проговорила Тася, и Алексей поцеловал ее, не обращая внимания на то, что в кафе было много народу.

— Какой пример мы подаем детям,— сказала Тася, покраснев.

За соседним столом дети продолжали есть мороженое, их родители — чебуреки.

— Это железные дети,— сказал Алексей.— И железные родители.

— Рассказать тебе сказку? — спросила Тася.

В детстве сказки Тасе рассказывала бабушка. У бабушки были поучительные сказки про девочку Машу и мальчика Ваню, которые кончались

так: «Вот почему надо слушаться взрослых и ничего не брать без спросу» или «Вот почему надо в первую очередь помогать другим, а потом думать о себе». Если бабушка рассказывала что-нибудь из жизни принцев и принцесс, то все равно с моралью: «Вот, не будь принцем, а будь хорошим человеком».

Мать рассказывала классические сказки, пересказывала книги, очень сокращенно. Золотую рыбку. Спящую красавицу. Руслана и Людмилу. Аленький цветочек.

Был еще дядя, военный человек, майор. Тот рассказывал Тасе военные истории, сказки про великанов и машины, смешные рассказы про солдат. «А вот был у меня молоденький солдатик, красноармеец...» Дядю Тася слушала охотно, тем более что он всегда рассказывал новое.

И только у отца была в запасе одна-единственная сказка, которую Тася любила больше всего. Отец рассказывал эту сказку годы подряд, ничего в ней не изменяя.

Один маленький мальчик по имени Махмутка-перепутка пошел на мостик погулять. Пришел Махмутка-перепутка на мостик и увидел, что в речке плавают утки. Видит Махмутка-перепутка белую утку, видит Махмутка-перепутка серую утку, видит он черную утку, видит он фиолетовую утку, видит он розовую утку, видит он оранжевую утку. Отец перечислял все известные ему краски монотонным, серьезным голосом. Тася слушала его с напряженным вниманием, поеживаясь от захватывающего интереса.

Отец кричал жене:

— Есть цвет электрик? — И продолжал: — Видит Махмутка-перепутка утку цвета электрик.

— Перестань,— укоризненно говорила мать.— Перестань над ребенком смеяться.

— Не мешай,— отвечал ей отец.— Видишь, мы слушаем.

И гладил Тасю по светлым рассыпающимся волосам.

— Дальше,— просила Тася.— Какую еще он утку увидел?

— Еще, еще...— вспоминал отец.— Ну как же, он еще увидел бежевую утку, и еще увидел наш Махмуточка-перепуточка серебряную утку. И еще коричневую.

— Коричневую он уже видел,— поправляла Тася, внимательно следившая за сказкой.

— Ну и что же? Он ее еще раз увидел. Он многих по два раза видел,— отвечал беспечный отец.

— А потом? — спрашивала Тася.

— А потом события развивались следующим образом. Махмутка-перепутка вынул из кармана булку и стал кидать крошки в воду. Синей утке крошку, красной утке крошку, зеленой утке крошку, желтой утке крошку, малиновой утке крошку...

— Малиновой утке крошку,— шептала Тася.

Другие старались, выдумывали новые подробности к старым сказкам, мать перечитывала Пушкина, дядя Саша называл своих героев смешными именами, над которыми сам хохотал, а отец по-прежнему выводил своего Махмутку-перепутку на мостик, давал ему в руки булку и начинал перечислять уток.

— Ну, рассказать тебе сказку? — спрашивал отец. Спрашивал не часто, чтобы не обесценивать сказку.

— Про Махмутку-перепутку? — кричала Тася.

— Про Махмутку-перепутку,— неторопливо подтверждал отец.

Тася мчалась к нему со всех ног, садилась рядом и, не отрывая глаз от его лица, слушала.

Когда сказку про Махмутку-перепутку предлагали рассказать другие, Тася отказывалась.

— ...Потом я думала, почему я так любила эту сказку? Ты скажешь— глупая сказка, а в моих глазах Махмутка-перепутка был герой, к нему слетались и прилетали утки со всех озер и рек. Позднее в моем воображении Махмутка-перепутка совершал небывалые подвиги. Теперь я понимаю, что он был всего-навсего несчастный мальчишка, у которого была только одна булка, а голодных уток было в те времена очень много,— рассказывала Тася.

Алексей слушал ее с улыбкой. Она выдумывала, как ребенок, убежденный, что правду слушать неинтересно.

Он сказал ей об этом.

Тася ответила:

— Мне сегодня вечером захочется понравиться твоим, так что держи меня, чтобы я не начала врать.

— Ври сколько влезет,— сказал Алексей.

Тася предложила поехать в бассейн в Лужники. Ёй хотелось посмотреть, как Алексей плавает. У него возникло на секунду тщеславное желание покрасоваться, проплыть под возгласы мальчишек: «Вот дает!» Но он отказался.

— Я хочу все знать о тебе. Хотя главное я знаю,— сказала Тася

— А что главное?

Тася покачала головой.

— Впрочем.— сказала она со своей милой гримаской, насмешливой и застенчивой одновременно,— могу сказать: главное, что ты герой.

Алексей запротестовал:

— Никаких героев. Какой есть, такой есть. Не выдумывай. Обещаешь?

— Какой есть, такой есть,— согласилась Тася.— Остальное — мое дело.

Они ушли из кафе и задержались в книжных магазинах на Кузнецком мосту. Искали какую-то нашумевшую книжку с таким упорством, как будто их счастье зависело от того, достанут они ее или не достанут.

— Мне она не нужна,— говорила Тася.

— Мне тоже,— говорил Алексей, и они шли дальше искать эту книжку. Они все-таки нашли ее в Петровском пассаже на лотке, втиснутом между выставкой-продажей гардин и витриной парфюмерии.

Они шли по Моховой, мимо старого здания университета, в университетском саду располагался книжный базар и толпились студенты. Потом через Арбатскую площадь и дальше по Арбату. У высотного здания Министерства иностранных дел, как всегда, было ветрено. У выхода из Смоленского метро цветочницы с негородскими красными лицами предлагали цветы. Алексей купил Тасе тюльпанов и нарциссов — весенних цветов.

Они свернули с Садовой, посидели в скверике, где с важностью гуляли породистые собаки. Потом еще побродили по арбатским переулкам, которых Тася не знала, а Алексей знал и любил.

Прошел мимо них человек со скрипкой и запомнился. Остановилась посреди дороги машина, у которой кончился бензин, и они остановились посмотреть. Прошли женщины с кошелками, донесся обрывок фразы: «...Взяла еще три калорички по рублю...» — и женщинам Тася посмотрела вслед. Была во всем та неповторимость обыденного, которая при-суща первым дням любви и запоминается навсегда.

«Пришел Махмутка-перепутка на мостик и увидел, что в речке плавают утки...»

Глава шестая

Алексей и Лена выросли в дружной и трудовой семье. Отец всю жизнь работал как вол. Так говорил он сам, так было на самом деле. У него была профессия трудная, будничная и неблагодарная. Он был инженер-строитель, уходил на работу в семь часов утра, возвращался бог весть когда. При этом улыбался, был всем доволен и в хорошем настроении. Он никогда никого не ругал, понимал любые людские слабости, для него мир был населен только хорошими людьми. Это был удивительный человек, но дети начинают понимать, какие у них родители, только тогда, когда перестают быть детьми.

Отец ходил в синем бостоновом костюме, который блестел на заду и на локтях, любил поспать, потому что никогда не высыпался. Любил играть в карты, читать газету, слушать радио, любил летом на Волге поудить рыбу и поспать на берегу под кустом, чтобы, проснувшись, подмигнуть и улыбнуться своим суровым детям, которые не понимали, как можно жить такой неинтересной жизнью, и осуждали отца.

Алексею и Лене профессия отца, его работа, его большой потертый портфель, набитый сметами, расчетными справочниками и тонкими брошюрами об опыте передовиков-каменщиков и штукатуров, не нравились. Но, сами того не сознавая, они учились у него отношению к труду.

Мать преподавала в школе. Когда-то, в первые годы после революции, она работала с беспризорниками. То были для нее неповторимые и прекрасные годы. Годы ее молодости и молодости республики. Беспризорники, бездомные горемыки, вшивые и голодные, на ее глазах, с ее помощью, какой бы малой она ни была, становились людьми. Спустя десятилетие она встречала рабочих, инженеров, директоров, которым когда-то протягивала жестяные миски с пшенной кашей и учила грамоте.

Потом она работала в Наркомпросе, потом была директором школы, а потом пошла учиться — стали требовать диплом, которого у нее не было, — и окончила педагогический институт, когда ее собственные дети уже раздумывали над тем, в какой институт им поступать.

Вера Алексеевна мало бывала со своими детьми, когда она приходила домой; ей надо было готовиться к экзаменам, проверять тетради или немедленно уходить на совещание.

— За детей я все равно спокойна, — говорила Вера Алексеевна, — им не с чего становиться плохими. — И закуривала папиросу.

Эта педагогическая идея успокаивала Веру Алексеевну. Тетка кормила детей, лечила, одевала.

Лена и Алексей в детстве очень дружили. Но наступило время, когда они отдалились друг от друга, у них появились секреты, особенно у Лены. Алексей был много занят на тренировках, увлекался химией, начал курить.

Лена вдруг стала очень противная, стала щурить глаза, тянуть слова и носить какую-то косую шапочку на голове вместо любимой старой ушанки, все время собиралась остричь косы. К счастью, это продолжалось недолго, потом она опять стала нормальной простой девушкой, но прежних отношений у них уже не было. Они как будто стеснялись друг друга. Когда однажды Алексей пришел в школу на вечер танцев и увидел там Лену, он немедленно ушел. Лена, увидев брата, тоже ушла.

Алексей кончил школу и поступил в Менделеевский институт. Лена была еще школьницей. Алексей — студентом, чемпионом. Он уже взметнул высоко в жизни и перестал обращать внимание на сестру с ее глупыми секретами и школьными интересами. Лена обожала брата.

Когда настала война, семья разделилась. Отца проводили на фронт. Помолодевший в военной форме, он улыбался своим взрослым детям до последней секунды прощания. И взрослые дети на долгие годы запомнили его напряженное, застывшее, улыбающееся лицо. Отчаяние пронизало их, когда отец уходил, чуть сгорбившись, и обернулся и в последний раз посмотрел на них. Уже было поздно, они уже не могли выразить ему, как они его любили. Как они всегда были невнимательны к отцу, не жалели, не ценили! Поздно, поздно, отец скрылся в толпе, затерялся среди других таких же отцов, уходивших на фронт в первые дни войны. Теперь оставалось только ждать. Согнутая спина, застывшая улыбка на добром лице...

Вера Алексеевна уехала из Москвы в эвакуацию с детским интернатом, тетю Надю Алексей забрал к себе на завод. В квартире осталась одна Лена — она училась в медицинском институте. И остался московский адрес, старый синий помятый почтовый ящик на дверях.

Прошла война, и семья Изотовых опять собралась вместе.

Вернулся отец, снял погоны майора инженерных войск, пошел в свое территориальное управление, оттуда — на стройку.

Вера Алексеевна опять стала преподавать историю СССР, курила и нервничала по пустякам.

С годами человек начинает понимать и ценить то, о чем смолоду понятия не имел. В редкие свободные вечера Алексей не убежал, как убегала Лена, а садился с отцом на диван и слушал: о сдаче объекта — жилого дома, о мошенничестве кладовщицы, о неувязках штатного расписания. Отец, как всегда, никого не винил, никого не ругал, но он словно жаловался своему взрослому, умному сыну на бесконечные неприятности, потому что строить в те годы было трудно.

— Папочка, только не попади под суд,— говорила Лена, услышав об очередной неприятности отца.

— Не попади,— усмехался отец, и его голубые глаза за стеклами роговых очков смотрели весело и добродушно.— Попробуй, не попади.

Казалось, все его усилия сводились к тому, чтобы что-то все-таки выстроить и не попасть под суд.

Последнее время у Кондратия Ильича появилось увлечение. Старого москвича, безумно занятого человека вдруг потянуло прочь из города, к природе. Теперь в субботу и воскресенье он ездил на дачу к приятелю и там, на отведенном ему клочке земли, разводил тюльпаны, ирисы, георгины. Он немного даже стыдился своего увлечения и говорил так: «Поеду поработаю стариком садовником».

Вера Алексеевна слушала эти слова с насмешливой улыбкой, она была городской человек и не понимала стремлений мужа, а если Вера Алексеевна не понимала, то она и не одобряла. А уж если она не одобряла, то выражала это резко и прямо.

— Все от лени,— говорила Вера Алексеевна.

Ликвидация безграмотности в стране волновала в свое время Веру Алексеевну куда больше, чем здоровье мужа. О своем она вообще никогда не думала. «А,— говорила она,— болеть будем потом. Сейчас надо дело делать». Она была воспитана эпохой, ни одна заметка в газете не ускользала от ее внимания, но она многого не знала, например, о своей дочери, которую очень любила.

«Человек красив тогда, когда красива его душа»,— повторяла часто Вера Алексеевна. Поэтому, вероятно, ее дети ходили до школы в страшных одеяниях. У Лены было бесформенное красное платье, у Алексея — фланелевый лилово-коричневый костюмчик. Вера Алексеевна покупала на свободные деньги книги, чтобы отсылать их во вновь

организующуюся подшефную библиотеку одной подмосковной деревни. «Тебе, — с укоризной говорила тетка, — библиотека подшефная, а дети не подшефные», — и шила Алешеньке суконный костюмчик из своего старого платья, а Лену украшала воротничками и манжетами. Уютные, хорошо обставленные квартиры нравились Вере Алексеевне, но она разводила руками: откуда люди берут время и деньги? В этой семье могли десять лет ворчать и сердиться из-за сломанного дивана или колченогого стола, но не было никого, кто починил бы диван и стол. Никто не мог купить люстру, никто не мог повесить шторы на окна. Зато всегда находилось место для того, кто нуждается в ночлеге. Эти так называемые ночевальщики постоянно наводняли квартиру Изотовых. С ночевальщиками доходило до анекдота. Однажды был обнаружен совершенно незнакомый человек. Кто-то его прислал, Вера Алексеевна не поняла кто, из деликатности постеснялась уточнить. Явился он поздно вечером, его накормили супом и тушеным мясом, уложили спать на старом диване, он все порывался рассказать про какую-то стерву Люсю, а наутро тетя дозналась, что никто его не знает и он никого не знает. Все-таки его пожалели, не прогнали, он беззаботно прожил еще три дня и уехал к себе в Самарканд, очень довольный московским гостеприимством.

Так существовала семья. Старенькая тетя Надя с утра до ночи ходила открывать и закрывать двери, варила борщ и громко вздыхала, видя, как все торопятся поскорее уйти, убежать по нескончаемым делам, подгоняемые невидимой силой — собственным беспокойством.

Тетя Надя была очень маленького роста и толстая, с пышными, непосевевшими волосами, розовощекая, с крошечными руками и ногами. Она любила наряжаться, печь пироги, читать книги, лечиться и лечить других. Из одежды она любила блузы с длинными рукавами, перламутровыми пуговицами и черными бантиками, вязаные крючком кофты и фетровые береты. Любила сладкие пироги, книги про любовь и детей и лекарства без разбору: и порошки, и пилюли, и микстуры. Тетя Надя пела цыганские романсы, норовила сбежать в кино или в скверик, посидеть на скамеечке, отдохнуть от домашней каторги, как она говорила.

Жизнь семьи, с точки зрения тети Нади, шла неладно. Верой Алексеевной тетя была давно недовольна. Как Вера Алексеевна курила, как нервно и быстро разговаривала и любила говорить неприятные вещи, как надрывно работала — все это тете не нравилось. Выглядела Вера Алексеевна ужасно, у тети кожа на лице была лучше и морщин было меньше. Лена была слишком насмешлива и плохо — неправильно — воспитывала своего ребенка, то есть никак его не воспитывала. За Алексея тете Наде было обидно. В войну, когда она жила вместе с ним на заводе, Алешенька был главным инженером, у него было положение, а после войны — ничего. Потом Алешеньку назначили директором; немного времени прошло — бац! — его сняли, обидели несправедливо. Давно пора было ему жениться.

Глава седьмая

И вдруг Алексей сказал: «Завтра к нам придет Тася».

Хотел сказать «моя девушка» — это звучало слишком современно. «Моя невеста» — слишком старомодно. «Моя будущая жена» было бы правильно, но Алексей не сказал этого.

«Может быть, опять ненастоящая», — подумала тетя Надя.

Когда на следующий день раздался звонок и тетя Надя открыла дверь и увидела Тасю, невысокую, нахмуренную, беленькую девушку, она сразу поняла, что эта — настоящая.

И начала волноваться. За Тасей стоял Алексей и ободрительно улыбался тетке. Толстенная старушка церемонно пригласила гостью войти.

Когда Тася сняла светлый плащик, Алексей увидел, что на ней парадный синий костюм и белая кружевная блузка. Она ездилa домой переодеваться, Алексей ждал ее возле дома.

Тася была особенно гладко причесана, волосы лежали, как золотой шлем, у нее были подмазаны губы, на пальце — кольцо с лиловым камнем, которого Алексей раньше не видел. Тася держалась прямо и protocols пала в комнату на негнущихся ногах, с лицом испуганным и высоким.

В столовой, склонившись над журналом «Хирургия», уже сидела Лена в новом зеленом платье, в котором она выглядела еще толще, чем обычно. У Лены в глазах светилось любопытство, а улыбка была неестественная. Она с разбегу стала что-то рассказывать о своем маленьком сыне, заполняя громким голосом все паузы, которые могли возникнуть.

Тася вежливо поддерживала разговор и что-то рассказала о своих двоюродных племянниках.

«Их надо выручать», — решил Алексей и спросил:

— Что новенького у Склифосовского?..

Лена все так же возбужденно и неинтересно описала свою последнюю операцию. Тася задала несколько медицинских вопросов. Алексей рассказал глупейший анекдот и пошел за матерью в надежде, что она поможет.

Вера Алексеевна сидела у себя в комнате и зашивала чулок.

Алексей спросил:

— Мама, ну что же ты?

Вера Алексеевна в ответ крикнула:

— Не могу же я выходить в рваном чулке!

«Наша семейка со странностями», — не в первый раз добродушно подумал Алексей.

Правильнее всего было бы сейчас выпить водки. Но водки не нашлось, тетя Надя купила только сладкого вина.

«Та-ак, — сказал себе Алексей, — еще лучше».

Вера Алексеевна вышла с папиросой и стала говорить о том, что не понимает «веяний времени». Это была ее худшая тема.

— Очевидно, мы стали стары, пора на свалку...

— Мама! — взмолилась Лена.

— А какие такие особенные веяния? — спросил Алексей.

— Мещанства много развелось. Мы когда-то плевали на удобства, ели картошку с селедкой, носили баретки и были счастливы.

Тася молчала. Она, конечно, не ожидала такого приема, да и Алексей никак не предполагал, что так получится.

Лена сказала примиряюще:

— Мамочка, времена меняются...

— Я и говорю, что меняются. Только не затыкайте мне глотку.

— Выйди, — шепнула Лена Алексею, — и позови маму в другую комнату. Я с ней поговорю.

— Не надо, — ответил Алексей, — ничего, образуется.

Но ничего не образовалось. Только под конец приехал с дачи Кондратий Ильич, ничего особенного не заметил, сразу стал улыбаться Тасе, рассказал про свою грядку с салатом и как надо ухаживать за помидорами.

— Ничего, — шепнула расстроенная Лена брату, когда он поднялся, чтобы идти провожать Тасю, — в следующий раз будет лучше.

— Если она согласится прийти в следующий раз,— сердито ответил Алексей.

Потом все были расстроены. Больше всех Вера Алексеевна.

— Окаянство! — говорила она.— Это меня ревность обуяла. Вдруг стало жалко сына чужой женщине отдавать.

Алексей возмущался:

— Я знаю, что наша семейка со странностями, но это переходит границы.

— Ужасно! — каялась Вера Алексеевна.— Разве я не понимаю?

На следующий день Алексей опять пригласил Тасю. Она сказала «пойдем», как говорят «была не была».

Вера Алексеевна всячески старалась сгладить неприятное впечатление от первой встречи, никого и ничего не ругала и называла Тасю деточкой. Тася держалась просто и весело, как всегда, и Алексей видел, что отец, мать, тетя Надя любят ее. Недоразумение было забыто, и все дорогие Алексею люди сидели теперь вместе в полном согласии и, наверное, удивлялись самим себе. Алексей курил, улыбался, а когда вставал за чем-нибудь, начинал громко напевать: «В каждой строчке — только точки,— догадайся, мол, сама... И кто его знает, чего он моргает...»

В доме всем было известно, что если Алексей поет «В каждой строчке — только точки...», значит, у него очень хорошее настроение.

Вера Алексеевна, узнав от сына о смелом поступке Таси на заводе, захотела обязательно показать ее своим друзьям.

У Веры Алексеевны были старые друзья, связанные с нею еще по работе в трудовых колониях и в Наркомпрозе. Всю жизнь Вера Алексеевна требовала от детей и от мужа особенного уважения к ним.

Дети и муж любили старых маминых друзей, но старались держаться от них подальше. Тем более, что они были порядочные крикуны,— старенький дядя Уфим, который никому не был дядей, и тетя Клава, которая тоже никому не была тетей, и Маруся и Горик, которых все так и называли Марусей и Гориком, хотя они были седовласые тучные люди.

Тетя Надя дала им всем меткое прозвище «скандалисты». Они на самом деле были скандалистами и, собираясь все вместе, страшно ругались и шумели. Если в одной комнате сидели «скандалисты», а в другой — первокурсники медицинского института или нефтяники средних лет, то молодым не перекричать было старых. «Скандалисты» кричали по любому поводу и всех критиковали. В свое время «скандалисты» стыдили детей за плохие отметки, за плохую общественную работу. Они отличались большой требовательностью к людям и снисходительностью к самим себе.

«Скандалисты» лезли во все дела, вплоть до интимных. Если Вера Алексеевна не могла справиться с дочерью или сыном, она науськивала «скандалистов». «Скандалисты» обожали налаживать порядок в семейной жизни Изотовых и вообще друг у друга.

Алексей спрашивал Лену: «Слушай, ты не знаешь, сегодня мамыны скандалисты придут?» — и если ответ был положительный, Алексей смывался. А «скандалистов» тянуло к молодым. Они любили приходить и садиться и подробно расспрашивать о комсомольских делах, любили обсуждать статьи «Литературной газеты» или «Комсомольской правды», хохотать, ругаться и спорить. Спорщики они были страшные, могли переспорить кого угодно. Как ни уговаривал деликатный Кондратий Ильич «скандалистов» сидеть спокойно и не мешать молодежи, у которой свои дела, удержать их было невозможно. Дядя Уфим, худой, высокий, с висячими желтыми усами, и тетя Клава, и толстый Горик с

толстой Марусей, и сама Вера Алексеевна, попыхивая папиросой, звали к себе Лену с подругами и товарищами, чтобы спросить, «как жизнь», или, вернее, «как житуха». Они сохраняли лексикон двадцатых годов, говорили «братва», «питерцы» вместо «ленинградцы» и употребляли жаргонные словечки, которым выучились когда-то у своих воспитанников. Они начинали с вопроса, «как жизнь», а кончить могли самым неожиданным — например, коллективным письмом в редакцию «Литературной газеты», копия в Союз писателей. Или криками и обвинениями бог знает в чем сидящих перед ними мирных молодых людей. Ведь они были «скандалисты» и без сражений не могли жить.

«Скандалисты», уже пенсионеры, были неистовыми борцами за справедливость и, между прочим, порядочными кляузниками. Очень любили писать. Писать коллективно и индивидуально, письма в редакцию, воспоминания, статьи, критические работы и даже рассказы и повести. Дядя Уфим писал юмористические рассказы, а тетя Клава строчила статьи и воспоминания. Маруся ничего не писала, она была не особенно грамотная, а Горик писал тоже воспоминания. Все эти авторы успели свыкнуться с мыслью, что их не печатают, кроме дяди Уфима, который находился в таинственных отношениях со всеми редакциями и намекал подругам Лены, чтобы они ждали.

«Скандалисты» были по существу не вредные люди. Когда у кого-нибудь случалось несчастье, они сочувствовали и изо всех сил старались помочь.

Когда-то «скандалисты» вместе с Верой Алексеевной проповедовали простоту отношений: полюбили — сошлись, разлюбили — разошлись, а теперь уже давно считали, что дочери должны выходить замуж за хороших людей, а сыновья — жениться на порядочных женщинах. Когда-то «скандалисты», как и Вера Алексеевна, плевали на бытовые удобства и никак не обставляли своих полученных по ордерам квартир и комнат. Теперь они, как все люди, ценили уют, только не умели его создавать.

Вот этим-то своим друзьям Вера Алексеевна хотела обязательно поскорее показать Тасю. Не только потому, что она была избранница сына и «скандалистам» было любопытно на нее поглядеть, а потому, что «скандалисты» ценили мужество, силу характера человека. Вера Алексеевна рассказала своим друзьям о поступке Таси на заводе.

Алексей думал предупредить Тасю, что ей предстоит новое испытание, но ему не захотелось ругать «скандалистов». Пусть разберется сама, решил Алексей.

Она разобралась мгновенно. Не прошло и получаса, как она сидела и разговаривала со «скандалистами» так, словно вместе с ними всю жизнь занималась ликвидацией беспризорности и неграмотности. «Скандалисты» приняли ее как свою. Тася, торопясь и размахивая руками, в точности как сами «скандалисты», рассказывала им какую-то историю.

Больше того, когда выходивший в «Гастроном» Алексей вернулся, он обнаружил, что Тася поет старательным голосом песню с жалобными словами, а «скандалисты», пригорюнившись и сбившись в кучу вокруг нее, слушают.

— Ну и ну, — сказала тетя Надя.

После ужина «скандалисты» стали уговаривать Тасю и Алексея идти с ними в кино. Они часто ходили в кино все вместе и почему-то всегда знали наперед содержание картины.

Тася победила «скандалистов». До нее у «скандалистов» был только один любимчик — Кондратий Ильич. Он единственный стоял вне ругани и критики — не потому, что в нем не видели недостатков, недостатков в нем видели кучу, но ему все прощалось. Его баловали, делали подар-

ки по списку, им самим составленному: носки, галстук, запонки, подстаканник, портсигар, перчатки, а также майки, трусы, рубашки. Кондратий Ильич разговаривал со «скандалистами» исключительно о политике, на другие темы не разговаривал. Все многочисленные проблемы воспитания, любви и дружбы, а главное, современная литература и хитрые ее толкования его не интересовали. Другому бы не простили, обвинили бы в отсталости и скудоумии, а ему прощали. Только Вера Алексеевна потом, сверкая папиросой, делала ему строгое внушение, напоминая о заслугах дяди Уфима или Горика в деле ликвидации беспризорности и безграмотности в Рогожско-Симоновском районе города Москвы.

Глава восьмая

Человек может надеть кучу глупостей, прежде чем поймет, что это были глупости и пора взяться за ум и идти дальше, за своим счастьем. Не надо горевать и ругать себя, потом может вдруг оказаться, что все получилось очень хорошо и именно благодаря этим глупостям все и получилось.

Так примерно рассуждал Алексей. Ему хотелось видеть все в радостном свете. Счастье заключалось в том, что он встретил Тасю и любил ее и она полюбила его. «Полюбила ли?» — спрашивал себя Алексей и не задавал этого вопроса Тасе. Он знал, что она скажет ему сама, и ждал этого каждый день, каждую минуту.

А пока? Пока все-таки было хорошо. Они виделись ежедневно, по долгу, как только было возможно.

Тася мало говорила о себе. На все расспросы отвечала: «Ничего». Она была отцу сиделкой и медицинской сестрой, делала уколы, стряпала и кормила, сдавала кандидатские экзамены, вела научную работу. Это Алексей знал.

Видеть, как она бьется, и не иметь возможности помочь было трудно. Он хотел бы взять ее заботы на себя, но она даже не пригласила его к себе, не познакомила с отцом.

— Я боюсь, — объяснила она, — отец разволнуется. Ему сейчас нельзя волноваться.

Алексей готов был возразить, но не хотел огорчать Тасю. Он не представлял себе, что могли существовать причины, которые помешали бы ему привезти Тасю к себе в дом.

— Я его подготовлю постепенно, а пока... — Тася улыбалась. — Надо держаться.

«Держалась» она великолепно. Алексей забывал обо всем и видел только ее юную, торжествующую красоту, легкость, готовность смеяться. Она была всегда подтянута, тщательно одета. Она спрашивала Алексея, нравится ли ему ее платье, идет ли ей платочек. Алексей восторгался, щупал материю, а она внимательно и серьезно слушала и могла слушать долго. «В этом они все одинаковы», — снисходительно думал Алексей, вспоминая, как три женщины в его родной семье могли радовать по покупке, самой пустяковой.

Он уговорил Тасю пойти в ГУМ и купил ей кремовую индийскую шаль. Спросил: «Нравится?» — и пошел платить в кассу. Тася залилась краской. Если бы Алексей мог, он купил бы все, на что упал взгляд.

Шаль была газовая, с широкой золотой полосой и яркой этикеткой с английскими словами «Сделано в Индии».

От кого-то Алексей слышал, что подарки не должны быть предметами первой необходимости. В этом отношении индийская шаль была

бесподобной. Алексей даже опешил, когда увидел этот сверкающий театральный, бесполезный предмет в руках у Таси.

— Ты сможешь ее когда-нибудь надеть? — спросил он смеясь.

— Да, конечно, — ответила она, сложила шаль вчетверо и накинула на голову.

Они должны были расстаться на несколько часов, а вечером опять встретиться. Алексей поехал проводить Тасю.

Теперь они стояли в темном парадном дома, где она жила, на Таганке, и прощались. Прощались и не могли разойтись.

«В подъезде, кажется, полагается стоять до двадцати лет, но не после тридцати», — подумал Алексей.

В парадное проскользнули две тени и быстро обнялись. Тася и Алексей, не сговариваясь, бесшумно поднялись на один этаж. Тася прижалась щекой к груди Алексея. От нее пахло духами и лекарствами.

Когда Алексей спускался, он оглянулся на влюбленных, которые согнали его и Тасю с их места на лестнице. Они делали вид, что собираются звонить по телефону-автомату, висевшему на стене. Алексей усмехнулся — его с Тасей тоже уже выручал этот сломанный телефон-автомат.

В один из дней, когда Тася была у Алексея, без предупреждения пришла Валя.

Валя по-своему была привязана к Лене. Это была дружба-вражда. Валя завидовала подруге, тому, что Лена жила в Германии, что Лена вышла замуж, что она талантливый хирург, что у нее новая квартира. И радовалась только тому, что Лена растолстела, и часто говорила ей: «Ты совсем не толстая. — Потом фальшиво-участливым голосом спрашивала: — Ну что, ты уже оперируешь на сердце?»

Валя почти вышла замуж за немолодого профессора геологии. Но говорить об этом было рано. Профессор не развелся со старой женой.

Признаки того, что она «почти» вышла замуж, были налицо. Новый сиреневый костюм, стеклянно-прозрачная блузка с горящими пуговицами, большая белая сумка. У Вали были некрасивые руки, она это знала и старалась не снимать перчаток. На пушистых волосах была красная шляпа с цветами. Профессору так нравилась его молодая подруга, что он мирился с ее шляпами.

Валя торжественно вплыла в дом и остановилась, увидев Тасю. «Ясно, — сказала себе Валя, — с этим вопросом все», — и почувствовала, как у нее забилось сердце.

Вале стало грустно. Теперь этот открытый ей с детства дом станет чужим, а для Вали, со всей ее философией, с ее стремлением протолкнуться и устроиться в жизни получше, как ни странно, семья Изотовых была дорога. В детстве и в юности приходила она сюда, и ее принимали как свою, потому что сперва Лена дружила с нею, а потом Алексей любил ее.

А теперь за столом сидела белокурая девушка с презрительными припухшими глазами и золотым шарфом на плечах. Желанная гостья и любимая женщина. Алексей держал ее руку и смотрел на нее так, как никогда не смотрел на Валу.

— Здравствуйте, друзья! — Валя села и улыбнулась улыбкой старого друга. Ямочки появлялись на круглых щеках Вали, когда она улыбалась. — Рада с вами познакомиться, — сказала Валя Тасе с небрежной любезностью, — хотя мы виделись на вокзале.

Тася что-то рассказывала, теперь она замолчала.

— Что же было дальше? — спросил Алексей.

Тася молчала. Эта женщина в красной шляпе явилась из прошлого Алексея. Разговаривать при ней Тася не хотела.

Тетя Надя ставила чашки на стол, хвалила какой-то фильм, резала сладкую булку и обо всем спрашивала мнение Таси. О фильме, об артистах, с чем лучше пить чай — с халвой или с кренделем.

Нежно-округлое лицо Вали стало малиновым от злости и как будто распухшим. Она была оскорблена тем, что здесь сидела Тася и все вокруг беспокоились, как бы Валя ее не обидела. Алексей обманул, изменил, а теперь заслонял собой эту пигалицу, и толстая тетка взволнованно кудахтала, и все они боялись Вали.

— Алешик, — нежно сказала Валя, — как дела? Ты все еще безработный, бедненький? Я охотно выпью чаю, — обратилась она к тете Наде. — У вас всегда крепкий и вкусный чай.

«Неужели я любил ее?» — подумал Алексей о Вале.

Он смотрел, как Тася, опустив лицо, ложечкой размешивает сахар и хмурится.

«Она достаточно умна, чтобы не обидеться за Валин приход», — сказал себе Алексей.

Тася подняла голову. И Алексей впервые увидел, что ее зеленые продолговатые глаза могут становиться злыми.

Тася и Алексей ехали в гости. Они вышли из такси перед огромным новым домом на Большой Калужской. Светились разноцветные окна. Тася остановилась, сосчитала этажи.

— Хочу жить на девятом этаже. Девять делится на три, и много солнца.

Хозяин был приятель Таси, доктор технических наук, молодой человек тридцати четырех лет. Его называли Сашей. Жена была старше его, дочь академика.

— Это наша компания, раньше мы встречались часто, — пояснила Тася. — Интересные люди, по-моему.

Гости собрались. Хозяйка, ее звали Ритой, исполняла джазовые песенки. Саша вел концерт жены. Отпев положенное, Рита откланялась и с тем же выражением лица, с каким она пела, то есть с выражением тоски и страдания, пошла к столу переставлять хрустальные вазы с салатом.

Алексей побродил по большой квартире. Трудно было понять, чья это квартира — молодого профессора или старого академика. Множество картин висело на стенах. Мебель кругом стояла новая, новыми были книги в книжных шкафах. Дворцовые люстры свисали с потолка. Алексею стало сухо.

Рита с металлическими серьгами, бусами и браслетами, стоя у накрытого стола, смеялась, а ее голубые глаза навывкате напряженно следили за мужем.

Алексей перевел взгляд с хозяйки дома на гостя, стоявшего рядом с нею. У гостя было симпатичное, открытое лицо. Он перехватил взгляд Алексея и подошел к нему.

— Мы с вами кончали один институт, только вы немного раньше. Рад познакомиться — Киселев.

— Это мой приятель, — сказала Тася.

Позвали к столу. Он был накрыт красиво и пышно, но еда была некусная. Саша понукал жену: «Рита, развлекай гостей», «Рита, почему гости мало пьют?», «Рита, никто ничего не ест», «Риточка, поздравляю, твой салат успеха не имел». Он торопил гостей: «Как, вы еще не съели?», «Кушайте, кушайте, у нас еще есть». Рита принужденно и громко веселилась; казалось, что она сейчас заплачет и убежит.

Саша был розовощекий, с начинающимся брюшком и плешью. озерцом сверкавшей среди прилизанных волос. Глаза у него были очень живые, лоб разрезали ранние морщины, а губы были толстые, и он ими постоянно шевелил, как будто шептал что-то. Он острил, провозглашал тосты, шумел, вскакивал.

Алексей смотрел на него и думал: неужели человек не знает, какой он противный? Но этот, конечно, не знал. Он был доволен собой, восхищен.

— Поднимаю бокал за влюбленных! — провозгласил Саша и оглядел стол. — Выпили, гости? — спросил он. — Теперь за меня, как за отрезжающего в дальние страны. Тэнк ю вери мах.

Были в хозяйне дома бойкость и развязность, ненавистные Алексею.

— Он едет в Аргентину. Он последний год все больше ездит. Пробился и пошел, — сказал Алексею Киселев. — Пробивной товарищ.

Тася была расстроена, видя, что Алексею не по себе в этой компании. Алексей сидел молча, думал о чем-то. Русая прядь волос все время падала ему на лоб, и он проводил по лбу и по волосам рукой даже тогда, когда это было не нужно, по привычке. Казалось, он отгоняет грустные мысли. Тася несколько раз посмотрела на него, но он не замечал ее взглядов.

Тася понимала, что он чужой здесь. Даже внешне он отличался от всех, он был самый высокий и самый загорелый. Он не смеялся вместе с другими, спокойно смотрел и слушал, но на его лице откровенно отражалась скука, желание уйти.

Одна из женщин за столом предложила выпить за «плавающих и путешествующих» и посмотрела на хозяина.

Саша, сверкая живейшими глазами, провозгласил шведский тост: «За меня, за тебя, за всех хороших девушек на свете!» Он произнес его по-шведски и перевел.

— Хороший тост? — спросила Тася.

— Плохой, — ответил Алексей.

После ужина, окончившегося полурастаявшим мороженым, которое гости сами носили из холодильника, Саша начал заводить пластинки. Он осторожно брал пластинки в руки из особенного, специального ящика и показывал гостям, главным образом той девушке, которая пила за путешествующих и которую звали Ларисой. Лариса смеялась. Саша брал ее за руку выше локтя и что-то ей шептал. А жена делала вид, что ей весело, и, подражая Ларисе, размахивала юбкой, открывая некрасивые, худые ноги.

— Уйдем, — сказал Алексей.

— Я сама хотела тебе предложить, — поспешно сказала Тася.

Киселев вышел вместе с ними. Возле подъезда стояла его машина, он предложил подвезти.

— Алексею Кондратьевичу не понравилась вся компания, — сказал Киселев.

Алексей промолчал.

— Хоть бы из вежливости возразил, — пошутила Тася. — Саша, конечно, вначале производит неприятное впечатление, но у него голова на плечах, очень талантливый человек.

— А-а! — Киселев затормозил на желтый свет. — Голова головой, Тасенька, руки должны быть чистые. Женщины часто за успех прощают то, чего прощать нельзя. Сашка умеренно талантлив, не надо преувеличивать. Но он страшный человек. Ему все мало, все хочет скорей, больше. Вещей, денег, званий. Женился, держится с женой, как подлец! А она еще поет, дура.

Киселев замолчал, потом продолжал:

— Тесть слабохарактерный: Сашка на него жмет бешено, а старик не может отказать дорогому зятю. Противно, конечно.

— На свете так много хороших людей, что незачем иметь дело с дрянью,— сказал потом Алексей, когда Киселев довез их, попрощался и уехал.— Что связывает тебя с ними? Я не говорю о Киселеве. Киселев мне понравился.

— Саша не такой уж мерзавец,— возразила Тася.

— Содержание подлости в человеке не выражается в процентах. Какая разница, такой или не такой.

— Он блестящий человек. В тридцать лет доктор наук!

— Блестящий? Это рыцари удачи. И их женщины, вроде Ларисы, такие же.

— Не говори больше ничего. Когда ты там сидел, я пожалела, что притащила тебя. Ты не будешь на меня сердиться? — медленно проговорила Тася и заглянула Алексею в глаза.

— Звездочка моя! — Алексей привлек Тасю к себе. — Все это для нас с тобой такая чепуха! Ты мне показала Сашу, я тебе — Валю, один другого стоит, будем считать, что мы квиты.

— Я люблю тебя,— сказала Тася раздельно и тихо.

Следующей ночью Алексей улетал. Улетал он не с парадного Внуковского аэровокзала, где все говорит о комфорте, о загранице и путешествиях, откуда столицы мира кажутся такими близкими, потому что голос диктора напоминает беспрерывно: «Приземлился самолет Стокгольм — Москва», «Производится посадка на самолет, следующий по линии Москва — Пекин». Мелькают тоненькие, хорошо причесанные стюардессы, эти вежливые представительницы неба, а в газетных киосках продают журналы с яркими обложками и свежие газеты на всех языках.

Алексей улетал со скромного Быковского аэродрома, откуда на восток страны улетают деловые люди, инженеры и рабочие, создающие нашу могучую промышленность. Самолеты здесь курсируют попроще, и зал ожидания обставлен не мягкими низкими креслами, а скамейками, и голос диктора не провозглашает громких названий городов мира.

И публика на этом аэровокзале выглядит иначе. Нет курортниц, иностранцев и важных командировочных, наделенных высокими полномочиями, а если они и есть, то незаметны, сливаются с деловой, скромной толпой. Многие у стойки не торопясь, с удовольствием выпивают перед полетом рюмочку коньяку и закусывают бутербродами с икрой или семгой. Отсюда вылетают люди привычные, еще недавно проводившие значительную часть жизни в полетах-перелетах из Москвы и в Москву, в главки, управления и министерства. А теперь кончилась эта жизнь, прекратила свое существование целая прослойка толкачей и выбивал, артистов этого дела, ценных своим знанием ходов и выходов в министерствах, и, может быть, в ту весеннюю ночь они со вздохом выпивали свои последние порции аэродромного коньяку. Совнархоз уже не то, совнархоз близко, в совнархоз на самолете не полетишь, дайте-ка еще коньячку с лимоном и пачку «Беломора»!

В скромном палисаднике пахло нарциссами и травой. Гудели самолеты, в небе плавали красные огни. путаясь со звездами.

Из репродуктора на столбе слышалась музыка, голос пел:

Потерял я Эвридику,
Нежный свет души моей,
Бог суровый, беспощадный,
Скорби сердца нет сильней.

— Как там? Пошел Махмутка-перепутка на мостик. Синей утке крошку, малиновой утке крошку,— сказал Алексей.

— Алеша,— сказала Тася отчаянным и решительным голосом,— я должна тебе рассказать. Это о прошлом, но ты должен знать.

Алексей остановил ее:

— Не надо. Я ничего не хочу знать, кроме того, что люблю тебя и хочу, чтобы ты была моей женой.

Тася посмотрела на него растерянно.

— А я думала...— сказала она и замолчала.

Не раз впоследствии она вспоминала лицо Алексея, твердое, нахмуренное, и повторяла про себя его спокойные, отстраняющие слова.

Они прошли в зал ожидания. И сразу услышали: «Пассажира Изотова просят пройти на посадку...»

Тася вышла с Алексеем на летное поле. Чувство утраты пронизало ее, когда она попрощалась с Алексеем и стала смотреть, как он идет к самолету. Словно уходило от нее что-то, что не вернется, что она не сумела удержать.

Алексей обернулся, помахал рукой.

В темноте ночи Тася увидела, как самолет поднялся в воздух и скрылся в небе, стал одним из красных уплывающих огней.

Глава девятая

Алексей в своей кочевой жизни привык к таким городам и любил их. Такие города закладывались в годы первых пятилеток, а строились по-настоящему уже после Отечественной войны. Возникали они возле крупных заводов, комбинатов, на месте какого-нибудь села, деревни, маленького городка, а то и вовсе на пустыре.

Вырастал современный город, и его называли социалистическим. Соцгород. Прямые просторные улицы-проспекты, площади и парки с деревьями, еще не дающими тени.

Строгая, продуманная архитектура, единый план. Выработался определенный стиль домов в четыре этажа, со светлой облицовкой и скверами во дворах.

По улицам пускали троллейбус, а трамвай ходил лишь из города на завод и бегал по окраине. Впрочем, и окраина не была окраиной в привычном смысле слова, с деревянными домиками, с переулками и тупичками, утопающими в лужах и грязи. На окраине также стояли современные дома, достроенные или недостроенные, и стрелы мощных кранов. Лужи и грязь были там, где еще не было асфальта.

Алексей оставил вещи в гостинице и ходил по городу. Было жарко, ветрено, и казалось, что неподалеку море. Но моря никакого не было, а в нескольких километрах протекала река.

Алексей остановился у киоска с газированной водой; там продавались банки яблочного соуса, ириски, поджаристые вафли, пахнущие детством. Попил водички. Побродил по центральной улице. Витрины магазинов были широкие, но пустоватые, пыльные, скучные. Дома же здесь стояли прекрасные.

В городском сквере вдоль дорожек были установлены стенды с портретами передовиков нефтеперерабатывающих и химических заводов.

У входа во Дворец культуры висело объявление, что вечером танцы, «играет оркестр». На соседней улице находился Клуб строителей, менее пышный, чем дворец, но тоже колонны, широкие ступени, серый и красный мрамор. Висело объявление, что состоится «Вечер вопросов и от-

ветов». И приписка сообщала, что вечер отменяется «ввиду малого количества вопросов».

Алексей засмеялся — никто не хотел задавать вопросы, все хотели идти на танцы.

Было воскресенье. По улицам гуляли люди, нарядно одетые, ходили медленно, занимая всю ширину улицы, семьями или компаниями. Женщины в шелковых платьях и разноцветных соломенных шляпах, дети в костюмчиках, с мороженым в руках. Отцы задерживались у киосков, пили пиво. Почти все здоровались, почти все были знакомы между собой. Останавливались, долго разговаривали, долго прощались.

Седой человек в холщовом костюме нес две плетеные сумки с картошкой, видимо с рынка. Лицо его показалось Алексею знакомым. Впрочем, многие лица казались знакомыми. «Нефтяники, — подумал Алексей. — Действительно профессия метит людей».

— Мне эти семьдесят пять рублей Настины прямо как сулема, — говорила девушка в красном платье своей подруге, в точно таком платье. И туфли у обеих были одинаковые, и сумки, и прически.

Пританцовывая и напевая, прошли местные стилиги, нестриженные безобидные мальчишки в сатиновых штанах и ярких галстуках.

Девушка в красном платье сказала своей подруге:

— Паразиты.

Группа китайцев с фотоаппаратами направлялась к Дворцу культуры. С ними были русские девушки. На углу под вывеской «Производится покраска обуви в любой цвет» сидела старуха в платке и большим пальцем красила все ботинки в коричневый цвет.

Алексей всматривался в проходящих, ожидая встретить кого-нибудь знакомого. На заводе, куда он приехал в командировку, он знал многих.

Сознание, что сейчас он обязательно кого-нибудь встретит, было приятным, и Алексей шел по улице, смотрел по сторонам и улыбался.

Навстречу шел Казаков, его старый друг. Высокий, большой, грузный. Бросился к Алексею.

— Дорогой, какими судьбами? Когда приехал? Вот я рад, рад ужасно.

Он с медвежьей грацией обнял Алексея, поцеловал. Всегда ироническое лицо Казакова сияло искренней радостью.

Вьющиеся смоляно-черные волосы падали на лоб, лицо загорелое. Крупный нос, крупные губы, густые брови, живые, блестящие черные глаза. Хорошо сшитый темный костюм не мог скрыть раздобревшей фигуры.

— Вот черт, толстый стал, — сказал Алексей, смеясь, — брюхо какое отрастил. Позор. А гимнастика?

Казаков похлопал себя по животу.

— Трудовая мозоль, дорогой. Сажу в кабинете, нажимаю кнопки, пишу бумаги. Руковожу.

— Да брось, не верю.

— Не верит, — усмехнулся Казаков. — Завтра увидишь.

— Я на твой завод приехал. Ты кем сейчас?

— Зам главного инженера. А ты? Ты, может быть, начальство из Москвы? Или как? С завода тебя ушли? Не женился? Как Лена? Идем на скамейку в сквере, присядем.

Они сели на скамейку в тени. Казаков скрестил большие руки на груди, сощурившись, посмотрел на Алексея.

— Да-а, дорогой.

Алексей постучал Казакова по коленке, тоже сказал:

— Да-а.

Алексей закурил, и Казаков закурил.

— Вот какие дела, дорогой,— сказал Казаков.— Ты почему сесть начинаешь? Ты же молодой.

— А ты почему такой толстый? — ответил Алексей.

Они засмеялись.

— Как завод? — спросил Алексей.

— Директор наш Терехов — мужик крепкий. Авторитетный. План выполняем. В общем, мы теперь солидная фирма.

Мимо двигались гуляющие. Казаков непрерывно кивал и ухмылялся. Пахло травой, землей, клевером, который розовел вокруг. В сквере еще не было клумб, аккуратно подстриженного кустарника, цветов, только трава и клевер и молодые, почти без листьев, деревья, лыком привязанные к колышкам.

— Прогуляемся к реке, поговорим, а потом ко мне,— предложил Казаков.

Они встали со скамейки и пошли.

— Как твои? Аня здорова? — спросил Алексей о жене Казакова.

— Сын большой парень стал! — Казаков заулыбался.— Огромный. отца перерос. Книжки читает с утра до ночи. Подлец. Лентяй.

— Аня?

— Здорова, работает, все в порядке,— ответил Казаков.— Город тебе покажу. Понастроили за эти годы, город растет, дома вполне приличные. А тебя что на заводе интересует?

— Каталитический крекинг.

— Как раз мое хозяйство.

— Молодец,— похвалил Алексей приятеля.— Какая производительность на крекингах?

— Слушай, друг, я тебя знаю, если я сейчас отвечу, я погиб. Ты меня говоришь. А я хочу знать московские новости. Хочу знать, как твоя сестра. Все такая же красавица?

— Какая она красавица! Растолстела.

— Замужем?

— Замужем. Муж — физиолог. Она — хирург. Сынишка у них.

Когда-то давно, в студенческие годы, Казаков был влюблен в Лену, но Лена едва ли даже знала об этом. Все были тогда молодые, Казаков был тощий, бледный юнец, увлекался балетом, футболом.

— Счастлива? Как хорошо,— добро проговорил Казаков.

— Лена молодец, к операциям на сердце подбирается. Недавно один француз был у нее в клинике и говорит ей: «Мадам, я видел много женщин, которые разбивают сердца, но женщину, которая их зашивает, я вижу впервые».

— Да, Леночка молодец,— сказал Казаков,— настоящий человек.

Маленький, толстый, лысый человек в украинской рубаше остановил Казакова.

— Привет. Еще вопрос. Мы закрыли, а вдруг у вас клапан не срывает?

— Ваше «а вдруг» невозможно,— смеясь, ответил Казаков.

Маленький человек скептически покачал лысой головой.

— Ой-ой!

Когда он отошел, Казаков пояснил:

— Хотим потушить факел. Эти факелы как бельмо на глазу, сам знаешь.

Алексей знал, еще бы. Это грех, который не скроешь, видно издалека невооруженным глазом. Даже сегодня утром, когда Алексей ехал с аэродрома, женщина в автобусе, увидев эти факелы, вскрикнула: «Ой, горит!», потом выяснила, что это такое, и возмущалась. «Какая бесхозяйственность! Газ зря сжигают! Небо отапливают!»

— Что ж,— сказал Алексей,— потушить факел — это дело государственное.

— Сказал в точности как наш директор,— засмеялся Казаков.— Он мастер такие слова произносить. А мне ты так не говори, у нас все дела государственные, других нет. Во всяком случае, директор решил во что бы то ни стало потушить факел. Значит, надо газ с факела спихнуть тэцовцам, а они отчаянно сопротивляются. То есть они согласны, ради бога, но... Тысяча «но»!

Маленький человек вернулся.

— Анализ газа вы мне когда дадите?

— Хуже вашего топлива не будет, можете не беспокоиться.

— Ой-ой! — скептически сказал маленький человек и пошел дальше.

— Тоже хитрый! — засмеялся Казаков.— Это их главный инженер, умный, черт! Но все равно придется им рано или поздно наш газ забрать. Заставим.

— Скажи лучше, куда мы идем, где река?

— А, тебе нужна река, старый друг тебе не нужен!

Через минуту они стояли на обрыве. Широкая городская улица с многоэтажными домами неожиданно и резко обрывалась, и дальше шел зеленый, поросший кустами шиповника, ромашками и лилово-розовым татарником крутой спуск к реке.

По реке двигались лодки, бежал юркий, веселый пароходик, на желтом песчаном берегу блаженно растянулись люди, рыболовы склонились у воды.

— Благодать! — Алексей сощурился, подставил лицо солнцу и подумал, как хорошо, если бы Тася была здесь, забрать ее от больного и, наверно, капризного отца, заставить целый день гулять, купаться, чтобы ее нежное лицо загорело, стало румяным. И было обидно сознавать, что это невозможно.

— Ох! — вздохнул Казаков.— А рыба у нас пахнет нефтью. Чего они ее удят, не понимаю. Есть все равно нельзя.

— Безобразия,— согласился Алексей, не в силах поддержать сейчас эту столь острую среди нефтяников тему.

— Вон завод,— показал Казаков рукой,— вон три этажерки, крекинги, это наш завод, рядом завод синтеза спирта, а туда дальше, вправо, строительство нового завода, а дальше строительство еще одного смежника, синтетическое волокно, а налево, ты не различишь, химический, вон катализаторная фабрика...— И двинулся от обрыва туда, где виднелась дорога вниз.

— Мощная картина,— проговорил Алексей.— Люблю.

По пыльной проезжей дороге спускались к реке люди, заиграл аккордеон, кто-то запел:

Он был задержан милиционером,
Потом с ним беседовал судья..

— Частушка-нескладушка! — засмеялся Казаков.— Вот так и живем.

Пробежали вприпрыжку босоногие девчонки в грязных платьях, с распущенными волосами, как маленькие несчастные ведьмы.

Подвыпившего парня в голубой рубашке бережно вели под руки две немолодые женщины и приговаривали: «Ну, Ваня!»

Человек десять, раздетые по пояс, с полотенцами, в соломенных шляпах, ехали вниз на старом разбитом грузовике. Поднимавшийся навстречу серебристый «ЗИМ» остановился. Из «ЗИМа» высунулся шофер. крикнул:

— Давай проезжайте, ребята!

— А это у нас «Волга»! — ответили ему с грузовика, и все засмеялись.

Вчера еще Алексей был в Москве. Прощался с Тасей. А сегодня он тосковал по ней, не забывал ни на минуту. «Что она сейчас делает?»

— Пойдем по тропочке, — сказал Казаков и повел Алексея в сторону от дороги.

Спускаться было неудобно, и Алексей удивлялся, зачем понадобилось неповоротливому Казакову в парадном синем костюме и щегольских серых туфлях идти, цепляясь за колючие кусты, а не спускаться широкой и отлогой дорогой. А грузный, потный Казаков шел, отдувался и хвалил природу.

— Ну скажи, что не красота, — говорил он. — Я тебя веду купаться туда, где нелюдное, прекрасное место.

— Тьфу, черт! — выругался Алексей. Он обжег руку о крапиву и вслед за этим запутался в мотке проволоки. — Куда ты меня, толстяк, тащишь?

— А здесь тропочка, — невозмутимо ответил Казаков, — и природа.

Их нагнала женщина. Казаков остановился, познакомил. Женщину звали Лидия Сергеевна, и была она высокая, полная, рыжеволосая, с яркими синими глазами и румянцем на крепких щеках. Оголенные руки, шея, ноги — все было крупное, крепкое, загорелое. Белое платье подчеркивало ее полноту.

— А я вижу, вы идете так медленно-медленно, решила догнать.

— Алексей Кондратьевич, мой старый друг, приехал к нам на завод, — сообщил Казаков. — Да, дорогой, а где ты теперь работаешь, я так и не понял.

— Трудновато было понять, если я еще не говорил. Во ВНИИ.

— А-а, институт, богоугодное учреждение! — сказал Казаков. — Как ты туда попал? Москвой соблазнился?

— Потом расскажу, Лидии Сергеевне неинтересно.

— Что вы, что вы, — сказала певучим голосом Лидия Сергеевна, — мне все интересно.

— Лидия Сергеевна завлабораторией и садовод, — сказал Казаков. — Как там ваши яблони, петрушка, морковка?

— Я, главное, клубнику сажала, — ответила Лидия Сергеевна и залилась краской.

— А яблони? — спросил Казаков и беспомощно посмотрел на Алексея. Потом подал руку Лидии Сергеевне, чтобы помочь ей перебраться через крапивное место. Дальше они шли, держась за руку, и вели разговор о яблонях.

— Яблони? Яблони не скоро вырастут — через шесть-семь лет.

— Так долго растут?

— Смотря какая яблоня.

— Цветут яблони красиво, — сказал Казаков, глядя в глаза Лидии Сергеевне.

— И вишни, — прошептала Лидия Сергеевна, — и вишни тоже.

«Что они гордят, ничего не понимаю», — сказал про себя Алексей.

— Вот река, можешь плавать, — бодро сообщил Казаков, — а мы тебе помашем с бережка. Здесь замечательное дно. Пляжа нет, а дно хорошее.

Лидия Сергеевна теребила кушак на платье, опустив рыженькие ресницы.

— Пляжа нет, а дно хорошее, — настаивал Казаков.

Эта случайная встреча была совсем не случайная, понял Алексей, они просто-напросто шли на свидание.

Когда Алексей вбежал в воду, ему сразу стало понятно, почему здесь не купаются. Дно было илистое и топкое. Он оглянулся на берег — и место здесь пустынное, и чертополоху здесь изумительно много.

А те двое не смотрели на Алексея, они сидели на пиджаке Казакова и разговаривали.

Алексей помахал им рукой. Влюбленных надо жалеть.

Возвращались в город вдвоем. Лидия Сергеевна ушла раньше, затопилась, просила ее не провожать, пригласила к себе в гости и ушла, почти убежала.

— Вот так, дорогой,— усмехнулся Казаков,— ты не подумай чего. Ничего нет. Женщина она чудесная и заслуживает счастья. Но поздно мы встретились, и уж гут ничего не поделаешь. Так вот, позволю себе иногда подержать ее за руку. Как вор. И всякий раз даю себе слово, что больше не буду.

-- Она замужем?

— Нет, живет с матерью и сыном. Одинокая женщина... Я женат,— помолчав, добавил Казаков.

Алексю это было известно. Он жалел приятеля. Он сам был счастлив, их любовь с Тасей была открытой, неомраченной.

— Факел мы погасим, уничтожим как класс. План будем выполнять. Могу поехать туристом в Индию. Вместо двухкомнатной могу трехкомнатную квартиру получить, а счастья... счастья получить уже не могу. Теперь уж буду жить для сына. А она, Лидия Сергеевна, надо думать, еще встретит кого-нибудь...

Казаков удрученно смотрел в землю.

— Все проходит. Это я тебе как другу признался в том, в чем себе не признавался.

Жена Казакова, Аня, была все такая же медлительная, немного вялая женщина, без возраста, какой была пять и десять лет назад и какой, наверно, ей предстояло быть еще долго. Она была искренне рада приходу Алексея, обняла его, поцеловала, оживилась, повела показывать квартиру.

— Нравится? — Она показала ванную с горячей водой, газовую плиту на кухне, кафель, паркет.

— Третьей комнаты не хватает,— сказала Аня.

— Человеку всегда не хватает одной комнаты и ста рублей,— заметил Казаков.

— Чем еще похвастаться? Только сыном могу, он скоро придет. Собой никогда похвастаться не могла. А Петя? Петя с утра до ночи на заводе, устает, сердитый стал, толстый.

— Аня,— перебил жену Казаков,— накрывай на стол. Мы голодные. Леша с дороги.

— Вот, вот,— беззлобно сказала Аня,— видишь, грубит. Только суп у меня вчерашний, предупреждаю.

Казаков побарабанил пальцем по столу. «Да,— подумал Алексей,— нелюбимая женщина всегда говорит невпопад».

— Я сейчас, только переоденусь.— Аня показала на свой длинный, развевающийся шелковый халат.

Казаков развел руками.

— Подождем. Ничего не поделаешь.

Алексей вспомнил, что Аня и раньше отличалась удивительной медлительностью, Казаков шуточно называл ее «моя неумеха». Молодость прошла, очарование исчезло.

— Рассказывай московские новости,— сказал Казаков.— Что там, на площади Ногина? Мы ведь привыкли за каждым гвоздем в Москву. Чуть что собираемся и едем. А то летим. Лететь даже лучше: несколько часов — и в Москве. А теперь, значит, Москва тью-тью!

Казаков расхохотался.

— Ты чего?

— Некоторые заскучали. Я сам не реже трех раз в год в Москву ездил, выколачивал то одно, то другое.

— Огорчаешься?

Казаков покачал головой.

— Я люблю работать. Могу обойтись без командировок в министерство.

Раздался звонок, появился сын, мальчик лет двенадцати, худенький, светлый, не похожий ни на мать, ни на отца.

— Ты где был, разбойник? — радуясь, спросил Казаков. Слово «разбойник» явно не подходило к аккуратному, большеглазому мальчику, который вежливо поздоровался с гостем и поцеловал отца в щеку.

— Мы с ребятами там,— невнятно объяснил мальчик, подошел к буфету, как бы интересуясь, что там лежит, погремел сахаром, схватил куклу булки и ловко выскользнул из комнаты.

— Теперь засядет читать до вечера,— торчливо похвастался Казаков.

Вошла Аня, стала накрывать на стол.

— Видел моего сына? — спросила она Алексея.— Трудный возраст сейчас у него. Не слушается ни меня, ни отца.

Аня обо всем говорила жалуясь.

— Выпьем за встречу,— сказал Казаков.— Я счастлив, что ты сюда приехал. Выпьем. Выпей с нами, Аня.

Глава десятая

Наутро Алексей проснулся в половине седьмого. Еще вчера Казаков куда-то звонил, договаривался, и Алексея перевели из той гостиницы, где он остановился, в другую. «Туда, где тебе будет хорошо», — как сказал Казаков. Это была маленькая, уютная гостиница, где, кроме Алексея, жили три человека.

— Пускачи,— объяснил Казаков,— не люблю пускачей.

«Пускачами» назывались специалисты пуско-наладочной бригады, приезжающие из Москвы для подготовки и пуска новых установок, в данном случае маслблока. На огромном Комаровском заводе все еще продолжали вводить новые цехи.

Алексей побрился, выпил чаю на кухне у дежурной и вышел на оживленную улицу. Толпы людей шли в одном направлении, к автобусной остановке. Матери и отцы торопливо вели заспанных ребятшек в детские сады. У подъездов стояли «победы» и «ЗИМы», ожидающие начальство. Город пробудился и отправился на заводы.

«А что, если бы мы с Тасей навсегда остались жить в этом городе?» — подумал Алексей и решил, что ему хотелось бы этого. Купили бы машину, ездили бы всюду вдвоем.

Казаков ждал Алексея на углу, где останавливался так называемый «замовский» автобус. Этот автобус был в распоряжении заместителей главного инженера, но на нем ездили на завод и другие заводские руководители.

— Замы,— с ехидством прошептал Казаков.— мальчики для битья. Знакомьтесь, друзья, Алексей Кондратьевич Изотов. Товарищ из Москвы, научный сотрудник института, прибыл на наш завод, будет заниматься

каталитическим крекингом. Прошу любить и жаловать,—громко говорил Казаков, обращаясь к группе людей, среди которых Алексей узнал Лидию Сергеевну.

Алексей пожимал руки. «Завлабораторией, начальник производственного отдела, главный энергетик,— называл Казаков,— главный механик». Последнее было произнесено с ударением, и Алексей посмотрел внимательно на невысокого, худощавого человека с красивым надменным лицом и яркой прядью седых волос.

— В общем, дорогой, ты сейчас все равно всех не запомнишь, я тебе назову главных, с кем тебе придется иметь дело и кто тебе будет чинить препятствия и устраивать неприятности. С Лидией Сергеевной ты уже знаком. Она консерватор и задерживает внедрение нового аппарата для разгонки. Но она хорошая женщина, и ей прощают то, что в лаборатории не ведется исследовательская работа, и многое другое.

Лидия Сергеевна улыбнулась Алексею, улыбнулась всем.

Пассажиры, ожидавшие автобуса, особого внимания на Алексея не обратили: научных сотрудников из разных городов на заводе видели немало и относились к ним, как к неизбежности. Алексей был еще один научный сотрудник, ну и ладно.

Подъехал автобус. Разбитной шофер с повадками любимца публики открыл дверцу, уступил свое место за баранкой кому-то из инженеров, а сам всю дорогу комментировал рытвины, вздыбившийся асфальт и пыльные объезды, которыми изобилует путь к заводу.

Дорогу ругали все, это была главная тема в автобусе.

— Это вам предстоит слушать каждое утро и каждый вечер,— с улыбкой сказала Алексею Лидия Сергеевна.

Ругаться начали с первого толчка, за которым последовало множество других.

— Каждый год чиним, починить не можем...

— Эх, дорожка фронтальная!

— ...Помирать нам рановато...

— Внимание! Спокойствие! Проехали!

— Эта дорога не простая, эта дорога золотая,— обратился к Алексею главный механик.— Если ее выложить из чистого золота, то дешевле обойдется, чем бесконечные ремонты.

— Дороги наши российские!..

— Внимание! Яма! — резвился шофер.

— Дали бы бетон на полметра, была бы дорога, а не ремонты,— сказал главный механик и сморщил нос, как будто собирался чихнуть, но не чихнул.

— Нам еще ничего,— сказала Лидия Сергеевна,— у нас свой автобус, а вы бы поездили, как люди ездят.

— Вот так они будут брюзжать всю дорогу, Леша, и на тебя ноль внимания,— сказал Казаков.— А тут дело очень простое. Для нас главное — производственная площадка, быстрее, быстрее, завод дал первые тонны нефти, ура, да здравствует. Что государственные денежки на ветер летят, это неважно. Завод дымит — и все в порядке, а подъездные пути потом. И вот дорогу делаем и ремонтируем, делаем и ремонтируем. Противно говорить. Алеша, знакомься дальше, этот молодой человек, белобрысый, с нахальным выражением лица,— это Григорьев-электрический, главный энергетик, большой бюрократ. У нас есть еще Григорьев-механический, Григорьев-водяной, но Григорьев-электрический из них самый примечательный человек. Большой формалист, несмотря на свою молодость.

В автобусе все засмеялись. Сегодня Алексей узнавал приятеля с его балагурством, веселостью, насмешливостью. По воспоминаниям Алексей

знал, что шутки Казакова вовсе не беззлобны. Вот и Григорьев-электрический кисло улыбался.

— Хотя какое отношение на нашем заводе к главному энергетнику? — продолжал Казаков. — Дай пар, дай горячую воду, воздух, электричество — и катись.

Григорьев засмеялся первый.

— Правильно! — сказал он. — У нас гораздо больше ценится умение играть в преферанс, чем умение давать пар.

Это был злой намек. Казаков не ответил, усмехнулся.

Лидия Сергеевна тронула Алексея за рукав.

— Вон завод, — показала она, — здание дирекции. Мы приехали.

Водитель, вернее тот, кто его заменял, с шиком развернулся и остановил автобус у подъезда. Широкий вход обрамляли колонны, оранжевые настурции свисали из круглых каменных ваз, цветы были высажены вдоль всего здания заводоуправления.

— Все живые-здоровые? — осведомился настоящий шофер.

А тот, кто его заменял, вытер руки, гуднул, помахал рукой и ушел быстрыми, широкими шагами на завод.

Алексею нравилось, что все загорелые, веселые, переругиваются, сейчас разойдутся по кабинетам и цехам.

Черноволосая девушка-охранница с винтовкой, туго перетянутая широким солдатским ремнем в талии, неприступная, как изваяние, проверяла у ворот пропуска. Шоферы сигналили, шутили, кричали, поторапливали охранницу. Рядом из проходной выходили рабочие, шурились на солнце, останавливались возле щита, где были вывешены результаты истекших суток: на первом месте цех номер три, на последнем — цех номер восемь. «Стыдно товарищу Рыжову за грязь на территории цеха!» Комсомольцев призывали на борьбу с потерями нефти и нефтепродуктов.

Все обыденное, привычное, но Алексей смотрел с интересом, и даже фамилии невольно оставались в памяти.

— Какой это цех восьмой? — спросил Алексей.

— Это и есть каталитический крекинг, начальник цеха — Рыжов, колоритная фигура, — ответил Казаков. — Ты с ним наплачешься. Старый сгонщик, никого на заводе не боится.

Лидия Сергеевна засмеялась.

— Рыжов на весь завод один.

— Идемте, товарищи, — сказал Казаков, — довольно прохладиться. Мой друг Алексей Изотов — редкое явление в нашем деле. Нефтяник-философ. С ним будет так: сперва он будет смотреть по сторонам, потом будет смотреть себе под ноги, сопеть, а потом предложит весь завод перестраивать. Так что мы с ним еще хлебнем горя, попомните мои слова. А сейчас пошли, работать надо.

Алексей поддержал Лидию Сергеевну за локоть, помог подняться по ступеням заводоуправления.

Они шли по коридору мимо открытых и закрытых дверей с табличками: «Диспетчер», «Главный технолог», «Зам. директора».

— Сперва пойдем к парторгу, потом к директору, — почему-то шепотом сказал Казаков и поздоровался с человеком, который медленно шел им навстречу. Не шел, а шествовал. Его загорелое, как у всех здесь, коричневое лицо было хмурым, губы сжаты, чуть обвислые щеки подрагивали на ходу. Хмурым человек кивнул, а когда он удалился на достаточное расстояние, Казаков сказал: «Директор».

Одет был директор в какое-то уродливое холщовое одеяние, которое особенно странно выглядело по сравнению со щеголеватой одеждой сотрудников заводоуправления.

— Видал? — шепотом спросил Казаков. — Во мужик! Все вопросы решает с ходу.

Алексей недоверчиво усмехнулся и заметил:

— Все вопросы с ходу решать не обязательно.

— Для директора? Обязательно!

Алексей пожал плечами.

Лидия Сергеевна скрылась в двери с надписью «Диспетчер». Алексей с Казаковым вошли в приемную.

Приемная была просторная, солнечная, застланная широкими коврами дорожками. На кожаном диване, развалившись, сидели начальниковы шоферы в голубых шелковых теннисках, обсуждали жилищные вопросы. Молоденькая секретарша поднимала трубки телефонов, что-то диктовала, что-то записывала. Уборщица поливала цветы на окне, студенты-практиканты толпились у стола секретарши, сиротливо протягивали ей бумажки с печатями.

Казаков огляделся и, переваливаясь, медвежьей походкой, подошел к столу секретарши, всем телом навалился на телефон, схватил телефонную трубку, вызвал какой-то номер и заорал.

— Смотреть нечего, получать надо! — гудел он, перекрывая рассуждения шоферов, мольбы студентов и генеральские распоряжения нарядной секретарши. — Сколько? Сколько? Я знаю, как ты руководишь. Что это мы все разговариваем? Я разговариваю, ты разговариваешь, а кто будет машиной заниматься? Бытовщица, что ли, тетя Маша твоя?

Казаков хлопнул трубку на рычаг. Секретарша сердито отодвинула телефон, но ничего не сказала.

— Вы к кому, товарищ? — спросила Алексея секретарша.

— Отметь пока командировку, Леша, — посоветовал Казаков. — Напиши ему пропуск, Ирочка, главный инженер подпишет. Пока на месяц, а там видно будет.

Секретарша кивнула. Ее хорошенькое лицо было бесстрастно, как фотография, мелкие, круто завитые кудерьки дрожали и покачивались. Практиканты все еще стояли у стола молча и смиренно, опустив свои бумажки.

— Что у вас? — обратился к ним Казаков.

— Да я сейчас им все сделаю, товарищ Казаков, — пропищала секретарша.

— То-то, — буркнул Казаков, — а то держишь людей.

Шоферы пересмеивались. Они были в сложных отношениях с секретаршей.

— Слушай, Леша, зайдем на минутку ко мне, а потом займешься своими делами. Тебе пока пропуск сделают, оставь свой паспорт. А-а! — свирепо загудел Казаков, увидев вошедшего молодого долговязого человека в ковбойке. — А-а, попался, идем-ка со мной.

Молодой человек в ковбойке подался назад, к дверям, намереваясь улизнуть, но Казаков крепко схватил его за плечо и потащил за собой. Шоферы на диване захохотали, они знали, в чем дело. Они всё знали.

В кабинетике Казакова, маленькой комнатке, где помещался стол, шкаф и два-три стула, так же ясно светило солнце и ветер доносил сложные химические запахи. Алексей наклонил голову, потянул носом, пахло мятой и миндалем.

— Петр Петрович, я могу идти? — спросил молодой человек в ковбойке, делая скучное, дурацкое лицо и кося глазами на дверь.

— Не-ет, дорогой, ты садись, — ответил Казаков, — ты садись, кури.

— Не курю и не курил никогда. Мне идти надо.

— Говори начистоту, они тебя купили?

— Не покупал меня никто. Чего меня покупать? — ныл парень, пытаясь скрыть улыбку и отворачивая хитрые белесые глаза.

— Врешь! Я тебя покупал! — загремел Казаков.

Нетрудно было догадаться, что разговор касается спортивных дел. Этот белоглазый — какой-нибудь вратарь, а Казаков — старый футбольный болельщик, честь завода и так далее.

Казаков по-настоящему сердился и расстраивался.

— Им, значит, чемпионов будут подавать на тарелочке, а мы будем спокойно смотреть. А ты хорош, тебя завод вырастил, выучил, а ты заводом не дорожишь. Готов бежать. Чем они тебя соблазнили?

— Честное слово, Петр Петрович, ничем. Мне до ихнего завода ближе, почти пешком можно дойти, а сюда пока доедешь по нашей дорожке, семь потов сольет. Условия не созданы.

— Эх ты, «дойти»! Учили тебя!

— Я вообще правильно говорю, а сейчас от волнения и вашей несправедливости...

— Что ж, прикажешь тебе машину дать? Персональную? «Условия не созданы!» Слушать стыдно!

— Я могу остаться.

— Мы тебя не держим. Мы нового центра нападения создадим, а тебе будет стыдно против своего завода играть. У нас вон Бирюков, какой центр нападения растет, дай бог каждому. И работник образцовый. Не пропадем. Будь здоров. А ты не спортсмен, ты торгаш. Подумаешь, умеет по мячу бить!

— Петр Петрович, — взмолился футболист, — я останусь, не ругайте меня так. Только мне квартира другая нужна, у меня прибавление семейства ожидается скоро.

— Квартиры не я даю, цех распределяет. Тебе уже давали.

— Знаю, дали, — согласился парень. — Комната-десятиметровка.

— А у нас еще есть живут в сараях, на подселениях, чуть ли не в будках. Иди, брат, и подумай над собой, пока не поздно.

— А ты говоришь, я плохой администратор, — обратился Казаков к Алексею, когда за парнем закрылась дверь.

— По-моему, ужасный, — засмеялся Алексей.

— Давай перекурим это дело, — предложил Казаков.

Пока Казаков объяснялся с футболистом, дверь в его кабинет несколько раз открывалась. Заглянула Лидия Сергеевна и тихо притворила дверь. Главный энергетик зашел, сказал Казакову: «Улучи время, спустись ко мне». Звонил телефон, приносили бумаги на подпись.

— Идем, мне в цех пора, от телефона подальше, — сказал Казаков.

— Ты хвастался, что ты теперь из кабинета руководишь.

— Руководу из кабинета не хуже других, а как же... — И Казаков с видимым удовольствием повернул ключ в дверях своего кабинета, оставив его торчать снаружи. — А ты к Баженову иди, к парторгу. Я думаю, ты сумеешь договориться с ним, он тебя поддержит. Хочет, чтобы было лучше, чем есть, и думает, когда говорит.

— Я с ним встречался на ярославском заводе, когда практику проходил. Он там работал, молодой был.

— Идет время! — проговорил Казаков.

Казаков потрохал по лестнице вниз, крикнув: «Освободишься, приходи ко мне, обедать будем в половине второго!» Алексей пошел к парторгу.

Парторг Баженов был для Алексея человеком, с которым «когда-то встречались». А это для нефтяника-переработчика не пустые слова, они

означают, что вместе пускали установку, цех, осваивали новый процесс или из старого выжимали что можно и нельзя. Вместе волновались, не спали, несли вахту, а то и гасили пожар, потому что, как известно, «нефть загорается, а водород взрывается».

Баженов был молодым инженером, когда Алексей проходил студенческую практику. Баженов тогда бился над одним сложным и токсичным процессом. Нужно было дать новое масло двигателям. Когда наконец наладили процесс, масло не смогли откачать: отказал насос. Алексей в этой работе по молодости не участвовал, только наблюдал и восхищался упорством и какой-то тихой настойчивостью Баженова. Но насос помог наладить, это была дорогая сердцу Алексея механика, он догадался, в чем загвоздка, насос стал качать. Тогда еще шесть коров отравились, попили случайно водички, которая приятно пахла. Скандал поднялся из-за этих коров, тихого Баженова замучил следователь. Алексея тоже вызывали. Он сказал следователю: «Такое важное масло мы получаем, а вы шесть коров пережить не можете». А на вопрос, кто виноват, Алексей ответил: «Коровы виноваты».

Баженов был подтянутый человек с очень светлыми глазами на загорелом лице. Загар был красноватый, как у всех светлокотких, светловолосяных людей. Волосы его выгорели добела. Он встал, вышел из-за стола, крепко пожал Алексею руку. Его движения отличались простотой и сдержанностью физически тренированного человека. Годы прибавили значительности его лицу.

— Как теперь вас величать? — спросил Баженов, с радушием глядя на Алексея. — Вспомнил: Алексей Кондратьевич. Изотов. Так что, коровы виноваты?

Значит, он тоже помнил.

Баженов указал на кресло у стола. Алексей сел.

— Давно это было.

— Давно, — согласился Баженов. — Помните, как вы насос наладили? Я вас часто вспоминал, мне интересно было, что из вас получилось, из студента-мальчика.

— Получился дядя, — ответил Алексей.

— Потом вдруг узнаю, что вы директором на одном из заводов комбината. Вот так мальчик-механик! Не ожидал. Ну, думаю, какие штуки в жизни не бывают! Один в одну сторону идет, другой в другую, вверх, вниз. Судьбы у людей неожиданные. А сегодня вдруг вы здесь...

Баженов сидел за столом прямо, не позволяя себе ни откинуться на спинку кресла, ни прислониться к столу. Держал в пальцах папиросу, как будто собирался спросить у Алексея разрешения закурить. На письменном столе у него был порядок, пачки справочников, пачки бумаг. И Алексей, который любил сидеть на стуле развалясь и вытягивать ноги вперед, выпрямился, одернул пиджак, вынул из кармана блокнот, собираясь докладывать, зачем он приехал на завод.

Баженов остановил его.

— Алексей Кондратьевич, извините за нескромность, что заставило вас стать простым научным сотрудником? Какие-нибудь особые обстоятельства? Или вас прибило к тихой гавани после больших дел?

Вопрос был задан дружески, но это была пилюля. Не первая, слава богу, за то короткое время, как Алексей стал «простым научным сотрудником». Казаков тоже недоумевал и шумел. Но Алексей был убежден, что поступил правильно.

— Институт дает мне возможность заниматься моей темой, — сказал Алексей.

— А чем вы хотите заниматься на нашем заводе? — мягко спросил Баженов.

«Он меня жалеет, черт возьми,— подумал Алексей.— Чепуха какая-то».

— Повышением производительности каталитического крекинга,— отчеканил Алексей.

— Что ж, добро.

Нужно бензина выпускать больше. И нужно, чтобы он был лучше. Сделать это предстоит на существующих установках, на трех громадинах, которые были видны из окна кабинета Баженова и которые Казаков показывал Алексею с обрыва. Вот, грубо говоря, в чем состояла техническая задача Алексея на заводе.

На заводе об этом тоже думали и... делали. Разумеется, делали, ведь не ждали, пока приедет из Москвы товарищ Изотов. Делали и будут делать. Однако...

— Скрытые мощности — коварная штука. Вы их вскроете и уедете победителем,— сказал Баженов,— а цеху немедленно увеличат план.

Да, надо помнить, что на заводе один могущественный бог — план. Если план выполнен и немножко перевыполнен, только немножко, все хорошо. Это премии, благополучие и веселое настроение всех, от начальника цеха до уборщицы.

— Начальник цеха сто раз передовой, он хочет выполнять план и может оказаться против новой техники. А вы явитесь нарушителем спокойствия, не так ли? — Баженов засмеялся. Он вспомнил начальника цеха, с которым будет работать Алексей.

— Прогресс неодолим,— заметил Алексей.

— Бесспорно. Я лишь говорю о трудностях, с которыми вы столкнетесь. А может быть, и с сопротивлением.

Алексей улыбнулся.

— И все же прогресс неодолим.

— Видите ли,— сказал Баженов,— всякая реконструкция — это ломка. Всякая ломка болезненна. Рабочий, привыкший к определенной системе работы, поддержит реконструкцию, если она будет доведена до конца и даст видимые и ощутимые результаты. К сожалению, мы часто начинаем и бросаем и тем самым порождаем настороженность и недоверие.

— Это правильно, — сказал Алексей.— Вам остается только поверить, что другой задачи у меня нет и не будет.

— Вы человек настойчивый,— рассмеялся Баженов,— и я в вас верю. Еще с тех далеких времен. А что такое повышение производительности труда — это мы все хорошо знаем.

— Я тебя жду! — крикнул Казаков, занимавший весь просвет в двери своего кабинета.— Пора обедать!

Алексей стукнул его по плечу.

— Я готов, старик.

— Что Баженов?

— Встретил хорошо, немножко припугнул.

— Понятно. А я голодный как дьявол. Утром меня покормили очень слабо,— пожаловался Казаков.

Они вышли из заводоуправления на мягкий от жары асфальт. У Казакова был вид человека, который не знает, то ли ему лечь спать, то ли пойти в кино, то ли выпить кружку пива.

Он окликнул кого-то.

— Тима, как вчера?

— Хозяин проиграл. А ты что же?

— У меня друг приехал.

— Преферансисты наши,— пояснил Казаков.— Скажу тебе, мы с директором заядлые преферансисты. Ты не начал играть?

— Нет.

— Эх ты! — разочарованно протянул Казаков.

Столовая представляла собой маленькую комнату, где было четыре-пять столиков, покрытых голубоватыми крахмальными скатертями. В углу стояло старое, с подзеркальником, зеркало, отражавшее широкие спины обедавших.

В комнате было тихо, негромко позвякивали приборы о тарелки, негромко переговаривались обедающие. Притих и Казаков.

Алексей не сразу увидел, что в углу, один за столиком, обедал директор. Вот я ем лук со сметаной, казалось, говорил директор, вот сейчас я буду есть окрошку с луком, потом отдельно сметану, потом компот, то есть я сейчас на ваших глазах делаю то же, что и вы, но боже вас всех упаси помешать мне, зашуметь, заговорить между собой или обратиться ко мне с каким-либо делом или вопросом. Я обедаю.

У директора было бульдожье, смуглое и значительное лицо, усталые, хмурые глаза, мешки под глазами, волосы, не поддающиеся гребенке, пухлые руки. Он не был старым, но его возраст определить было трудно. Может быть, ему не было и сорока лет. Было видно, что спортом он не занимался, тело его в помятом сером костюме с широкими рукавами было грузным.

Он был важным, он хотел быть важным, это было ясно.

«Если ты умеешь руководить заводом, то на кой черт тебе такая важность?» — иронически подумал Алексей.

Принесли винегрет, любимое блюдо Алексея со студенческих лет. Винегрет пахнул огурцами, засоленными в бочках, был заправлен подсолнечным маслом и уксусом, и хлеб был свежий, ноздреватый, нарезанный большими ломтями. Алексей с удовольствием начал есть, а когда принесли окрошку и Алексей посмотрел в угол, директор прикладывал салфетку к губам и поднимался со стула. Он медленно поднялся, медленно пересек крошечную столовую и удалился.

В это время со двора послышались удары, размеренный стук железа по железу.

— Шаги командора,— сказал Казаков.

Все громко засмеялись, как смеются после вынужденного молчания. И заговорили, зашумели, столовая сразу стала похожа на автобус, в котором утром ехали на завод.

— Олечка, еще винегрету,— попросил главный энергетик.

— Эх, пивка бы холодненького,— сказал Казаков.— Олечка, раздобудьте.

— Нету пива, есть лимонад и минводы,— ответила дебелая официантка, которая тоже стала разговаривать, шутить, быстрее бегать с тарелками, предлагать блюда.— Есть творожок со сметаной, хотите? — спрашивала она у всех.— Свежий, с ледника.

Еще входили люди. Теперь все места были заняты.

— Чертежи даются по ходу пьесы,— высоким голосом говорил человек в голубой куртке на молниях.

— Неизвестно, сколько действий в пьесе,— громко сказал Казаков и шепнул Алексею: — Наш дурачок академик.

Алексей улыбнулся.

«Академик» стоя допил компот, надел темные очки и ушел.

— Когда я просился в академию, мне сказали: «А работать кто будет?» — сказал Казаков.

Все опять засмеялись. Нефтяная академия, куда посылали на усовершенствование, была неисчерпаемой темой для шуток. Склочников,

дураков, чересчур обидчивых пытались сплавить с производства в академию. Академию недавно закрыли, но вспоминали ее по-прежнему.

В дверях показался Баженов, увидел, что много народу, помахал приветственно рукой и ушел.

— Здесь есть место, позови его, — сказал Алексей Казакову.

— Он пошел обедать в общий зал, — ответил Казаков. — Ему все равно, где обедать.

Глава одиннадцатая

Нефтеперерабатывающий завод — это прежде всего трубы, белые и черные, широкие и узкие, одни низко над землей, другие подняты высоко, сотни километров труб, в некоторых местах они стягиваются в замысловатые пучки и расходятся дальше по сложному и необозримому плану. Под землей труб еще больше, фантастическая паутина.

Завод поражает своей мощью и красотой. Огромные, высоченные колонны, множество странных, необычных на вид сооружений, гигантские серебряные резервуары различных форм, вплоть до совершенно круглых, и все это располагается не в дымных, закрытых, низких цехах, а привольно раскинуто, открытое, белое, сверкающее под голубым небом на зеленой травке, обвеваемое ветрами, обмываемое дождями.

Кругом безлюдно — характерная особенность современного нефтеперерабатывающего завода, на аппаратных дворах мелькают два-три человека. Но люди есть, и пока еще немало, и для них-то и развешаны, прибиты, нарисованы многочисленные предупреждения: «Кури только в специально отведенных для этого местах», «Отбей пробу только в рукавицах».

Плакатов, предупреждений, правил и лозунгов очень много. Некоторые устрашающи. Почти все начинаются словом «Помни!». Почти все наглядно показывают, что неосторожность ведет к взрыву, пожару, отравлению, гибели. В сотнях вариантов сообщается, что «нефть загорается, а водород взрывается». Помни, помни, где ты находишься, помни, помни, помни.

Энтузиазма по поводу реконструкции, предложенной Алексеем, в цехе каталитического крекинга не было.

Алексей понимал: цех выполнял план как надобно, на все сто два процента. Это не всегда удавалось, но к этому стремились. Это сулило безмятежность, насколько она возможна среди огня и газа. Жизнь текла спокойно. Но это было нехорошее спокойствие.

То, что называется «увеличить производительность», в каждом случае означает разное. Для каталитического крекинга это означало брать хуже сырье и давать при этом больше бензина высокого качества, с высоким «октановым» числом, как говорят техники.

«Дадим стране больше бензина!» — висели лозунги на заводе. Комсомольцы следили за тем, чтобы эти лозунги хорошо висели, чтобы их не мочил дождь, не срывал ветер. Комсомольцы ходили по заводу и подставляли баночки и подносики везде, где можно было предположить потери нефти и нефтепродуктов. Эти баночки сберегали государству тысячи рублей. Так экономил хозяйский глаз.

Инженерная мысль Алексея искала резервы в главном, в самих установках, которые должны были работать интенсивнее, должны были «увеличивать производительность».

Существующие понятия проектной мощности в действительности, когда машина из рук творца — человека, создающего ее, — переходит в руки, теплые, живые руки другого человека, который будет ею поль-

зоваться, почти всегда рушатся. Оказывается, тот, кто создавал и строил, запрятал в глубь своей машины то, что называется запасом прочности. Иногда это называют еще скрытыми мощностями. Ни в каких проектах этого нет. И тот, кто взял эту машину, непременно найдет секрет, если будет искать, конечно.

А он будет искать, в этом можно не сомневаться...

Алексей каждый день ходил в цех, часы проводил в операторной, смотрел по приборам, как работает установка. Он почти ничего не спрашивал, ходил, изучал вахтенный журнал, записывал. К нему привыкли. К его сосредоточенному молчанию, к его высокой фигуре в сером комбинезоне. Он лазил по установке повсюду, смотрел собственными глазами, трогал собственными руками. Он любил запахи масла, горячего металла, мазута. Он поднимался высоко, на десятый этаж крекинга, откуда был виден весь завод и дальше река, лес, поля, и там обдумывал свои предложения, даже писал, прислонясь к ржавым перилам.

В операторной была постоянно сухая жара и усыпляюще стрекотала аппаратура. Алексей оставался и с вечерней и с ночной вахтой, хотя потом признавался себе, что в этом не было необходимости.

Начальник цеха Рыжов, плотный, коренастый человек средних лет, с острыми, дерзкими глазами, крикун, сквернослов и скандалист, известный рыболов и охотник и, как говорили одни, «молодец», другие — «сукин сын и разбойник», обращался с Алексеем вежливо и осторожно.

Казаков смеялся:

— Если Рыжов с тобой такой вежливый, будь начеку.

А сам Алексей однажды слышал, как Рыжов сказал о нем своему старшему инженеру Крессу, тихому человеку с детской улыбкой:

— Ходит здесь, шпионит. Ты его не задевай.

Говорить это самому застенчивому и безобидному человеку в цехе было по меньшей мере смешно. Кресс не только никого не мог задеть, он сам был совершенно беззащитный человек, не от мира сего, из тех, кого забывают включить в списки на награждение, кто в отпуск уходит зимой, а не летом и все блага при распределении получает в последнюю очередь. Кресс не умел постоять за себя, только моргал глазами, большими, черными южными глазами на личике, похожем на кулачок, и улыбался. Долгое время он жил чуть ли не в подвале и никому не жаловался, ничего не просил, даже скрывал это обстоятельство, пока Рыжов не проведаль и не помог инженеру с квартирой.

С тех пор Рыжов никому не давал Кресса в обиду, заботился о нем, как нянька. Злые языки говорили, что он неспроста так держится за Кресса, у Кресса золотая голова, и это не Кресс спокойно живет за широкой спиной Рыжова, а, наоборот, Рыжов припеваючи живет за Крессом. Рыжов был практик, хотя и старый и опытный, а современная техника — это современная техника, тут глоткой и нахальством не возьмешь. Тут думать надо, а думает у Рыжова Кресс.

Крекингом нефти, производством бензина занимался Кресс, и в этом на него можно было полностью положиться. А Рыжов тем временем перекрашивал все строения своего цеха в розовый цвет, чтобы его хозяйство было далеко видно, чтобы выделяться среди других, красивших стены в менее игривые цвета. Рыжов занимался бытовыми делами, интересы своих рабочих он защищал громко и свирепо, даже когда это было совершенно не нужно. Рыжов ругался с ремонтниками, требуя ускорения ремонта, с главным механиком они были злейшие враги. Рыжов добивался собственной ремонтной службы при цехе, вне подчинения главному механику.

В субботу Рыжов старался пораньше удрать с завода, торопясь на рыбалку. Он мог рыбачить спокойно, знал, что Кресс и в воскресенье приедет из города на завод посмотреть, как идут дела.

С потерями нефтепродуктов Рыжов боролся хуже всех, об этом сообщала комсомольская «Молния», висевшая перед воротами завода. Посадками деревьев Рыжов тоже плохо занимался, а цветы на территории его цеха вовсе не росли. И это несмотря на строжайшее распоряжение директора об озеленении завода, несмотря на многочисленные лозунги и призывы «Создадим завод-сад!», несмотря на энергию и старания комсомольцев, которые этим занимались.

— Я не Потемкин, — острил Рыжов у себя в кабинете перед Крессом, Алексеем и Казаковым. — Зачем я буду сажать цветы, туды их растуды, когда у меня еще сто дыр незалатанных?

— А все-таки, дорогой, — вмешивался Казаков, — там у тебя будка такая страшная стоит, ты ее убери. Несolidно.

— Что, я ее на себе увезу, что ли? Трактор пришли.

— Пришлю.

— А где я буду инструмент хранить? Я же к себе слесарей забираю.

Это была навязчивая идея Рыжова — создать собственную бригаду ремонтников, не зависеть ни от кого. Но пока что ему этого никто не разрешил.

— Нет же у тебя пока слесарей, — сказал Казаков.

— Вот что, дорогие начальники, вы своими высокими подписями приказы визируете, а потом сами эти приказы не выполняете. Так нельзя, дорогие товарищи, — запальчиво говорил Рыжов.

Кресс своими круглыми влажными глазами, не отрываясь, смотрел в разбойничью рожу начальника цеха и улыбался, приоткрыв рот. В Рыжове было все то, чего не хватало Крессу.

Постучав, вошел механик Митя, молодой парень в соломенной шляпе яично-желтого цвета, в клетчатой рубашке со свежими пятнами мазута. На заводе было особым шиком ходить таким перемазанным, в клетчатой рубашке и в соломенной шляпе.

— Я приказал собрать слесарей, — загудел Рыжов.

— Я дал указание, — ответил механик.

— Если бы вся соль была, чтоб дать указание... — сладко и грозно сказал Рыжов. — А почему у тебя рабочие бросили инструмент и ушли?

— Я не знаю, — ответил механик.

— А почему я знаю?

— Вы начальник, вам доложили.

— А тебе почему не доложили?

Молодой механик тряхнул чубом, налился краской и сказал:

— Вам легко говорить, а мы делаем.

— Я тебе прощаю твои дерзости, — величественно произнес Рыжов, — потому что ты еще мальчик, дитя природы. Сын степей.

— А вон слесаря идут, — радостно, желая выручить механика, сообщил Кресс. — Идут все как один.

Но Рыжову еще было мало, он продолжал:

— Я ведь твою работу знаю, я в твоей шкуре был. Ты с механиками, со слесарями сжился, ты для них Митя. Вот тебе и не доложили, вот ты и потерял бразды правления. Вот мы уже и рабочих собрать не можем, когда нам надо. Он тебе завтра насос остановит, а ты будешь ходить в своей шляпе.

Кресс сказал:

— Никто ничего не остановит, отпусти человека, работать надо.

— Вот я и говорю, надо выполнить тот объем, который я указал, а торжественного собрания для этого не надо.

И генеральским жестом Рыжов отпустил механика. Он очень любил такие спектакли.

В цехе заметили, что в присутствии Алексея начальник становится особенно буйным, показывает свой нрав.

Вот вошел тощий человек со свисающими на лоб волосами и сказал уныло:

— Дайте людей. Восемь человек.

— Идите жалуйтесь на меня директору, восемь человек я выделить не могу. Приказ, который вы мне сейчас начнете тыкать, писался год тому назад,— с каким-то адским весельем в голосе начал Рыжов.

— Если не восемь, дайте четыре,— сразу сбавил проситель.

— Что ж мы будем рядиться? Я не могу остановить производство.

— А другие цеха дали. Что они, хуже вас?

— Хуже. Ведь не директор писал этот приказ, а вы его готовили, он подписал. У меня в цехе семь музыкантов, один раз у трибуны прогудят, а мы им среднюю зарплату платим. А поставьте дело так, чтобы рабочие после работы оставались.

— Я простой инструктор, я не решаю.

— Вы соберете, а они у вас спят на лекции.

— Бывает, что спят.

— У нас еще очень много работы ради работы. Создают искусственные трудности, а потом думают, как их ликвидировать.

Алексей улыбнулся. Рыжов сидел с каменным лицом.

— Дайте хоть четыре человека.

— Доложите директору, Рыжов людей не дал.

На лице инструктора мелькнуло подобие улыбки; может быть, в душе он был согласен с Рыжовым, но вышел он со словами:

— И доложу.

Рыжов откинулся на стуле, искоса взглянул на Алексея, понимает ли товарищ Изотов, с кем имеет дело, здесь голыми руками не возьмешь. Алексей понимал и без этих фокусов, что предстоит работа нелегкая. Ведь не уезжать теперь ему на другой завод оттого, что Рыжов, шельма, все шутит неискренне: «Мы наши мощности скрывать не собираемся». А на лице откровенно написано: «Гулял бы ты, милый человек, подальше».

— Вот,— обратился Рыжов к Алексею,— какой перевод государственных денег. А беременные и кормящие...— Рыжов повысил голос.— Когда вот так, с ножом к горлу, требуют от нас людей на всякую ерунду, лекции слушать, даем исключительно беременных и кормящих матерей. Я не виноват, если у меня сейчас беременных нет. А когда они есть, пожалуйста. Берите.

Рыжов старался разговаривать с Алексеем на отвлеченные темы. Из осторожности даже перестал ругать главного механика, которого вообще крыл без стеснения. И еще любил расспрашивать: «А как в Америке?»

Алексей уже несколько раз говорил Рыжову, что в Америке не был, но Рыжов не обращал на это внимания.

— Я тоже не был, ничего не значит. Но знаю, что там ремонтной службы нет совсем. Там фирма меняет оборудование. Но у нас надо сделать, как я говорю. Нам надо иметь своих ремонтников. Иначе мы задерживаемся на ремонте, мы садимся на зарплате, мы садимся на плане. И я не ставлю это в вину ремонтному цеху, их слесарь не заинтересован в досрочном ремонте, а наш будет заинтересован.

На столе у Рыжова лежали технические журналы, стояла колба с кипяченой водой, серебряный кубок-приз, ведомости, которые Рыжов подписывал с постоянным ворчанием.

— Назови его механиком — тысяча рублей, назови его мастером — тысяча триста. Вот и весь фокус. Штаты, штаты и штатная дисциплина. И все это еще ничего, все это я еще могу пережить, пока не вспомню Скамейкина.

Скамейкин был хитрый старик, грязный как дьявол, по специальности слесарь, но находившийся в цехе в должности завхоза.

Придя утром в цех и узнав у дежурного, как прошла ночь, как работали установки, Рыжов первым делом вызывал Скамейкина.

И начиналось.

— Почему сегодня, товарищ Скамейкин, автомашины простаивали? И шоферы спали в кабинах? Где вы были в девять часов, товарищ Скамейкин?

— В завкоме, — не моргнув голубым бесстыжим глазом, отвечал Скамейкин.

— Идите распорядитесь насчет машин.

Скамейкин, шаркая высокими сапогами, в которых он ходил и зимой и летом, удалялся.

Спустя некоторое время Рыжов высовывался из своего кабинета в коридор и кричал:

— Скамейкин!

Горемыка Скамейкин являлся.

— У вас, конечно, ума не хватит, что лопата должна быть с черенком. Где бы мне хоть раз в жизни найти завхоза, чтобы он лопаты с черенками имел, чтобы он деревья белил?

Скамейкин, опустив голову, печально смотрел на свои пыльные сапоги.

Рыжов собирался начать посадки, убрать немного территорию своего цеха, потому что на последней оперативке директор пообещал прийти проверить, покончил ли Рыжов с грязью вокруг крекингов.

Рыжов говорил, что «наводить марафет» не его дело, а обязанность дворового цеха, но директора слегка побаивался.

И вот он спрашивал теперь у Скамейкина с непередаваемым ехидством:

— Почему у тебя на пятидесятом году жизни лопаты отдельно, а черенки отдельно?

Скамейкин молчал.

— А сколько у нас граблей?

— Четверо.

— А где они?

Скамейкин почертил сапогом по дощатому полу.

— Ну?

— Я сейчас поищу, я сейчас в тую сторону пойду.

— Ты сейчас ни в какую сторону не пойдешь.

Скамейкин безмятежно смотрел на начальника: ни в какую, так ни в какую.

Но грабли были нужны Рыжову.

— Иди, товарищ Скамейкин, ищи, только лучше ищи.

Скамейкин возвращался не скоро. Он умел исчезать из поля зрения Рыжова очень надолго. Потом он приплетался ни с чем.

Раньше в цехе был толковый завхоз, но эту должность упразднили. Приходилось крутиться. Скамейкин тем был хорош, что числился он слесарем, платили ему зарплату, правда, выше, чем настоящему завхозу, зато, в случае если бы пришла комиссия, Скамейкин изобразил бы из себя слесаря.

— А вы хоть догадались, товарищ Скамейкин, выписать на складе пятьдесят пар рукавиц?

Скамейкин поворачивался, плелся выписывать рукавицы, а Рыжов чертыхался и поминал всех святых. И если Алексей был поблизости, то украдкой поглядывал на Алексея.

Рыжов был человек инициативный и хозяйственный, и, хотя на заводе его многие не терпели, в цехе рабочие и инженеры его любили и уважали. Они привыкли к его резкости, его остроты им нравились. Говорили: «Ну, цирк!»

И уж Рыжов старался вовсю, чтобы был цирк.

По телефону он всегда кричал.

— С кем говорю?

По ту сторону провода называли фамилию.

— А ты кто? — спрашивал Рыжов.

Там отвечали.

— Ах, кочегар? А я по твоему голосу решил, что ты замминистра.

Те, кто был в кабинете или слышал крик Рыжова в коридоре, улыбались: «Наш дает!» Рыжов был «наш». И хотя он очень любил в субботу удирать на рыбалку, он кровью был спаян с этими крекингами, с этими людьми.

Рыжов орал в цехе в свое удовольствие, грозил судом, и преисподней, и лишением премии, но однажды Алексей обратил его внимание на какую-то мелкую неисправность, и Рыжов надулся, несколько дней обходил Алексея, как заразного.

Когда Алексей высказывал Рыжову свои технические соображения, тот только покачивал крупной головой. «Ох, реконструкция!» — вздыхал Рыжов, и это было похоже на проклятие.

Сейчас решали, с чего начинать реконструкцию. «Если начинать», — поправлял Рыжов. Он все еще не определил своего отношения к реконструкции, но знал, что лично ему эта реконструкция доставит много хлопот. Он стал проводить на заводе гораздо больше времени, чем обычно, и Алексей понимал, что этот начальник цеха, сидящий в своем дощатом кабинете на фоне спортивного кубка и колбы с водой, может оказаться тяжелым препятствием.

Алексей составил докладную записку, где перечислил, какое требуется новое оборудование. Рыжов читал записку с мужицкими своими ужимками, с кряхтением: «Ох, реконструкция!» — и звал Скамейкина отводить душу.

А Скамейкин, хитрый старик, тоже научился от своего начальника стонать: «Ох, реконструкция!»

Требования на новое оборудование были столь велики, что Рыжов, видимо, не особенно верил в их реальность.

— Директор не подпишет и не согласится. Это раз. А два — пока изготовят это оборудование в Сталинграде, рак свистнет. И Скамейкин станет человеком. Наше оборудование не в плане, ждать будем годика два. А может, и не надо вовсе никакой этой реконструкции, как ты смотришь? — высказывался Рыжов перед Крессом.

— Надо, — кротко и твердо говорил Кресс Рыжову, — надо.

Глава двенадцатая

Алексей курил под плакатом «Кури только здесь». Дождь шелестел по гравию дорожки, и пахло свежестью, нежными цветами лилового иван-чая и тем сложным химическим запахом, который с детства нравился Алексею и таинственно притягивал. Что взорвала, что недозволенное соединила дерзкая рука человека, отчего в результате запахло так, как в природе само по себе никогда не пахнет?

Алексей погасил папиросу, бросил на цементный пол, затоптал каблуком, вздохнул, закурил новую. Надо курить поменьше. Сестра не раз предупреждала, ругалась, что он губит легкие, сердце. Алексей жадно затянулся, самая мысль о том, чтобы беречь себя, была ему противна.

Послышался веселый голос Казакова:

— Вот ты где! А я тебя в цехе ищу. Знаешь, если бы ты был моим подчиненным, я бы постарался от тебя отделаться. Больно ты как-то паршиво въедлив. Бедняга Рыжов тебя боится.— Казаков расхохотался.— Умора, умора! Я был уверен, что Рыжов тебя замучит своим криком и хамством, а теперь вижу, что ты его доконаешь. Своим таинственным молчанием и своей выдающейся въедливостью. Он мужик простой, последнее время притих, не острит, не шумит, он тебя боится, вот что. Надо узнать: может быть, он и на рыбалку ездить перестал?

Казакову очень нравилось представлять дело так, что Рыжов, известный своей строптивостью на весь завод, напуган Алексеем до смерти.

— Зачем приехал, чего от тебя ждать? Ах, Рыжов, бедный парень!

— Перестань,— улыбался Алексей.

— Нет, действительно!— не унимался Казаков.— Иметь перед глазами твою таинственную физиономию!

— Завтра пойду к директору,— сказал Алексей,— никак не могу с ним встретиться, то он в Москве, то где-то еще. Я всю предварительную работу закончил.

— Директор сегодня как раз из Москвы вернулся. Проталкивал там одно дело. Еще не помню, чтобы он вернулся из Москвы ни с чем. Что значит авторитет. И вид импозантный, что ни говори.

Алексей вспомнил фигуру директора в столовой.

— Похож на восточного бога,— сказал он,— как его там, Вишну, Кришну...

Казаков изумился:

— Неужели? А нам он кажется очень представительным. Кстати, знаешь, как теперь называется площадь Ногина? — спросил Казаков.

— Как?

— «Площадь павших министерств».— Шуткой Казаков явно оборвал разговор о директоре.

На следующий день Алексей сидел в приемной на широком черном кожаном диване с высокой спинкой и ждал директора завода.

На этом же диване, развалясь, сидели шоферы легковых машин, дразнили друг друга, шумели и смеялись: «А ты химичишь где поближе!», «А ты химичишь, чтобы квартиру переменить!» У шоферов были гладкие, курортные лица.

Секретарша прикрикнула: «Ну вы, химики, потише!»

Директор прошел мимо Алексея, обдав его запахом одеколона: видно, только что побрился. Он смотрел прямо перед собой, ни с кем не поздоровался. Шоферы вскочили с дивана, вытянулись.

Через несколько минут Алексей миновал обитые кожей двойные двери и вошел в кабинет, обставленный с казенной роскошью.

Мягкий, приятный голос произнес: «Садитесь, прошу»,— и директор с радушной улыбкой указал Алексею на кресло.

Человек, сидевший за огромным письменным столом, ничем не был похож на того сурового бога, которого Алексей несколько раз видел в инженерной столовой. Здесь в свободной позе сидел приветливый человек средних лет, даже молодой, в безукоризненном костюме из светлой дорогой материи в рубчик, в сверкающе-белой рубашке и улыбался, как гостеприимный хозяин.

— Садитесь, садитесь. Вы давно с завода? Что слышно в тех краях? Как там Крептюков?

— Теперь он директор завода гидрирования, — ответил Алексей.

— Молодец! Хороший парень, люблю его. Как ваше самочувствие?

Директор оказался осведомленным в некоторых событиях жизни Алексея. Этим объяснялось радушие. Алексей был для него «своим», погоревшим, но «своим». Алексей улыбнулся. Если он «свой», тем лучше... для дела.

Зажглась маленькая красная лампочка на столике слева, на селекторе. Директор нажал кнопку, включил микрофон.

— Здравствуй, Гриша, — сказал он, поправляя микрофон пухлой рукой.

— Здравствуй! — В микрофоне послышался смех. — Твое министерство накрылось.

Голос из микрофона был очень веселый, подтрунивающий.

— Да ну? — подмигивая Алексею, как своему, ответил директор. — Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

— Я тебе точно говорю, — настаивал веселый голос.

— Верю. А еще что новенького? — улыбаясь бесшабашной улыбкой, спрашивал директор невидимого веселого и равного себе по положению собеседника — в этом Алексей не сомневался.

— Что же еще? — Голос сделался разочарованным. — Вот надел сегодня белые штаны. Что еще нового? Еду в пионерлагерь, дам указания.

Директор засмеялся.

— Ну, погуляй, погуляй. А я вот дал указание, чтобы твоего Баскина отмордовали за то, что он мне дорогу разворотил.

Теперь в микрофоне послышался смешок.

— Ничего, починишь.

Раздался легкий треск, микрофон выключился.

— Ты мне сам починишь мою дорогу, — сказал директор уже Алексею.

Вошла секретарша, подала утреннюю сводку. Директор попросил:

— Ирочка, дай две папироски.

Секретарша скрылась и вернулась, неся на ладони две папиросы.

— Это я сам от себя, чтобы меньше курить, — пояснил директор с улыбкой беспечного человека, который прощает себе свои слабости. — Ко мне не пропускайте, я занят.

— Андрей Николаевич, там начальники цехов собираются, вы их вызвали на половину десятого.

— Ох, забыл! Быстро приглашайте, а вы оставайтесь, — обратился директор к Алексею, — совещание продлится недолго, а потом мы с вами обсудим ваши дела.

Алексей пересел подальше. Ему было интересно, он невольно сравнивал Терехова с собой там, на заводе, где он был директором.

Начальники цехов, стараясь не шуметь, заходили и рассаживались на кожаных диванах вокруг длинного стола, на стульях, стоявших в глубине кабинета.

Алексей взглянул в сторону письменного стола и усмехнулся. Подперев большую бульдожью голову кулаком, директор ждал, глядя сумрачно и исподлобья на подчиненных. Это опять был восточный бог, к тому же разгневанный. Он ждал, постукивая левой рукой по стеклу на столе.

Расселись, соблюдая чины: начальники цехов на жестких стульях, заместители главного инженера и начальники отделов на мягких диванах, а главные — технолог, механик, энергетик — в полукреслах у стола, покрытого малиновым сукном. Только Баженов вошел и, не глядя, сел на первый подвернувшийся стул рядом с Алексеем.

Продолжая постукивать левой рукой, директор спросил кого-то:

— Ты мне скажи, газированную воду в Дели пьют?

— Нет, там колд вотер.

Вопрос и ответ вызвали оживление. Директор небрежным вопросом давал понять, что его подчиненные ездят в командировки в дальние страны и, хотя сейчас здесь будут обсуждаться незначительные внутренние хозяйственные вопросы, большой мир открыт им.

— Ну, а мы потолкуем о газированной воде. Товарищи, когда вы сдадите этот объект, я имею в виду цех газированных вод?

— В июле,— объявил молодой человек в очках, представитель подрядчика.

— А если я вам премию пообещаю? — спросил директор и в первый раз улыбнулся.

Все опять засмеялись.

— Ну как?

— Я подумаю.

— Подумай, через пять—десять минут сообщишь,— сказал директор.— Люди должны получить газированную воду на заводе. Как можно скорее. Я согласен даже принять по частям, я не буду педантом.

Алексея удивило, что на таком большом современном заводе рабочие не имеют газированной воды. Что может быть проще газированной воды?

— Теперь относительно дорог,— сказал директор.— К нашим строителям обращаюсь...

Сразу раздались голоса: «Степной тракт надо отремонтировать!», «В первую очередь третью дорогу доделать!», «Дорогу от цеха депарафинизации!», «Небольшой кусок надо холодным бетоном класть!»

Директор поднял руку:

— Коллегиально, но не все вместе.

Опять засмеялись, оценив остроту директора. А он улыбнулся и хитро прикрыл один глаз. Алексей смотрел на него с насмешливым интересом.

Директор поднялся из-за стола, прошел к противоположной стене и эффектным движением раздернул голубые крепдешиновые занавески, скрывавшие большой план завода, нарисованный в пастельных тонах и заключенный в золоченую раму.

Тоненькой указкой директор касался пронумерованных на плане дорог.

— Третий подъезд, товарищи строители, прошу закончить через месяц.

В кабинет вошел невысокий человек с веселым, умным, обезьяньим лицом.

— Ага,— протянул директор,— вас-то мне и надо. Показываю еще раз дороги, которые следует делать немедленно.

— Это начальник строительного треста,— пояснил Алексею Баженов.

Директор еще раз указкой прошелся по плану.

Баженов громко сказал:

— От миллионки новую дорогу надо. Пешеходную дорожку для людей с маслблока надо.

— А деньги? — спросил начальник треста.

— А мы что, не платим? Должны вам? — осведомился директор, направляясь к столу.

Опять все засмеялись. Нравился тон превосходства хозяина, владыки, каким разговаривал директор. Алексей вообще не терпел такой манеры, но Терехов был хороший актер. Хороший актер и плохую роль играет хорошо.

Начальник треста молчал. В конце концов его обязанностью было строить заводу дороги.

Директор сказал ему:

— Имей в виду, я тракторы без башмаков не пушу на завод. При всем моем уважении к тебе, не пушу. И прошу убрать грунт вдоль второй дороги.

— Моего грунта здесь нет. Я ничего нигде не оставляю. Кто будет финансировать уборку грунта?

Директор ответил ему опять под общий смех:

— Если это недоделки строителей, то за недоделки строителей мы платить не будем. Есть такая поговорка — договаривайся на этом берегу. Мы договаривались. Грязь за собой вы убираете. И еще раз предупреждаю: я очень рассержусь, если вы мне хоть метр дороги испортите. А теперь мы перейдем к следующему вопросу. О чистоте, о красоте, а также о цветочках.

Пронесся легкий гул.

— Роптать нечего. Почему с холодком относитесь? Товарищ Рыжов, ваши деревья не побелены, не закреплены. Стыдно подойти к вашему цеху. Это же черт знает что! Ведь каждую, понимаешь, соринку надо убрать. Это же завод наш, черт побери! За вас девчонки из дворцового цеха работать не будут! Их выделили для посадки цветов. Грязь! Тысячу раз говорил, чтоб урны поставили. Ни одной урны нет! Цветочницы разбиты! Горбыли какие-то пособирали и натыкали на клумбы, когда я приказывал георгины укрепить. В своих садах по-другому цветы сажают! И если кто хочет мешать, понимаешь, пускай он не думает, что ему это удастся. Перед лабораторией, Лидия Сергеевна, деревянный столб стоит — на кой черт он нужен? Немедленно его срубить! Что, я буду за вами, как пастух, ходить? Этот хозяйственный вопрос перерастает в политический. Металлолом валяется. Деловой двор у нас или свалка там металлическая, не поймешь. Вдоль паропроводов — груды изоляционного материала. Сколько под паропроводами ненужного хлама, проволока висит, доски валяются! Что вам, машин не хватает?

— Не хватает, — хмуро сказал Рыжов.

— Где работают семьдесят машин? — закричал Терехов. — Черт возьми, дайте мне разнарядку!

Рыжов встал.

— Андрей Николаевич, машины нам дают, но как дают?! Если сегодня дали машину в третий цех, то завтра ее пошлют в девятый. Это уже наверняка. Чужой шофер идет, ищет, звонит. То у него пропуска нет, то техталона. Машины надо раскреплять по цехам. Как и ремонтников. А не так, что приедет шофер, ему показывают то склад, то крекинг. Надо товарищу Щепкину это разъяснить.

Раздались голоса:

— Это Щепкин, это все Щепкин виноват.

— Да что вы со Щепкиным? Над Щепкиным тоже есть какой-нибудь Куперник, — сказал директор.

Все засмеялись, кроме Рыжова. Он смотрел в пол, всем своим видом выражая недовольство и сопротивление, и что-то бубнил под нос.

— Вы что, Рыжов? — спросил директор.

— А то, что цветы надо ночью поливать.

— Ну и поливайте ночью. Я вас всех на казарменное положение переведу. — Директор умолк, собираясь с дыханием. — Куда ни придешь, только ругаешься, ругаешься. Противно! Чего вы ждете и о чем вы думаете? Что у меня эта блажь пройдет? Не надейтесь. На что похожи наши основные дороги? — Легкой походкой директор опять подошел

к карте завода.— Здесь, товарищ Рыжов,— показал он,— дорога очень грязная. Только не огрызайся, пожалуйста.

Рыжов проворчал:

— Это не моя дорога, что я, один за нее отвечать должен?

— Ох, товарищи, если вы будете огрызаться и не делать...— сказал директор добродушно.— Если вы там какую-то халабуду оставляете у себя, то сделайте так, чтобы на нее можно было смотреть. Это я вам опять говорю, товарищ Рыжов. У вас там будка ржавая, грязная имеется.

— Да уж я понимаю, что мне.

— Покрасьте, поштукатурьте. У вас мужиков много, а вчера они так лениво работали, что я не видел таких. Они полдня валялись там под паропроводом, загорали на солнышке.

Лица начальников цехов по-прежнему были скептически и упрямы. Начальники цехов считали, что это не их дело, их дело — перерабатывать нефть, и за это пускай с них спрашивают. Они ничего не имеют против того, чтобы на заводе было чисто и красиво, но план они должны выполнять? Они прекрасно понимают, что директор ждет гостей из Москвы, принимает иностранцев, вчера — румын, на прошлой неделе — индонезийцев и англичан, и ему нужно показывать товар лицом. А им надо выполнять план.

Алексей разделял отношение начальников цехов к этому вопросу.

— Прошлый раз я просил покрасить бытовки, побелить...— продолжал директор.

Директору закричали: «С известью трудно!», «Известь — дефицит!», «А где брать известь?»

— Да, известь — сложная проблема,— сказал Рыжов.

Директор поднял брови.

— Разве? Не знал.

Он нажал кнопку, зажглась зеленая лампочка, из микрофона послышался надтреснутый патефонный голос: «Слушаю. Кто?»

— Терехов. Слушай, можешь дать мне известь?

— Сколько?

— Ну десять тонн.

— Это можно. Присылай.

Аппарат выключился с характерным легким треском.

У директора было безразличное лицо фокусника, показавшего виртуозный номер на глазах у многочисленной публики. Публика наградила артиста дружным смехом. Послышались возгласы: «Вот как это делается!», «Хорошо быть большим начальником!»

Этим эффектным номером директор закончил совещание.

Когда все вышли, Алексей пересел к столу Терехова. Оба закурили. Оживленные глаза Терехова, его довольная улыбка говорили: «Я все могу. Я очень могущественный человек».

«Он честолюбив,— подумал Алексей.— Но, пожалуй, для его честолюбия в реконструкции каталитического крекинга маловато простора».

— Да, недооценивают нашего брата, директора,— сочувственно вздохнув, весело сказал Терехов и выжидающе посмотрел на Алексея.

«Он все еще пытается вызвать меня на откровенность. Любопытно ему узнать, почему меня сняли, как сняли. Его это очень волнует, больше, чем меня. На всякий случай хочет знать, за что теперь снимают».

Алексей молчал. Молчать он умел.

— Ну-с, а как там настроение на «площади павших министерств»? — спросил Терехов, посмеиваясь.

— Настроение бодрое.

Терехов расхохотался.

Алексей сказал:

— Итак, я приехал на ваш завод...

Терехов перебил его:

— Баженов мне говорил, зачем вы приехали. Это в принципе все правильно и верно.

— Вот положение на вашем заводе. Вы берете сейчас легкое сырье, а производительность у вас в пределах проектной и даже ниже.

Терехов насмешливо приподнял одну бровь. «Ах, вот как, вы приехали нас учить, мы очень любим таких учителей».

«Ничего, послушаешь». Алексей продолжал:

— Повышать производительность вы не можете. Вас лимитирует стадия регенерации катализатора.

На лице директора, на смуглом лице восточного бога, блуждала смутная улыбка.

«Надо заманивать. Бить на эффект,— решил Алексей.— Черт его знает, понимает он техническую сторону до конца или ему втолковывать надо?» Непроницаемые лица таких руководителей, как Терехов, никогда не выдадут незнания или непонимания.

На всякий случай Алексей рисовал на блокнотном листе картиночки и показывал, что и как надо будет сделать.

Разумеется, сказать, что он против реконструкции, Терехов не мог. Какой нормальный директор скажет, что он против повышения производительности труда? Весь вопрос в том, заинтересуется он как инженер, как руководитель или отнесется формально, сочтет очередной попыткой столичного института сунуться в работу завода, благо это модно нынче. Таких бесплодных попыток любой завод знает достаточно.

— Да,— заметил Терехов,— все это серьезно, особенно если учесть вас лично.

Что он хотел сказать этой фразой? Был ли это комплимент Алексею, его имени и знаниям? Или, скорее всего, это был намек на то, что эта работа должна «выручить» Алексея, должна помочь ему вернуть утраченное положение. И он, Терехов, всегда пойдет навстречу то в а р и ш у, коллеге, который в б е д е.

«Если это так, то это глупо,— подумал Алексей,— а в общем, наплевать, какие у него там сложные дипломатические соображения».

Алексей протянул Терехову короткую докладную записку, план и смету. Тот прочитал и опять картинно выгнул бровь.

— Н-да. С запросом.

-- Без запроса,— сказал Алексей.— А вы хотите за копейку канарейку, чтобы басом пела.

Терехов поднял глаза на Алексея, усмехнулся.

— С запросом. Но я согласен. Делаем!

И опять не бог, а рубаха-парень с огнем и задором ставил свою подпись на документе.

Этой быстротой решения он понравился Алексею. «Все-таки молодец, другой бы канителился».

— Но,— сказал Терехов,— реконструкцию проведем, когда установка встанет на ремонт. Выделять специальное время мы не можем.

Алексей понимал, что реконструкцию придется проводить в сложных условиях. Сроки определять будет не он, а завод. Об этом и сказал Терехов. Он предложил всем участникам реконструкции собраться, обсудить с главным механиком детали и все окончательно решить. Но все было решено сегодня поднятием брови.

Через пять дней Алексею предстояло выехать в Сталинград заказывать оборудование.

Глава тринадцатая

Поздно вечером, придя в гостиницу, Алексей принял душ, взял газеты и лег на диван ждать телефонного звонка. Они с Тасей разговаривали почти каждый вечер. Тася просила ей не звонить, боясь тревожить отца, и старалась звонить сама. Если Алексей знал, что звонка не будет, он все равно ждал.

Плечи, руки, лицо Алексея горели, после того как он весь день лазил по установке. Он кашлял, наглотавшись катализаторной пыли.

Он с удовольствием отдыхал, потому что устал. Он делал сейчас работу, которую любил, и, если бы еще Тася была с ним, он чувствовал бы себя самым счастливым человеком. Но Таси не было, и он тосковал по ней.

Дежурная, вернее было бы назвать ее хозяйкой гостиницы, принесла Алексею графин домашнего квасу. Она поставила графин на письменный стол и остановилась в дверях — странное, печальное существо с круглыми совиными глазами и прямыми, светлыми, как солома, волосами, висящими по плечам, в синем халате с белым кружевным воротничком.

— Вы никогда не спите. А я так сплю беспощадно, особенно после купания.

— Не надо много спать, Клавдия Ивановна. Жизнь проспять можно.

— Я уже не думаю жить семейно. Некоторые так легко за жизнь берутся. А я нет. Алексей Кондратьевич, какое же это счастье? Как бы его увидеть? Вот над чем я думаю и думаю.

Тусклые, печальные глаза смотрели на Алексея детски вопросительно и серьезно.

— Я понимаю, какой вы человек. Вот у вас возраст еще не уклонный, не после пятидесяти, а вы к людям расположены, хотя бы ко мне. У меня и муж такой человек был. А как умирал уже, говорит: «Ты сядь, Клава, поешь, а то ты истомилась со мной».

Крупные слезы капнули у нее из глаз. Алексей встал с дивана, подошел к ней.

— Что о старом плакать, Клавдия Ивановна? Помнить надо, а плакать не надо.

— Это была такая боль несветимая. Я часто вспоминаю свою жизнь.

— Бросьте, Клавдия Ивановна, зря расстроились. Чудачка вы.

— Нет, Алексей Кондратьевич, не зря. Так надо. А чудачка я, это верно. Самомнительная. Я сорок лет доживаю, а сначала я сделаю свои недостатки, а потом их взвешиваю.

Вдруг она, видно вспомнив, что находится при исполнении служебных обязанностей, заторопилась.

— Один раз вы отдохнуть захотели, а я вам не даю. Спите спокойно. Я тихо на кухне буду шевелиться. А то крекинг вас замучил. Все вы там записываете. Минуты, полминуты. Отдохнуть обязательно необходимо.

Голос Клавдии Ивановны опять дрогнул, и она убежала, размахивая полами синего халата, несчастное, одинокое, маленькое пугало с сердцем, полным добра и надежды.

Алексей заснул, но, казалось, и во сне ждал звонка Таси.

Звонка в этот вечер не было.

Каждый раз по телефону Тася была другая. То нежная, истосковавшаяся, то спокойная, даже отчужденная, очень деловая, то смущенная и любящая, но все-таки далекая, словно отвыкшая. Алексей чувствовал это по ее голосу, по осторожным медленным словам. Может

быть, он ошибался, может быть, придумывал, даже наверно придумывал. Но ему становилось легче, если, положив трубку и помучившись, он вновь через полчаса заказывал Москву и слышал радостный возглас: «Как хорошо, что ты позвонил! А то я расстраивалась, мне казалось, что мы как-то не так поговорили».

Все было так и не так.

«...От тебя нельзя отойти ни на шаг, отойдешь, ты сразу забываешь.— писал Алексей.— Ты такой человек. Ты носишь центр мира за собой. А для меня центр мира — всегда ты, где бы ты ни была».

«...Неправда, твой центр мира в твоём крекинге. Это так, я знаю,— отвечала ему Тася.— И пускай будет так. Я горжусь этим. Знаешь, когда я окончательно в тебя влюбилась? Уже в Москве, когда ты отказался от всего и стал заниматься своим каталитическим крекингом...»

Алексей отвечал: «...Место в твоём письме про то, как ты окончательно влюбилась,— глупое. Глупо, что ты придаешь этому такое значение и делаешь из меня подвижника. Неужели ты не понимаешь...»

«...Я все понимаю. Не ругай меня. Сегодня я была на Арбате и пошла по тем переулкам, где мы с тобой бродили, где мы старика со скрипкой встретили. В скверике опять гуляли собаки, и все по-прежнему, только тебя нет...»

...Вчера приехала Лена с двумя врачами. Они смотрели папу. Лена обещала достать одно важное лекарство. Папе сразу стало лучше, от одних забот о нем. Он говорит, что раз ему не дают умереть, то он не умрет. Спасибо тебе и Лене...»

Алексей был благодарен сестре. Лена молодец, умела, когда надо, действовать без лишних слов. При всей своей любви к лишним словам.

Кроме писем, телефонных разговоров были еще телеграммы. «Скучаю без тебя», «Плохо без тебя»,— телеграфировал он Тасе, и ему сразу делалось веселее оттого, что он представлял себе, как звонит почтальон в дверь дома на Таганке, как Тася бежит к дверям, принимает телеграмму. Улыбается, потому что знает, что телеграмма от Алексея. И читает, что сегодня, два часа назад, он все так же скучал без нее, тосковал по ней.

Алексей уговаривал Тасю приехать. Но она, конечно, не могла. И все-таки иногда Алексею казалось, что на улице он видит Тасю. Сердце начинало биться чаще. Потом он называл себя идиотом, ведь он знал, что она в Москве, он позавчера разговаривал с ней по телефону. Ничего не менялось, он продолжал ждать Тасю и продолжал просить ее приехать хоть на несколько дней.

И вот она сказала: «Между прочим, завтра вечером я выезжаю к тебе, вагон номер семь».— «Так не шутят,— сказал Алексей,— неужели это правда?» — «Правда! — смеялась Тася на другом конце провода.— Я не шушу. Почему ты молчишь?»

Он молчал, замер у трубки. Ведь не мог он сказать ей, что уезжает в Сталинград вечером того дня, когда она приезжает. Это было невозможно! Если он скажет, она не приедет. Если он уедет, она не простит.

— Я рад, счастлив. Благодарен тебе,— глухо сказал Алексей,— безгранично благодарен. Не знаю, как дожждаться.

Она решила приехать. Она любит его. Алексей был потрясен. Он не мог оставаться в гостинице, вышел на улицу.

«Надо прийти в себя, успокоиться». Он шел, не замечая дороги, пока не обнаружил, что город кончился и начался пустырь.

— Ну и прекрасно,— сказал Алексей и пошел дальше, проверив по карманам, есть ли у него спички и папиросы.

Он все думал о том, что означал в его жизни приезд Таси. До этого дня он еще сомневался, не был уверен в ее отношении к нему. Даже его

отъезд в Сталинград переставал казаться такой катастрофой. Алексей знал, что сумеет вернуться очень быстро. Тася все-таки решила приехать — значит, она любит его. Остальное неважно.

Он забрел далеко, вдруг увидел небольшое озеро.

Он разделся и прыгнул в воду, выплыл на середину и лег на спину. «Просто пруд, — думал Алексей, — озером его не назовешь. Слишком важно для такой лужи». Он нарвал лилий и вылез из воды.

Одевался и думал о том, как поставит лилии в воду и послезавтра расскажет Тасе, что нарвал их, обалдев от счастья.

Он пошел назад и потащил охапку мокрых, грязных лилий со стеблями, которые волочились по земле. Через некоторое время он посмотрел на них и изумился: цветы были серые, жалкие, пахли тиной.

«Ну их!» — решил Алексей и отдал лилии босой и совершенно голой маленькой девочке, у которой на шее болтался на веревке ключ. «Чудесная девочка», — подумал Алексей, оглянувшись. Девочка смотрела ему вслед.

«А Тасе я куплю розы».

Тася приезжала в воскресенье.

Казаков достал машину, и они поехали на вокзал, который находился далеко от города.

Машина, мягко пружиня, ехала по главной улице, шелковые голубые занавески давали нежную голубую тень. Машина изнутри была обита голубым шелковистым плюшем. Это был «ЗИМ» директора завода.

Алексей удивился, когда увидел, что за машину взял Казаков у «одного знакомого».

— Какого черта?.. — начал Алексей, когда Казаков открыл перед ним дверцу серебристо-серого «ЗИМа».

Казаков дернул Алексея за рукав и глазами показал на шофера. Алексей знал директорского шофера, раза два сидел с ним рядом на черном кожаном диване в приемной. Это был разбитной, красивый, кудрявый парень. На диване в компании других таких же разбитных шоферов он громко обсуждал заводские дела, международные проблемы и переругивался с секретаршей.

— А-а, приятель, здравствуй! — сказал Алексей шоферу и, пожав плечами, сел на голубое прохладное сиденье. Он мог встретить Тасю и на такси, можно было обойтись без директорской машины.

В машине пахло цветами — Алексей купил розы, красные и белые, большой букет.

Казаков понюхал розы и задумчиво сказал:

— И цветы, и волнение, все как должно быть, все как полагается. Счастливый ты! Завидую!

— Только слишком голубые сиденья для моего зада, — сказал Алексей.

Казаков расхохотался.

Алексей смотрел на крепкую, загорелую, недавно побритую, с белой полоской шею молодого шофера и думал о том, что сейчас он увидит Тасю.

Шофер обернулся и показал:

— Здесь строится наш больничный городок, больница уже готова, видите? Говорят, в Москве еще такой нет, по последнему слову науки и техники.

«Она стоит в вагоне у окна, смотрит, — думал Алексей, и сердце его колотилось и замирало. — Неужели она сейчас будет здесь?»

— Там умирать не будут, — сказал Казаков, нюхая розы.

— Вы не смейтесь, Петр Петрович, говорят, очень хорошие аппараты там есть. Надо будет полечиться.

— Чего ты лечить собираешься, больной? — грубовато-покровительственным тоном, каким разговаривают подчиненные с шоферами и детьми своих начальников, спросил Казаков.

Мелькали краны, фундаменты и стены с квадратиками окон. Город разрастался неудержимо.

— Вот вы смеетесь, Петр Петрович, а у меня печень больная, — продолжался разговор.

— Много водки пьешь, — отвечал Казаков, посмеиваясь.

— Интересно, когда я пью? Я с утра до ночи за баранкой, теперь еще рыбалка у нас, так что и ночью работаешь. Когда пить?..

— Бедняга!

Мимо пронеслись две легковые машины с надписью крупными белыми буквами: «Консультанты».

— Что они консультируют? — спросил Алексей. — Что за консультанты?

Казаков и шофер не знали.

Сейчас он увидит Тасю, услышит ее голос.

— А что? — сказал Казаков. — Разве плохо было бы, если бы по городу разъезжали консультанты и давали бы консультации по всем вопросам жизни? Спокойные седые люди, которые бы все знали, мгновенно бы соображали...

— Неплохо, — громко засмеялся шофер, — очень даже неплохо.

— Тогда бы мы уж совершенно прекратили сами думать, — сказал Алексей, — и стали бы полными идиотами.

Сказал и удивился: «О чем это я? А не все ли равно, о чем! Еще сорок минут осталось. Еще тридцать девять».

Машина ехала теперь по узким, кривым, мощенным булыжником улицам, мимо деревянных одноэтажных домиков с окнами, сплошь заставленными розовыми и алыми цветами с густой темно-зеленой листвой, мимо скамеек, заборов и старых, косо растущих деревьев. Это был маленький, старинный деревянный городок, который срастался с тем, новым, белокаменным. Но пока еще он был сам по себе и носил свое собственное название.

Мелькали голубые ларьки с пивом, вывески на домах: «Парикмахерская», «Фотография», «Починка часов», «Окраска обуви» и, наконец, коротко — «Мастир».

— Сердце пишется через «д», — сказал Казаков.

— Что это значит? — осведомился Алексей.

— Когда я учился в девятом классе, я написал учительнице дарвинизма записку с объяснением в любви. Писал долго и вложил в записку все свое сердце, не вдаваясь в подробности, как оно пишется. Написал «серце», очень волновался. А она громко прочитала фразу и сказала: «Сердце пишется через «д». Мне казалось, что все поняли, кто писал и вообще всё. Это была, конечно, страшная подлость с ее стороны.

Шофер засмеялся.

— Не гони, не гони, — сказал Казаков.

— Дело под горку, катится само.

— Гони, — попросил Алексей.

Тася вышла из вагона и остановилась. В светлом плащике, в розовой косынке, она стояла у вагона и улыбалась радостно и спокойно. Голова у нее была наклонена набок, она ждала. Увидев Алексея, она бросила чемодан и сумку и, раскинув руки, подбежала к нему.

— Я не верила, что еду. Ехала и все время не верила, — смеясь, говорила она, поднимая к Алексею свое изменившееся, очень яркое лицо.

Он крепко обнял ее, прижал к себе.

— Что в тебе изменилось? — спросил Алексей. — Девочка моя ненаглядная. Ты еще красивее стала.

— Да, правильно,— засмеялась Тася. Она загорела, и ее продолговатые зеленые глаза особенно выделялись на потемневшем румянном лице, а волосы были почти белыми.

— Петя! — окликнул Алексей приятеля и познакомил его с Тасей.

— Это замечательно, что вы приехали. Посмотрите наш завод, вам будет интересно. Будем ездить на рыбалку, варить уху. Любите? — Улыбаясь всем широким лицом с угольными бровями, Казаков крепко пожимал руку Таси.

— Очень,— отвечала Тася,— очень люблю. Рыбу удить, плавать, на лодке кататься и грести люблю.

«Все врет,— радовался Алексей,— сама говорила, что грести не умеет».

У витрины привокзальной парикмахерской Тася задержалась. Там были выставлены модели причесок. Она прочитала вслух: «Любительская. Фантазия. Демократическая. Юность мира».

— Вот такую я себе сделаю,— показала она.

Потом она увидела уличные весы, и все трое взвесились.

Алексей взял Тасю под руку.

— Еще весы,— сказала она весело.— Тщательный контроль над весом приезжающих граждан.

— Прошу вас! — Казаков открыл дверцу машины.

Тася села, поздоровалась с водителем. Она сидела очень прямо и свободно. Точно так же села бы она в телегу, взобралась бы в кузов грузовика, так же бы улыбнулась и поехала.

На сиденье лежал букет роз. Тася прижала цветы к лицу.

— Даже розы,— сказала она.— Как хорошо!

Шофер несколько раз с любопытством оглянулся на нее.

— Это баня, а не машина,— как бы извиняясь, сказал шофер, обращаясь к Тасе и показывая на дизельный грузовик, который в клубах черного вонючего дыма поднимался в гору и не давал себя обогнать.

— То, что вы видите, еще не город, эти домики к нам отношения не имеют. Наш город новый, красивый,— объяснял Казаков.

— Тебе понравится,— сказал Алексей.

— Я иногда думаю,— сказала Тася,— а что, если бы я родилась не в Москве, а в таком вон домике, за вон той геранью...

— Может быть, там родился маршал авиации,— сказал Алексей.

— Возможно. А если не маршал, а если жить так всю жизнь, за этими окнами, жить и жить? И ничего больше не знать? И здесь состариться и уже быть старушкой? В железных очках.

Алексей смотрел на нее, улыбаясь. «Милая, дорогая...»

Шофер обернулся.

— Там городской парк, на обрыве. Хотите посмотреть?

Для шофера Тася была женщиной из Москвы, которую директор приказал встретить на своей машине. Он не знал, что Казаков попросил эту машину для Алексея и Терехов дал как любезный хозяин уважаемому гостю.

— Если вы не устали,— добавил шофер.

— Пожалуй, сейчас не стоит,— небрежно ответила Тася, и шофер решил, что она, наверное, жена или дочь какого-нибудь московского начальства.

— Тогда прямо в гостиницу? — вопросительно сказал Казаков.

— Везите, куда хотите! — засмеялась Тася.— Я привыкла слушаться. Куда повезете, там мне и будет хорошо.

— Справа аэродром,— доложил шофер,— а слева строится телевизионный центр.

На шоссе было много велосипедистов, тарыхтели мотоциклы, с бешеной скоростью и гудением пронеслись такси.

— У-у, бандиты таксомоторщики,— сказал шофер,— гоняют как шальные. Хулиганье. А звуковые сигналы у нас не запрещены, не то что в Москве.

— Вы не думайте, что я приехала свободным туристом: у меня командировка на завод,— сказала Тася.— Прошу уважать мои научные интересы.

Алексей улыбнулся. Его неправильное лицо с большим, отчетливо шишковатым лбом, далеко расставленными карими глазами делалось очень привлекательным, когда он улыбался. Улыбка казалась всегда неожиданной на его серьезном от природы лице, и, может быть, именно эта редкая улыбка была самым привлекательным в облике Алексея. Когда выходили из машины, Тася тихо сказала ему:

— Ради того, чтобы ты улыбнулся, я все готова сделать.

— Можешь ничего не делать, только будь со мной,— ответил Алексей.

В гостинице Клавдия Ивановна приветливо встретила Тасю.

— С приездом. Вот ваша комната. Садитесь кушать. Я крошечку приготовила. Луку много-много накрошила. Хотя, знаете, сейчас уже лук в дудку пошел, желтизна появилась и грубый он стал. Но зато огуречики парниковые я достала. Покушайте, садитесь.

Клавдия Ивановна хлопотала, у нее вздрагивало лицо от желания угостить вкусной крошкой, удивить своей стряпней.

Тася подходила к окнам, выходила на балкон, смотрела на улицу и всем восхищалась — необыкновенной, уютной гостиницей, тополями под окнами, даже химическим запахом, вдруг нахлынувшим с заводов из-за сильного ветра.

— Улица новая,— говорила она,— и дома, и деревья, и дети, и взрослые.

Казаков поел крошки и ушел.

— Ты не ждал, что я приеду? — спросила Тася Алексея.— А я, видишь, приехала.

«Нет, я не могу уехать»,— с тоской подумал Алексей не в первый раз. Но и откладывать отъезд он не мог, уже действовали железные сроки. Поймет ли это Тася, простит ли?

— Есть новость, очень паршивая, прежде всего для меня,— сказал Алексей,— сегодня вечером я уезжаю в Сталинград.

— Как в Сталинград? — спросила Тася с недоверчивой улыбкой.— А как же я?

— Не добивай меня такими жалобными словами, умоляю тебя. Я очень быстро вернусь. Я и так проклиная все на свете.

— Почему же ты раньше не сказал? — Голос Таси был все еще растерянным.

— Я боялся. Тогда бы ты не приехала.

— Я бы не приехала, конечно.

— Прости меня. Но я очень быстро вернусь. Можешь мне поверить. Она молчала.

— Казаков — мой старый друг, он тебя развлечет, все тебе покажет. Я буду звонить каждый день.

Тася молчала.

Бросить все, не поехать, остаться с нею? Что было делать?

— Скоро ты будешь меня встречать,— сказал Алексей.

Глава четырнадцатая

Тася осталась одна. Она решила много работать, это было верное и единственное средство от грусти, от плохого настроения и той обиды, которую вызвал у нее отъезд Алексея.

Она была особенно подтянута в эти дни, особенно трудолюбива и аккуратна, вела тщательные записи в лаборатории.

Тася была в цехе каталитического крекинга, в операторной, и смотрела вахтенный журнал, когда распахнулась дверь и вошла группа людей.

Дежурный вскочил и выпрямился по стойке «смирно».

«Я генерал», — говорили лицо и фигура того, кто вошел первым.

— Ну как дела, все в порядке? — Голос был доброжелательный, красиво рокочущий.

Тася поняла, что это обход директора. Директора сопровождала свита.

Веселые изломанные брови на смуглом лице директора дрогнули, когда он увидел Тасю.

— Терехов, — представился он и пожал Тасе руку. — Приятно, что у нас гости.

Все засмеялись, как будто сказано было что-то очень остроумное.

Директор наклонился к Казакову, который вошел с ним, и о чем-то негромко его спросил. Тася почувствовала, что спросил о ней, и нахмурилась. Казаков произнес имя Алексея.

Терехов посмотрел в окно.

— Солнышко сегодня. Погода шепчет: бери расчет. Так, кажется, говорится.

Восточный бог шутил.

Собственно, директору в цехе больше делать было нечего. Спросив, как дела и все ли в порядке, он сделал все, что от него требовалось, он появился. Услышав, что все в порядке, установка на режиме, он мог повернуться и шествовать дальше. Но он не уходил. Постоял перед аппаратами, полистал вахтенный журнал. Задал еще несколько пустых вопросов.

Казаков, увидев, что бег на месте продолжается, выскользнул из операторной.

Тася чувствовала себя почему-то неловко, и, как всегда в таких случаях, у нее сделалось надменное и недовольное лицо.

— А вот я говорю, Андрей Николаевич, — сказал Рыжов, — стало быть, ихний «Лумус», американский, с одной стороны лучше, а с другой — хуже. Они более правильно используют отходящее тепло. Однако если установка выходит из строя, то лихорадит весь завод.

Директор не поддержал излюбленной темы начальника цеха насчет американцев. Рыжов замолчал, в глазах у него застыла мука, ему хотелось только одного — чтобы директор поскорее убрался с установки.

— Американцы американцами, — сказал Терехов, — а ты мне зубы не заговаривай. Я еще не видел, как ты деревья побелил, как грязь убрал и вообще как ты марафет навел.

— Скамейкина ко мне! — простонал в пространство начальник цеха.

Все стояли и ждали. Директор почесал затылок, улыбнулся бесшабашной улыбкой — не восточный бог, а простой деревенский парень — и сказал громко, обращаясь к Тасе:

— А сам-то крекинг вы видели, наверху были, завод с высоты видели? Идемте, покажу.

И посмотрел на часы, чтобы подчеркнуть присутствующим, что время у него золотое, государственное, но есть законы гостеприимства и они

превыше всего. И пусть все у него учатся, каким надо быть радушным хозяином.

Тася хотела отказаться, но почему-то не смогла сказать «я не хочу» или «я не пойду». Это было бы грубо и невежливо, все бы удивились, если бы она так сказала, а сейчас никто не удивлялся тому, что директор пригласил ее посмотреть каталитический крекинг. Наверно, его любовь объяснялась тем, что они знакомы с Алексеем, может быть даже друзья.

— Пропустим даму вперед,— сказал Терехов.— А потом я твои деревья все равно посмотрю,— пригрозил он Рыжову. Пусть ученики не надеются — учитель не забыл, что он на дом задавал.

— Я не Потемкин,— пробурчал Рыжов и вместе со всеми пошел вслед за директором.

Тася оборачивалась, искала глазами Казакова, но его нигде не было видно.

— Вы что-нибудь ищите? — спросил Терехов барским тоном: мол, я прикажу — и вам найдут.

— Ничего,— резко ответила Тася.

— Сейчас я вам печь покажу,— сказал Терехов, останавливаясь возле печи, которая была похожа на железный домик без окон.

Терехов обернул руку белоснежным носовым платком, открыл смотровое окошечко, полюбовался яркими языками пламени сам, пропустил вперед Тасю и предупредил:

— Осторожнее.

— Страшный огонь,— сказала она, чтобы что-нибудь сказать.

Терехов посмотрел на нее с улыбкой.

— Страшный? Вам страшно?

Она промолчала. В сказанном был скрытый смысл. Это было неприятно.

Свита несколько поредела, потому что как ни приятно разгуливать по заводу в компании с директором, а надо работать.

— Осторожней, не запачкайтесь,— сказал Терехов.— В таком нарядном светлом платье могут здесь ходить только гости.

Сам он был в светло-кремовом костюме, в немного более темной шелковой рубашке и в серых с дырочками туфлях.

— А вы? — сказала Тася.

— Я директор.

Тася была в белом с розовыми полосами платье.

Когда подошли к крекингу, поднялась небольшая суматоха, связанная с тем, что один лифт не работал, а второй, грузовой, был страшно грязный и тоже ходил плохо, останавливался и ходил не до того этажа, до какого требовалось, и лампочка в нем не горела. Словом, как всякий лифт, он доставлял множество неприятностей.

— Не бойтесь? — усмехнувшись, спросил Терехов и открыл тяжелую железную дверь грузового лифта.— Со мной?

Тася ступила на звякнувший железный пол. Пол качнулся под ногами. Кто-то побежал за лампочкой, опять послышался крик: «Скамейкина сюда!»

Терехов, сощутив насмешливые глаза деревенского отчаянного парня, посмотрел на Тасю, закрыл двери и нажал кнопку. Лифт дернулся и пополз вверх. Солнечный луч, затканый паутиной сверкающих пылинок, проникал откуда-то в этот дребезжащий темный ящик. Тася видела только этот луч и острые пылинки, которые плавали и кружились в нем. Терехов молчал. Когда лифт остановился, он подал Тасе горячую крепкую руку и засмеялся: «Ну?»

Он потопал ногами на площадке, спросил:

— Что, очень было страшно?

Тася пожала плечами.

Надо было еще подняться вверх по винтовой узенькой лестнице. Терехов пошел вперед и, подавая Тасе руку, каждый раз улыбался.

— Я очень люблю ходить сюда. Убежишь от всех, а здесь ветер такой хороший, и весь завод виден и даже весь мир.

Он взял Тасю за руку, повел.

— Сюда, сюда, теперь сюда, еще немножечко поднимемся. Вы не боитесь высоты? По-моему, вы не должны бояться. Еще сюда. Здесь перила, вставайте. Теперь смотрите.

Они стояли на большой высоте, завод был весь перед глазами, дальше — река, темный угол леса. Люди отсюда были не видны.

Терехов закрыл глаза, подставил лицо ветру. Потом усмехнулся:

— Маленькие слабости больших начальников. — Показывая рукой, он объяснял: — А вот градирня. Видите, вода.

Потом нагнулся, поднял с пола белые крупинки, похожие на крупинки града.

— Катализатор, — сказал он с улыбкой.

— Тонна которого стоит дороже тонны сахара и который надо экономить. — Тася улыбнулась, вспомнив содержание одного из плакатов.

— Д-да, дорогой, даже противно, до чего дорогой. Скажите мне ваше имя, — попросил Терехов, пересыпая с руки на руку крупинки града-катализатора.

— Таисия Ивановна.

— Нравится завод, Таисия Ивановна? — Он с расстановкой произнес ее имя.

— Нравится.

— Здесь, на крекинге, особенно хорошо. Не слышно шума городско-го... Уходить не хочется. Там, внизу, дела, а здесь ничего нет, только ветер и незнакомая женщина... очень красивая.

Тася молчала, держала обеими руками развевающиеся от ветра волосы. Шарики катализатора, сахарного града, хрустели под ногами. Странное, неверное, летящее ощущение охватило ее.

— Вон строится завод-смежник, завод синтетического волокна. Разные кофточки нейлоновые хорошенькие будем производить для наших женщин и девушек. А справа тоже завод-смежник, синтез спирта, горе мое. Он завод еще пусковой, на нашем газе, а у нас газа много, они не поворачиваются брать. Мы и ссоримся. Такова жизнь. ТЭЦ видите?

— Вижу.

Он показывал что-то для него бесконечно дорогое, свое, чем он гордился и жил. Это чувствовалось. Он говорил просто, но не мог сдержать гордости. И то, что он показывал, было действительно величественно.

— А сферики видите отсюда, как детские воздушные шарики? Серебряные. Нравятся?

— Нравятся.

— В сферических емкостях хранятся жидкие газы. Вы нефтяник?

— Да.

— А я вошел в операторную, смотрю и думаю, что это за жар-птица здесь сидит, — засмеялся Терехов.

— Пойдемте вниз, я все уже посмотрела, — оборвала его Тася.

— Минуту, еще минуту, вот по часам, ровно пять минут, — стал просить Терехов. — Не сердитесь на меня, не смотрите на меня так зло. Давайте побудем здесь еще немножко.

Тася не ответила.

— Когда я вас на крекинг позвал, я ждал, что вы меня сейчас отошлете, директора на глазах у подчиненных, и приготовился к позору. Такой у вас был вид. Честное слово. А, думаю, была не была. Почему-то очень захотелось самому показать вам владения... эти...

«Эти» он сказал после паузы, явно вместо «мои».

— Когда-то я был мальчик-градусник. Бегал с термометром быстро-быстро, проверял температуру на кубах. Мальчик-градусник.

Видимо, ему нравилось, что он был мальчиком-градусником. Он и этим хвастался.

— До сих пор, между прочим, на вашем заводе девушки-проботборщицы лазят по совершенно отвесным лестницам. И бывает, падают и калечат себе руки. Вы знаете? — спросила Тася.

— Неужели? — Терехов засмеялся. — Они лазят, как обезьянки. Это стоит посмотреть, вы, наверное, не видели. Молодые, ловкие — разве такие упадут? Как обезьянки лазят, честное слово. А уж вам тут кто-то пожаловался, наплакался, вы и поверили.

Терехов насмешливо посмотрел на Тасю.

— Мне никто не жаловался, — резко сказала она. — Я вижу сама.

«Почему мы здесь стоим?» — подумала она.

— У меня такое чувство, как будто я всех обманул. Взял вот и убежал с вами. Я в восторге, но вижу, что вы моего восторга не разделяете. Поэтому давайте вашу ручку и будем спускаться.

Он опять пошел впереди.

— Вы любите цветы? — спросил Терехов.

— Люблю.

— Розы любите?

— Люблю.

— А на рыбалку ездить? Уху варить в ведре, песни петь?

— Не знаю.

— А реку, бакенщиков, лес зеленый?

— Не знаю. Наверное, люблю.

— А можно, я вам покажу все это?

— Но почему вы будете мне это показывать?

— Но ведь я показал вам завод... сверху. И ничего не случилось.

Почему это нельзя?

— С какой стати?

— Ну, мы придумаем, с какой стати. Это все пустяки.

Он смотрел на Тасю веселыми, легкими, влюбленными глазами, у него было ликующее лицо, как будто он не сомневался, что Тася приехала для того, чтобы он водил ее по крекингу и показывал ей лес и реку. А о девушках-проботборщицах он весело сказал, что они лазят, как обезьянки.

— Черт, черт, что делать? Я что-нибудь придумаю. Главное, что я вас встретил, — говорил Терехов почти про себя.

— Что вы такое говорите? — изумилась Тася.

— Не обращайтесь внимания, я самому себе говорю. Это замечательно, что я вас встретил.

— Замечательно? — переспросила она. — Но это ровно ничего не значит.

— Поверьте мне, что это замечательно, Таисия Ивановна. И очень много значит.

Он посмотрел ей прямо в глаза.

— Вы так смотрите на меня, как будто я сейчас упаду в ваши объятия. — Покраснев, Тася отвела взгляд. — Идемте быстрее, у меня дела.

— У меня тоже дела, между прочим, — засмеялся Терехов.

Они медленно спускались по винтовым лестничкам.

— Вот наш лифт. Не боитесь? А то идем пешочком.

Он как будто смеялся над нею. Она открыла дверь.

— Поедем.

Теперь, спускаясь в лифте, Тася видела глаза Терехова, веселые, горячие, искушающие. Кто-то, пока они были наверху, ввинтил лампочку. Железная кабина грохотала и повизгивала, скрипела, грозя остановиться. «Что, если остановится?» — со страхом подумала Тася и рассердилась на себя. Почему она волновалась и почему была недовольна собою? Ведь она ничего плохого не сделала. В том, что она согласилась подняться с директором завода наверх, не было ничего особенного. И Терехов — Тася посмотрела на него благожелательно и спокойно — незнакомый человек, ничем для нее не интересный, только своим заводом. Завод действительно замечательный, грандиозный.

— Осторожно, Таисия Ивановна, здесь грязь, я голову оторву Рыжову, — сказал Терехов своим барственным смеющимся голосом.

Внизу стоял знакомый Тасе серебристо-серый «ЗИМ» с голубыми занавесками.

— Может быть, хотите еще посмотреть миллионку? — предложил Терехов. — Мы сейчас туда едем. Это интересно. А потом шофер ответит вас, куда прикажете.

Именно потому, что ехать не следовало, Тася согласилась.

Чувствуя, что делает что-то не так, она с растерянным лицом села в машину. «Почему я не могу посмотреть завод? — упрямо спросила она себя. — Если бы Алексей был здесь, он бы мне сам показал, но его нет. А со стороны директора довольно любезно...» Не слишком ли любезно?

— Поезжай дальним путем, — приказал Терехов шоферу, и Тася поняла, что это сказано для того, чтобы она смогла побольше увидеть.

«Очень любезно с его стороны», — упрямо повторяла про себя Тася.

Весь завод — это гигантская лаборатория под открытым небом: спиртовки превратились в этой лаборатории в печи, а колбы и пробирки — в колонны и трубы. Этот завод был особенно большим, особенно могучим.

Приехали на установку. Терехов опять спросил: «Как дела, все в порядке?» Постоял, задрав голову кверху, рассматривая, как выкрашены трубы. То же самое сделали сопровождающие, постояли, посмотрели наверх и по сторонам и уже собирались идти к машине, как послышалось тихое слово «горит». Тася увидела бегущих людей. Бежали девушки, все время поднимая головы, за ними бежал вперевалку Казаков.

Проследив за взглядом Терехова, Тася увидела маленькое сиреневое пламя довольно высоко на колонне. Терехов пошел вперед. Тася тоже двинулась, но Терехов грубо и властно положил тяжелую руку ей на плечо и оттолкнул назад. Она остановилась, он коротким жестом показал, чтобы она отошла еще дальше.

— Вам нечего там делать, стойте, — приказал он.

Вернулся запыхавшийся Казаков и встал рядом с директором. «Обшивки горит», — услышала и уже увидела Тася.

— Форменные пустяки, — сказал Казаков. Его толстое лицо с угольными бровями было красным и мокрым, и брови тоже были мокрыми, он тяжело дышал.

Тася знала, что на нефтеперерабатывающем заводе нет пустяков. Девушки, которых она видела беспорядочно бегущими, теперь стремительно лезли по наружной лестнице на колонну и тянули рукав пожарного шланга. А нежное голубовато-сиреневое пламя то появлялось, то

пряталось. Это пламя было небольшое, безобидное на вид. Но все вокруг было коварно притаившееся, готовое в любую секунду и от меньшего огонька полыхнуть таким страшным пламенем, грохнуть таким страшным взрывом...

Здесь все хорошо представляли себе, что может наделать такое маленькое, невинное, лениво скачущее пламя. И все-таки здесь не боялись пожара.

Тася посмотрела на Терехова. Он стоял, немного расставив ноги, засунув руки в карманы светлого пиджака, и, не отрываясь, смотрел наверх. Он не давал указаний, не вмешивался в приготовления, не подгонял. Он резко и громко сказал только одно слово: «Пáром!» — и стоял, смотрел. Он стоял прямо под тем местом, где танцевало маленькое голубоватое пламя.

— Сейчас пáром возьмут, — сказал Тасе Казаков и пошел к колонне. — Пожарную команду не вызывали, сами тушат.

Тася хотела пойти за Казаковым, но Терехов издали заметил ее движение и опять бросил ей:

— Оставайтесь на месте.

Огонек нервно дернулся, когда его коснулась струя молочного шипящего пара, струя превратилась в облако и через мгновение уничтожила, прихлопнула пламя.

Тася при виде этого маленького поединка огня с людьми испытала странное возбуждение. Сейчас могло случиться страшное, и три расстрепанные девушки в ситцевых коротких платьях безмолвно и быстро предотвратили это страшное.

Девушки на лестнице уже что-то говорили и смеялись, пар прекратили подавать, и шланги были сброшены на землю, люди начали расходиться с аппаратного двора, говорили о постороннем. А Терехов все еще стоял, и его смуглое лицо было сосредоточенно и глаза подняты к тому месту, где только что резвился легкий голубоватый огонек, а сейчас темнела грязная подпаллина. Как будто то, что кончилось для всех, еще не кончилось для него, и он ждал, когда будет совсем все кончено и для него тоже. Он уходил последним.

Десять минут назад на площадке крекинга с Тасей шутил беспечный, самоуверенный человек, говорящий пошловатые комплименты. Тася все отлично понимала. «Мальчик-градусник», «Черт, черт, что делать, что-нибудь придумаю». А сейчас она увидела другого человека, и этот спокойный, смелый, молчаливый человек понравился ей.

Терехов подошел к Тасе, как бы вернулся оттуда, куда ее не пустил, потому что там было опасно, там был огонь, нефть, газ и там было его место, а не ее, спросил:

— Испугались? — И опять засмеялся легким, беспечным смехом. — Вот вы бы видели настоящий пожар!

Опять он чем-то хвастался перед нею. Тася весело рассмеялась.

В этот же вечер Терехов прислал Тасе букет красных роз и записку: «Вы сказали, что Вы любите цветы».

(Продолжение следует)



НИКОЛАС ГИЛЬЕН

★

ЛЕНИН

Ты знаешь ли, что мощная рука,
тирана с трона свергшая, была,
как лепесток, легка?
Та мощная рука,
ты знаешь, чьей была?

Ты знаешь ли: тот голос камни плавил,
и он обрек на смерть твоих хозяев,
но жизнь одну он славил.
Тот голос камни плавил,
ты сам теперь хозяин.

Ты знаешь ли, что ветер тех ночей,
быком ревеливший над землею, был
нежней, чем вздох детей?
Но ветер тех ночей,
ты знаешь, чьим он был?

И знал ли ты, что солнца алый плес,
неумолимых, грозных стрел хозяин,
осушит море слез?
И что на этот плес
ты вступишь как хозяин?

* * *

Он, Ленин, — в бурю небо голубое;
и сеет он с тобою,
крестьянин, прежде пасмурный и дикий;
и он поет с тобою,
о голос без ярма и без владыки —
народ, завоевавший счастье с бою;
езде, всегда с тобою
хранитель очага, простой, великий,
над полем, над фабричною трубою,
над общею и личною судьбою,
как сталь, мечта, природа, многоликий.

ЗЕМЛЯ НА ГОРАХ И НА РАВНИНЕ

(Кубинская песня, сопровождающая танец)

Ты моей земли хозяин,
и деревьев, и реки;
я приду;
певчих птиц моих, и ветра,
и равнины, и горы;
я приду.
Жизни ты моей хозяин,
но ведь жизнь моя — ничья,
лишь моя,
и никто над ней не властен,
только я.
Я приду.

Ах, от роз до тростника
и от тростника до розы
режет все твоя рука!
Я приду,
ах, как я к тебе приду,
я приду.

Я послал тебе письмо,
кровью я писал его;
я приду,
чтоб сказать, что мне нужна
и равнина и гора;
я приду;
и река — ее украл ты
у меня, — река, деревья,
по когорым ходит ветер,
ветер, полный птиц, а также
жизнь моя;
жизнь моя, она ничья,
лишь моя.
Я приду.

Ах, от роз до тростника
и от тростника до розы
режет все твоя рука!
Я приду,
ах, как я к тебе приду,
я приду.

Без земли я на земле,
без земли я гол, как жердь,
нет ни пяди у меня,
где бы сидя встретить смерть.
Я приду.

И Фидель¹ придет со мною,
как весна в моей судьбе;

¹ Фидель Кастро, вождь кубинских повстанцев, ныне премьер-министр Кубы. В программе возглавляемого им правительства — широкая земельная реформа. *(Примеч. перев.)*

я тебе отрежу руку,
 что мое — возьму себе;
 я приду.
 Землю гор возьму, всю землю
 на горах и на равнине;
 я приду;
 реку и деревья рядом,
 по которым ходит ветер,
 ветер, полный птиц, и будет
 жизнь моя,
 что всегда была ничья, —
 лишь моя.
 Я приду.

Сант-Яго де Куба, март 1959 г.

ТЫ МОЖЕШЬ?..

Ты можешь продать мне воздух, что течет у тебя
 меж пальцев
 и волосы треплет, из глаз выжимает слезу?
 Быть может, продашь мне ветра на пять
 каких-нибудь песо
 или даже продашь мне сразу и целиком грозу?
 Продашь мне, быть может, воздух,
 тот легкий и чистый воздух
 (не весь), что от венчика к венчику
 в твоём саду пробегает
 для птиц, для каждого птенчика, —
 на десять песо продашь?
 Но воздух кружит и проходит,
 он бабочка в блеске лучей;
 ничей он, ничей, ничей.

Ты можешь продать мне небо —
 оно так сине порою,
 оно и серо порою, —
 частичку, участок неба?
 Ты разве купил его вместе с землею
 твоего огорода, как дом покупается с крышей?
 Ты можешь продать мне неба на доллар
 или два километра неба повыше,
 кусочек один — ведь мне бы
 хватило куска твоего неба?
 За тучами скрыто небо.
 Высокие тучи проходят.
 И небо и тучи ничьи.

Ты можешь продать мне дожди или воду,
 что дала тебе слезы и язык увлажнила?
 Ты можешь продать мне на доллар воды родниковой
 и тучку, что в чреве своем дожди уносила,
 кудрявую, нежную, словно овечка?

Или воду, пробившуюся на горах,
или воду из луж,
оставленную для собак,
или кабельтов моря, а может быть, озеро,
за сто долларов — озеро?

Вода ниспадает, кружится.
Вода кружится, проходит.
Но вода-то ничья, ничья.

Ты можешь продать мне землю,
глубокую ночь корней,
динозавров зубы и прах
скелетов, рассыпанных в ней,
леса, что уже истлели, и рыб, превратившихся
в камень,
и птиц без перьев и кожи,
вулканов серу, мильоны мильонов лет,
встающих спиралью,— ты можешь
продать мне землю, ты можешь
продать мне землю, ты можешь?..

Твоя-то земля — моя.
Все ноги ее попирают.
Земля ведь ничья, ничья.

Гавана, 1959 г.

Перевел с испанского О. Савич.



Н. РЫЛЕНКОВ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

..*

Еще много дорог нехоженных,
Что меня зазывают в путь,
Еще много песен несложных,
Что всю ночь не дают уснуть.

Еще звезды в ладони падают,
И обжечься я не боюсь,
Еще грозы мне душу радуют,
Волны ливня смывают грусть.

Еще слышу звон колокольчиков,
Что качает в лугу ручей...
Как же мог я подумать, что кончилась
Песня молодости моей!

1959 г.

..*

Много ль мне нужно — краюшка хлеба,
Щепотка соли
Да под задумчивым русским небом
Дорога в поле.

Памятный с детства дымок деревни,
Запах полыни,
С попутчиками разговор душевный
В тряской машине.

Голос кукушки в глуши краснолесья,
В заросли частой,—
И к сердцу уже подступает песня,
Как слезы счастья.

1959 г.

В. ДУДИНЦЕВ

★

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Я живу в фантастическом мире, в сказочной стране, в городе, который создан моим воображением. Там с людьми приключаются удивительные вещи, и некоторая доля этих приключений досталась мне. Кое-что я расскажу вам, пользуясь тем, что в Новый год человек расположен доверчиво слушать разные выдумки. Речь будет идти о штуках, которые откальывает с нами время. Ведь время необъятно, оно действует везде. В сказочном мире часы можно проверять по сигналам московского времени. Именно поэтому я рискую начать рассказ: может найтись любопытный человек, которого заинтересуют места в моей выдумке, пересекающие его серьезную, невыдуманную жизнь.

В наш город прилетела таинственная птица — сова. Несколько человек она осчастливила своим визитом. Первым был мой непосредственный начальник, шеф лаборатории по исследованию Солнца, где я работаю. Вторым оказался врач-невропатолог, мой товарищ по школе. Третьим сова избрала меня. Птица эта — замечательная. Было бы неплохо, если бы ее повадки изучали, а портрет поместили в атласы.

У меня к этому времени уже были научные труды о некоторых свойствах солнечного света. Я получил ученую степень, состоял консультантом в нескольких комиссиях и спешил остепениться. Перенимая повадки наших маститых стариков, я научился так же, как они, высоко держать голову, так же неторопливо обдумывал заданный мне вопрос и так же, подняв бровь, нараспев, высказывал свой ценный, продуманный ответ. Еще одна черта: я привык заботиться о своем дорогом пальто. У нас в кабинетах есть шкафы, и, подражая старикам, я повесил в своем шкафу деревянные плечики для пальто, помеченные моими инициалами.

Будучи человеком, наделенным кое-какими скромными талантами, я, по совету одного академика, приучил себя записывать неожиданно приходящие мне в голову мысли. Известно, что самые ценные мысли не те, которые мы вымучиваем, сидя часами за столом, а другие — налетающие, как порыв ветра, чаще всего, когда ты идешь по улице. Я записывал эти мысли и забывал о них. Зато наша истопница хорошо помнила, что у меня в ящиках стола попадают волшебные бумажки, которые горят, как порох. Она повадилась очищать мой стол и растапливала ими все печи в лаборатории.

Под шелухой солидности во мне сидел наивный ребенок (впрочем, он сидел и в моем шефе — докторе наук). Этот ребенок с надутыми щеками иногда выходил наружу, особенно в те вечерние часы, когда мы, холостяки, усаживались в нашей квартире перед телевизором и, округлив глаза, оцепенев, как заспиртованные, часами следили за мелькающими в голубоватом окошке ногами футболистов.

Как видите, я не шажу здесь прежде всего себя. Многие стороны в своем характере я выставляю и выставлю еще на ваш суд с полным

пониманием дела и сам себе являюсь первым судьей. С некоторого времени у меня как бы открылись глаза: как раз с того дня, когда сова нанесла лично мне первый визит. Она открыла мне глаза. Спасибо ей.

Я, например, по-новому взглянул на свою тяжбу с неким С.— членом-корреспондентом одной провинциальной Академии наук. Пять лет тому назад в своей статье он назвал мою известную печатную работу «плодом досужих вымыслов». Я должен был ответить. В новой статье я, как бы попутно, опроверг основные положения С. и ввернул, по-моему к месту, такие слова: «Именно это безуспешно старается доказать кандидат наук С.». (Мне хорошо известно, что он хоть и член-корреспондент, но степень-то у него, как и моя,— кандидат.) На этот мой выпад С. тут же ответил брошюрой и там, как бы мимоходом, сказал, что я подгоняю результаты моих опытов под теорию, а слово «теория» взял в кавычки. Вскоре после этого я напечатал большую статью о своих новых наблюдениях над Солнцем, подтверждающих теорию, взятую в кавычки, а выкладки С. разделал в пух и прах. «Линкор получил торпеду в кройт-камеру»,— как сказали по этому поводу мои товарищи. Имя С. в статье я не упомянул — я знал, что этой второй торпеды мой враг не вынесет. Я просто сказал: «некоторые авторы». Но линкор устоял и ответил...

И так далее. Эта война, длившаяся пять лет, основательно истремила мне нервы, да и не только мне.

Но ближе к делу. Однажды утром мы все собрались в нашей лаборатории, повесили свои пальто на плечики и, прежде чем заняться исследованиями, завели, как полагается, утреннюю беседу-раскачку. Беседу начал наш старейший и уважаемый шеф, доктор наук. В свободное от работы время он занимался изучением старины, собирал каменные топоры, древние монеты и книги, и, по-моему, в этом любительстве, а не в нашей работе был для него весь смысл его спокойной жизни.

— Любопытная вещь!— сказал он, приглашая нас послушать.— Недавно, разбирая одну надпись на каменной плите, я нашел вот такое изображение.

И он показал нам белый лист, на котором была нарисована тушью ушастая сова.

— Мне удалось прочитать и надпись,— с гордостью сказал шеф.— Там стояло чье-то имя и было сказано: «А жизни его было девятьсот лет».

— Да-а...— мечтательно проговорил один из моих товарищей по группе, модник и любитель шалостей.— Мне бы хватило и четырехсот...

— А зачем вам?— вдруг резко проговорил плечистый и сухой пожилой мужчина, обычно молчаливый. Он сидел по соседству со мной и отличался от нас всех своим подчеркнутым пренебрежением к одежде, молчаливостью и невиданной работоспособностью.— Вам эти четыреста лет ни к чему,— сказал он.— Вы и так не спешите.

— Я хочу обратить ваше внимание!— Шеф повысил голос, давая понять, что его перебили на полуслове.— Обращаю ваше внимание! Такие совы в разное время были найдены во многих странах. В одной пустыне стоит гигантская сова из гранита. В нашей местности это первая находка. Могу похвастаться.— Тут шеф расплылся в улыбке.— Эта сова и эта надпись — мое личное открытие. Я выкопал этот камень в своем саду.

Мы поздравили счастливица, еще раз посмотрели на сову и разошлись по своим местам.

— Я обязательно добьюсь, узнаю значение этого рисунка,— сказал шеф.— После этого я сделаю публикацию.

— Может быть, этим иероглифом отмечали человека, сумевшего наилучшим образом распорядиться своим временем? — предположил я.

— Возможно. Но это надо еще подтвердить.

— Но девятьсот лет жизни! — Я не смог удержаться от этого восклицания. — Неужели возможно было когда-нибудь такое долголетие?

— Все возможно! — гаркнул плечистый, всегда занятый мой сосед, не отрываясь от работы.

— Что вы этим хотите сказать? — вежливо осведомился шеф.

— Время — загадка, — был ответ, еще более загадочный.

— Да, время — загадка, — подхватил шеф интересную мысль. Он снял со стены песочные часы, перевернул и поставил перед собой на стол. — Течет! — сказал он, глядя на песок. — И смотрите, что получается: миг, который мы переживаем, можно сравнить с мельчайшей песчинкой, с бесконечно малой точкой... Он сейчас же исчезает...

И мне вдруг стало больно где-то в груди. У меня в жизни было несколько месяцев неожиданной, необыкновенной любви, и эти месяцы сейчас, когда я на них с болью оглядываюсь, слились в один миг, стали песчинкой, упавшей на дно часов. И никакого следа в руках. Как будто ничего не было!.. Я вздохнул. Если бы перевернуть часы!..

— Простите, шеф, — перебил мои мысли наш заведующий отделом кадров. — Что же получается по вашей, с позволения сказать, теории: если время — точка, значит у нас нет нашего героического прошлого? Нет солнечного будущего?

Он любил громко задавать прямые вопросы, как бы уличая человека в ужасном преступлении.

— Я прошу извинения, если сказал что-нибудь не так, — отвечал наш миролюбивый шеф. — Но я, по-моему, не успел сформулировать никакой теории. Это все шутки, фантазия...

— Фантазия-то странная какая-то. Есть все-таки рамки...

— Дорогой! — вдруг гаркнул наш лохматый, вечно занятый чудак. Мы все обернулись. — Новое, то, что мы ищем, почти всегда находится вне рамок.

И, открыв рот (у него была такая манера), он беззвучно засмеялся в лицо строгому человеку. Мы узнали новую черту в характере нашего товарища.

Два года мы сидели с ним в одной комнате и не знали человека! Видели только, что он редко бреется и пальто бросает на стул. Заметили, что на пальто этом не хватает половины пуговиц. Наконец, видели, что коллега работает за четверых. А познакомиться с ним по-настоящему не пришлось!

— Знаете, я сейчас, кажется, расскажу вам одну интересную историю, — опять услышали мы голос этого вечно склоненного над работой товарища.

И все удивились: человек впервые решил раскошелиться — потерять время на беседу с нами! Не думал я, что разговор о долголетьи так расшевелит его.

— Только я сейчас сбегая в подвал, налажу приборы, чтобы работали, чтобы время зря не уходило, — сказал он и быстро вышел.

— Сухарь он или не сухарь? — спросил кто-то.

— Не думаю! — возразил любитель шалостей. — К нему иногда приходит дама. Я рядом с ним живу. Молодая дама! Я столкнулся как-то раз с нею на лестнице. Идет и ничего не видит. Ослепла от любви.

— Вы знаете, у него есть уникальные старинные часы. Идут с необыкновенной точностью и заводятся раз в год. — Это сказал шеф.

— Так вот, друзья!—Наш седеющий, взлохмаченный новый товариш (мы ведь с ним только сегодня познакомились), наш работяга вошел, сел на свое место и взял в руки логарифмическую линейку.— Вы говорите, девятысот лет... А знаете вы, что время может стоять и может очень быстро лететь? Не приходилось вам ждать свидания?

— Да, время может очень медленно ползти,— сказал шеф.

— Оно может стоять! Вы помните сообщение о том, что ученые прорастили семена лотоса, пролежавшие в каменной гробнице две тысячи лет? Для этих семян время стояло! Время можно задерживать и можно подталкивать!

При этом он раздвинул линейку и что-то записал — он и за разговором ухитрялся работать.

— Я поясню сейчас эти слова историей, которую вы, независимо от ее морали, выслушаете с интересом.

И, начиная рассказ, он, как мне показалось, повернулся ко мне,— будто его слова предназначались исключительно для моей персоны.

— В некотором царстве, в некотором государстве, а именно — в нашем городе, несколько лет назад произошел такой казус. В парке культуры в воскресенье в одном из самых тенистых уголков собрались шестьдесят, а может быть, и сто хорошо одетых мужчин для какого-то разговора, который они решили провести на свежем воздухе. Позже стало известно, что в нашем парке, как бы сказать, заседал два часа некий симпозиум бандитов и воров, состоявших, как они говорят, «в законе». У них, у этой публики, есть свои строгие правила. Нарушение карается смертью. Тех, кого принимают в «закон», обязательно рекомендуют несколько поручителей. Новому члену сообщества тушью накалывают на груди девиз: несколько слов, по которым можно сразу узнать, что человек свой.

— Какое отношение имеет эта история к нашей теме о времени? — мягко спросил шеф.— Или вы, может быть, еще не кончили?

— Да, я не кончил. Отношение самое непосредственное. Я как раз перехожу к теме. Съезд бандитов-«законников» вынес шесть смертных приговоров, из которых пять исполнены. Шестого осужденного они никак не могут поймать, потому что дело это для них осложнилось. Я скажу сначала, кто такой был этот шестой и в чем состояла его вина. Это был глава, президент, или, как они говорят, «пахан», всего общества «законников», самый старый и хитрый из всех бандитов. Он сидел в какой-то из отдаленных тюрем, и, должно быть, там, в одиночке, ему пришла в голову мысль о том, что он по существу в жизни ничего не сделал и ничего не получил, а жить осталось мало. Рассуждал он так: весь смысл жизни бандита — в наиболее легком присвоении чужих богатств: золота, дорогих вещей. А цена и авторитет вещей в человеческом обществе катастрофически падают.

— Оказывается, он был теоретик, ваш бандит! — слышался иронический голос заведующего кадрами.

— Да, он был серьезным человеком,— согласился наш чудак. Я чувствовал к нему все большую симпатию.— Этот преступник, натворивший много бед, в последние годы притих и стал читать книги. Книги — это ужасная сила! Он прочитал множество книг. Он не спешил уйти из тюрьмы — ему было удобно читать и думать в каменном мешке, а братья-«законники» доставляли своему владыке с воли любую книгу, хотя бы она хранилась в подвалах государственного казначейства за семью печатями. Да... И вот он увидел, что авторитет дорогих вещей катастрофически падает. Когда-то в далеком прошлом богатые люди, князья, отгораживали в морских заливах бассейны и разводили в этих бассейнах мурен. Откармливали их человеческим мясом — бросали в море рабов. Подать такую мурену на праздничный стол считалось высшим шиком. Но

сейчас мы и подумать не можем без содрогания об этих развлечениях наших предков. Когда-то золото было безыменным металлом, дремало в земле. Потом человек дал ему имя и цену. Считалось высшим шиком блеснуть золотом на одежде, на оружии. Но сейчас никто из нас не решится показаться в гостях с золотой цепью через весь живот или с золотом хотя бы на булавке в галстук. Авторитет золота падает. А где престиж драгоценных тканей? Я могу вас заверить, что и нынешние самые дорогие ткани уже навсегда выходят из моды. Щеголять дорогими вещами сегодня — признак духовной отсталости.

— Смотри, пожалуйста, как расправился этот бандит с материальными ценностями! Интересно, что же идет на смену вещам? — спросил завкадрами. Его немного покорибил этот рассказ, потому что он-то как раз щеголял очень дорогим коверкотовым костюмом с широкими плечами, а жена его, придя как-то в лабораторию, принесла на руке тяжелую черную лису.

— О каких вещах идет речь? Есть вещи — и вещи. Бандит заметил это и задумался. Он понял, что на смену поклонению вещам неумолимо идет красота человеческой души, которую не купишь за деньги и не украдешь. Силой оружия никого не заставишь полюбить тебя. Красота души свободна. Она сразу вышла на передний план, как только золото и бархат сдали позиции. И теперь золушки в ситцевых платьях побеждают принцесс, увешанных шелками. Потому что в дешевом платье всю ценность составляет красота покроя, а это ценность уже не материальная. Рисунок платья — это вкус, характер того, кто создал и кто выбрал для себя этот рисунок. И не зря многие принцессы, в которых сохранилась душа, стали наряжаться под золушек. А если встретится какая, увешанная мехами и драгоценными тканями, так мы уже не восхищаемся богатством ее одеяний, а шарахаемся от духовного урода, который сам себя метит перед людьми.

И мой бандит заметил это. И вдруг открыл, что он за всю свою жизнь никогда не имел таких «вещей», как одобрение людей, дружба с человеком, истинная любовь, а стремился всю жизнь к тому, что не имеет цены. Нечто вроде денежной реформы произошло. Да... — Голос рассказчика охрип. Он прокашлялся. — А люди, любовь и дружба которых были ему нужны, жили на свете. И он их знал... Была женщина. Но он даже явиться к ней не мог. Не мог открыться, не рисковал.

В общем, этот человек написал все свои соображения в большом письме к братьям-«законникам» и заявил, что слагает с себя «сан», уходит в общество нормальных, работающих людей и намерен каким-нибудь выдающимся поступком завоевать то, чего еще не знал в жизни и к чему вдруг потянулся всем своим, как говорится, существом. Это его письмо тюремная администрация напечатала в специальной листовке. Вы, конечно, понимаете, документ был огромной силы, важно было использовать его.

Теперь смотрите, в каком положении оказался наш «пахан». За свою жизнь он получил в разных судах и не отсидел в общей сложности двести лет тюрьмы! Он понимал, что государство не «разменяет» ему этот срок. С другой стороны, лучше всех зная порядки в общине «законников», он понимал, что «братцы» не простят ему измены и где-то уже наточен для него нож. А ему нужно было прожить хотя бы несколько лет и сделать то, ради чего он пошел на такой шаг. И вот еще до того, как состоялся над ним суд его «братьев», он совершил свой последний побег. Он был достаточно богат, и, как это бывает в сказках, нашлись врачи, которые сумели заменить всю кожу на его лице и на руках и кожу на голове вместе с волосами. Они и с голосом его что-то сделали. Это были великие мастера.

Бандит получил безупречнейшие документы и стал новым человеком. В три года он закончил два института. Сейчас он доводит до конца свое дело. Он задумал очень большое дело, хочет сделать людям подарок...

— Ну хорошо, — перебил я его, потому что он смотрел все время на меня. — А какое же отношение имеет это к нашему разговору? К тому, что время может стоять и бежать, к тому, что написано на камне: «А жизни его было девятьсот лет»?

— Самое прямое отношение. За этим человеком охотятся исполнители приговора. Они упорно идут по его следам. Настигнут обязательно. Человеку осталось очень мало времени. Времени — понимаете? И человек намерен за год или за два прожить заново всю свою жизнь. А что бы получилось, живи он так все свои годы? Жизни его было бы, может, побольше, чем девятьсот лет.

— Вы имеете в виду, конечно, содержание жизни, а не ее продолжительность? — сказал шеф.

— Сразу видно, что вы не очень экономите время! — Мой сосед рассердился. — Да, да, да! Содержание! То, чем мы наполняем сосуд времени. Его надо наполнять только самыми сильными наслаждениями, ощущениями величайших радостей...

— Ну уж, расписался! — опять послышался голос заведующего кадрами. — Это проповедь чистейшего эгоизма. Вам бы все радоваться, наслаждаться! А мне кажется, что надо и для народа поработать. А? Как вы считаете?

— Вы отстали, вот как я считаю. Надо вас взять на буксир. Вы полагаете, что радость, наслаждение — это грех, то, чему вы тайно предаетесь в своих четырех стенах. А работа для людей — это ваша публичная обязанность. Мой бандит по сравнению с вами — передовой человек. Все ваши радости он испробовал, и они ему осточертели. Он теперь признает единственную радость — то, что вы считаете суровой обязанностью.

— Скажите... — начал после минуты молчания шеф. — Откуда вы знаете такие подробности? Ведь человек этот переменял лицо, имя... Он, наверное, не дурак и не открывается первому встречному.

— Я для него не первый встречный.

— Вы должны выдать его, если вы сознательный человек, — вдруг заметил завкадрами. — Должны заявить. Он сделал столько преступлений и бежал из тюрьмы...

— Ни за что, — сказал наш товарищ. — Ни за что! Это уже не бандит. Он сейчас безопасен. Даже полезен. Когда он сделает свое дело, он сам выдаст себя людям.

Тут он достал из кармана свои знаменитые часы — тяжелую луковичку на стальной цепочке.

— Извините. Я должен пойти посмотреть показания приборов.

И вышел. В дверях он задержался.

— Над этой историей надо подумать всем. А вам особенно. — И он поглядел на меня в упор. — Думаю, может вы учтете опыт некоторых людей и перестанете заниматься игрушками, поставите точку в вашей бесплодной полемике с этим членом-корреспондентом...

Мог ли я тогда предполагать, что жизнь привяжет и меня к этой истории, сделает меня вторым ее героем, героем-двойником!..

Чтобы проверить одно внезапно возникшее у меня подозрение, я спустился примерно через полчаса в подвал и чуть слышно скрипнул дверью, за которой этот человек сидел в окружении сверкающих стеклом и медью приборов. Я скрипнул чуть слышно, а он так и шархнул в сторону и разбил несколько склянок.

— Извините, — сказал я.

— Вы проверяете свою догадку? — спросил он, успокаиваясь.

— Вы неосторожны, — ответил я.

— Вас я не боюсь. — Он повернулся к своим приборам.

Теперь, когда я установил то, что раньше только подозревал, для меня стали понятными и некоторые другие вещи (о них я умалчивал до времени).

Незадолго до этих событий обнаружилось: я внушил кому-то непонятный интерес к своей особе. Некая тень неустанно ходила за мною по улицам города, следила издали. Мне ни разу не удалось рассмотреть лицо преследователя, хотя он не спешил скрыться. Для своего наблюдательного пункта он (или она) выбирал темные арки или двери подъездов. Он вылезал прямо на солнце, но как только я хватался за карман — за очки, — дружок мой потихоньку убирался в арку. Я несколько раз подходил к тем воротам или к подъезду, где скрылся этот влюбленный в меня субъект, но никого не находил. Не так давно выпал первый мягкий и чистейший снег. Я шел поздно вечером по пустой улице, услышал за спиной шаги и, прежде чем успел обернуться, понял: это он (или она). Обернулся и увидел что-то вроде плаша или фрачного хвоста, мелькнувшее за углом. Я понесся вдогонку, как сумасшедший, и, когда выскочил за угол, увидел совершенно пустой белый переулок. Я посмотрел на снег и не нашел никаких следов. Правда, потом я вспомнил: в воздушном, легком снегу таяло несколько крестообразных отпечатков, похожих на следы огромной куриной лапы.

В подвале я шепотом рассказал моему товарищу обо всем этом. Он пожал мне руку и ответил:

— Спасибо. Я и сам кое-что замечаю. А теперь идите. Мне нужно торопиться. Как видите, мое время меня поторапливает. Да и вам не мешает ускорить темп. Мало ли что может произойти...

Мы оба работали над одной и той же проблемой, но шли разными путями. Кто-то из нас двоих был прав, кто-то ошибался. Но проблема стояла даже того, чтобы ошибиться и указать другим правильный путь. Мы искали способ конденсации солнечного света. Тот продукт, который мы собирались получить, должен был обеспечить месяцы и годы яркого солнечного света и тепла для далекого материка, жители которого не знали, что такое солнце. На нашей планете одна сторона никогда не освещается солнцем. Здесь всегда ночь и зима. То, что мой товарищ схватился именно за эту самую важную проблему, было для меня еще одним доказательством: передо мной был этот необыкновенный главарь бандитов, спешащий жить. Сумеет ли он выполнить свой план за год, пусть даже за два года?

Ведь я, человек, трезво оценивающий вещи, — я топчусь из года в год, все думаю, с какой стороны начать, именно потому, что начать исследование — значит отложить в сторону другие дела, зарыться в работу на добрых десять лет. Если бы втянуть в дело всю лабораторию! Но слава богу, что нам хоть разрешили самим заниматься этой идеей. У нас было много противников. Почти все члены научного совета считали нас фантазерами. Так что вот: десять лет... Как же он уложится в свои два года?

Но оказалось, что не два года, а всего лишь несколько часов оставалось в распоряжении этого человека. На следующее утро мне позвонили из больницы. Моего необыкновенного бандита, истекающего кровью, нашли ночью около нашего подъезда (мы жили с ним в одном доме). Ему было нанесено в спину несколько глубоких ножевых ран. Весь институт всполошился, начали звонить в поликлиники знаменитым врачам. Но было поздно. К полудню институтские активисты уже звонили в бюро по организации похорон.

Его смерть, которую он сам как бы предсказал, сильно подействовала на нас. Несколько дней мы все, сходясь по утрам на работе, обменивались выразительными взглядами. Я оказался человеком малодушным. Сначала поддался панике и даже похудел. Не мог слышать никаких посторонних, не относящихся к делу бесед и напряженно работал в течение недели. А через неделю, когда я получил новый номер нашего научного журнала и прочитал в оглавлении имя члена-корреспондента С., я тут же вскипел и забыл обо всем на свете, кроме этого куска бумаги, покрытого печатными значками. Нервно я перелистал журнал и сразу же увидел набранную мелким шрифтом сноску (самые язвительные выражения всегда набирают мелким шрифтом). Там в окружении вежливо-ядовитых слов я увидел свою фамилию. И жизнь моя вернулась в старое русло. Бумага, бумага, кто тебя выдумал! Я бросил работу и, подстрекаемый всеми моими болельщиками, написал статью и поместил в ней не одну, а целых три сноски. Они должны были совершенно уничтожить моего врага. Мы составляли эти сноски всем отделом. И если бы вы захотели взглянуть на нас за этой работой, я могу вам подсказать: сходите в Третьяковскую галерею и посмотрите картину Репина «Запорожцы». На этой картине изображен весь наш отдел — и наш шеф, хохочущий, взявшийся за живот, и я, сидящий за столом, в очках, с пером в руке.

Войдя в старую, привычную колею, я забыл совсем о том субъекте, который следил когда-то за мною из-за углов, из арок и подъездов. После известных вам тягостных дней, окончившихся похоронами, фрачный хвост не показывался. Я был уверен, что за мною следил тогда один из бандитов, исполнявший приговор над тем, кого уже нет.

Но вскоре после того, как я получил газету со своей статьей-ответом моему исконному врагу С., а точнее, в тот день, когда я вышел из редакции, где мне заказывали еще одну статью, я почувствовал всей спиной, что на меня смотрят. Я оглянулся и никого не увидел. Нет, присмотревшись, я все-таки увидел в наполовину разваленном доме, который рабочие разбирали на снос, — в темном проломе на втором этаже я увидел какую-то фигуру: она тут же ушла в сторону, за стену.

Как раз в этот день я должен был отмечать свой тридцатилетний юбилей. Я хотел пригласить товарищей, чтобы отпраздновать эту круглую дату. И вот, как видите, еще днем, засветло, на мой праздник надежно улеглась первая тень.

Я отправился домой, поднялся на свой этаж. В общем зале, где все мы смотрели по вечерам телевизор, ожидал меня товарищ — модник и любитель шалостей.

— Ну что, погуляем сегодня?

— Я что-то нездоров, — ответил я. — Отложить придется.

— Нехорошо быть надутым в такой замечательный день. Тридцать лет — лучший возраст мужчины!

И тут же он подарил мне яркий галстук.

— А то попразднуем? Я свалю тебя с ног! — шепнул он. — Мне по-счастливилось добыть редчайшее вино!

Между прочим, разговаривая с ним, я заметил: в дальнем углу сидела незнакомая женщина. Она, должно быть, давно уже ждала меня — я как-то удивительно почувствовал это. Вот она поднялась, сделала шаг ко мне — и я уже не слышал ничего, что говорил мне товарищ. Это была женщина лет тридцати, с сильно покатыми плечами, очень красивая. Ее красота жила в особых, милых неправильностях лица и фигуры и особенно в прямом грустном взгляде. Эта же красота вдруг отразилась повторно в тихом низком голосе женщины. Я сразу же вспомнил ту, другую, золотую пылинку, которая давным-давно легла на свое место

в песочных часах. Та лежала забытая, несуществующая, а эта надвигалась на меня.

— Вам просили передать ко дню рождения вот это,— сказала она почти официально и вручила мне знакомые часы-луковицу, большие, тяжелые, на стальной цепочке. — И еще вот это...

Она достала из сумочки и передала мне конверт.

Я спросил:

— Это он?

— Он,— ответила женщина.

Я задумал осторожно выяснить: узнал ли тот, кого уже нет, настоящую любовь другого человека, которую нельзя ни купить, ни украсть? Но не успел. По моему лицу она угадала вопрос и, шевельнув рукой, остановила меня.

— Это было, было,— шепнула она.— И есть. И будет! Но он не был уверен... Я играла. Вы понимаете, что это такое?.. А когда меня пустили в больницу, я целый час кричала ему: «Да, да, да!» А он не услышал.

Я опустил голову. Бедный мой товарищ! Я-то знаю, что это такое.

Положив часы в карман, я проводил женщину вниз, потом вернулся.

— Это та самая,— негромко сказал мне наш модник.— Ходила к бандиту. Никого не замечала. Стоишь у нее на дороге — идет прямо, как будто хочет пройти сквозь тебя. Ослепла от любви.

И добавил, смеясь:

— Тебя-то она заметила! Берегись!

Я ушел в свою комнату и разорвал конверт.

«Вам передадут это письмо, если я буду убит, — писал мой уже не существующий товарищ.— Вы талантливый человек. Я пишу именно вам, потому что вы знаете обо мне больше других и, может быть, больше других оцените время. Жизнь дается один раз, ее надо пить без передышки. Громадными глотками. Надо хватать самое ценное. А что самое ценное — об этом я уже говорил. Не золото и не тряпки. Мне хочется, чтобы вы дожили до большой радости. Вы должны помнить о затемненном материке, где живут сейчас миллионы людей. Пусть день, когда вы получите это письмо, будет днем вашего истинного рождения...»

Я не дочитал письма. Сильная, счастливая мысль, внезапно возникнув, прервала меня. «Я счастливее его,— вот что пришло мне в голову.— У меня еще полжизни впереди, а то и две трети. Можно не торопиться. Я все успею».

В это время плотная темная масса закрыла мое окно. Наверно, маляры подтащили ко мне на четвертый этаж свою люльку. Перевернув лист, чтобы читать дальше, я подошел к окну, поближе к свету. «Но что могут делать маляры на улице зимой?» — вдруг сообразил я. Поднял глаза и сильно вздрогнул: по ту сторону стены сидела на железном листе, прибитом под окном, громадная сова с лохматыми ушами, с седыми бакенбардами и — самое странное — сильно искаженная, как будто ее вылепил первобытный человек. Это была моя сова. Я в первый раз тогда увидел ее живую. Что есть силы я махнул на нее письмом: «Кш-ш!» Это не произвело на сову никакого впечатления.

Мгновенная догадка глубоко уколола меня, и я даже вспотел от внезапной боли и страха. «Фу!» Я с трудом перевел дух и вытер лоб. Сова сидела на своем месте неподвижно, вертикально, как сидят все совы. Я еще раз перевел дух, вытер лоб и осторожно вышел из комнаты. Не помню, как я очутился на улице, на морозе. Куда идти? Ага, вот туда, там работает мой школьный товарищ, опытный врач-невропатолог, человек творческого склада. Ему тоже будет интересен мой случай, он займется мною.

И я быстро зашагал по сиреневому вечереющему бульвару и тут же услышал за спиной чужую прыгающую поступь. Я оглянулся. Кто-то стоял за ближайшим деревом — я отчетливо увидел лохматое ухо и оттопыренное крыло. Эта сова была ростом с меня!

Врач был занят. Я долго сидел у белых дверей кабинета, а за дверьми были слышны быстрые мерные шаги. Наконец дверь распахнулась, и появился мой школьный товарищ в белом халате и в белой шапочке до бровей, исхудалый и бледный от бессонной работы.

— Ну как? — закричали где-то.

— Все то же! — нервно кривясь, глядя на меня и не видя, крикнул он. — Опять ничего не вышло!

Я встал. Доктор медленно очнулся. Заметил меня, узнал, протянул руку.

— Если в гости, то не вовремя...

— Я не в гости.

— Ну-ка, подойди. — Он взял меня за руку, посмотрел на концы пальцев. — Сколько тебе лет?

— Тридцать...

— Я и забыл, что мы с тобой ровесники... Так что же тебя беспокоит? Преследует кто-нибудь?

— Если бы ты только знал кто! Такой странный субъект!.. Ты сейчас будешь смеяться.

— Я его знаю. Хочешь, покажу? Пройди со мной...

Он провел меня в кабинет, поставил лицом к окну.

— Моя сова! — шепнул я.

Она сидела за окном.

— Не только твоя, — сказал доктор. — Но и моя. Дай мне еще твои руки, я посмотрю. Да-а-а...

Он отошел к столу, постоял ко мне спиной. Потом вернулся.

— Рано или поздно — все равно узнаешь. Так узнай скорее: тебе осталось жить один год.

Пол вдруг провалился у меня под ногами, и я упал бы, если бы товарищ не поддержал меня, не усадил на стул.

Я знаю, есть люди, которые не боятся смерти: этим храбрецам нечего защищать. Признаюсь вам — я затрясся от страха. Когда кончу свое дело — тогда да, можно умирать. Но не сейчас!

— Не верю, — шепнул я.

— Ты лучше встань и беги, — сказал доктор, подняв бровь, заметно нервничая. — У тебя целый год жизни.

— Я не верю!

— Убирайся отсюда! — закричал вдруг он. — Ты крадешь у меня время! Я сам болен, мне осталось только полтора года жизни!

В дверях он все-таки меня задержал и быстро, почти скороговоркой, сказал:

— Это старая болезнь, и больше всего от нее страдают талантливые люди. У них это проходит в острой форме. Люди с закисшим характером болеют тихо и умирают незаметно.

— И вы ничего еще не открыли?

— Мы многое открыли. Но лечить еще не умеем. Мы все-таки открыли кое-что...

И он мне сказал вот такие непонятные слова:

— Тот, кто отчетливо видит сову, уже наполовину спасен.

И захлопнул за мною дверь.

«Отчетливо ли я вижу ее? Надо будет посмотреть», — подумал я.

Тут я вдруг услышал в тишине четкое тиканье: часы, подарок бан-

дита, делали свое дело, точно отсчитывали секунды. Услышав их звонкий ход, я достал тяжелую стальную луковицу, вставил фигурный ключ и завел пружину. Раз двадцать я повернул ключ и наконец почувствовал упор. Все! Часы заведены на год.

«Надо торопиться! Надо все обдумать», — сказал я себе. Первый раз в жизни я торопился по-настоящему, то есть хладнокровно.

Чистый, морозный вечер встретил меня веселыми огнями, и шумом автомобилей, и далеким мерцанием звезд.

«Буду думать и смотреть на звезды», — решил я. И звездное небо словно опустилось надо мной, чтобы я лучше видел эту великую бесконечность.

«Хорошо. Плоть умрет. Пусть умирает. Но мысль, мысль! Неужели исчезнет?» Я закрыл глаза.

«Не исчезну, — сказала во мраке моя мысль. Она была спокойна, не то что чувства. — Посмотри, — звучал ее голос. — Мир цивилизованных людей живет несколько тысяч лет. А сколько времени живут вещи, сделанные людьми? Машины, мебель, тряпки — все рассыпается в течение нескольких десятков лет. Как же мы накопили все, что нас окружает? Очень просто. Мы накопили мысли: секреты плавки металлов, формулы лекарств, тайну твердения цемента... Сожги книги, уничтожь секреты ремесел, дай несколько десятков лет на то, чтобы им надежно забыться, — и человечество начнет свою старую дорогу от каменного топора. И твой сын — не внук, а сын, — выкопав из земли шестерню, которую ты сделал в юности, будет молиться на нее, как на чудо, созданное божеством».

Над городом из невидимого репродуктора громко и чисто лился вальс. Я не знал композитора. И даже музыки как будто не слышал: это был не оркестр, и трубы — не трубы, и скрипки — не скрипки, а голоса моих чувств. А когда завели свою песню деревянные духовые инструменты, когда запело дерево, то стало ясно — это надежно запертые желания тихо запели в своем тесном ящике, ограниченные пределами моей короткой жизни.

«Ты хочешь жить, — сказал мне неизвестный композитор. — Смотри, что сделали с тобой те несколько нотных значков, что я оставил сто лет назад, после своего недолгого и очень тяжелого пребывания среди людей. Слушай: кому отпущено мало времени, тот сильнее, ярче любит жизнь. Лучше не иметь, но желать, чем иметь и не желать! Я очень любил жизнь и передаю эту любовь тебе».

Потом он понизил голос:

«А теперь слушай. И при своей короткой жизни я испытал величайшее счастье. Ты знаешь, о чем я говорю. А ты? Тряс тебе руку благодарный человек — тряс так, что мог стряхнуть твое сердце с его места? Видел ли ты вплотную перед собой глаза, наполненные слезами любви?»

Эти мысли оглушили меня. Ничего такого еще не было у меня! Сам-то я любил, но не видел еще таких глаз. Я не знал большой дружбы, не заслужил благодарности людей... Я опустил голову и уже не слушал музыки, и огни города померкли вокруг. Только одно я услышал — веселое тиканье. Это часы, подарок бандита, делали свое дело, отсчитывали время, мои секунды: «У тебя вся жизнь впереди! Целый год! Ты только что родился! Ты сейчас моложе, чем был! Скорее беги туда, где твоя работа. Там все — и твой друг и любовь!»

Я бросился бежать, вскочил в такси — быстрее, быстрее в лабораторию! — и шофер, включая третью скорость, с удивлением оглянулся на необычного пассажира.

Оставив машину у подъезда, я вбежал, поднялся по лестнице. В коридоре, у жарко натопленной печи, уронив голову, спала на стуле старуха истопница. Я растолкал ее.

— Давайте, давайте скорей все мои бумаги! Те, что я отдал вам сегодня! Я ведь утром вам целую корзину...

— И-и, милый, вспомнил!

Я даже застонал и полез в горячий пепел печи.

— Все, все сожгла. Хорошо горели — только твои бумажки так горят. Видишь, как угрелась, даже заснула!

«Тик-так-тик», — сказали часы бандита у меня в кармане. Сжав губы, я отпер свой кабинет и стал выносить оттуда ящики с приборами на улицу, в такси. Я решил открыть дома филиал и работать по ночам. Я ведь мог заслужить высочайшую благодарность людей, а я еще ничего не начинал!

Когда, держа в обеих руках по ящику, я появился на пороге нашей холостяцкой квартиры, там, в общем зале у телевизора, уже сидели несколько человек — завсегдатаи.

— Итак, решено — празднование переносим! — сказал мне любитель шалостей.

Он крутил ручки телевизора. Вот на стеклянном экране замелькали ноги футболистов. Все зрители замерли. Их глаза неестественно увеличились, остановились. Я услышал тиканье своих часов и понял: если бы наш телевизор непрерывно работал две тысячи лет, эти пять человек вот так же, не отрываясь, сидели бы — и сохранились для своих потомков, как семена лотоса.

Я передвинул нескольких человек вместе со стульями — чтобы не мешали мне пронести ящики, — перенес в свою комнату все приборы и отпустил шофера.

Моя сова сидела на своем месте, за окном. Теперь я относился к ней спокойно. Она была хорошо освещена из комнаты яркой лампочкой. Отчетливо ли я вижу ее? Я подошел к окну. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом сова прошла по железному листу туда и обратно — в точности так же, как они ходят по суку в зоопарке. Наклонилась, подняла свою желтую трехпалую лапищу, словно обкапанную воском, и быстро-быстро, как курица, почесала задним когтем клюв. И опять успокоилась, села вертикально, уставила на меня два жестяных кружка — глаза. Я отчетливо видел мою сову!

Потом я опомнился и поскорее стал открывать ящики и устанавливать приборы. Через пять минут комната моя засверкала стеклом и никелем, стала лабораторией.

«Что я успею? — думал я. — Мне нужно не меньше десяти лет!»

Я попытался вспомнить хоть что-нибудь из своих мыслей, сожженных в разное время в печах лаборатории. Попробовал их заново записать, но ничего из этого не получилось.

— Это сократило бы мне работу вдвое! — Я даже ударил кулаком по столу.

Тут я увидел на полу записку бандита, которую бросил днем. Несколько строк в ней я не успел дочитать, и как раз эти строки смотрели на меня с пола.

«Я могу быть вам полезным. Поняли вы то, что было рассказано об одном бандите? Тогда попросите женщину, что стоит перед вами, и она отдаст вам тетрадку, куда я тайком переписал все ваши мысли, те, что два года вы бросали в печь. Я хотел сам воспользоваться ими — они ведь вам были не нужны...»

— Где же я ее теперь найду? — закричал я, опять не дочитав записку. И тут же увидел слова: «Ее телефон...»

Через несколько секунд я стоял, как в сказке, среди крепко усыпленных телевизором, мерно дышащих с широко открытыми глазами людей и, поставив телефонный аппарат на плечо одного из них, набирал номер. Послышалось несколько гудков, затем ее голос.

С этого момента в моей новой — короткой — жизни началась новая глава. Она началась с недоразумений, повод к которым подал я сам.

— Надо сразу брать трубку! — Эти слова сорвались у меня, прежде чем я успел подумать, что это грубость. — Где тетрадка? Почему вы мне ее не дали?

— Вы не попросили, — отвечал ее голос. — Даже не стали читать письмо. А в записке сказано: если вы...

— Сразу видно, что вы не цените время! — опять сорвался я. — Простите меня...

И трубка вдруг замолчала.

— Что же вы молчите? — заорал я опять. — Тетрадку, тетрадку!

— Еду, — отвечал низкий ласковый голос.

Когда я услышал ее шаги, я вдруг понял, что жду не только тетрадку. С того самого мгновения, как я увидел эту женщину в первый раз, меня тихо, незаметно потянуло к ней, как щепку тянет издаликой водой к водопаду. Не вторая ли это золотая песчинка подошла к горловине стеклянных часов, чтобы в один миг пролететь через нее? «Что ж, лети и пролетай, — подумал я. — Теперь для меня это не существует... Ведь вы, красавицы, любите, чтобы за вами долго и упорно гнались, — и правильно делаете. А ты тем более — ты ведь еще не забыла того, кому кричала: «Да! Да! Да!» И вряд ли ты его забудешь — разве сможет моя ничем не примечательная фигура вытеснить из твоей памяти этого экзотического, невероятного человека с чужим лицом? Я умер для любви, меня нет».

Тут она и открыла дверь, и вошла — невысокая, тихая красавица, с очень покатыми плечами. «Люблю тебя!» — закричало во мне все живое. Я понял, что в моей новой жизни уже прошло детство и наступила ранняя юность. Но тут же я услышал охлаждающий шелчок в оконное стекло — и даже не посмотрел на окно: мне сразу все стало ясно.

Еле поздоровавшись с женщиной, я выхватил из ее рук тетрадку, повернулся к гостю спиной, раскрыл тетрадь и увидел чертежи, наброски и расчеты — те самые, что несколько лет щедро разбрасывал и сжигал. Я перелистал тетрадку. Ого! Уже не десять, а восемь лет! Я буду работать в институте и дома — это даст еще два года. Я поставлю дело так, чтобы опыты шли не в одном, а сразу в нескольких направлениях. Днем и ночью!

— Куда вы так спешите? — спросила женщина, видя, как поспешно я соединяю провода и включаю приборы.

— Мне осталось очень мало... — сказал я и осекся. — Жизнь коротка, а работы много. Я тороплюсь.

Я включил приборы все до одного, и зажглись веселые огни в колбах и ретортах, побежали по стеклянным трубкам прозрачные кипящие струи, и в тиглях начали плавиться редкие земли.

Моя сова спала за окном, спрятав голову под крыло. Я решил проверить одну вещь, устранить последнее сомнение.

— Что это там, за окном? — неожиданно спросил я у женщины и показал на сову.

При этих словах громадная птица подняла голову и быстро-быстро заморгала желтыми линзами глаз. Женщина подошла к окну, припнула к стеклу, закрылась от света обеими руками.

— Там никого нет,— сказала она, улыбаясь. И вдруг умолкла. Стала пристально следить за мною, закусив губу, словно пораженная каким-то открытием.— Там никого нет,— повторила она.— А вы кого-нибудь увидели? За вами следят?

— Нет так нет,— уклонился я от ответа.

И вдруг она — она! — задала мне вопрос. Пришла ее очередь удивить меня, поставить в тупик. Она спросила:

— Вы зачем переменили комнату?

Я опешил, выпрямился, но не ответил ей — я уже жил во власти новой дисциплины. Я стал вертеть ручку своего старенького арифмометра — мне нужно было произвести кое-какие вычисления. Женщина, не отрываясь, следила за мной.

Примерно через час она не выдержала — тихонько рассмеялась.

— Вы мне хоть скажите, куда вы так гоните?

— Куда? Один человек, вы знаете, о ком идет речь, наверно уже говорил вам, куда он гонит...

— Говорил...

— Так вот, туда же гоню и я. Я прожил целую жизнь и ничего еще не сделал. А я могу дать кое-что людям. У меня нет опоры на земле, пока благодарный человек не встряхнет мне руку так, чтобы сердце сорвалось со своего места. Я буду работать для него. Он войдет — и это будет счастливый день.

Ей, должно быть, понравились эти слова. Она помолчала, а потом опять принялась за свое.

— Зачем вы теряете время? Ведь это так не похоже на вас. Ведь у вас есть новый, совершенный вычислительный аппарат.

Еще новости! Какой-то новый аппарат! Я опять не ответил ей. Тогда она взяла меня за руку и повела к двери.

— Что еще? — Я остановился.

— Не теряйте времени,— сказала она, подражая мне.— Не бойтесь! Я помогу вам выиграть время.

Она потащила меня в другую квартиру, туда, где месяц назад жил мой необыкновенный товарищ — бандит. Достала ключ, открыла дверь его комнаты, зажгла свет и отвернулась от меня, пряча улыбку. Зато я откровенно просиял: в комнате стояли новейшие дорогие приборы — как раз то, чего мне не хватало. Я стал осматривать, передвигать приборы и совсем забыл о своей спутнице.

— Как вам не стыдно! — вдруг услышал я ее голос.— Притворяетесь, будто никогда не видели этих вещей!

Опять за свое!

— Что вы хотите сказать? — резко спросил я.

— Ну вы должны же были хотя бы навещать своего товарища,— уклончиво ответила она.— Может быть, вы не видели и это?

На подоконнике, в аквариуме, рос незнакомый мне большой белый цветок с сильным запахом. Женщина подвела меня к нему. Она словно экзаменовала меня. И я вдруг вспомнил.

— Это лотос. Он выращен из семечка, которое пролежало в гробнице две тысячи...

— Та-ак,— сказала она, торжествуя.— Ставлю вам пять с плюсом. А это вам знакомо?

И она подала мне вычислительную машинку последней модели — такую, о какой я не смел даже мечтать. Эта машина могла заменить целое бюро вычислителей, вооруженных простыми арифмометрами.

— Эту вещь можно взять? — не удержался я.

— Вы теряете время! — возвысила она голос, передразнивая не то бандита, не то меня.— Да! Да! Да! Это все ваше. Все приборы! И даже лотос!

Мне показалось, что она обиделась на что-то.

— Ну да, понятно,— вдруг сказала она в раздумье.— Переменил лицо, переменил голос, значит надо менять и комнату. Чтобы никто не знал, не сказал... И даже друзей...

Мне бы тогда еще задуматься над этими словами! Но я же говорю — я был во власти новой дисциплины, которая все в моей голове повернула по-новому. Я махнул рукой на ее болтовню.

За одну ночь я сделал громадный прыжок в своей работе. Я убедился в правильности своих отдаленных предположений. Если так пойдет дальше, я месяцев через восемь получу первый результат, и тогда можно будет включать в дело весь институт. Все скептики сложат оружие!

Ничего не замечая вокруг, полный самых радостных надежд, я пришел утром в нашу лабораторию. Еще в дверях я услышал веселый шум. Оказывается, мой вечный противник С. уже тиснул ответ на мою статью!

— Какая оперативность! — иронически восклицал наш шеф, и в кругу болельщиков после каждого его слова взмывал и опускался угрожающе-веселый шум.

Все они стояли вокруг моего стола, шеф хохотал, держась за живот, и в знаменитой картине не хватало только писаря с пером за ухом, то есть меня.

— Ну, дорогой боец, дело теперь за вами,— сказал шеф и положил газетную вырезку мне на стол.

И я их удивил. Я даже не стал читать статью этого С., который мне теперь казался только наивным, но ни в какой мере не опасным чудачком. Он уже не жаег мою кровь, в ней горел другой огонь. Я отмахнулся от него, как от комара. И должен сказать, забегая вперед: этот С. долго еще печатал статьи специально для меня. В одной сноске он писал, что я стыдливо отмалчиваюсь, в другой — что я надел шоры молчания, что я отсиживаюсь в кустах, что я, как страус, спрятал голову. Он кукарекал издали и хлопал крыльями, как петух, заманивая меня продолжить бой.

Увидев, что я отодвинул в сторону газетную вырезку, мои товарищи переглянулись.

— Да ты ли это? — спросил пораженный любитель шалостей.— Смотрите, он, кажется, небритый! Друзья! Он бросил пальто на стул! Ну-ка, ну-ка... На пальто нет двух пуговиц! Не кажется ли вам, что его подменили? Он чем-то смахивает на этого... который сидел рядом с ним...

И он выразительно поглядел на пустующий стол бандита.

И правда, мой характер круто переменялся. Я стал другим человеком. Мгновенно забыл я все свои манеры большого ученого, перестал говорить нараспев, перестал кружиться и ворковать вокруг пустячных вопросов. Я летел все время в каком-то горячем полусне. Во мне проснулась жадность к жизни, и, странное дело, как изменились мои представления об удовольствиях!..

Чем же я наслаждался? Я все время смотрел на нее. Она капитально устроилась в моей комнате, принесла с собой кроватку-раскладушку и работала у приборов днем и ночью. Я даже не знаю, когда она

спала. И я наслаждался, издали глядя на нее, как она сидит за столом, любовался особенным наклоном ее головы и шеи — как будто молодая мать наклонилась к младенцу.

И, глядя на эту линию ее головы, шеи и покатоного плеча, на эту слабоволнистую ласковую дугу, по которой — по одной — я узнал бы ее всегда, я мечтал; мне хотелось, чтобы она обернулась, посмотрела. Она всегда улавливала мой молчаливый приказ — оборачивалась, упиралась подбородком в плечо. Но какой-то постоянный вопрос пробуждал ее, и она, пристально взглянув на меня, возвращалась к своему делу.

Вопрос этот мучил ее. Она решила устроить мне еще один экзамен. У нас установилось правило: если в работе появлялось окошко, которое надо было заполнить, мы обязательно шли часа на два куда-нибудь — на выставку, в оперу или на концерт. И вот однажды вечером, установив автоматы, включив приборы, она взяла меня под руку.

— У нас есть свободное время. Целый час. Можете вы подарить его мне?

Я подумал.

— Ну хорошо. Подарю.

Мы вышли на улицу. Она потащила меня куда-то, мы пошли по какой-то темной аллее.

Вдруг эта женщина спросила:

— Неужели ты не помнишь эту дорожку?

Мне все это надоело, и я не стал скрывать свою досаду:

— Вот правильно, переходите со мною на ты. Давно бы так. Но я прошу оставить странную игру, вы ведете ее вот уже два месяца, и я ничего не понимаю. Эта игра отнимает у нас время.

— Куда вы все время так спешите?

В этот момент я увидел в тени за фонарем темную фигуру моей совы, ее блестящие, быстро мигающие глаза. Я остановился. Хотел показать своей спутнице эти два глаза и вспомнил: она ведь все равно их не увидит.

— Куда я спешу? — Я решил сказать ей все напрямик. — Вот куда: мне осталось жить меньше года.

Мои слова сильно подействовали на нее. Я словно сказал нечто последнее, чего ей не хватало для взрыва. Она остановила меня, зашла вперед и, сложив руки лодочкой, взяла меня за подбородок. И я увидел близко-близко ее глаза, полные слез.

— Если ты уверен, что меньше года, тогда зачем же мы здесь обманываем друг друга? — шепнула она.

Я открыл было рот, но она положила пальцы мне на губы.

— Ведь это же ты, ты!

И я догадался.

— Вы думаете, что я — этот... ваш?

— Хватит меня мучить... Вспомни, как ты прятался от меня в первый раз. За что ты меня наказываешь?

— Но ведь я совсем другой! — закричал я. — Смотрите — у меня другие волосы, другое лицо! Я ничего у себя не меняю! У меня нет никаких швов. Это все мое!

— У тебя и в первый раз не было швов. А я угадала. Я сразу угадала! Скажи, ты почему, когда я к тебе пришла с твоей запиской и с часами, — ты почему вдруг изменился в лице и спросил: «Была ли любовь?» Тебе очень хотелось это узнать. Я тогда же разгадала эту твою наивную хитрость. — Она засмеялась. — Знаешь, как ты меня обрадовал этими словами!

— Я скоро расстанусь с вами по-настоящему, — сказал я.

— Никогда мы не расстанемся. Я найду тебя, даже если ты опять убежишь от меня, сделаешь себе не только другое лицо, а даже переменишь рост.

— Мне осталось жить меньше года. Это определено.

— Не верю. Ты уже столько лет это говоришь!

— Но ведь тот говорил, и его убили.

— Не убили! Ты умница, ты все продумал! И велел передать все своему двойнику — тебе же. Ты хитрый! Они тебя никогда не настигнут...

— А, черт! Глупости какие-то...

Должно быть, и тот так обрывал ее — она засмеялась.

— Я не буду об этом говорить. Ты и тогда этого не любил. Не буду! Сегодня ты еще лучше, чем тогда был. У тебя мягче стал характер, ты так улыбаешься! Ты так хорошо говоришь о человеке, который придет... Я потеряла столько времени! Зачем я позволяла себе играть тобой, как будто мне семнадцать лет! Хочешь, я крикну тебе то слово, о котором ты так просил? Да! Да! Ты слышишь? Крикни мне, что слышишь!

— Слышу, — шепнул я. Я не мог больше противостоять течению. Щепка понеслась к водопаду. — Какого меня ты больше любишь, — спросил я, — того, который убит, или того, который здесь, рядом с тобой?

— Который здесь!..

Меня любили. Я видел глаза. Стоило мне слегка повернуть голову вправо, и я встречал две блестящие от слез звезды.

И я занял место ушедшего от нас бандита. Моя юность стала зрелой молодостью.

Доктор правильно все предсказал: пять или шесть месяцев прожил я после встречи с ним, и стало мне плохо. Среди яркого лета я должен был слечь.

Я виновато сказал своей тихой, растерянной зримой любви:

— Знаешь, дружок, мне трудно ходить. Придется тебе покомандовать одной, а я сегодня останусь в постели. Включи радио.

Она включила — и сразу стал слышен то завывающий, громкий, то пропадающий в грохоте магнитных бурь голос нашего темного материка. Они там работали, добывали уголь, выращивали под искусственным светом капусту!

— Надо энергичнее действовать, — сказал я. — Надо поспешить.

И еще быстрее побежали кипящие струи в стеклянных трубках, и ярче разгорелись огни.

В дождливом сентябре мы закончили работу на одной из установок. Я лежал в постели и был настолько слаб, что не мог поднять головы.

— Открой первый свинцовый колпачок, — сказал я.

Она открыла.

— Ошибка, — услышал я ее тихий голос. — Здесь лежит только маленький красноватый уголек.

— Нет, это не ошибка, — ответил я спокойно. — Это только вариант. Все учтено на других установках. А уголек этот можно уже показать... Позови ребят. Позови шефа...

Они вошли, ступая на носках, как входят к больному. Раньше я не пускал их к себе, и теперь, войдя в мою комнату, которая превратилась в лабораторию, они остановились у двери, стали озирались. Они не знали, что подумать обо мне, их удивило все: и стены, исписанные формулами, и исцарапанная гвоздем мебель — я и на ней писал, — и блеск приборов, от которых доходили до них легкие струи тепла.

Потом они увидели меня. Должно быть, мой вид поразил их — они

еще больше притихли. Только любитель шалостей, не сводивший глаз с моей подруги, что-то шепнул шефу.

— Доложи им,— сказал я.

И она, как настоящий ученый, за десять минут сделала им доклад о нашей работе и показала уголек, который никак не хотел остывать.

Этот уголек удивил всех, особенно шефа. Он первым торжественно подошел пожать мою руку. И все мои товарищи зашумели и наперебой бросились ко мне, схватили мои ослабевшие, легкие руки и стали их трясти,— и я почувствовал, что сердце мое вот-вот сдвинется с места.

— Сегодня же мы включаемся в работу,— сказал шеф.— Всей лабораторией!

С этого дня в моей комнате стали дежурить днем и ночью два наших сотрудника, и, кроме того, каждый день из лаборатории по телефону передавали нам сводки — дело быстро двинулось вперед.

В холодном декабре в присутствии нашего шефа моя подруга открыла второй свинцовый колпачок.

— Опять ошибка,— тихо сказала она шефу.— Здесь еще хуже — уголек совсем черный.

Но я услышал их.

— И эта ошибка учтена. — Я еле двигал губами. — Продолжайте работу. Быстрее!

У меня был изощренный слух. Я услышал, как шеф, прикрыв рот рукой, шепнул:

— Третья ошибка убьет его...— И добавил громко: — Гм... Я полагаю, лучше будет увезти третью установку к нам в лабораторию. Там мы быстрее и точнее проведем опыт.

— Доверяю,— сказал я.

И вот мы остались одни с моей женой в тихой, пустой комнате. Мы вдвоем — и еще сова, которая в один из дней ухитрилась через форточку протиснуться к нам и теперь дремала на подоконнике или бродила под столом, постукивая клювом по полу. Жена — она действительно заслужила это имя — сидела около меня, и мы тихо вспоминали нашу короткую молодость.

На третий или на четвертый день я почувствовал себя хуже и попросил:

— Открой окно.

— Милый, на дворе мороз. Нужно ли?

— Открой, открой,— шепнул я.

Жена подошла к окну.

— Что это? В декабре — весна! Слышишь? На улице тает, и муха проснулась, бьется в стекло!

— Открой!..

Она открыла сначала форточку, а потом распахнула и все окно — и вместе с весенним теплым ветром в комнату ворвалась необыкновенно приятная далекая музыка. Она струилась над городом, то затихая, то разливаясь мощной волной. Я слушал ее и не знал, что это играют телефонные провода, разнося по всему миру весть о победе человека над холодом и темнотой. Время от времени к этой музыке присоединялся торжественный, уходящий вдаль звон — это самолеты летели над городом с драгоценным грузом, они везли первую весну на темный материк. Но я этого не знал, мне было очень тяжело, я совсем ослабел, прислушивался, не идут ли товарищи с доброй вестью. И еще меня пугала сова — она в странном возбуждении ходила около моей постели, встряхиваясь, резко взмахивая крыльями. Нет ничего тяжелее расставания с жизнью, если ты не довел до конца нужное людям и зависящее от тебя дело.

Потом меня потянуло ко сну. Где-то гудела лестница, хлопали двери, шаркали поспешные шаги. Но я этого не слышал. Я услышал только голос доктора, моего школьного товарища:

— Еще жив!

Он сел у моего изголовья и дрожащими руками стал развинчивать свинцовый патрон.

— Скорей, скорей, скажи! — хотел крикнуть я.

И крикнул, потому что моей болезни уже не было со мной.

Ослепительная капля дрожала в руках доктора, заливая солнечным светом всю комнату. Я знал о ней давно, она мне снилась; закрыв глаза, я часто видел ее еще тогда, когда только устанавливал приборы. А теперь я не мог смотреть на это слишком яркое маленькое солнце. Я поднялся с постели, шатаясь на слабых ногах. Моя подруга подбежала, чтобы поддержать меня, но я движением руки остановил ее и сам прошелся по комнате. Даже топнул! Жена прислонилась к стене, сияя, не веря.

— Спасибо, доктор, — шепнула она.

— За что? Он сам победил свою смерть. Сам нашел лекарство! Это его свет!

Опять лестница загудела, захлопали двери, и в комнату ворвалась целая толпа — здесь были и мои товарищи и множество других людей, которых я не знал. Меня обступили, кто-то жал мне руки. Мой шеф протиснулся ко мне.

— Вы все-таки сумели утрясти в мешке свое время! — поздравил он меня. — В древности рядом с вашим именем нарисовали бы сову! Вы когда-то высказали предположение, что этот иероглиф... Помните?

— А вы знаете, оно подтвердилось, — сказал я. И подумал: действительно, я ведь утряс свое время! Я прожил за один год целую жизнь. А сколько таких лет впереди — целый океан времени!

Кого же мне благодарить за это? Я посмотрел на подоконник, где всегда сидела моя сова. Но ее там не было. Там только стоял аквариум, и в нем цвел лотос. А за окном, далеко-далеко в бледно-голубом весеннем небе, улегала к горизонту какая-то большая птица, тяжело взмахивая крыльями.

Океан времени плескался у моих ног. Я стоял на его берегу, готовый начать жизнь сначала, и таинственные волны будущего одна за другой ложились у моих ног и отступали, заманивая меня. Завтра я уже буду плыть далеко за горизонтом. Мне стало немного страшно: за год я привык к постоянному присутствию совы. Смогу ли я жить без ее напоминаний? Не превратится ли этот могучий океан, ожидающий меня, в маленький ручеек, который я даже не замечу, как перешагну?

Тут я вспомнил о часах, о подарке бандита. И сразу похолодел от страха — часов моих не было слышно.

Я схватился за цепочку... Ах, да! Они остановились! Ведь год, год прошел, их надо опять завести!

Я достал часы, вставил фигурный ключ и двадцать раз повернул его. Вот и упор — часы идут. Они пошли на Новый год.



С. МАРШАК

★

В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ

*Страницы воспоминаний **

«В начале жизни школу помню я...»

А. Пушкин.

1. Времена незапамятные

Семьдесят лет — немалый срок не только в жизни человека, но и в истории страны.

А за те семь десятков лет, которые протекли со времени моего рождения, мир так изменился, будто я прожил на свете по меньшей мере лет семьсот.

Нелегко оглядеть такую жизнь. Для того, чтобы увидеть ее начало — время детства, — приходится долго и напряженно всматриваться в даль.

Конец восьмидесятых годов. Город Воронеж, пригородная слобода Чижовка, мыловаренный завод братьев Михайловых. При заводе, на котором работал отец, — дом, где я родился.

Собственно говоря, никаких «братьев Михайловых» мы и в глаза не видели, а знали только одного хозяина — флегматичного, мягко покашливающего Родиона Антоновича Михайлова — и его сына, воспитанника кадетского корпуса, в коротком мундирчике с белым поясом и красными погонями.

Годы, когда отец служил на заводе под Воронежем, были самым ясным и спокойным временем в жизни нашей семьи. Отец, по специальности химик-практик, не получил ни среднего, ни высшего образования, но читал Гумбольдта и Гёте в подлиннике и знал чуть ли не наизусть Гоголя и Салтыкова-Щедрина. В своем деле он считался настоящим мастером и владел какими-то особыми секретами в области мыловарения и очистки растительных масел. Его ценили и наперебой приглашали владельцы крупных заводов. До Воронежа он работал в Нижнем Новгороде и в Казани на заводе богачей Тер-Акоповых. Но служить он не любил и мечтал о своей лаборатории.

Однако мечты эти так и не сбылись.

У него не было ни денег, ни дипломов, и рассчитывать на большее, чем на должность заводского мастера, он не мог, несмотря на то, что отличался неисчерпаемой энергией и несокрушимой волей.

Не многие оказались бы в силах так решительно и круто повернуть свою жизнь, как это сделал отец в ранней молодости.

* В этих записках о годах моего детства и ранней юности нет вымысла, но есть некоторая доля обобщения, без которого нельзя рассказать обо многих днях в немногих словах. Некоторые эпизодические лица соединены в одно лицо. Изменены и кое-какие фамилии. — С. М.

Детство и юность провел он над страницами древнееврейских духовных книг. Учителя предсказывали ему блестящую будущность. И вдруг он, к великому их разочарованию, прервал эти занятия и на девятнадцатом году жизни пошел работать на маленький заводик — где-то в Золотоноше или в Пирятине — сначала в качестве ученика, а потом и мастера. Решиться на такой шаг было нелегко: книжная премудрость считалась в его среде почетным делом, а в ремесленниках видели как бы людей низшей касты.

Да и не так-то просто было перейти от старинных пожелтевших фолиантов к заводскому котлу.

Много тяжелых испытаний и горьких неудач выпало на долю отца, прежде чем он овладел мастерством и добился доступа на более солидный завод.

И, однако, даже в эти трудные годы он находил время для того, чтобы запоём читать Добролюбова и Писарева, усваивать по самоучителю немецкий язык и ошупью разбираться в текстах и чертежах иностранной технической литературы.

Человек он был мягкий, по-детски простодушный, но самолюбивый до крайности, и его гордый, непоклонный нрав мешал ему уживаться с хозяевами в поддевках и сапогах бутылками — людьми невежественными, но требовавшими от своих подчиненных почтительного повиновения. Не ладил отец и с властями предрержащими.

Был у него в молодости случай, который надолго сохранился в наших семейных преданиях.

Отец только что поступил на большой завод в одном из губернских городов Поволжья. Встретили его с распростертыми объятиями и сразу же отвели ему квартиру во втором этаже флигеля, расположенного на заводской территории. Кажется, это была первая в его жизни настоящая, отдельная и самостоятельная квартира.

С удовольствием, не торопясь, принялся он разбирать и раскладывать вещи, как вдруг раздался громкий стук в дверь — это пожаловал не кто иной, как сам полицейский пристав, особа по тем временам довольно значительная. Приехал он якобы для того, чтобы проверить, в порядке ли у отца документы и есть ли у него «право жительства» вне «черты оседлости», где евреям разрешалось тогда селиться.

В сущности, пристав мог бы вызвать отца к себе в полицейский участок повесткой, но предпочел явиться лично, чтобы с глазу на глаз, из рук в руки получить установленную обычаем дань.

Не дождавшись полусотенной, на которую он рассчитывал, величавый пристав потерял терпение и позволил себе какую-то грубость. Отец вспылал, а так как силы он был в то время незаурядной, незваный гость и оглянуться не успел, как очутился на лестничной площадке и от одного толчка полетел вниз по крутым деревянным ступенькам.

Слушать эту историю нам никогда не надоедало. Мы представляли себе — вместо того, незнакомого — нашего воронежского пристава, большого, статного, с полукружиями белокурых пушистых усов, шагающего, словно на пружинах, в своей голубоватой офицерской шинели и лакированных сапогах.

И вот такой-то пристав кубарем катился по всем ступенькам, гремя шашкой и медными задниками калош. Об одном только мы жалели: отчего отец жил в ту пору во втором этаже, а не в третьем или даже в четвертом...

Впрочем, и этот полет пристава со второго этажа мог бы дорого обойтись отцу. Не знаю, какие громы небесные обрушились бы на его буйную голову, если бы хозяин завода не съездил к губернатору, с ко-

торым частенько играл в карты, и не убедил его замять это щекотливое дело.

Должно быть, отец был в ту пору необходим на заводе — иначе хэ-зяин вряд ли вмешался бы в эту историю, а скорей всего предоставил бы строптивого мастера его судьбе.

Однако через некоторое время он предпочел расстаться с отцом, поручив заблаговременно своим служащим выведать у него кое-какие из его профессиональных секретов.

На заводе братьев Михайловых отец не чувствовал над собой — особенно в первые годы — хозяйской руки. Был он в то время молод, здоров, полон надежд и сил. Да и мать наша, не отличавшаяся крепким здоровьем, была еще тогда довольно весела и беззаботна, несмотря на то, что ее никогда не покидала тревога о детях. Неподалеку от завода простиралось поле, за ним роща, и у матери пока еще хватало досуга, чтобы иной раз под вечер выходить с отцом на прогулку.

Мне дорого смутное воспоминание о молодости моих родителей. Эта счастливая пора их жизни длилась недолго. Правда, отца я и в более поздние годы помню сильным, широкоплечим, жизнерадостным, но глубокая морщинка заботы рано пролегла между его бровей, а рыжеватые усы и маленькая острая бородка поседели задолго до старости. Только густые, черные с блеском волосы, круто зачесанные вверх, ни за что не хотели поддаваться седине.

Мать постарела и поблекла гораздо раньше отца, хоть и была много моложе его. Но, помнится мне, в эти воронежские годы ее синие, пристальные, глубоко сидящие глаза еще смотрели на мир доверчиво, открыто и немного удивленно. Приподнятые и чуть сведенные к переносице брови придавали ее взгляду оттенок настороженности, напряженного внимания.

Может быть, я даже не самое ее помню в эти годы, а побледневшую от времени фотографическую карточку, на которой она казалась такой юной и миловидной в скромной кофточке с модными тогда «буфами» на плечах. Волосы ее, коротко остриженные во время болезни, не успели отрасти, и от этого она выглядела еще моложе, чем была на самом деле. Под фотографией значилась фамилия московского фотографа.

Это была память о тех праздничных месяцах, которые мать провела до замужества в гостях у сестры и брата в Москве. Там-то она и встретила с моим отцом. Покинув строгую, патриархальную семью, которая жила в Витебске, она впервые попала в столицу, в круг молодых людей — друзей брата, ходила с ними в театр смотреть Андреева-Бурлака, любимца тогдашней молодежи, слушала страстные студенческие споры о политике, о религии, морали, о женском равноправии, зачитывалась Тургеневым, Гончаровым, Диккенсом.

«Давида Копперфильда» она и отец читали вслух по очереди.

Московские друзья брата приняли ее в свой кружок, как свою. Показывали ей город, доставали для нее билеты то в оперу, то в драму.

Не часто доводилось ей бывать в театре и на дружеских вечеринках в последующие годы ее жизни, омраченные нуждой и заботой. Вероятно, потому-то она и вспоминала с такой благодарностью немногие дни, прожитые в Москве.

Впрочем, мать моя никогда не была слишком словоохотливой и, в противоположность отцу, не умела да и не любила выражать свои сокровенные чувства. Но и по ее немногословным, скупым рассказам в памяти у меня навсегда запечатлелось, быть может не вполне отчетливое и точное, но живое представление о молодости восьмидесятых годов, о

московских «старых» студентах в косоворотках и поношенных тужурках, об их шумной, дружной и, несмотря на бедность, по-своему широкой жизни. Я не запомнил их имен, за исключением одного, которое чаще других упоминала мать. Ни разу в жизни не видел я человека, носившего это имя, да и родители мои никогда больше не встречались с ним. Знаю только, что он был так же беспечен, как и беден. За душой у него не было гроша медного, но это не мешало ему быть душой своего кружка. И фамилия его казалась мне словно нарочно придуманной: «Душман». Я был тогда совершенно уверен, что это не зря.

Воронежские знакомые моих родителей были людьми совсем иного круга и другого возраста. Солидные, семейные, они изредка приезжали к нам из города отдохнуть и пообедать. В таких случаях обедали дольше, чем всегда, и нас, детей, кормили отдельно. По совести сказать, нам были не слишком по вкусу эти приезды. Ради гостей приходилось надевать праздничные костюмчики, в которых нельзя было забираться под кровать, если туда закатывался мяч, или прятаться за большим сундуком в передней. Правда, гости привозили из города конфеты, а иной раз игрушки, но зато без конца приставали к нам с вопросами: сколько нам лет, деремся ли мы друг с другом и кого больше любим — папу или маму.

Уклоняясь от таких никому не интересных разговоров, мы выбегали во двор и любовались лошадьми, которые ожидали у крыльца. Засунув морды до самых глаз в торбу с овсом, они мигали длинными бесцветными ресницами и помахивали хвостами, а мы наперебой спрашивали кучеров, смиренные ли у них лошади или горячие и можно ли покормить их с ладони хлебом.

Каждую лошадь мы сравнивали с нашим Ворончиком, и он всегда оказывался лучше всех.

Это был молодой, норовистый конь, которого хозяин завода предоставил в распоряжение отца, так как жили мы далеко от города.

Ворончиком назвали его, вероятно, потому, что шерсть у него была черная и лоснистая, как вороново крыло, но для меня эта кличка была больше связана с именем города. Ворончик — воронежский конь.

Когда отцу надо было съездить в город, Ворончика запрягали в легкие узкие дрожки. Правил отец сам. Я и мой брат, который был на два года старше меня, не упускали случая полюбоваться рослым, статным, огнеглазым Ворончиком, когда он легко и весело выносил дрожки из распахнутых ворот. А как гордились мы отцом, который спокойно и уверенно держал в вожжах непокорного, резвого коня.

Я был еще очень мал в это время — и поэтому Ворончик навсегда остался у меня в памяти каким-то сказочным конем-великаном. Он был очень страшен, когда закидывал голову или подымался на дыбы, пытаясь освободиться от стеснявшей его упряжи.

Видно было, что и хозяйский кучер не на шутку побаивался Ворончика. Уж очень осторожно оглаживал он его, ласково приговаривая: «Ну, не шали, не шали, малый!»

Но «малый» был не прочь пошалить. Однажды он чуть не разнес в щепки сани, в которых ехали хозяин завода и кучер. После этого мать каждый раз с тревогой ожидала возвращения отца из города, особенно в те дни, когда он задерживался там дольше обычного.

Мы, дети, в городе бывали редко. Помню только две поездки. Первый раз, когда я еще и говорить как следует не умел, мы ездили смотреть на человека, который ходил над площадью по канату.

В другой раз нас повезли в городской сад, где в круглой беседке играли военные музыканты.

У меня дух захватило, когда я впервые услышал медные и серебряные голоса оркестра. Весь мир преобразился от этих мерных и властных звуков, которые вылетали из блестящих, широкогорлых, витых и гнутых труб. Ноги мои не стояли на месте, руки рубили воздух.

Мне казалось, что эта музыка никогда не оборвется... Но вдруг оркестр умолк, и сад опять наполнился обычным, будничным шумом. Всё вокруг потускнело — будто солнце зашло за облака. Не помня себя от волнения, я взбежал по ступенькам беседки и крикнул громко — на весь городской сад:

— Музыка, играй!

Солдаты, продувавшие свои трубы, разом обернулись в мою сторону. А человек, стоявший перед маленьким столиком, прикрепленным к подставке, постучал по краю столика тоненькой палочкой и что-то сказал музыкантам.

Оркестр заиграл еще веселее. Снова солнце выглянуло из-за тучи.

После этого памятного дня я долго упрашивал мать повезти нас еще раз в городской сад.

Но в город повезли не меня, а старшего брата. И не в городской сад, а в больницу. Брат заболел скарлатиной.

До того мы с ним почти всегда болели вместе, и это нам даже нравилось. Мы переговаривались друг с другом или играли в какую-нибудь игру, лежа, сидя, а иногда и стоя в кроватках. Лечить нас приезжал из города щеголеватый военный доктор, фамилия которого была «Чириковёр».

Я любовался его блестящей формой, его военной выправкой.

Самая фамилия доктора казалась мне звонкой, боевой. «Чириковёр» — в этих звуках слышалось треньканье шпор, как и в нарядном слове «офицер».

К словам — даже к именам и фамилиям — дети относятся гораздо серьезнее и доверчивее, чем взрослые. В любом сочетании звуков они предполагают какую-то закономерность. Слова для них неотделимы от значения, а значение — от образа.

Но брата лечили в городе какие-то неизвестные мне доктора без фамилий — и потому я никак не мог их себе представить.

Мать осталась с братом в городе на все время его болезни.

Помню нашу опустевшую квартиру. Отец работает в небольшой комнате за письменным столом у окна, а я, притаившись в углу, перебираю какие-то вещички — чурки, гвоздики, винтики, пустые коробочки.

Вот этот гвоздик лучше всех — он еще совсем новенький, блестящий, с широкой шляпкой, похожей на солдатскую фуражку. Как он, должно быть, понравится брату! Если играть в войну, такой замечательный гвоздик может быть у нас самым храбрым солдатом или даже командиром.

Отец слышит мое бормотание, оборачивается и спрашивает, что я делаю. Узнав, что я собираю игрушки к приезду брата, он хвалит меня — ласково и щедро, как умеет хвалить только отец.

После этого я и в самом деле чувствую себя «хорошим мальчиком» и уже ничего не жалею для брата. Я готов отдать ему все свои игрушки — даже граненое цветное стеклышко, даже тяжелую, широкую подкову, которую нашел за воротами.

Признаться, я очень редко бывал «хорошим мальчиком». То ввязывался на дворе в драку, то уходил без спросу в гости, то разбивал абазуру от лампы или банку с вареньем. В раннем детстве я не ходил, а только бегал — да так стремительно, что все хрупкие, бьющиеся вещи как будто сами подворачивались мне под руки и под ноги. Был у меня на совести еще один грех: часто, потихоньку от матери, я убежал обе-

дать к рабочим, которые угощали меня серой квашеной капустой и солониной «с душком», заготовленной на зиму хозяевами.

Впрочем, навещался я к ним не только ради этого лакомого и запретного угощения. Мне нравилось бывать среди взрослых мужчин, которые на досуге спокойно крутили сигарки, изредка перекидываясь двумя-тремя не всегда мне понятными словами. Помню одного из них — огромного, чернобородого, с густыми сросшимися бровями и серебряной серьгой в ухе. Он мне «показывал Москву» — сажал к себе на ладонь и поднимал чуть ли не до самого потолка. Говорил этот великан хриплым басом, заглушая все другие голоса, и каждое его словцо вызывало взрыв дружного хохота.

Я был слишком мал, чтобы разобраться, о чем шла речь, но во все горло хохотал вместе со всеми.

С такой же готовностью делил я с ними и обед. Они похваливали меня, говорили, что я «енарал Бородин — на всю губернию один», а я уплетал солонину, виновато поглядывая на дверь — не застигнет ли меня на месте преступления кто-нибудь из моих домашних.

Почему-то я думал в то время, что человеческая душа находится где-то в животе и похожа на маленькую муфту. Сначала душа у всех золотая, а потом понемногу чернеет от грехов.

И я был глубоко убежден, что у старшего моего брата нет на душе ни единого пятнышка, а моя душа-муфта давно уж черным-черна от всего, что я натворил на своем веку...

Впрочем, тогда я еще редко отчитывался перед своей совестью.

Как ни напрягаешь память, добраться до истоков жизни, до раннего детства почти невозможно.

Два-три эпизода, отдельные минулы, выхваченные из мрака, — вот и все, что остается от прожитых нами первых лет.

Отчего же мы так плохо помним свои младенческие годы? Оттого ли, что они были очень давно и заслонены последующими десятилетиями? Но ведь обычно память прочнее удерживает впечатления далекого прошлого, чем стпечатки наших недавних, но уже поздних дней.

А может быть, мы не помним своих первых лет просто потому, что были в эти годы слишком глупы, ничего не видели, не замечали, не понимали?

Нет, всякий, кому приходилось наблюдать ребят двух-трех лет, — я уж и не говорю о четырехлетних, — знает, как они приметливы, наблюдательны, догадливы, сколько у них сложных чувств и переживаний.

В сущности, в первые годы детства человек проходит самый трудный из своих университетов. Школьники изучают языки несколько лет, но редко овладевают хотя бы одним из них ко времени окончания школы. А ребенок усваивает всю речевую премудрость — по крайней мере настолько, чтобы довольно быстро и правильно говорить, — к двум годам. Он изучает язык без посредства другого — знакомого — языка, а наряду с этим приобретает множество самых важных и существенных сведений о мире: узнает на опыте, что такое острое и что такое горячее, твердое и мягкое, высокое и низкое. Но всего, что входит в сознание ребенка за эти первые годы, не перечислишь. Жизнь его полна открытий. Самые заурядные случаи и происшествия повседневной жизни кажутся ему событиями огромной важности.

Так почему же все-таки эти события, глубоко поразившие двухлетнего-трехлетнего человека, только редко и случайно удерживаются в его памяти?

Я думаю, это происходит оттого, что ребенок отдается всем своим впечатлениям и переживаниям непосредственно, без оглядки, то есть без той сложной системы зеркал, которая возникает у него в сознании в более позднем возрасте. Не видя себя со стороны, целиком поглощенный потоком событий и впечатлений, он не запоминает себя, как «не помнит себя» человек в состоянии запальчивости или головокружительного увлечения.

Вот почему, должно быть, мое воронежское детство оставило у меня в памяти только очень немногое, только самое яркое и необычное: первую в жизни музыку, первую разлуку с братом, первый пожар, окрасивший багровым заревом завешенное на ночь окно.

Помню первого увиденного мною в жизни вора, молодого конторщика, который попался на заводе в какой-то мелкой краже. Его не арестовали, не отдали под суд, а только уличили и с позором прогнали с завода. Никогда не забуду, с каким интересом смотрел я издали на этого стриженного, рябоватого молодого человека, который, нахохлившись, сидел у стола в ожидании попутной лошади. В нем не было ничего особенного, но каким загадочным и необыкновенным сделало его в моих глазах страшное слово «вор»... Вор! Мне казалось, что только у воров бывают такие помятые парусиновые штаны и куртки, такие крупные рубины на щеках, такие красные подбритые затылки.

Смутно, будто сквозь сон, припоминаю гостивших у нас на заводе хозйских племянников — двух больших мальчиков в круглых шапочках с лентами, в белых блузах с откидными матросскими воротниками и якорями на рукавах. Впрочем, большими эти мальчики казались только мне с братом, а на самом деле старшему из них было, вероятно, не больше одиннадцати-двенадцати лет, младшему — лет девять.

В одном из дальних закоулков заводского двора мы строили с ними завод, чтобы варить настоящее мыло. Раздобыли у рабочих все, что для этого требуется: несколько больших кусков белого, но не слишком свежего бараньего сала, от запаха которого у меня подступала к горлу тошнота, банку едкого щелока, немножко силиката. Оставалось только устроить топку и замазать над ней в глину старый, ржавый котелок, который мы нашли на дворе среди груды железного хлама.

Гордые тем, что эти нарядные городские мальчики, несмотря на разницу лет, играют с нами, как с равными, мы трудились, не жалея сил.

А так как приезжие ребята боялись испачкать свои новенькие матроски, то всю черную, грязную работу они поручили мне с братом. Мы укладывали кирпичи, месили глину. Сначала нам это очень нравилось, но скоро мы оба устали и проголодались.

Вытирая рукавом лоб, брат робко и тихо сказал мальчишкам, что дома у нас сейчас завтракают... Но старший из них, рыжий, с веснушками на носу, возмутился. «Подумаешь — завтракают!.. Да как же это можно бросать дело на середине? Если так, то уж лучше было бы и не начинать совсем!»

Когда топка была наконец готова, мальчики велели нам набрать щепок и хворосту и попробовали развести огонь. Но сколько мы ни старались, как ни дули в топку, присев перед ней на корточки, огонь не разгорался. Рыжий послал моего брата на завод за керосином, а мне велел раздобыть еще растопки.

За собой он оставил только самое приятное дело: зажигать спички, которых у него было более чем достаточно — целых два коробка.

Наконец из топки клубами повалил черный дым, щепки и хворост затрещали

Мы думали, что уж теперь-то мальчишки отпустят нас домой. Но рыжий только руками замахал.

— Вон чего выдумали! Пока огонь горит, самое время варить мыло. Маленькие вы, что ли? Такого простого дела не понимаете! А еще заводские!..

Нам стало совестно, и мы снова взялись за работу. Вывалили из мешка в котел сало, вылили из жестянки щелок и присели отдохнуть. Рабочие-то ведь тоже отдыхают. Цигарки сворачивают, курят...

— Помешивать, помешивать надо, а то пригорит! — не переставая, подгонял нас рыжий.

Но тут огонь в топке опять погас. Пришлось снова дуть, подкладывать растопку, поливать щепки керосином.

Я поглядел на брата и ужаснулся. Он был весь — с головы до ног — в глине и копоти. Даже на ресницах у него была глина. За версту от него несло керосином и отвратительным до тошноты, протухшим бараньим салом.

Верно, я тоже был хорош в эту минуту, но себя я не видел и только чувствовал, что от усталости у меня подгибаются коленки, а от дыма болят и слезятся глаза.

У нас уже не было никакой охоты варить мыло — так осточертела нам эта игра. Но все-таки мы продолжали работать без передышки и даже больше не заговаривали о том, что нас ждут дома к завтраку. Да уж какой там завтрак! Мы пропустили и обед. Наверно, домашние беспокоятся о нас, ищут на заводе и по всему двору.

Где-то вдали прогрехотал гром. Приближалась гроза, а мы все еще возились с топкой.

Не то чтобы мы очень боялись приезжих мальчишек в матросских костюмчиках. Силой они не могли бы удержать нас на работе. Но обоих нас как бы приковали к месту слова рыжего о том, что нельзя же бросать работу на середине, что если так, то уж лучше было бы и не начинать.

Я едва удерживался от слез. У брата тоже кривился рот. Но плакать на глазах у этих больших мальчишек было бы слишком позорно.

И все же мы дали волю слезам, когда нас наконец разыскала мама. Мы бросились к ней с громким ревом, но она в ужасе отшатнулась от нас.

— Что это вы делали? — спросила она.

— Завод строили, а потом варили...

— Варили?.. Что варили?

— Мы-ы-ыло!

— Но как можно было так измазаться? Ведь вот мальчишки тоже играли с вами, а почти совсем не выпачкались...

Ни я, ни брат ничего не ответили маме. Мы плакали навзрыд не то от обиды, не то от радости, что наконец-то нас освободили из плена.

Мне шел в это время пятый год, брату седьмой, но нам на всю жизнь запомнился день, когда мы варили мыло.

А еще — где-то в самой глубине памяти — осталась у меня первая дальняя поездка на лошадях.

Гулкие, размеренные удары копыт по длинному-длинному деревянному мосту.

Мама говорит, что под нами река Дон.

«Дон, дон» — звонко стучат копыта. Мы едем гостить в деревню. Въезжаем на крестьянский двор, когда тонкий серп месяца уже высоко стоит в светлом вечернем небе. Смутно помню запах сена, горьковатого дыма и кислого хлеба. Сонного меня снимают с телеги, треплют, целуют и поят топленным молоком с коричневой пенкой из широкой глиняной крынки, шершавой снаружи и блестящей внутри...

2. Старый дом в старом городе

Не знаю, что побудило отца покинуть завод братьев Михайловых и Воронеж. Но только помню, что с тех пор началась у нас полоса неудач и непрерывных скитаний.

Почти полгода после отъезда нашего из Воронежа прожили мы у дедушки и бабушки в городе Витебске. Приехали мы туда вчетвером: мама, я, брат и маленькая сестренка, только что научившаяся говорить и ходить. Отца с нами не было — он странствовал где-то в поисках работы.

Я был слишком мал, чтобы по-настоящему заметить разницу между Воронежем, где я родился и провел первые свои годы, и этим еще незнакомым городом, в котором жили мамыны родители. Но все-таки с первых же дней я почувствовал, что все здесь какое-то другое, особенное: больше старых домов, много узких, кривых, горбатых улиц и совсем тесных переулков. Кое-где высятся старинные башни и церкви. В каждом закоулке ютятся жалкие лавчонки и убогие, полутемные мастерские жестяников, лудильщиков, портных, сапожников, шорников. И всюду слышится торопливая и в то же время певучая еврейская речь, которой на воронежских улицах мы почти никогда не слыхали.

Даже с лошадю старик извозчик, который вез нас с вокзала, разговаривал по-еврейски, и, что удивило меня больше всего, она отлично понимала его, хотя это была самая обыкновенная лошадь, сивая, с хвостом, завязанным в узел.

Месяцы, прожитые у дедушки и бабушки, я припоминаю с трудом. Города и городишки, где нам пришлось побывать после Витебска, почти совсем вытеснили из моей памяти тихий дедушкин дом, который мы, ребята, с первого же дня наполнили оглушительным шумом и суетой, как ни старалась мама урезонить и утихомирить нас. Труднее всего было ей справиться со мной. Я так привык к простору нашей воронежской полупустой квартиры, что и здесь, в этих небольших, загроможденных тяжелой мебелью и старинными книгами комнатах, пробовал разбежаться во всю прыть, налетая при этом на кресла, этажерки и тумбочки, или вскакивал со всего разгона на старый диван, который покорно подбрасывал меня, хотя и стонал подо мной всеми своими дряхлыми пружинами.

Моя бесшабашная удаль приводила маму в отчаяние — особенно по утрам, когда дедушка молился или читал свои большие, толстые, в кожаных переплетах книги, и в послеобеденные часы, когда старики ложились отдыхать. Потревожить дедушку было не так уж страшно: за все время нашего пребывания в Витебске никто из нас не слышал от него ни одного резкого, неласкового слова. А вот сурового окрика нашей властной и вспыльчивой бабушки я не на шутку побаивался. Она горячо любила своих внуков, но свободно и легко чувствовали мы себя только тогда, когда она куда-нибудь уходила и в комнатах не слышно было ее хозяйски-ворчливого говорка и позвякивания ключей, с которыми она почти никогда не расставалась.

Наш приезд заставил потесниться всех обитателей старого дома, где выросла наша мать. Братья и сестра, которые были старше ее, давно уже покинули родительский кров и успели обзавестись собственными семьями. Младшие же пока оставались дома. Их было трое: двое моих дядюшек, еще не вышедших из юношеского возраста, и тетка, учившаяся в то время в гимназии. Мы запросто называли их всех по именам без добавления почтительного слова «дядя» или «тетя». Да они и сами бы удивились, если бы кто-нибудь вздумал их так величать.

Дядюшки мои готовились к каким-то экзаменам, но особенного рвения

к наукам не проявляли. Зато у старшего из них — красивого, сильного юноши с голубыми глазами, мягким голосом и мягкими усиками — было множество разнообразных способностей и увлечений: он мастерил замечательные шкатулки, выпиливал рамки для портретов, играл на трубе и — что поражало меня больше всего — умел никелировать самовары. На моих глазах красный медный самовар становился зеркально-серебряным, и это казалось мне не меньшим чудом, чем сказочное превращение лягушки в принцессу или частого гребешка в лесную чащу.

Я считал своего дядюшку настоящим волшебником, но скоро убедился, что бывают случаи, когда и ему не под силу сотворить чудо.

В дедушкином доме была одна комната, не слишком большая, которая торжественно именовалась «гостиной». Она была тесно уставлена уже порядком поблекшей и потерявшей плюшевую мебелью. Но главным ее украшением были два совершенно одинаковых узких зеркала, почти доходивших до потолка. Привязанные к железным крюкам в стене веревками, они были слегка наклонены вперед, и от этого отраженная в них комната со всей мебелью как бы уходила куда-то вверх. Мне это очень нравилось: опрокинутая в зеркало гостиная казалась гораздо красивее и таинственнее.

Но скоро я придумал, как сделать, чтобы отражение стало еще интереснее.

У каждого зеркала был подзеркальник — полочка из черного дерева вроде столика — с выгнутыми резными подпорками, которые старый столляр, чинивший дедушкину мебель, называл «кронштейнами».

Однажды, когда никого не было в комнате, я ухватился за эти подпорки обеими руками и стал раскачивать зеркало, то прижимая его вплотную к стене, то откидываясь вместе с ним на всю длину веревки.

Оказалось, что на зеркале можно отлично качаться, как на качелях. Да нет, куда занятнее, чем на качелях! Вы раскачиваетесь все быстрее и быстрее, а перед вашими глазами в зеркале мелькают самые разнообразные вещи: висячая лампа со всеми своими блестящими подвесками, кресла, стол с лиловой плюшевой скатертью, бисерная подушка на диване, портрет какого-то старика в раме под стеклом на противоположной стене.

И вдруг все это понеслось куда-то кувырком. Я лечу вместе с зеркалом и слышу, как оно грохается об пол и рассыпается вдребезги. Подзеркальник тяжело стучается над самой моей головой. В сущности, этот узкий столик, который мог размозжить мне голову, спас меня, мое лицо и глаза от града осколков.

Прикрытый рамой разбитого зеркала, я тихо лежу, боясь пошевелиться, и тут только понемногу начинаю соображать, что я натворил. Если бы я обрушил на землю весь небесный свод с его светилами, я не чувствовал бы себя более несчастным и виноватым.

Вбежавшие в комнату родные — мама, бабушка, дедушка — не сразу обнаружили меня. Когда же они поняли, что я лежу среди груды осколков под тяжелой рамой разбитого зеркала — и при этом лежу совершенно неподвижно, молча, не плачу, не зову на помощь, — они так и замерли от ужаса. Медленно и осторожно приподняли раму и все втроем наклонились надо мной.

— Жив! — сказала мама и заплакала. Она подхватила меня на руки и принялась ощупывать с ног до головы.

И тут оказалось, что я цел и невредим, если не считать нескольких царапин от мелких осколков.

Все до того обрадовались, что не только не стали бранить меня, а бросились обнимать, целовать, расспрашивать, не ушибся ли я и не очень ли испугался.

Никому и в голову не пришло наказать меня за мое преступление. А мне, пожалуй, было бы даже легче, если бы я за него как-нибудь заплатился. С грустью смотрел я на осиротевшее второе зеркало, оставшееся таким одиноким в своем простенке.

В глубине души я еще лелеял надежду, что мой дядя, который так ловко превращает медные самовары в серебряные, как-нибудь соберет и склеит все осколки, а потом ловко покроет их своим самоварным серебром.

Но оказалось, что даже и его ловкие руки тут ничего не могут поделывать. Правда, он смастерил из самых крупных осколков несколько маленьких зеркал в рамках и без рамок, но все они вместе не могли заметить то большое, которое я разбил.

Так и осталось навсегда в доме у дедушки и бабушки вместо двух парных зеркал одно, как у инвалида остается одна рука или одна нога.

И, вероятно, заходя в свою маленькую гостиную и глядя на это уцелевшее зеркало, старики не раз вспоминали шального, непоседливого внука.

Несколько дней в доме только и было разговору, что о гибели зеркала и о моем чудесном спасении. Потом об этом происшествии перестали говорить. Однако с той поры не только я, но и мама и брат ясно почувствовали, что мы слишком загостились у дедушки и бабушки. Прямо нам этого никто не говорил, но бабушка все чаще и чаще заводила с мамой разговор о том, что наш папа не умеет устраиваться, что он строит воздушные замки и мало думает о семье. Я видел, что маму такие разговоры огорчают, и очень сердился на бабушку.

Мне было непонятно, какие такие воздушные замки строит папа, и очень хотелось увидеть хотя бы один из этих воздушных замков. И все же я чувствовал, что в словах бабушки есть что-то обидное для нашего папы. Почему она говорит, что он мало думает о нас? Ведь мама часто получает от него очень толстые письма, в которых он заботливо и нежно расспрашивает о каждом из нас — о брате, обо мне и даже о нашей сестренке, хотя что интересного можно рассказать о ней, когда она еще такая маленькая!

Обычно эти досадные разговоры прерывал дедушка. Он был не охотник до споров и ссор, не хотел перечить бабушке и поэтому, желая утешить маму, только ласково трепал ее по щеке, как маленькую, и примирительно повторял:

— Ну, ну, душенька... Все будет хорошо... Все будет хорошо!

Но тянулись неделя за неделей, месяц за месяцем, а папа так и не приезжал за нами, не вызывал нас к себе и, должно быть, все еще строил свои воздушные замки, — уж не знаю, сколько он их там успел настроить. Наверно, целую тысячу!

Видно было, что нам долго еще придется прожить в Витебске. И вот дедушка, бабушка и мама решили, что больше нельзя терять время зря и пора посадить моего старшего брата за книги. Еще до приезда в Витебск он умел довольно бегло читать и отчетливо выводил буквы. Давать ему уроки вызвалась теперь наша тетушка-гимназистка. Это было для нее совсем не трудно: ученик относился к делу, пожалуй, с большей серьезностью и усердием, чем его молодая и веселая учительница, которая сразу же прерывала урок, если к ней приходили подруги, или кончала его раньше времени, чтобы примерить новое платье.

Так как во время уроков я постоянно вертелся около стола и не на шутку мешал занятиям, тетушка решила посадить за букварь и меня. И тут вдруг обнаружилось, что я не только знаю буквы, но даже доволь-

но порядочно читаю по складам. Не помню сам, когда и как я этому научился. Младшие братья и сестры часто незаметно для себя и других перенимают у старших начала школьной премудрости.

Когда наши занятия понемножку наладились, бабушка осторожно предложил добавить к ним еще один предмет — древнееврейский язык. Мама опасалась, что нам это будет не по силам, но дед успокоил ее, пообещав найти такого учителя, который будет с нами терпелив, ласков и не станет задавать на урок слишком много.

И в самом деле новый учитель оказался добрее даже нашей учительницы-тетки. Та могла, рассердившись, стукнуть своим маленьким кулачком по столу или, блеснув серыми, потемневшими от минутного гнева глазами, сдвинуть над переносицей пушистые брови.

А этот, видно, и совсем не умел сердиться. Через день приходил он к нам на урок, худой, узкоплечий, с черной курчаво-клочковатой бородкой. Он долго вытирал у входа ноги в побелевших от долгой службы башмаках, ставил в угол палочку с загнутой в виде большого крюка ручкой и, покашливая в кулак, шел вслед за нами в комнаты.

Бабушка, которая ценила в жизни успех и удачу, относилась к нему довольно небрежно. Зато дед встречал его приветливо и уважительно, подробно расспрашивал о здоровье и предлагал закусить с дороги. Но учитель всегда решительно и даже как-то испуганно отказывался, повторяя при этом, что он только что сытно позавтракал.

И правда, мы с братом не раз видели, как завтракает наш учитель. Прежде чем войти в дом, он усаживался на лавочке возле наших ворот и, развязав красный, в крупную горошину, платок, доставал оттуда ломоть черного хлеба, одну-две луковицы, иногда огурец и всегда горсточку соли в чистой тряпочке.

Не знаю почему, мне было очень грустно смотреть, как он сидит один у наших ворот и, высоко подняв свои костлявые плечи, задумчиво жует хлеб с луком.

В порыве внезапной нежности я встречал его на самом пороге, рассказывал ему наши новости и даже пытался, хоть и безуспешно, повесить на крюк его старое и почему-то очень тяжелое пальто.

Он ласково гладил меня по голове, и мы шли учиться. Но должен сознаться, что, несмотря на всю свою нежность к нему, уроков я никогда не учил и даже не пытался придумать сколько-нибудь убедительное оправдание для своей лени.

Я попросту рассказывал ему, что готовить уроки мне было некогда: сначала надо было завтракать, потом гулять, потом обедать, потом к бабушке пришли гости и мы все пили чай с вареньем, а потом нас позвали ужинать, а после ужина послали спать..

Слегка прикрыв глаза веками и посмеиваясь в бороду, он терпеливо выслушивал меня и говорил:

— Ну, хорошо, хорошо. Давай будем готовить уроки вместе, пока тебя опять не позвали пить чай с вареньем. Ну, прочитай это слово. Верно! А это? Хорошо! Ну, а теперь оба слова вместе.. Совсем даже хорошо. Умница!

И он щедро ставил мне пятерку, а то и пятерку с плюсом.

На прощанье учитель задавал к следующему разу новый урок, должно быть уже и не надеясь, что я что-нибудь приготовлю

И он был прав.

Я не слишком отчетливо запомнил то, что мы с ним проходили, хотя учился у него на круглые пятерки. Зато сам он запечатлелся в моей памяти неизгладимо — весь целиком, со всей своей бедностью, терпением и добротой.

Даже странная фамилия его запомнилась мне на всю жизнь. Тысячи фамилий успел я с той поры узнать и позабыть, а эту помню.

Звали его Халамейзер.

И вот наконец мы дождались приезда отца. Так и не устроившись по-настоящему, он забрал нас с собой, и мы начали кочевать вместе. Переезжали из города в город, прожили год с чем-то в Покрове Владимирской губернии, около года в Бахмуте — ныне Артемовске — и, наконец, снова обосновались в Воронежской губернии, в городе Острогжске, в пригородной слободе, которая называлась Майданом, на заводе Афанасия Ивановича Рязанцева.

Как ни различны были великорусские и украинские города, в которых довелось побывать нашей семье, окраины этих городов, предместья, пригороды, слободки, где ютилась мастеровщина, были всюду почти одинаковы. Те же широкие немощеные улицы, густая, белая пыль в летние месяцы, непролазная грязь осенью, сугробы до самых окон зимою.

И квартиры наши в любом из таких пригородов были похожи одна на другую: просторные, полупустые, с некрашеными полами и голыми стенами.

Впрочем, мы, ребята, мало обращали внимания на квартиру, где нам приходилось жить. Целые дни мы проводили на дворе, а в комнаты возвращались только к вечеру, когда уже закрывали ставни и зажигали свет.

Почти все детство мое прошло при свете керосиновой лампы — маленькой жестяной, которую обычно вешали на стенку, или большой фарфоровой, сидевшей в бронзовом гнезде, подвешенном цепями к потолку. Лампы чуть слышно мурлыкали. А за окном мигали тусклые фонари. На окраинных улицах их ставили так далеко один от другого, что пешеход, возвращавшийся поздней ночью домой, мог свалиться по дороге от фонаря к фонарю в канаву или стать жертвой ночного грабителя. Фонаря у нас не везло. Мальчишки немилосердно били стекла, а взрослые парни состязались в силе и удали, выворачивая фонарные столбы с комлем из земли. Где-то в столицах уже успели завести, как рассказывали приезжие, газовое и даже электрическое освещение, а в деревнях еще можно было увидеть и лучину.

Это были времена на стыке минувшего и нынешнего века. Минувшее еще жило полной жизнью и как будто не собиралось уступать место новому. Не только старики, но и пожилые люди помнили еще ту пору, когда они были «господскими». На скамейке у ворот богадельни сидели севастьяпольские ветераны, увешанные серебряными и бронзовыми медалями, а по городу ходили, постукивая деревяшками, участники боев под Шипкой и Плевной.

Но понемногу, год от году, все гуще становилась паутина железных дорог. Узкие стальные полосы, проходя через леса, болота и степи, сшивали, связывали между собой дальние края и города. От этого менялось представление о пространстве и времени.

Правда, в наших краях железная дорога все еще казалась новинкой. Поезд называли тогда машиной, как теперь называют автомобиль, и о нем пели частушки:

Д'эх, машина-пассажирка,
Куда милку утащила?
Утащила верст за двести.
Мое сердце не на месте.
Эх, машина с красным флаком.
Как прощались, милой плакал...

Много разговоров было в то время о разрушениях на железной дороге, и жители наших мест с опаской доверяли свою судьбу поездам. Недалеко от станциях, расположенных обычно вдали от городов, люди провожали отъезжающих, как провожают солдат на войну, — с плачем, с причитаниями.

Самые усовершенствованные новейшие тепловозы никого теперь не удивляют. А как поражали нас, тогдашних ребят, впервые увиденные нами паровозы — черные, закопченные, с высокой трубой и огромными колесами. Они вылетали из-за поворота дороги, как сущие дьяволы, сея искры, оглушая людей пронзительным шипением пара из-под колес, бодро и мерно размахивая шатунами. А вагоны — зеленые, желтые, синие, — постукивая на ходу, манили нас в неизвестные края бесчисленными окнами, из которых глядели незнакомые и такие разные, не похожие один на другого, проезжие люди.

Не только поезд, но даже и случайно найденный проездной билет сохранял для нас, мальчишек, все обаяние железной дороги, ее мощи, скорости, деловитости, ее строгого уклада. Зеленые, желтые, синие билеты, плотные и аккуратно обрубленные, напоминали нам своей формой и цветом вагоны — третьего, второго и первого класса. Мы знали, что билеты эти уже использованы и не имеют никакой силы, но цифры, пробитые в них кондукторскими щипцами, только увеличивали для нас их ценность. Бережно хранили мы каждый билет, на котором черными, четкими буквами были обозначены названия станций:

«Острогожск — Лиски».
«Воронеж — Графская».
«Харьков — Москва».

И почему-то все эти города казались нам куда интереснее и привлекательнее нашего, хоть и наш уездный город представлялся мне чуть ли не столицей по сравнению с пригородной слободой, где не было ни одного двухэтажного дома, если не считать заводских построек.

А заводы в те времена были так неуютны и мрачны, что мне иной раз бывало до боли жаль отца, когда в утренних сумерках он торопливо надевал свое будничное, старое, порыжевшее пальто и отправлялся на работу — в копать и грязь, в жар и холод, в лягз и грохот завода.

3. На Майдане

Первое знакомство с новыми местами всегда было для нас, ребят, праздником. Еще не отдохнув с дороги, мы живо обегали свои новые владения, открывая то полуразрушенный завод, который может служить нам крепостью, то овраг в конце двора, то большой, кипящий своей сокровенной жизнью муравейник за сараем.

Такую радость открытия испытали мы и на этот раз, приехав в Острогожскую пригородную слободу.

У самого дома начинались луга и рощи. На большом и пустынном дворе было несколько нежилых и запущенных служебных построек с шаткими лестницами и перебитыми стеклами. Из окон верхних этажей с шумом вылетали птицы. Все это было так интересно, так загадочно.

А в конце двора прямо на земле лежали полосатые зелено-черные арбузы и длинные, желтые, покрытые сетчатым узором дыни.

В первый раз увидел я их не на прилавке и не на возу, а на земле. Должно быть, здесь их так много, что девать некуда. Потому-то они и разбросаны у нас по двору.

Я попробовал взять обеими руками самый крупный и тяжелый арбуз, но оказалось, что он крепко держится за землю.

— Мама! — крикнул я во все горло. — Смотри, арбузы валяются!

Но мама не обрадовалась.

— Не трогай, — сказала она, — это чужие!

— Да ведь двор-то теперь наш!

— Двор наш, а дыни и арбузы не наши.

В тот же день за воротами меня и брата окружила целая орава мальчишек, которые сразу же принялись нас дразнить.

— Где вы живете? — спросил я одного из них.

— Где живете? У черта на болоте! — ответил косоглазый мальчишка и показал мне язык. Другие засмеялись.

— А есть у вас альчики? — спросил косоглазый.

— Что такое альчики?

— Ну, лодыжки.

— Что такое лодыжки?

Косоглазый рассердился и плюнул.

— Вот чумовой! Ну, бабки!

— Нет, — сказал я. — Мы в бабки не играем.

— А хочешь кобца? — спросил другой мальчишка, широкоплечий и скуластый.

Мне было совестно признаться, что я и этого слова не знаю. Я подумал немного, а потом сказал тихо и решительно:

— Хочу.

— Ну, коли хочешь, так получай!

И мальчишка проехался по моей голове суставом большого пальца.

Я закричал от боли. Брат вступился было за меня, но его схватили и для острастки насыпали ему за шиворот несколько горстей земли.

После этого первого знакомства с улицей мы долго не выходили за ворота без старших и водили знакомство только со взрослым парнем — слепым горбуном, который жил по соседству с нами.

Горбун был степенный, серьезный и очень добрый малый. Буйная и озорная молодежь соседних дворов не принимала его в компанию, да и сам он чуждался своих ровесников и проводил целые дни совсем один.

Это был первый слепой, которого я встретил на своем веку.

Помню, после знакомства с ним я крепко-накрепко зажмурил глаза, чтобы представить себе, как должны чувствовать себя слепые и что стоит перед их невидящими глазами.

Долго держать глаза закрытыми я не мог — это было очень, очень страшно!

Но отчего же наш слепой так спокоен, добродушен и приветлив? Чему улыбается он, сидя в ясную погоду на скамейке у своей хаты?

Об этом я часто думал в постели перед сном, перебирая в памяти все, что прошло передо мной за день.

Дома у нас во всех комнатах тушили на ночь свет. Однако я никогда не боялся темноты. В семье нашей я считался бесстрашным малым, удалцом. И если порой мне в душу закрадывался страх, я никому об этом не говорил.

Но вот однажды мне случилось проснуться в самую глухую пору осенней безлунной ночи, когда, как говорится, «хоть глаз выколи». Тут я сразу вспомнил слепого и с невольным страхом подумал: «А что если я тоже ослеп?» Сердце у меня похолодело.

Повернувшись лицом в сторону, где было окно, я стал пристально и напряженно вглядываться, надеясь увидеть в щели между ставнями хоть слабый просвет или по крайней мере не такую уж черную тьму. Нет,

куда бы я ни поворачивался, всюду стояла та же густая чернота, в которой глаза становились бессильными и ненужными.

Что же делать? Ждать рассвета? Но когда еще он наступит! Стенные часы в соседней комнате только что мягко и глухо пробили один раз. Либо это час ночи, либо половина какого-то другого часа. Может быть, ночь только начинается? У меня не было ни малейшего представления. В котором часу я заснул и сколько времени проспал... Нет, невозможно ждать так долго!

Ах, как было бы хорошо, если бы удалось разыскать спички, хоть одну-единственную спичку и коробок. Все было бы так просто: чиркнул раз — и узнал бы, ослеп я или нет. Но пройти на кухню, не разбудив кого-нибудь из нашей большой семьи, было невозможно. Да и найдешь ли коробок спичек в полной тьме!

И все же я решился. Тихо ступая босыми ногами и стараясь ничего не задеть по пути, направился я к двери. Но там, где была дверь, оказалась глухая стена. Значит, я заблудился в своей же комнате? Я уже готов был вернуться в постель и как-нибудь потерпеть до утра, но и кровать не так-то просто было найти. Долго блуждал я по комнате, вытянув руки вперед, пока наконец не наткнулся на большой сундук, на котором спал старший брат.

— Что это? Кто это? — забормотал он спронею.

— Это я, я!

Услышав мой тревожный шепот, брат спросил — тоже шепотом:

— Что ты бродишь? Почему не спишь?

Я сказал, что хочу пить, но не выдержал и тут же решил открыть ему страшную правду. Может быть, от этого мне станет хоть немножечко легче.

— Понимаешь, я, кажется, ослеп... Ничего не вижу!

— Совсем ничего?

— Ни-че-го!

— Ну, так знаешь, мы оба с тобой ослепли! Я тоже ничего не вижу.

И брат засмеялся.

Мне сделалось стыдно. Я сказал, что пошутил, и, найдя свою постель, юркнул с головой под одеяло.

От этого не стало ни светлей, ни темней, но зато тише, теплее, уютнее.

Счастливый тем, что беда миновала, я скоро уснул.

Днем никакие страхи не тревожили меня.

Каждое утро открывало передо мной необъятный день, в котором можно было найти место для чего угодно. Хочешь — носись по двору, пока ноги носят, хочешь — заберись на стропила под самой крышей заброшенного заводского строения и, сидя верхом на балке, распевай во все горло:

Ой, на гóри
Там женці жнуть,
Ой, на гóри
Там женці жнуть,
А по-пид горою
Яром-долиною
Козаки идуть,
Козаки идуть!

Голос твой гулко отдается во всех углах пустого здания, ему вторит эхо, и тебе кажется, что твою песню подхватывает целый полк, который на рысях движется за тобой, за своим храбрым командиром.

А то можно спуститься в глубокий овраг, искать клады, рыть пещеры.

Чего-чего не успеешь до обеда, если только тебя не пошлют в лавочку или в пекарню.

А впрочем, бегать в пекарню, зажав в кулаке гривенник, — тоже дело не скучное.

Пекарня у нас турецкая. Черноусый, белозубый пекарь, ловко перебросив с руки на руку огромный каравай с коричневым глянцеви́тым верхом, кроил его на прилавке широким, острым, как бритва, ножом, похожим на разбойничий.

Весело подмигнув своим карим — в мохнатых ресницах — глазом, он щедро прикидывал к весу лишнюю осьмушку и легким, почти незаметным движением скатывал мне на руки полкаравая с довеском.

И вот уже я иду назад, прижимая к животу теплую, мягкую краюху ситного, и с наслаждением жую пухлый довесок, полученный мною в знак дружбы от черноусого турка.

Но все эти радости разом исчезали, как только нас принималась трепать лихорадка. Нам и в голову не приходило, что зеленые луговины и рощицы, в которых терялись улицы нашей окраины, веяли болотистым дыханием малярии.

Чуть ли не через день метались мы в жару и в ознобе на своих кроватках, а мать терпеливо переходила от одной постели к другой, укрывая нас чем придется — шальями, платками, пальтишками.

— Нет, надо поскорее бежать отсюда, надо перебраться в город, — ведь на детях лица нет! — без конца повторяла мать, подавая ужин усталому после заводского дня отцу.

— Скоро, скоро! — отвечал отец, не отрывая глаз от объемистой — должно быть, скучной — книги без картинок, а только с буквами и цифрами.

— Да ты не слушаешь меня, — с горечью говорила мать. — «Скоро, скоро!», а мы все на том же месте.

Отец смущенно и растерянно снимал очки и смотрел на мать кроткими, какими-то безоружными глазами.

— Ну потерпите еще немного, — говорил он, будто обращаясь сразу ко всей семье. — Еще полгода, ну, самое большее — год, и все у нас пойдет по-другому. Я тут кое-что начал — совершенно новое... И если только дело удастся, это будет...

Отец не успевал договорить.

Безнадежно махнув рукой, мать принималась собирать со стола тарелки. Мы видели по выражению ее лица, по усталому взмаху ее руки, что она давно уже не верит отцовским обещаниям и надеждам.

А мы верили. Без отцовских надежд жизнь у нас была бы во много раз беднее и бесцветнее. В худшие времена, которые переживала наша семья, мы не сомневались в том, что нас ждет самое счастливое, самое замечательное будущее. И оно уже тут, за порогом.

Мы с братом любили играть в это будущее.

Лежа в постели — один на кровати, другой на сундуке, — мы наперебой сочиняли длинную и необыкновенную историю.

Отцовские опыты, о которых ни я, ни брат не имели ни малейшего понятия, наконец удались. Приходит телеграмма. Отца вызывают в Петербург. Мы второпях укладываем вещи, зовем извозчика — нет, двух! — и катим на вокзал. Носильщики в белых фартуках, с большими бляхами на груди несут наш багаж. Вот мы уже заняли места в зеленом вагоне — родители и младшие дети на длинных скамьях, а мы с братом на коротких по обе стороны окошка. Первый звонок, второй, третий. Свисток, гудок...

Продолжение этой истории каждый из нас по-своему видел во сне.

Время показало, что отец был прав в своих надеждах и ожиданиях. Его открытия и опыты не принесли нашей семье богатства, но через несколько лет в ее жизни и в самом деле произошли большие перемены. Мне же судьба готовила такие неожиданные, почти сказочные приключения, каких я не видел и во сне.

Да и жизнь вокруг меня тоже не стояла на месте. Она держала курс на 1905-й, а потом на 1917 год.

Наш двор был как будто нарочно предназначен для мальчишеских игр. Два этажа покинутого и запущенного завода, обветшалое здание какого-то склада с шаткими площадками без перил и трясущимися от каждого шага лестницами, откос в конце двора — все это как нельзя более подходило для непрерывной игры в войну, в индейцев, в пиратов, в рыцарей.

Но была у нас еще одна игра, которую выдумали мы сами — я и мой старший брат. Впрочем, брат к ней скоро охладел и даже подтрунивал надо мной, когда я упорно и увлеченно продолжал играть в нее один, без его участия.

В этой игре наш двор превращался в какую-то огромную, еще не до конца исследованную страну. Овраг был морем, заросли лопухов и бурьяна вставали непроходимыми лесами. А на всем пространстве двора были разбросаны деревни, сложенные нами из маленьких дощечек или щепочек, уездные городишки, построенные из мелких обломков кирпичей, и, наконец, большие города с рядами домов в четверть или даже в половину кирпича. На подготовку к игре, то есть на постройку всех этих бесчисленных деревень, городишек и городов, соединенных воображаемыми дорогами — проселочными, шоссевыми и железными, — уходила добрая половина дня. И только тогда, когда вся страна становилась обитаемой, можно было приниматься за игру.

А суть ее заключалась в следующем. Где-то в одной из самых глухих деревушек, затерянных среди просторов нашего двора, рождался на свет мальчик, главный герой этой повести-игры. Он подрастал и отправлялся в первое свое путешествие — в ближайший уездный городок. Там он учился, а затем его ждали бесконечные странствия и приключения. Постепенно на его пути вставали все большие и большие города. В конце концов он попадал в столицу, о которой, по правде сказать, у меня у самого было в то время весьма смутное представление.

Судьба моего героя складывалась каждый раз по-иному. Он становился то путешественником, то великим полководцем, то капитаном корабля, то знаменитым дрессировщиком львов, тигров, пантер, мустангов и орангутангов.

Но во всех этих разнообразных вариантах игры было и нечто общее. Преодолевая препятствия, герой выходил из дремучей глуши, из нужды и безвестности на широкую дорогу жизни.

Очевидно, мне и самому мерещился в это время где-то за тесными пределами нашей слободы — Майдана — еще неизвестный мир: большие города, полная приключений жизнь, в которой человек перестает чувствовать себя существом незаметным и затерянным.

Историю этого человека я придумывал целыми часами, сочинял молча, про себя, и все же не мог обойтись в своей игре без чего-то вещественного — без разбросанных по двору щепок и кирпичей, без палки, которой я водил по земле, бродя от деревни до деревни, от города до города.

Подшучивая надо мной, брат грозил снять моего героя с конца палки, а иной раз даже делал вид, будто и в самом деле снимает его кон-

чиками пальцев. И — как это ни странно — игра сразу теряла для меня всякую достоверность, и мне уж не к чему было водить по земле палкой, на которой больше не было моего воображаемого человечка...

В сущности, в ту пору я еще не знал никакого мира, кроме нашей слободской улицы да нескольких улиц уездного города, где, запрокидывая голову, я разбирал на вывесках непонятные мне слова: «Нотариальная контора», «Общество взаимного кредита» или «Коммерческие номера». (Кстати, по ошибке я долго читал «кóмера» и никак не мог понять, почему на этой вывеске слово «камера» пишется через «о» — «кóмера».)

Впрочем, город в течение первых лет нашей жизни на Майдане был от нас за тридевять земель.

Жили мы в это время обособленно и одиноко. Матери было не до знакомых — так погружена она была в свои домашние заботы. Да и у нас, ребят, не сразу нашлись на слободке сверстники и товарищи.

Хотя семья наша подчас нуждалась в самом необходимом и обстановка нашей при заводской квартиры была более чем скромной — несколько венских стульев, столов, дешевых железных кроватей, самый простой буфет и ни одного кресла или дивана, ни одной картины на стенах в просторных и почти пустых комнатах, — все же босоногие ребята с нашей улицы относились к нам, как к барчукам.

Мы не играли ни в бабки, ни в карты, не занимались меной голубей. Да и одевались не так, как все.

Не подозревая, на какое глумление обрекает нас, мама сшила мне и брату по журнальной картинке пальтишки из материи кремового цвета с пелеринками. Много раз становилась она перед нами во время примерки на колени, что-то подшивая и перешивая, то отрывая рукав, то снова приметывая его к плечу.

Наконец пальтишки были готовы. В первый же праздничный день мы вышли в них на улицу, отправляясь в город, и тут только с ужасом почувствовали, до чего мы смешны!

Косоглазый мальчишка из компании, игравшей у ворот в карты, полскочил к нам и, скривив в усмешке щеку, спросил:

— Чего это вы балахончики такие надели?

А другой, взлохмаченный, черный, с лицом, измазанным грязью, — будто он только что умылся землей, — дернул меня за пелеринку и заорал во все горло:

— Ну-ка, скидавай юбку! Я ее бабке нашей снесу!

— Это певчие, певчие из ихней церкви! — послышался чей-то голос. — А ну-ка спойте нам чего-нибудь, копеечку дадим!

Больше мы в этих пальтишках без сопровождения взрослых за ворота не выходили. Но прозвище «певчие» надолго осталось за нами.

Не мудрено, что в первую пору нашей слободской жизни мы почти весь день проводили у себя на дворе и на улице выглядывали редко.

На дворе-то я и познакомился с первым моим приятелем — слепым горбуном Митрошкой. Ни он у меня, ни я у него никогда не бывали, а встречались мы у плетня, который отделял наш двор от соседнего. Плетень был невысокий — не то что деревянный забор со стороны улицы. Во время наших разговоров Митрошка пристраивался по одну сторону плетня, я — по другую. Мне было тогда лет семь-восемь, а ему не меньше восемнадцати, но мы были почти одного роста. Может быть, потому-то я и считал его своим сверстником и вел с ним долгие душевные беседы обо всем на свете — о мальчишках, которые обижали его и меня, о том, что люди должны обращаться друг с другом по-доброму, по-хорошему и что, может быть, когда-нибудь так оно и будет... Говорили о разных стра-

нах, о боге, о земле, о звездах, о хвостатой комете, про которую тогда было так много толков.

— Как ты думаешь, что будет с землей, если она столкнется с кометой?..— спрашивал я.

— Даст бог, zcela останется,— говорил горбун, немного помолчав.— В ней ведь камня да железа много. Она прочная — авось выдержит.

Разговор с горбуном всегда успокаивал мои детские страхи и тревоги. Я верил ему — может быть, потому, что он отвечал на мои вопросы не сразу, а после серьезного раздумья.

А главное, он всегда надеялся, что все обернется к лучшему.

В ненастную погоду горбун сидел где-нибудь в уголке, нахохлившись и плотно сжав бледные губы.

Когда же светило яркое солнце, он обращал к нему свои незрячие глаза, и рябое лицо его светлело, будто улыбалось.

Ходил он медленно, говорил тихо, вкладывая в каждое слово свой особенный смысл.

По воскресеньям, когда его брат Матюшка, вихрастый, озорной парень, играл со своим приятелем Колькой Гамаюном в карты, пересыпая разговор нехорошими словами, Митрошка стоял рядом, слушал и сосредоточенно молчал, но вид у него был такой, будто и он участвует в игре.

Жизнь у горбуна была до отупения унылая, скучная, и все же он никогда ни на что не жаловался, не сердился, не выходил из себя.

Его отец, сапожник, человек угрюмый и несловоохотливый, вполне оправдывал старую поговорку «пьет, как сапожник». Во хмелю бывал буен и частенько бил жену и сына Матюшку смертным боем. Жена металась по двору и выла, а Матюшка одним махом перелетал через забор, спасаясь у нас во дворе.

Один только горбун никуда не бежал, а сидел на завалинке с окаменевшим лицом, с которого никогда не сходило выражение равнодушной покорности. Обычно отец не трогал его, но однажды, взбешенный кротким видом Митрошки, ударил его изо всей силы кулаком по горбу. Митрошка как-то смешно засеменил по земле, пробежал немного, а потом пошел дальше своим обычным степенным шагом.

Таким он и запомнился мне на всю жизнь — тихий, солидный, в поношенном, но чистом коричневом пиджаке почти до колен, в жилетке и брюках навывпуск, в старом синем картузе на слегка запрокинутой из-за переднего горба голове

Постепенно к нам стали привыкать и те соседские ребята, которые еще недавно не давали нам на улице проходу. Примирению нашему особенно помогло одно неожиданное происшествие.

Мальчишки на улице поссорились между собой. Перебранки и даже драки возникали у них за игрой в орлянку, в карты или же тогда, когда кто-нибудь переманивал у другого породистых голубей. Не знаю, из-за чего загорелся сыр-бор на этот раз, но только вся наша улица восстала против двух своих главных коноводов, которым до тех пор беспрекословно подчинялась.

По отдельным выкрикам, доносившимся издали, мы смогли догадаться, что Гришку — младшего брата Кольки Гамаюна — и Саньку Косога обвиняют в каком-то тяжком преступлении против всего товарищества.

В самый разгар драки калитка наша настезь распахнулась, и к нам во двор заскочили Гришка и Санька, разгоряченные, расцарапанные, в разодранных рубашках. Наш дворовый пес с лаем бросился на них, но брат поймал его за веревку, которой он был привязан, а я успел вовремя запеть калитку. По ней сразу же забарабанила дюжина кулаков. Через

минуту несколько лохматых мальчишеских голов показалось над забором.

— Тут они! Тута! — послышались голоса, но перемахнуть через забор среди бела дня мальчишки, как видно, не решились — то ли боялись нашей собаки, то ли ожидали подкрепления.

Знаками показали мы Гришке и Саньке на старый разрушенный завод за оврагом. Там можно было отлично укрыться на тот случай, если вся эта орава все-таки отважится проникнуть к нам во двор. Гришка и Санька поняли нас без слов и пошли за нами по направлению к заводу, то и дело оборачиваясь и угрожая кулаками своим преследователям, которые остались по ту сторону забора.

По шаткой, скрипучей заводской лестнице мы взобрались во второй этаж, который давно уже перестал быть вторым этажом, так как пола у него не было и только балки отделяли верхнее помещение от нижнего, загроможденного железным хламом.

На всякий случай мы заперли щелявую дверь на крючок, а сами устроились на балках, с тревогой поглядывая вниз. Да и было чего опасаться. Сорвешся с балки на груды железа в нижнем этаже — и поминай, как звали!

При нашем появлении где-то в углу захлопала крыльями, а потом вылетела через окошко какая-то большая птица, ютившаяся под крышей. Всполошилась она до того шумно и неожиданно, что мы все так и замерли на месте. Скоро наш страх прошел, но еще долго не могли мы отделаться от какой-то смутной тревоги, которую нагнала на нас эта жилища заброшенного чердака. Несколько минут мы даже говорили друг с другом шепотом. Но постепенно у нас завязался самый спокойный, мирный разговор. В конце концов брат предложил Гришке и Саньке зайти к нам в дом, пообещав показать им какую-то большую книгу о птицах, в которой были нарисованы голуби всех пород: дутыши, хохлатые, трубастые, бородавчатые и т. д. Гришка и Санька, которые были завязаны голубятниками, заинтересовались этой книгой.

— Ладно, придем другим разом! — пообещал Гришка.

Нам очень не хотелось расставаться с нашими новыми приятелями, но уговаривать их было бесполезно: нельзя же в самом деле ходить в чужой дом с царапинами и синяками под глазами и на лбу, в разодранных рубашках и штанах.

На прощанье Гришка поклялся нам, что он будет не он, если завтра же не кликнет на помощь своего брата Кольку и не рассчитается со всеми обидчиками.

Не знаю, как добрались он и Санька в этот вечер до дому, но на другой день прятаться на задворках пришлось уже не им, а тем ребятам, которые загнали их к нам во двор.

В этот день на улицу вышел сам Колька Гамаюн, старший брат Гришки. Он давно уже работал у сапожника подмастерьем, турманов больше не запускал, а в праздничные дни ходил по слободке в пиджаке и красной рубашке навыпуск, с новенькой гармошкой, поблескивающей черным лаком и ярко-белыми клавишами.

Сильнее его не было на нашей улице никого — разве что Матюшка, брат горбуна. Но с Матюшкой у него давно уже был уговор «не замать» друг друга.

Неторопливо и тяжело ступая, прошелся Колька вместе с младшим братом раз-другой по улице, грозно поглядывая по сторонам, и этого немалого предупреждения было вполне достаточно. Мальчишки сразу поняли, что оно значит. Несколько дней после этого они далеко обходили Гришку и Саньку при встрече, потом долго и осторожно мирились с ними и наконец снова признали их власть.

А меня с братом Гришка и Санька взяли с тех пор под свое покровительство.

Скоро нам удалось зазвать их к себе в гости.

Пришли они утром в одно из воскресений, умытые, гладко причесанные, в новых, чистых рубашках, в целых, хоть и заплатанных штанах с карманами, полными жареных семечек.

Мы опять побывали с ними на старом заводе — и наверху и внизу, — а потом Гришка вызвался научить нас ловить на дворе тарантулов. Дело это нехитрое. Надо опустить в норку кусочек воска, привязанный к нитке. Тарантул обязательно за него ухватится, и тут наступит самая страшная минута: нужно вытащить живого тарантула из норки и посадить его в спичечную коробку с такой быстротой и ловкостью, чтобы он не успел укусить вас.

Правда, поймать тарантула нам на этот раз так и не удалось. То ли он в это время спал, то ли отлучился по какому-нибудь делу, а может быть, его никогда и не было в этой норке... Зато Санька Косой обучил нас другому искусству. Он отлично мастерил из папиросной бумаги и пробки парашюты, которые необыкновенно красиво поднимались вверх, пока наконец не исчезали где-то в вышине. Жаль только, что улетающие парашюты к нам уже не возвращались, а папиросной бумаги и пробок было у нас мало.

В конце концов мы очень подружились с Гришкой и Санькой, на которых даже и прежде, во времена нашей вражды, смотрели с невольным восхищением — такими ловкими, лихими и бывальными они нам казались. Дружба с ними льстила нашему самолюбию. И когда мама позвала нас пить чай, мы стали горячо убеждать их пойти с нами.

Мама несколько удивилась таким неожиданным гостям, но усадила их вместе с нами за стол и дала каждому из нас по блюдечку еще теплого, только что сваренного вишневого варенья.

Гришку и Саньку нельзя было и узнать. Переступив порог нашего дома, эти отчаянные парни, которые на улице за игрой в орлянку так смачно переругивались между собой и так далеко плевались, вдруг сделались смиренными, робкими ребятами и заговорили какими-то не своими, тоненькими голосами.

После чая мы повели их в другую комнату, где они почувствовали себя немного свободнее. Брат показал им книжку с птицами, глобус и географическую карту на стене.

— «Соединенные Штаны», — прочел Санька, и это нам так понравилось, что мы еще долго после этого называли Штаты штанами.

С тех пор мы не раз встречались с Гришкой и Санькой. Но пришло время, и оба они стали редко появляться на улице. Саньку отдали в уездное училище, а Гришку — в ученики к тому самому сапожнику, у которого был подмастерьем брат его, Колька Гамаюн.

Однако наша дружба с ними, хотя и довольно кратковременная, как-то сразу помирила нас со всей улицей. Во всяком случае, мальчишки перестали нас дразнить. А ведь они были великими мастерами этого дела. Помню, какой невообразимый гомон подымали они, когда в нашем пригороде появлялся кто-нибудь из местных юродивых — тихая, робкая, еще довольно молчаливая женщина, дурочка Лушка, толстая, краснолицая Васька Макодериха, отличающаяся весьма строптивым и буйным нравом, или же старый Хрок, безбородый, сморщенный, хмурый человечек с нахлобученным на голову по самые брови медным котлом. Прозвище с него он получил из-за того, что, приплясывая, издавал какие-то хриплые звуки, вроде: «Хрок! Хрок! Хрок! Хрок!»

Гулом восторга встречали мальчишки юродивых, особенно Хрока.

Даже петрушечника, изредка приходившего на Майдан с пестрой ширмой на спине, не встречали и не провожали таким неистовым гамом и хохотом, как угрюмого Хрока, когда он принимался топтаться, кружиться на месте, подпрыгивать и приседать. И все это с такой невозмутимой и торжественной серьезностью!

Ребята свистели, улюлюкали, колотили по медному котлу Хрока палками, пока их не разгоняли взрослые, которые любили и жалели «блаженненьких». Из всех калиток подавали юродивым ломти хлеба, бублики, бросали медные гроши и копейки.

Глубокая, дремучая старина окружала мое детство на слободке. Хрока с котлом на голове или Ваську Макодёриху так легко можно было бы представить себе на улицах времен Ивана Грозного, а то и в еще более ранние времена. Да и крытые соломою хаты, в которых обитало большинство жителей пригорода, вряд ли намного отличались от жилищ их дальних предков.

4. Недолговечные лавры

Работа на маленьком, почти кустарном заводике была слишком мелка для отца и не могла утолить его постоянной жажды нового. Он любил изобретать, делать опыты, а должен был с утра до глубокой ночи простаивать у горячих котлов сырого и полутемного завода. Приходил он домой поздно, но пользовался любой минутой отдыха, чтобы раскрыть книгу и уйти в нее с головой. Читал он так самозабвенно, что мать, которая весь вечер ждала его, чтобы поговорить о самых насущных делах — о том, что надо заплатить долг в лавку, сшить детям новые пальтишки к зиме, — не решалась оторвать его от книги. Сама она весь день, безо всякой помощи, стряпала, мыла некрашенные полы, стирала белье, одевала и обшивала пятерых, а потом шестерых ребят. Ей-то уж совсем не удавалось передохнуть и почитать книжку. Даром пропадали ее прекрасные способности, ее редкая память.

Только вечером, под стук швейной машинки, она иногда вполголоса пела, но пела грустные песни.

Помню время, когда работа на заводе приостановилась и отец надолго уехал из дому искать счастья.

Мы одни на пустынном дворе. Ставни у нас наглухо закрыты да еще приперты железными болтами. Со всех сторон доносится яростный, хриплый лай собак, да изредка за нашим забором постучит колотушкой обходящий свой круг ночной сторож.

Мать, склонясь над шитьем, поет песню про чумака, ходившего в Крым за солью и погибшего в пути, и про его товарища, который пригнал домой пару волов, оставшихся без хозяина.

Я лежу, съевшись, в постели, и слова этой простой песни наполняют мое сердце страхом и тоской. Мне почему-то кажется, что в песне говорится о нашем отце, что это он шел-шел «тай упав» где-то в дороге, и кто-то чужой принес нам весть о его гибели...

Рано утром во всех наших комнатах открывались ставни. Вместе с темнотою уходили ночная грусть и ночные тревоги, и для нас, ребят, начинался новый день — огромный, как бывает только в детстве, до краев наполненный дружбой, дракой, игрой, беготней.

Но вот наступила для нас новая пора: мне с братом наняли репетитора, венсушчатого гимназиста седьмого — предпоследнего — класса, и мы стали готовиться к экзамену.

Старший брат поступил в гимназию первым. Это был не по летам серьезный мальчик. Задолго до гимназии успел он прочесть множество

книг, не истрепавав, в противоположность мне, ни одной из них. Книги он бережно хранил в окованном железом сундуке, куда мне не было доступа. Помню, как, забравшись в сундук, брат приводил свои книги в порядок. В эти минуты он напоминал мне пушкинского «Скупого рыцаря». Мы часто с ним дрались — из-за книг или еще из-за чего-нибудь, — но вдруг ни с того ни с сего он прерывал самую бешеную нашу схватку совершенно необычным в борьбе приемом: принимался осыпать меня нежными и горячими поцелуями. Смущенный и обезоруженный, я был, конечно, вынужден в этих случаях мириться, так и не додравшись до конца, хоть и чувствовал в братских объятиях не то военную хитрость, не то обидную снисходительность старшего.

Поступив в гимназию, брат как бы совершенно переродился. Это был уже не прежний, не домашний мальчик, не мой сверстник в коротких штанишках и в детской курточке, а гимназист с блестящим гербом на фуражке и с двумя рядами серебряных пуговиц на серой, почти офицерской шинели. Возвращался он из гимназии, как со службы. Обедал один, окруженный всеми домочадцами, и между одной ложкой супа и другой торопливо и взволнованно рассказывал о гимназических порядках, о строгих и добродушных, толстых и тонких учителях в синих сюртуках с золотыми погонами, о товарищах по классу, отличавшихся друг от друга и ростом, и возрастом, и наружностью, и характером.

Я жадно слушал рассказы брата и старался представить себе всех этих незнакомых людей и обстановку, так мало похожую на все, что мне случалось видеть до тех пор.

Каждый день там происходили какие-нибудь события — не то что у нас на Майдане.

Казалось, мой брат, который был старше меня всего двумя годами, уже вошел в настоящую, деятельную жизнь, в мир, где каждый человек на виду и каждый час полон событий и происшествий.

И этот особенный, не всем доступный мир, блестящий форменными пуговицами и лакированными козырьками, назывался гимназией.

А через год после того, как брат надел фуражку с гербом и серую шинель с темно-синими петлицами, должен был держать экзамен и я.

Всю осень и зиму, в дождь и снег, к нам на слободку ходил из города наш репетитор-гимназист, так успешно подготовивший в гимназию брата. Со мной занятия у него шли не совсем гладко. Я был беспечен и рассеян, не всегда готовил уроки, пропускал в диктовке буквы и целые слова, ставил в тетради кляксы. Кроткий и терпеливый Марк Наумович мне все прощал. А я мало думал о том, что только ради меня шагает он каждый день через лужи или снежные сугробы, пробираясь на Майдан и обратно в город, и что родителям моим не так-то легко платить ему за уроки по десять целковых в месяц.

Только иногда среди ночи я просыпался в тревоге и начинал считать остающиеся до экзамена дни. Я давал себе клятву не тратить больше ни одной минуты даром и на следующее утро просыпался, полный решимости взяться наконец за дело как следует и начать жить по-новому. Весь день у меня был расписан по часам.

Но чуть ли не ежедневно происходили события, которые налетали, как вихрь, и разбивали вдребезги это старательно составленное расписание.

Как будто нарочно, чтобы помешать мне, у самых ворот нашего дома останавливался любимец слободских ребят — петрушечник. Мог ли я усидеть на месте, когда над яркой, разноцветной ширмой трясли головами, размахивали руками и со стуком выбрасывали наружу то одну, то другую ногу знакомые мне с первых лет жизни фигуры: длинноносый и

краснощекий Петрушка в колпаке с кисточкой, тощий «доктор-лекарь — из-под каменного моста аптекарь» в блестящей, высокой, похожей на печную трубу, шляпе, усатый и толстомордый городской с шашкой на боку... Я знал и все же не верил, что шевелит руками кукол и говорит за них то пискливым, то хриплым голосом этот пожилой, мрачный, небритый человек, надевающий их на руку, как перчатку.

А на другой день ребята соседнего двора запускали большого бумажного змея — да не простого, а с трещоткой. На третий — я как-то нечаянно, между делом, зачитывался «Всадником без головы» или какой-нибудь другой заманчивой книжкой из сундука, который был в полном моем распоряжении до прихода из гимназии брата.

Но вот однажды мой репетитор объявил мне, что должен поговорить со мной серьезно.

Я насторожился. До этого времени серьезные разговоры — о книгах, об экспедициях на Северный полюс, о комете, про которую в те дни так много писали в газетах, — бывали у Марка Наумовича только с моим старшим братом, а со мною он добродушно пошучивал, даже тогда, когда объяснял мне правила арифметики или грамматики. Он был теперь уже учеником последнего — восьмого — класса и обращался со мною, как взрослый с ребенком.

Но на этот раз он уселся за стол не рядом со мною, а напротив меня и, глядя мне прямо в глаза, спросил:

— Послушай-ка, ты и в самом деле хочешь держать экзамены в этом году? Или, может быть, собираешься отложить это дело на будущий год?..

— Нет, не собираюсь, — как-то нерешительно ответил я, еще не понимая, к чему он клонит.

— Ну так вот что, голубчик. Пойми, что ты, в сущности, не учишься, а только играешь в занятия. Не думай, что экзамены — это тоже игра. Отвечать ты будешь не так, как отвечаешь мне. Сидеть вот этак, разваливаясь на стуле, тебе не позволят. Ты будешь стоять у стола, а экзаменовывать тебя будет не один, а несколько учителей. Может быть, инспектор и даже сам директор! И на каждый вопрос ты должен будешь ответить коротко, четко, без запинки. Понял?

Я задумался. Нет, отвечать коротко, четко, без запинки я вряд ли смогу...

А Марк Наумович продолжал смотреть на меня в упор, то и дело мигая красными от бессонницы глазами (он и сам в это время готовился к экзаменам, да еще каким — к выпускным, на аттестат зрелости! — и работал чаще всего по ночам).

— Ну да ладно, попробуем! — сказал он уже менее строго. — Только знай: с нынешнего дня и я начну спрашивать тебя, как спрашивают у нас в гимназии. А ты забудь, что перед тобою Марк Наумович, и вообрази, что тебя экзаменует сам Владимир Иванович Теплых или Степан Григорьевич Антонов!

Об этих учителях, приводивших в трепет всю гимназию, я много слышал от брата. Но представление о них никак не вязалось у меня с образом доброго Марка Наумовича, такого худого, веснушчатого, в серой гимназической блузе с тремя пожелтевшими пуговичками по косому вороту и в поношенных серых брюках, из которых он давно уже вырос.

И все же после этого серьезного разговора я почувствовал ту же острую тревогу, которая охватывала меня по ночам при воспоминании о предстоящих экзаменах. Ну, конечно же, я провалюсь! Разве такие в гимназии поступают? Да я, чего доброго, разом позабуду все, что знаю, когда меня вызовут к большому столу, за которым будут сидеть учителя в золотых погонах, инспектор, директор... Может быть, мне и готовиться

уже не стбит. Как хорошо было бы сейчас простудиться и заболеть на все время, пока идут экзамены. Это все же лучше, чем провалиться. Да нет, нарочно не заболеешь!..

У меня уже подступали к горлу слезы, когда на пороге неожиданно появился отец, котерый вчера только вернулся домой на несколько дней и сейчас отдыхал в соседней комнате.

— Простите меня, Марк Наумович,— сказал он, протирая очки.— Конечно, вы абсолютно правы: готовиться к экзамену надо серьезно и основательно. Однако вы нарисовали сейчас такую мрачную картину, что и я, чего доброго, не отважился бы после этого идти на экзамен! Но знаете, дорогой, поговорку: «Своих не стращай, а наши и так не бояться». Уверю вас, мы выдержим, да еще на круглые пятерки! Я в этом нисколько не сомневаюсь.

— Ах, ты никогда ни в чем не сомневаешься! — с горечью прервала его мать, вошедшая в комнату вслед за ним.— Марк Наумович дело говорит, и я так благодарна ему за то, что он беспокоится о своем ученике. А ты только портишь его. Вот увидишь, теперь он и совсем забросит книжки и уж наверное провалится.

— Нет,— сказал отец,— вы его не знаете!

— Это я-то его не знаю? — удивилась мать.

— Ну, может быть, знаешь, да не веришь в то, что у него есть сила воли. А я верю. Ведь ты не подведешь меня, а?

Я молчал.

До экзамена оставался всего один месяц. Меня перестали посылать в лавку и в пекарню. Сестрам и маленькому брату было строгайше запрещено отрывать меня от занятий. Они проходили мимо моего стола на цыпочках и говорили друг с другом шепотом.

С самого раннего утра я сидел за столом, как приклеенный. Сидел час, другой, третий, пока меня не начинало клонить ко сну.

Помню, как однажды около полудня, когда солнце смотрело с вышины прямо в наши окна, я встал, чтобы размяться немного, и как-то нечаянно заглянул в соседнюю комнату, где сияли белизной и свежестью застланные с утра кровати.

Младшие ребята играли в это время на дворе. Мать ушла на рынок.

«Отчего бы мне не прилечь на несколько минут? — подумал я — и сам удивился этой неожиданной и счастливой мысли.— Все равно за столом я сейчас трачу время даром и только клюю носом».

Никогда еще в жизни не случилось мне ложиться в постель в такую пору дня. Вероятно, от новизны ощущения этот дневной отдых казался мне чертовски соблазнительным.

Поколебавшись немного, я лег на одну из кроватей, сладко жмурясь от солнца, бывшего мне прямо в глаза. Но и сквозь плотно закрытые веки я видел солнце. В радужной полутьме так отчетливо доносились ко мне все звуки со двора: протяжный петушиный крик, резвый лай собачонки, звонкие голоса детей... Я заснул крепким, блаженным сном и проспал несколько часов подряд.

Вернувшись домой, мама пожалела меня и не стала будить. Вот, мол, до чего доработался бедный ребенок!

Более шестидесяти лет прошло с тех пор, но в памяти моей этот счастливый и безмятежный дневной сон запечатлелся ярче и сильнее, чем даже экзамены, стоимвшие мне так много тревог и волнений.

В последние дни перед экзаменами я то и дело переходил от одной крайности к другой: то непоколебимо верил в свой успех (это я-то провалюсь? Нет, такого и быть не может!), то впадал в отчаяние и считал себя неспособным ответить на самый простой вопрос, который зададут мне восседающие за столом экзаменаторы.

Должно быть, я унаследовал в равной мере и счастливую веру в будущее, присущую моему отцу, и вечные тревоги матери.

Когда мною овладевала эта мучительная, бросающая то в жар, то в холод лихорадка тревоги, я с ужасом представлял себе свое возвращение домой после провала на экзамене. Понутив голову, я плетусь за матерью. Избегаю расспросов соседей. Не слушаю утешений отца, который уверяет меня, что в будущем году я уж непременно выдержу на круглые пятерки.

И вот опять тянутся унылые дни за днями, и ко мне по-прежнему каждый день шагает из города Марк Наумович — если только он не поступит в этом году в университет...

Ну, а если не Марк Наумович, то какой-нибудь другой гимназист-репетитор, которому тоже надо платить за меня десять целковых в месяц!

Наконец наступил день страшного суда — первый день моих экзаменов. Мама надела темное праздничное платье и соломенную шляпку с вуалью, аккуратно причесала меня, одернула на мне курточку, и мы отправились пешком в город.

Ночной дождь сменился ясным солнечным утром. За длинными плетнями и заборами доцветали яблони. Кусты сирени наклонялись, будто предлагая проходим сорвать густую тяжелую гроздь.

Мама отломилла влажную ветку, и я видел, что на ходу она старательно ищет звездочку с пятью лепестками — «счастье».

На этот раз мама была или, по крайней мере, казалась бодрой и веселой. Против своего обыкновения она всю дорогу убеждала меня, что я отлично подготовился и непременно выдержу.

Я совершенно иначе представлял себе это шествие в гимназию на экзамен — думал, что мама будет беспокожно поглядывать на меня и спрашивать по пути таблицу умножения или «слова на ять». И мне было приятно, что сегодня она такая спокойная и ласковая.

Мы говорили с ней о посторонних вещах, о которых никогда не разговаривали раньше: о том, когда открываются в городе магазины, когда здесь зажигают и тушат на улицах фонари и сколько примерно в Острогжске извозчиков — сто или больше...

Вот наконец и гимназия — белое одноэтажное здание со множеством чисто вымытых, голых окон и с тяжелой входной дверью.

Я много раз до того проходил мимо каменной ограды, которой был обнесен гимназический двор, но никогда еще не открывал этой заповедной двери. Гимназия казалась мне каким-то особым царством, живущим своей загадочной жизнью. У нее была даже своя домовая церковь с маленькой звонницей, в которой так уютно жили колокола и голуби.

Этот майский день, когда мы с мамой без конца ходили взад и вперед по длинному, гулкому коридору или стояли у окна в ожидании минут, решающих мою судьбу, был для меня не только первым днем экзаменов.

Впервые я очутился в большом городском каменном доме, где было столько дверей, окон и просторных комнат с высокими потолками.

В первый раз я видел так много ребят, и почти все они казались такими чистенькими, умытыми, старательно причесанными. А все взрослые, кроме родителей, пришедших с детьми, были здесь одеты в форменные синие сюртуки с золотыми квадратиками на плечах и с двумя рядами блестящих пуговиц. Поодиночке или по двое, по трое они с деловым видом, словно пчелы из улья, появлялись из какой-то таинственной комнаты, на дверях которой была дощечка с надписью «Учительская». Одни из этих

людей добродушно улыбались — не знаю, нам или солнечному свету, щедро затопившему в это утро весь коридор, — другие смотрели хмуро, озбоченно и как будто даже не замечали наших поклонов.

Первый человек, которому я поклонился при встрече, был маленький старичок с лицом, изборожденным морщинами, и реденькой, седоватой бородкой. Он ослабиллся и приветливо закивал мне головой. По широким золотым галунам на рукавах я принял его за директора или по крайней мере за инспектора гимназии и очень удивился, когда через несколько минут увидел его со шваброй в руках. Позже я узнал, что это был гимназический сторож Родион, надевший по случаю начала экзаменов свою парадную форму.

Понемногу ребята, теснившиеся в коридоре и в небольшой комнате, которая называлась «Приемной», стали знакомиться друг с другом; толстый мальчик в крахмальном отложном воротничке и пестром галстуке бантом, собрав вокруг себя ребят, показывал фокусы: глотал копейки и большие пуговицы, а потом вынимал их из кармана пиджачка или из-за воротника сзади.

Я смотрел на него и думал: какой удивительный мальчик!.. Сейчас начнутся экзамены, а он, ничуть не тревожась, потешает ребят фокусами.

Высокая нарядная дама в широкой шляпе с цветами то и дело строго и настойчиво звала его к себе:

— Степа!

Он подбегал к ней на минуту, торопливо кивал ей головой, словно что-то обещая, а потом вновь оказывался в толпе ребят, строил невероятные гримасы или жонглировал маленьким костяным шариком, который то вертелся, словно живой, у него на ладони, то внезапно исчезал.

В другом конце коридора увидел я своего старого знакомого — долговязого и вихрастого Сережку Тищенко, сына лавочника с нашего Майдана.

Сережка и в прошлом году держал экзамены, провалился чуть ли не по всем предметам, а теперь рассказывал ребятам о гимназических порядках так, будто был здесь своим человеком.

— Нет, — говорил он, — если по русскому будет спрашивать Сапожник — крышка: хоть кого срежет!..

— Сапожник?.. — испуганно спрашивали ребята.

— Ну, Антонов Степан Григорьевич. Прозвище у него такое, кличка. А вот ежели экзаменовать будет Пустовойтов..

— Это тоже прозвище?

— Да нет, фамилие. Так вот, если спрашивать будет Пустовойтов Яков Константинович, тогда другое дело. Он даже сам подскажет, коли собьешься. А самый злющий из всех учителей — это уж, конечно, Барбоса.

— И вовсе не Барбоса, а Барбаросса, — поправил его маџчик в бархатной курточке. — Я его знаю, мой брат у него в седьмом классе учится.

— Ну, все равно — Барбоса или Бабароса, а только он такие задачки подбирает, что и семикласснику не решить. Они так и называются: «неопределенные»... Всех до одного проваливает!

Я слушал Сережку, и у меня от страха сосало под ложечкой.

Но вот наконец нас построили в ряды и развели по классам. Сейчас должны были начаться письменные экзамены.

Мама проводила меня до самых дверей, еще раз одернула на мне курточку и пригладила мои волосы.

— Только будь спокоен и не торопись, — сказала она, но я видел, что и сама она не слишком-то спокойна.

В первый раз в жизни сел я за парту — желтую, с черной блестящей крышкой и с двумя чернильницами в углублениях. Рядом со мной оказал-

ся Сережка Тищенко, а сзади — тот веселый круглощекий мальчик, который показывал в коридоре фокусы, Степа Чердынцев.

В полуоткрытую дверь еще заглядывали родители. Широкая шляпа Степиной матери совсем заслонила мою маму. Я стал искать ее глазами, но тут дверь плотно закрыли, и все мы почувствовали, что с этой минуты предоставлены самим себе.

Скоро в класс вошел медленной, тяжеловесной походкой пожилой, темноробордый, широкоплечий человек в очках. Кое-кто из ребят при его появлении встал. Потом, один за другим, поднялись и остальные.

— Сапожник! — шепнул мне в ухо Тищенко. — Беда!..

Учитель привычным, равнодушным взглядом окинул пестрые ряды ребят в курточках, матросках, пиджачках, косоворотках.

— Здравствуйте, — сказал он, четко произнося все буквы, в том числе и оба «в». — Приготовьтесь писать диктант!

И он, не торопясь, роздал нам листки линованной бумаги.

Мы обмакнули перья в чернила и с тревогой уставились на этого спокойного, медлительного человека в форменном сюртуке.

Не переставая ходить по классу — от двери до окна, от окна до двери и по всем проходам между партами, — он начал диктовать громко и отчетливо, но как бы скрадывая те гласные, в которых было легче всего ошибиться.

— Белка жила в чаще леса...

— «Белка» через «ять» или через «е»? — шепотом спросил меня Тищенко.

— Ять, — так же тихо ответил я.

— А «лес»?

— Тоже.

Не знаю, уловил ли Сапожник этот почти беззвучный шепот, но только вдруг он остановился и сказал спокойно и твердо, обращаясь ко всем нам:

— Предупреждаю: тот, кто будет подсказывать другим или списывать, получит неудовлетворительный балл и не будет допущен к следующему экзамену. Понятно?

В классе и до того стояла тишина, а тут стало еще тише.

Не дожидаясь ответа, Антонов продолжал тем же ровным, монотонным голосом:

— ...На самой верхней ветке дерева... Повторяю: на самой верхней ветке дерева.

— «Верхней» — «ять» или «е»? — еле слышно спросил Тищенко.

Я написал на промокашке букву «е» и с ужасом подумал, что Сережка будет, чего доброго, донимать меня до конца диктовки.

— Сеня спал в сених на свежем сене... — слышался из дальнего угла гудящий голос Сапожника.

Я знал, что «свежий» и «сено» пишутся через «ять», «Сеня» — через «е». А вот как пишутся «сени»?..

Тищенко упорно шептал что-то в самое мое ухо, но мне было не до него...

«Ять» или «е»? Как будто «е». Нет, конечно, «ять»!

Вдруг я почувствовал, что кто-то сзади дышит мне в затылок. На мгновение обернувшись, я увидел, что Степа Чердынцев, приподнявшись, заглядывает в мой листок.

Антонов находился в это время далеко от нас, но, должно быть, у него было какое-то особенное чутье. Грузно шагая, направился он прямо в нашу сторону и, как видно, надолго остановился перед партией, где сидели мы с Тищенко.

Серезжка больше ни о чем меня не спрашивал, а Степа оказался хитрее. Он то и дело брал у меня промокашку, потом возвращал ее мне и при этом каждый раз бросал беглый, почти неуловимый взгляд на мой листок.

— Ты что там делаешь?..— строго окликнул его Сапожник.

Степа с самым невинным видом показал ему промокашку.

— А глаза твои куда глядят?..

Степа затряс головой.

— Ей-богу, я ничего не вижу. Я близорукий. Мне даже очки доктор прописал.

Сапожник недоверчиво посмотрел на него, потом направился к кафедре, взял розовый листок промокательной бумаги и торжественно вручил его Степе.

— Большое спасибо,— сказал Степа.

Снова в классе стало тихо. Слышался только однообразный и непрерывный, как жужжание большой мухи, голос Антонова.

Но вот диктовка кончилась, и Сапожник сразу же стал собирать наши листки. Я отдал свой, так и не успев его проверить, и с тревогой смотрел, как Антонов, аккуратно сложив листки, уносит их из класса со всеми нашими ошибками, кляксами и помарками... Вот он идет по коридору, медленно и важно, будто сознавая, что держит в руках наши судьбы.

Теперь уже ничего не вернешь. Ну, будь, что будет!

Я бросаюсь к маме и пытаюсь припомнить все слова, в которых сомневался. Но одни из них совершенно вылетели у меня из головы, а в других мама и сама как будто не слишком уверена. Может быть, она даже и не задумалась бы, если бы ей пришлось написать с разбегу какую-нибудь фразу, в которой встречаются эти слова. А тут ее берет сомнение. Она пытается припомнить, сообразить, что как пишется, а мне уже не до диктовки.

Пора думать о следующем экзамене — письменном по арифметике. Говорят, экзаменовать будет Макаров — тот самый злющий учитель, которого Тищенко называл «Барбосой», а другой мальчик «Барбароссой».

Ждать нам приходится очень долго — так по крайней мере кажется мне. Мама уговаривает меня съесть бутерброд, который она принесла из дому, но я только головой мотаю.

— Нет, нет, потом, после экзамена!

И вот мы снова в том же классе, где писали диктовку. Опять закрываются плотные двери, отделяя нас от всего мира. Но теперь рядом со мной уж не Серезжка Тищенко, а спокойный, неторопливый голубоглазый мальчик в косоворотке. Нам с ним не до разговоров, но я все же спрашиваю:

— Как тебя зовут?

— Зуюс.

— Это что же — имя такое?

— Нет, фамилия. Имя — Константин.

Но вот в класс входит Барбоса или Барбаросса, высокий, с огненно-рыжей бородой. Борода его сверкает золотом в ярком солнечном свете, как и пуговицы вицмундира.

На этот раз ребята все сразу поднимаются с мест.

Макаров милостиво кивает головой, разглаживает пышную бороду и бодро постукивая мелом, пишет на классной доске две задачи: одну для тех, кто сидит на партах справа, другую — для сидящих слева. Мне выпала на долю задача, в которой надо разделить груши между четырьмя братьями так, чтобы первому досталось больше, чем второму, второму

больше, чем третьему, и так далее. А Костя Зуяс должен решить задачу про купца, который купил и продал сколько-то цибиков чая.

Разные задачи даются нам, должно быть, для того, чтобы мы не списывали у соседа по парте.

В первые минуты я ровно ничего не могу сообразить, хоть с Марком Наумовичем не раз делил между братьями и яблоки, и груши, и орехи. Но тогда я решал такие задачи, не торопясь, не волнуясь, а теперь особенно раздумывать некогда: того и гляди у тебя отберут листок, решишь ли ты задачу или не решишь.

А тут еще перед самой твоей партией торчит этот рыжебородый учитель, так похожий на генерала, портрет которого я видел в цветном календаре. Он благодушно улыбается в бороду, и все же под его взглядом мысли путаются у меня в голове. Мой сосед по парте тоже, видно, никак не может подступиться к своей задаче. Он ерзает, сопит, и уши у него горят от волнения.

Наконец Макаров отходит от нашей парты и, бережно расправив фалды сюртука, величаво усаживается на кафедре.

Я облегченно вздыхаю и только теперь принимаюсь за дело, забыв и учителя, поглядывающего на нас с высоты своей кафедры, и соседей по парте, и быстро бегущее время. Наконец мне как будто удается справиться с задачей: верно или неверно, а груши между братьями поделены. Прежде чем приняться за проверку, я оглядываюсь по сторонам. Все ребята в классе еще сидят, хмурые и озабоченные, низко наклонившись над своими листками. Степа Чердынцев, чуть привстав, просит у соседа, сидящего впереди, промокашку. Макаров, задумчиво поглаживая бороду, смотрит с кафедры в окно, за которым живет своей жизнью еще безлюдный в эти часы сад со всеми своими птицами, шмелями, жуками, стрекозами.

Меня охватывает тревога. Неужели я и в самом деле первым решил задачу? Уж нет ли где-нибудь ошибки? А времени остается, должно быть, совсем немного. С бьющимся сердцем, уже торопясь, я снова складываю, множу, вычитаю, делю... Нет, как будто все правильно — ответ получается тот же, что и в первый раз. Должно быть, верно! Смотрю — и у Кости Зуяса лицо прояснилось, даже появилась на губах улыбка.

— Решил? — спрашиваю я тихонько.

— Ага! — отвечает он одним дыханием.

А Матвей Иванович уже отбирает листки у тех, кто довел дело до счастливого конца, и у тех, кто запутался во всех этих грушах и цибиках.

Ну, если только я не провалился по русскому письменному, значит, у меня все в порядке. Правда, самое трудное еще впереди. Завтра на устных экзаменах спрашивать меня будет не один учитель, а целая комиссия в сюртуках с золотыми пуговицами, и отвечать надо будет быстро, отчетливо, без запинки...

После тревожной ночи мы опять отправились с мамой в гимназию.

В этот день ребят экзаменовали не в классе, а в просторном зале, где со стен смотрели на нас изображенные во весь рост царь в военной форме с широкой голубой лентой через плечо и царица в высоком жемчужном венце вроде кокошника, в нарядном платье, похожем на сарафан, и тоже с лентой через плечо.

Нас, ребят, по очереди вызывали к длинному, покрытому тяжелым сукном столу, за которым среди учителей в синих вицмундирах сидел сам директор, безбородый, моложавый, в темно-зеленом форменном фраке без наплечников. Во всей его повадке было нечто такое, что отличало его от учителей. Он держался свободнее, проще и смотрел на нас как будто приветливее.

И все же я с трепетом ждал той минуты, когда меня вызовут. Как это я буду стоять совсем один перед огромным столом, за которым сидит столько взрослых, важных людей в форме!

В ту пору я был очень мал ростом — меньше всех ребят, которые пришли экзаменоваться. А тут, в этом высоком зале с большими окнами, с большими дверями и портретами, я почувствовал себя совсем затерянным. Да меня, чего доброго, и не услышат, когда я начну говорить!..

Поглядывая по сторонам, я видел, что и другие ребята боятся не меньше, чем я. Один только Степа Чердынцев и здесь не унывал: он показывал ребятам, как шевелить ушами. Для этого он морщил лоб и старательно поднимал и опускал брови, пока уши у него и в самом деле не начинали слегка шевелиться. В другое время ребятам, наверное, очень понравился бы новый фокус и каждому захотелось бы обучиться этому искусству, но сейчас Степа не имел никакого успеха. Мельком поглядев в его сторону, ребята отворачивались и опять впивались глазами в стол, покрытый зеленым сукном.

Мне тоже было не до Степиных ушей. Очередь уже дошла до буквы «м». Передо мной пошел отвечать высокий, стриженный наголо мальчик в длинных брюках и косоворотке, подпоясанный шелковым шнурком и вышитой по вороту и подолу. Когда назвали его фамилию — Малафеев, — он тайком торопливо перекрестился, одернул косоворотку и с какой-то отчаянной решимостью ринулся к столу.

Антонов скрипучим, безучастным голосом предложил ему прочесть вслух сказку «Лиса и Журавль».

Малафеев взял раскрытую книгу и медленно, по складам, будто вочащая камни, прочел несколько строк.

— Довольно, — прервал его Сапожник. — Скажите мне, какого рода существительное «журавль».

— Женского, — нерешительно ответил Малафеев.

— Почему женского?

— Потому что кончается на мягкий знак.

Директор улыбнулся.

— Но ведь слово «учитель» тоже кончается на мягкий знак. Или, скажем, слово «парень». Что же, по-твоему, и «парень» женского рода?

— Нет, мужского, — виновато сказал Малафеев.

В голосе его уже слышались слезы.

— Ну ладно, не робей! — приободрил его директор. — Со всяким случается... Прочитай-ка лучше какое-нибудь стихотворение.

— Какое? — спросил Малафеев.

— Да какое хочешь.

Малафеев помолчал, подумал немного и вдруг загудел, словно заиграл на дудке, не повышая и не понижая голоса и не останавливаясь на знаках препинания:

— «Школьник». Стихотворение Некрасова.

Ну пошел же ради бога
Небо ельник и песок
Невеселая дорога
Эй садись ко мне дружок...

Тут он перевел дух и опять понесся вперед без удержу:

Ноги босы грязно тело
И едва прикрыта грудь
Не стыдися что за дело
Это многих славный путь...

— Славных путь! — поправил Антонов.

— Славных путь! — повторил Малафеев.

Я слушал его и думал: ну разве так читают стихи? Вот я бы им показал, как надо читать!

И вдруг мне страстно захотелось, чтобы меня поскорее вызвали. На вопросы я как-нибудь отвечу, — только пускай дадут мне прочитать стихи...

В эту минуту громко — на весь зал — прозвучала моя фамилия.

Хорошо, что именно в эту минуту, пока еще мой задор не успел остыть.

Не помню, о чем спрашивали меня Сапожник и другой учитель с длинными, опущенными книзу усами, но только отвечал я на этот раз и в самом деле без запинки, как никогда не отвечал Марку Наумовичу. А когда дело дошло до стихов, я, не задумываясь, сказал, что прочту отрывок из «Полтавы» — «Полтавский бой».

— Пожалуйста, — согласился директор.

Я набрал полную грудь воздуха и начал не слишком громко, приберегая дыхание для самого разгара боя. Мне казалось, будто я в первый раз слышу свой собственный голос.

Горит восток зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.

Стихи эти я не раз читал и перечитывал дома — и по книге и наизусть, — хотя никто никогда не задавал их мне на урок. Но здесь, в этом большом зале, они зазвучали как-то особенно четко и празднично.

Я смотрел на людей, сидевших за столом, и мне казалось, что они так же, как и я, видят перед собой поле битвы, застланное дымом, беглый огонь выстрелов, Петра на боевом коне.

...Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком...

Никто не прерывал, никто не останавливал меня. Торжествуя, прочел я победные строчки:

И за учителей своих
Заздравный кубок подымает...

Тут я остановился.

С могучей помощью Пушкина я победил своих равнодушных экзаменаторов. Даже Сапожник — Антонов не сделал мне ни единого замечания и не предложил разобрать отдельные слова поэмы по родам, числам и падежам. Длинноусый, похожий на украинца учитель, сидевший рядом с ним, сказал: «Славно», а директор подозвал меня, усадил к себе на колени и стал расспрашивать, какие еще стихи я люблю и знаю наизусть.

Я сказал, что больше всего люблю пушкинского «Делибаша» да еще «Двух великанов» Лермонтова и с полной готовностью предложил тут же прочитать оба стихотворения.

Директор засмеялся.

— В другой раз! — сказал он. — А сейчас беги к своим, скажи, что получил пятерку.

Не помня себя от радости, я выбежал в коридор.

Домой мы ехали на извозчике. По дороге остановились у магазина и купили гимназическую фуражку — темно-синюю, с блестящим козырьком и белым кантом. Тут же купили и герб с буквами «О. Г.» над двумя скрещенными лавровыми веточками из какого-то светлого, серебристого металла. Мы сразу же прицепили герб к фуражке, и я вернулся к себе на Майдан гимназистом. Отец и старший брат увидели нас из окна и бросились нам навстречу. По моей гимназической фуражке они сразу поняли, что дело в шляпе — я выдержал!

— На круглые пятерки? — спросил отец.

— На круглые!

— Ну, а что я говорил? — сказал он, победоносно улыбаясь.

Сестры и младший брат стали по очереди примерять мою новенькую фуражку, но мама отняла ее и спрятала в шкаф.

А мне так хотелось показаться в ней соседским ребятам.

— Погоди, — сказала мама. — Мы еще не знаем, принят ли ты в гимназию.

— Как это не знаем? Ведь у меня круглые пятерки!..

Увы, через несколько дней выяснилось, что мама сомневалась не зря.

Первые мои «лавы» оказались недолговечными. Какая-то непонятная мне «процентная норма» закрыла для меня доступ в гимназию. Приняли и Степу Чердынцева, и Сережку Тищенко, и Саньку Малафеева, и Костю Зюуса, а меня не приняли.

Своими руками сняла мама герб с моей фуражки и спрятала у себя в шкапулке.

5. Досуг поневоле

Погоревав немного, я по-прежнему втянулся в будничную слободскую жизнь — дрался с босыми мальчишками, пускал змея, смотрел, как наши голубятники швыряют в небо своих турманов. Гимназия в городе, учителя, директор, так обласкавший меня на экзамене, — все это отошло куда-то далеко и стало казаться не то сном, не то страницей из прочитанной и полузабытой книги.

И вдруг я опять увидел всех учителей гимназии во главе с директором. И где увидел? У нас, на Майдане, за стеклами новенькой витрины фотографа, который, видимо, недавно поселился на слободке.

Среди множества довольно бледных фотографических карточек «визитного» и «кабинетного» формата, изображавших молодых людей с выпученными глазами и застывших в оцепенении девиц со взбитыми прическами и буфами на плечах, была выставлена большая групповая фотография, на которой красовался весь педагогический совет гимназии во главе с директором. Учителей фотограф расположил тремя рядами. Я стал внимательно разглядывать эту поразившую меня фотографию. Тут оказался и классный наставник моего брата — латинист Владимир Иванович Теплых, которого я видел мельком в гимназическом коридоре перед экзаменом, и рыжебородый Барбаросса, и Сапожник, и толстый географ.

Я не верил своим глазам. На этот раз я мог спокойно, в упор рассматривать этих необыкновенных людей, от которых зависела судьба стольких ребят.

А нельзя ли купить фотографию? Наверно, она стоит — если только продается простым смертным — никак не меньше ста рублей.

Я отважился зайти к фотографу и робко справился о цене. Рыхлый и бледный человек спокойно и деловито ответил мне:

— Один рубль.

Ах, это было очень, очень дешево — двадцать или тридцать учителей гимназии в полной парадной форме за один рубль!.. Но и такая цена была мне не по карману. Гривенник еще можно было попросить у мамы на тетради или на воскресное гулянье в саду, но где достать десять гривенников — рубль, целый рубль?

Вовсе не надеясь раздобыть такую крупную сумму, я как-то рассказал отцу, что видел у фотографа на карточке всю гимназию и, если бы мне посчастливилось найти на улице рубль (ведь это же бывает — некоторые находят, правда?), я бы непременно купил себе такую карточку...

Отец ласково потрепал меня по голове, порылся в карманах и, не говоря ни слова, высыпал мне на ладонь целую горсть монет, медных и серебряных. Я пересчитал их: ровно рубль, копеечка в копеечку.

В тот же день большая фотография была изъята из витрины и перешла в мои руки. Я не был принят в гимназию, зато сама гимназия оказалась у меня дома. Жаль только, что некоторые учителя вышли на фотографии без ног, то есть ноги их были заслонены головами незнакомых мне учителей, сидевших в нижнем ряду.

Я решил поправить дело и, вооружившись ножницами, аккуратно вырезал и директора Владимира Андреевича Конорова, и латиниста Владимира Ивановича Теплых, и математика — Барбароссу, и географа Павла Ивановича Сильванского. Кому не хватало ног, я приделал их, пожертвовав нижним рядом учителей. Меня мало смущало то, что на брюках у них оказались чьи-то головы или части голов. Зато все теперь были с ногами.

Вырезанных учителей я положил в коробку и на досуге разыгрывал целые сцены из жизни гимназии, которая так незаслуженно отвергла меня, несмотря на все мои пятерки.

Постепенно и я — по примеру старшего брата — пристрастился к чтению. Доставать книги было нелегко, и читал я все, что попадалось под руку. Не меньше двадцати раз подряд перечел роман Жюль Верна «Север против Юга», где изображались подвиги, поражения и победы северных американцев в борьбе за освобождение негров.

Снабжал меня книгами наш сосед, сивоусый, строгий и рассудительный красильщик, у которого был большой выбор третьесортных, избыточных дешевыми приключениями «романов» из приложений к мещанскому журналу «Родина». Сосед очень гордился своими книгами, от которых за версту несло мышами и затхлостью. И до сих пор журнал «Родина» и даже фамилия его редактора-издателя Каспáри неразрывно связаны у меня в памяти с едкой и терпкой духотой чулана, который служил красильщику библиотекой.

Другим моим поставщиком литературы был молодой парень с красивым, по-девичьи нежным лицом, похожий на царевича из тех русских сказок, которые он сам же мне давал. Целые дни проводил он в лабазе своего отца или дяди за конторкой, на которой, как на аналое, всегда лежала раскрытая книга. От книги молодой Мелентьев отрывался только тогда, когда нужно было отсыпать покупателю-извозчику овса или ячменя. Пошелкав на счетах и получив деньги, он опять садился на свой высокий табурет и погружался в роман, пьесу или в сборник сказок.

Читая запоем книги, он зачастую не знал имени автора и даже заглавия, так как обложки большинства его книг были потеряны.

Таким образом, не имея ни малейшего представления, что за «рóман» дал мне Мелентьев, прочел я знаменитого «Рокамболя» и еще десяток переводных книжек с иностранными именами героев, с тайными интригами, заговорами, погонями и убийствами.

Но в том же лабазе я впервые нашел среди книг «Тысячу и одну ночь», и с тех пор волшебные сказки Шехерезады оваяны для меня едва уловимым запахом овса и ячменя.

Внимательно перебирая воспоминания, связанные с первыми годами жизни, видишь, как глубоко и сильно врежется в нашу память каждое услышанное в детстве слово.

Мне было лет шесть-семь, когда я впервые прочел или услышал басню Крылова «Волк и Кот».

Волк из лесу в деревню забежал,
Не в гости, но живот спасая...

До сих пор я отчетливо помню — будто сам, своими глазами, видел— этого забежавшего в деревню волка. Помню и высокий дощатый забор, на котором сидел кот. Низко наклонив серую с черными полосами голову, мудрый и спокойный кот деловито разговаривает с усталым, затравленным волком, за которым гонятся охотники.

И все соседи, чьи имена называет кот (Степан, Демьян, Трофим, Клим), кажутся мне знакомыми людьми, живущими на Майдане, где-то поблизости от нас.

Ведь в басне так и сказано: «Беги ж, вон там живет Трофим». Это «вон там» придавало особую реальность словам крыловского кота.

Сквозь каждое слово, как сквозь прозрачное стекло, ребенок видит названный предмет, видит живую и подлинную действительность.

Даже сюжеты книг, прочитанных в более позднем возрасте — лет в десять-одиннадцать, — переплелись у меня в памяти с реальными событиями нашей жизни.

В эти годы скитавшийся по Руси в поисках работы отец познакомился где-то с обедневшим помещиком, отставным подполковником Адамом Николаевичем Лясковским. Имение его было заложено-перезаложено. И вот отец обнаружил по каким-то признакам в этом имении железную руду. У помещика не было и сотни рублей на то, чтобы начать изыскания. Отец на последние свои деньги привез к нему горных инженеров, серьезно заинтересовавшихся этим делом.

Когда же отец навестил Ляковского через несколько месяцев, он нашел у него за богато накрытым столом целую ораву прихлебателей, которые называли теперь отставного подполковника не иначе, как «пáне полковнику» или «господин полковник». Самолюбивый и вспыльчивый отец сразу же перессорился со всей этой разношерстной и подозрительной компанией дельцов, и расчетливому хозяину пришлось потратить немало усилий, чтобы успокоить и умиротворить отца, который в то время все еще был ему нужен.

Месяц тянулся за месяцем. Изыскательные работы в имении шли полным ходом. И отец ни на минуту не терял уверенности в том, что его труды будут в конце концов достойно вознаграждены, хотя у него не было не только официального договора с подполковником, но даже и простой записки, подтверждающей щедрые обещания Ляковского.

А между тем вся наша семья жила в это время только отцовскими надеждами да еще той скудной помощью, которую оказывали ей родственники. Я был тогда слишком мал, чтобы запомнить все подробности этой печальной истории. Но у меня остались в памяти два письма —

гневные строки отца, в которых он спрашивает у Лясковского: «Адам Николаевич, где бог, где совесть, где честь?» — и спокойно-скептический ответ подполковника: «Ах, Яков Миронович, бог высоко, совесть далеко, а честь — это дело растяжимое».

Помню, как тяжело пережила наша семья полное крушение всех надежд. А мне было обидно, что мой умный и выдавший виды отец позволил так легко обмануть себя и теперь никакими усилиями не может добиться самой простой правды и справедливости.

В эти дни я зачитывался «Дубровским». И как-то незаметно в сознании моем слились помещик Троекуров с помещиком Лясковским, а Владимир Дубровский — с моим отцом. Правда, отец не стал атаманом разбойников и ничем не отомстил вероломному подполковнику, но события, происшедшие в действительности, и эпизоды пушкинской повести так тесно переплелись между собой, что и до сих пор живут в моей памяти рядом.

6. Гимназия

Совершенно неожиданно пришла весть о том, что я принят в гимназию. Не бывать бы счастьем, да несчастье помогло. Одновременно за какую-то провинность из мужской гимназии исключили ученика, а из женской — ученицу. Оба они были не то в последнем, не то в предпоследнем классе.

И вот вакансия, освободившаяся в мужской гимназии, была предоставлена мне. На фуражке у меня снова заблестел герб, и я среди учебного года очутился за партией.

Мне купили такой же мохнатый, покрытый седой барсучьей щетиной ранец и такую же серую шинель с двумя рядами светлых пуговиц, как у моего старшего брата, и я был бесконечно горд, когда мы с ним — два гимназиста — шагали рядом по дороге в город, разговаривая об учителях, о товарищах по классу, о школьных новостях. Моя шинель была новее, герб и пуговицы блестели ярче, но зато у брата был вид старого, заправского гимназиста. Верх его фуражки был нарочно примят по бокам, как у Марка Наумовича, а у меня он пока что упрямо топорщился. Да и все гимназическое обмундирование еще выглядело на мне, как на вешалке в магазине. С первого же взгляда можно было узнать, что я новичок.

В классе я встретил много старых знакомых — тех самых ребят, которые держали со мной вместе экзамены. Почти все они очень изменились за эти несколько месяцев — подросли и утратили что-то свое, домашнее, детское.

Длинный, сухопарый Сережка Тищенко усвоил повадки матерого, стреляного волка, побывавшего во многих переделках. Учителей называл он — конечно, за глаза — уменьшительными именами или прозвищами: «Пашка», «Яшка», «Швабра», «Губошлеп». Отвечать выходил нехотя, неторопливо и, получив очередную двойку, медленно, вразвалку возвращался на место, задевая ногами и локтями сидевших за партами товарищей или строя такие невообразимые рожи, что даже самые примерные из ребят не могли не прыснуть громко, на весь класс.

Степа Чердынцев тоже за это время вполне освоился с гимназической обстановкой и чувствовал себя в классе как дома: на уроках играл со своим соседом в шашки, а на переменах выменивал почтовые марки разных стран на перья, а перья — на марки.

На нем уже не было пышного, пестрого галстука бантом и нарядного отложного воротника. В гимназической форме он казался еще толще, чем в прежнем пиджачке и коротких штанишках, был коротко острижен и от

других ребят отличался только тем, что из рукавов серой блузы выглядывали у него белые накрахмаленные манжеты с блестящими запонками. Как я узнал позже, манжеты он носил не из одного щегольства: они были нужны ему для фокусов и для шаргалок.

К счастью для меня, моим соседом по парте оказался спокойный и толковый Костя Зуюз, с которым я впервые встретился на письменном экзамене по арифметике.

Он подробно рассказал мне, что прошли в классе с начала учебного года по каждому предмету, и самым обстоятельным образом познакомил меня с гимназическими порядками и правилами.

Если бы не Костя, я бы не раз стоял в углу. Накануне того дня, когда по расписанию была у нас география, он заботливо напоминал мне, чтобы я не забыл принести атлас. Всех, кто являлся в класс без атласа, Павел Иванович неукоснительно ставил к стенке и записывал в классный журнал.

Атлас был очень велик и не влезал в ранец, а носить его под мышкой было неудобно. В ненастную погоду его мочил дождь, в мороз из-за него коченели руки. Но Павел Иванович был неумолим.

Перед началом урока этот грузный человек, казавшийся нам настоящим великаном, бесшумно, чуть ли не на цыпочках, обходил ряды парт в поисках очередной жертвы.

Ребята, уже прошедшие осмотр, пытались иной раз передать из-под парты свои атласы тем, у кого их не было, но зоркий Павел Иванович рано или поздно обнаруживал этот маневр и выстраивал вдоль стены добрую половину класса.

Впрочем, такое наказание сулило и некоторые выгоды: стоящих в углу наш географ почти никогда не вызывал отвечать урок. Этим пользовались самые заядлые лодыри. Угол спасал их от двойки.

Павел Иванович учил нас географии несколько лет, пока прямо из гимназии не угодил в сумасшедший дом. Говорили, что на одном из уроков он взобрался на подоконник и пытался пролезть сквозь форточку. После долгой борьбы сторожа сняли его с подоконника и увезли на извозчике.

Больше мы никогда его не видали.

В первые годы моего пребывания в гимназии нашим классным наставником, переходившим с нами из класса в класс, был Владимир Иванович Теплых, о котором я столько слышал от старшего брата.

И до сих пор я бережно храню в своей памяти навсегда отпечатавшийся в ней облик этого особенного, не совсем понятного, но по-своему необыкновенно привлекательного человека.

Как сейчас, вижу его высокую, стройную фигуру в отлично сшитом форменном сюртуке. Белоснежно поблескивает грудь его крахмальной рубашки, безупречно свежи воротничок и манжеты. Светло-русые волосы уже слегка поредели, но зачесаны так, что лысина почти не видна, хоть он и любит шутливо повторять латинскую поговорку: «*Calvitium non est vitium sed prudentiae iudicium*» — «Лысина не порок, а свидетельство мудрости».

Легкими и уверенными шагами поднимается он на кафедру, свободным, красивым движением раскладывает книги и открывает классный журнал. Даже отметки он ставит красиво — изящным, тонким почерком. А как умеет он радовать нас метким, шутливым словом, веселой, чуть лукавой улыбкой в те минуты, когда хорошо настроен. От этой улыбки и сам он светлеет — светлеют глаза, волосы, острая золотистая борода — да и вокруг как будто становится светлей.

Ни один учитель не умел так держать в руках класс, как умел Владимир Иванович. Он никого не ставил в угол, не оставлял без обеда, но ученики боялись его пронизательных, слегка прищуренных глаз, его холодного и спокойного неодобрения больше, чем ворчливой ругани Сапожника или визгливых и резких выкриков Густава Густавовича Рихмана, учителя немецкого языка.

До моего поступления в гимназию любимцем Владимира Ивановича был мой старший брат. Как бы по наследству, его расположение перешло и ко мне.

Он преподавал нам с первого класса латынь, а с третьего и греческий язык, но, в сущности, ему, а не учителям русского языка — Антонову и Пустовойтову — обязаны мы тем, что по-настоящему почувствовали и полюбили живую, не книжную русскую речь.

Немного встречал я на своем веку людей, которые бы так талантливо, смело, по-хозяйски владели родным языком. В речи его не было и тени поддельной простонародности, и в то же время она ничуть не была похожа на тот отвлеченный, малокровный, излишне правильный, лишенный склада и лада язык, на котором объяснялось большинство наших учителей.

Отвечая ему урок, мы чувствовали по выражению его лица, по легкой усмешке или движению бровей, как оценивает он каждое наше слово. Он морщился, когда слышал банальность, вычурность или улавливал в нашей речи фальшивую интонацию. В сущности, таким образом он постепенно и незаметно воспитывал наш вкус.

Не знаю, был ли Владимир Иванович хорошим педагогом в общепринятом значении этого слова. Занимался он главным образом со способными и заинтересованными в изучении языка ребятами. К тупицам и неряхам относился с нескрываемым пренебрежением. Зато лучшие ученики шагали у него семимильными шагами. Они изучали латинский и греческий язык как бы на фоне истории Рима и Греции — так увлекательно рассказывал Теплых в промежутках между грамматическими правилами о героях Троянской войны, о походах Юлия Цезаря, об одежде, утвари и обычаях древних времен.

Однажды он явился к нам на урок географии вместо отсутствовавшего в этот день Павла Ивановича. Он не стал проверять, есть ли у нас атласы, никого не вызвал к доске, а рассказал нам о своем путешествии в Японию.

Уж одно то, что рассказывал он о далекой, почти сказочной стране не с чужих слов, должно было покорить нас, ребят уездного городка, которым даже поездка в Москву или в Харьков представлялась далеким и заманчивым путешествием. Мы читали книги о дальних плаваниях, но впервые видели перед собой человека, который сам пересек на корабле синие пространства, обозначенные на нашей карте. Незадолго перед тем я и Костя Зуюз, не отрываясь, прочли «Фрегат «Паллада» Гончарова и даже проследили по карте весь путь этого корабля. И вот теперь Владимир Иванович так приблизил к нам все, о чем мы узнали из книги, словно подал надежду, что и нам доведется когда-нибудь попутествовать по белу свету.

Среди учителей Теплых держался особняком. Он почти не скрывал своего презрения к Сапожнику — Антонову, к недалекому и невежественному Густаву Густавовичу Рихману, к словоохотливому и самодовольному географу, а водил дружбу только со скромным учителем рисования Дмитрием Семеновичем Коняевым, которого большинство сослуживцев, в сущности, и за преподавателя не считало, — экий, подумай, важный предмет — рисование!

С этим мягким, простодушным, чуждым служебного честолюбия и далеким от всяких дрызг человеком, которому судьба помешала стать художником, Владимира Ивановича связывали какие-то общие интересы и вкусы. Они вместе ездили на охоту или на рыбную ловлю.

Но чаще всего Владимир Иванович бывал один.

Почему этот одаренный, тонкий, знающий себе цену человек жил безвыездно в нашем уездном городе, отказываясь от перевода в другие города, где ему предлагали должность инспектора и даже директора,— понять трудно.

Нас, учеников, пленяла его гордость и независимость. Когда к нам в гимназию пожаловал однажды сам попечитель Харьковского учебного округа, впоследствии товарищ министра, тайный советник фон Анреп, во фраке с большой орденской звездой, Владимир Иванович продолжал как ни в чем не бывало свой очередной урок и будто нарочно вызывал к доске самых посредственных, не блещущих способностями и познаниями учеников. Фон Анреп, долго сохранявший на своем лице благосклонную улыбку вельможи, в конце концов нахмурился и важно удалился, не сказав ни слова.

Теплых был загадкой для всего города. Толки и пересуды сопровождали каждый его шаг. Рассказывали, будто изредка он заходит в городской клуб и в полном одиночестве выпивает бутылку шампанского или рюмку коньяку с черным кофе. Но ничего более предосудительного в его поведении обнаружить не могли.

Очевидно, он не был по своему происхождению аристократом (об этом свидетельствовала его сибирская, крестьянская фамилия), но как не похож он был на других учителей провинциальной гимназии, которые давно опустили, забыли о своих университетских годах и стали чиновниками и обывателями.

До поступления в гимназию я слышал много разговоров о его строгости, о том, что заслужить у него пятерку труднее, чем георгиевский крест на войне.

Но, видно, моему старшему брату и мне повезло. Нас обоих он называл «триариями» (отборными воинами римской армии), редко вызывал к доске, а с места спрашивал только тогда, когда долго не мог добиться от других верного ответа. В таких случаях он шутливо говорил: «*Res venit ad triarios!*» — «Дело доходит до триариев!»

Каждую субботу я приносил домой заполненную и подписанную им страницу ученического дневника, пестревшую тщательно, с удовольствием выведенными пятерками и даже пятерками с крестом.

Меня — в отличие от старшего брата — он обычно звал «Маршачком».

— А ну-ка, пусть Маршачок расскажет нам про двух Аяксов — Аякса Теламоновича и Аякса Оилеевича!

Героев «Илиады» я знал в то время не хуже, чем многие из нынешних ребят знают наших чемпионов футбола, хоккея, бокса. Я мог, не задумавшись, сказать, кто из ахеев и троянцев превосходит других силой, весом, ловкостью, кто из них первый в метании копья и кому нет равного в стрельбе из лука.

Еще в младших классах гимназии я перевел стихами целую оду Горация «В ком спасение» — «*In quo salus est*».

До сих пор помню несколько строчек из этого перевода:

Когда стада свои на горы
 Погнал из моря бог Протей,—
 В лесных деревьях, бывших прежде
 Убежищем для голубей,
 Застряли рыбы. Лани плыли

По Тибру. Тибр поворотил
 Свое течение и волны
 На храм богини устремил
 И памятник царя...

Так сумел заинтересовать нас Владимир Иванович древними языками и античной литературой — предметами, столь ненавистными большинству учеников классических гимназий.

Но как ни уважали мы нашего латиниста, мы все же порядком побаивались его.

Гораздо проще и свободнее чувствовал себя наш класс на уроках Якова Константиновича Пустовойтова, который временно заменял у нас Антонова. Он еще не дослужился до чина, и потому на его золотых наплечниках не было ни одной звездочки. Говорил он грудным, хриплым, словно надсаженным голосом. Часто покрикивал на ребят и давал им самые невероятные прозвища, по большей части из Достоевского: «Свидригайлов», «Лебезятников» и проч. Однако все мы чувствовали, что на самом-то деле наш мрачноватый Яков Константинович сердечен и незлобив и только из какой-то понятной детям застенчивости, а может быть, и ради самозащиты скрывает свою душевную мягкость и доброту. Роста он был небольшого, и синий форменный сюртук его казался непомерно длинным, даже как будто мешал ему ходить.

Не знаю, сколько лет было в это время Пустовойтову. Должно быть, он был еще довольно молод, но уже производил впечатление неудачника, который давно махнул на все рукой и не надеется больше ни на какое будущее.

Но почему-то таких, не слишком счастливых, людей ребята особенно любят.

Мне нравился его добродушно-ворчливый юмор, его хмурая улыбка и глуховатый голос. Я жалел его до глубины души, когда он приходил в класс на пять минут позже обычного, чем-то огорченный (видимо, какими-нибудь объяснениями с директором или инспектором). Не раз хотелось мне выразить ему свою нежность, но для этого не было подходящего случая.

Однажды весной вся наша гимназия отправилась за город на традиционную прогулку со своим духовым оркестром, с корзинами, полными бутербродов, и сверкающими на солнце большими самоварами. Все мы — от директора до самого младшего пригостишки — были в том счастливом, приподнятом настроении духа, когда исчезают преграды между людьми разных возрастов и положений.

В чуть позеленевшей загородной роще я отозвал Пустовойтова в сторону и после минутного молчания сказал ему, задыхаясь от волнения:

— Яков Константинович, я вас люблю!

Он пожал плечами, чуть-чуть улыбнулся и ответил мне своим негромким, с легкой хрипотцой, голосом:

— Ну и что же нам теперь делать?

Я смутился. Он заметил это и ласково похлопал меня по плечу.

— Ладно, ступайте, ступайте, побегайте!

Так окончилось первое мое объяснение в любви.

Пробыл у нас в гимназии Яков Константинович недолго и ушел как-то незаметно.

Из учителей, у которых не было чина и звездочек на погонах, запомнился мне еще один. Это был преподаватель Уездного учи-

лища, явившийся к нам однажды на урок вместо заболевшего математика Макарова.

Ребята знали, что Барбароссы в этот день не будет, и, как всегда на «пустом» уроке, уютно занялись самыми разнообразными делами: одни читали книгу, другие играли в перышки, третьи, сдвинув парты, проделывали между ними замысловатые акробатические упражнения. Как вдруг дверь открылась, и на пороге появился толстый, тяжело отдувающийся надзиратель по прозвищу «Самовар». Он велел всем сесть на свои места и привести в порядок парты, а потом громогласно объявил, что заниматься с нами будет в этот день Серафим Иванович Кобозев.

В ответ послышался гул неодобрения, но быстрый и энергичный Самовар сразу же водворил порядок. Едва он удалился, в класс вошел, сияя улыбкой, завитой и напомаженный молодой человек в синем мундире, ничем не отличавшемся от вицмундиров наших гимназических учителей. Только пуговицы и золотые наплечники были у него, пожалуй, поярче и поновее.

Ученики с насмешливым любопытством разглядывали этого белокурого франта с задорным хохолком и шелковистыми усиками.

Большинство гимназистов смотрело свысока на «уездников» — учеников местного Уездного училища, которые нередко появлялись на улицах босиком, без формы, с дешевыми желтыми гербами на помятых картузах. Из них чаще всего выходили приказчики, конторщики, счетоводы.

Да и преподаватели Уездного училища казались гимназистам птицами невысокого полета.

При появлении Кобозева всего лишь пятеро или шестеро ребят встало с мест; остальные даже не пошевелились или только слегка приподнялись.

Серафим Иванович покраснел, но не сделал никому замечания. Взойдя на кафедру, он уселся поудобнее — будто он и в самом деле был учителем гимназии — и спросил, что нам на сегодня задано.

— Ничего не задано! — коротко и хмуро ответил за всех Тищенко. Кобозев недоверчиво пожал плечами.

— Ну а что же вы в последнее время проходили?

— Пройденное повторяли! — глухо отозвался Колька Дьячков, сосед Тищенко по парте.

Кобозев нахмурился.

— Ах, вот как? Пройденное? Ну так не угодно ли вам, господа, решить задачку? На пройденное...

Этого никто не ожидал. Кажется, еще никогда не бывало такого случая, чтобы учитель, временно заменяющий другого, давал классу письменную работу.

— Итак, — продолжал Серафим Иванович, — раскройте, пожалуйста, свои тетрадки и запишите условие.

И он принялся диктовать медленно и четко.

У нас не было ни малейшего желания решать задачу, но и не хотелось ударить в грязь лицом перед этим красавчиком из Уездного училища. Чего доброго, он и пришел-то к нам только для того, чтобы посрамить ненавистных гимназистов.

Ребята перестали перешептываться и склонились над тетрадками. Каждый понимал, что, если мы не решим задачи, это будет позором не только для нашего класса, но и для всей гимназии.

На первый взгляд задача казалась довольно простой, но почему-то, как я ни бился над ней, она мне не давалась. Несколько раз перечитывал я условие и с каждым разом все больше запутывался.

Искоса поглядел я по сторонам. Все сидели озабоченные и смущенные. Только Степа Чердынцев беспечно посматривал в окно — списывать было ему пока еще не у кого. Даже наш лучший математик, маленький Митя Лихоносов, сердито покусывал ноготь большого пальца, вместо того чтобы выводить у себя в тетрадке всегда послушные ему цифры.

— Что же вы задумались, господа? — слегка усмехаясь, спросил Кобозев. — Кажется, я вас немного озадачил этой задачей? Ну, подумайте, подумайте!

И, довольный своей шуткой, он сошел с кафедры и, поскрипывая новыми, до блеска начищенными ботинками, прошелся между рядами парт.

— А вы как будто и вовсе сложили оружие? — спросил он, остановившись у парты, за которой сидели Дьячков и Тищенко.

— Да уж очень трудная! — пробормотал Дьячков.

— Ну, разве? — удивился Серафим Иванович. — А вот у нас в Уездном и потруднее задачи решают!

Это уже был прямой вызов.

Мы представили себе, с каким удовольствием будет рассказывать этот белокурый Серафим своим «уездникам» о том, как оскандалились у него на уроке гимназисты.

Все головы снова склонились над тетрадками. Перья заскрипели. Однако никто не поднимался с места, чтобы положить на кафедру тетрадку и сказать: «Готово, Серафим Иванович! Я решил».

Но вот в конце класса послышалось какое-то движение. Стукнула крышка парты. Мы разом обернулись: неужели у кого-то задача решена?

Да, так и есть. Толстый Баландин поднял руку и весь тянется к Серафиму Ивановичу.

Кобозев, слегка улыбаясь, шагнул в его сторону.

— Додумались? Вот и прекрасно!

Баландин смущенно потупился.

— Да нет, выйти позвольте!

В классе засмеялись. Усмехнулся и Кобозев.

— Ступайте! — сказал он небрежно. — А вы, господа, поторапливайтесь. До звонка уж немного осталось.

Но нас всех словно кто-то заколдовал. Мы делили, множили, вычитали, складывали, но все без толку.

И вот в ту минуту, когда мне наконец со всей ясностью представилось решение, по коридору пронесся длинный дребезжащий звонок.

Серафим Иванович взял с кафедры классный журнал, озарил нас лукаво-приветливой улыбкой и сказал на прощанье громко и отчетливо:

— До свиданья, господа! Советую вам еще разок повторить пройденное!

Я дружил почти со всеми ребятами моего класса, особенно с мечтательным, голубоглазым Костей Зуюсом, но чаще всего проводил свободное от уроков время в обществе старшеклассников и чувствовал себя среди них довольно свободно. Это была молодежь конца девяностых годов, много читавшая и горячо спорившая. Молодые люди зачитывались Добролюбовым и Чернышевским, ревностно занимались естествознанием, рассуждали о смысле жизни и о призвании человека. Но все это не мешало им веселиться, петь хором студенческие песни и даже влюбляться. Вот только танцы были у них тогда не в моде: это считалось делом легкомысленным и даже пошлым. Ведь они были люди серьезные! Про одного из них — рослого, широкоплечего и скуластого восьмиклассника Вячеслава Лебедева — в городе рассказывали, будто

он для изучения анатомии вырыл ночью на городском кладбище скелет. Не знаю, справедливы ли эти слухи. А впрочем, по внешнему облику Вячеслава, такому решительному и загадочному, можно было предположить, что он способен перекопать во славу науки не одну могилу, а целую кладбищенскую аллею.

Но, пожалуй, душой кружка молодежи был не он, а его белокурая сестра — семиклассница Лида Лебедева. Несмотря на то, что она еще носила школьную форму — коричневое платье и черный передник, а под скромным, плоским бантом ее круглой шляпки стыдливо прятался крошечный гимназический герб, Лида была больше похожа на столичную курсистку, чем на гимназистку из глухой провинции. Она была не менее серьезна, чем ее брат, но гораздо мягче, приветливее и даже в самых ожесточенных спорах сохраняла веселое изящество.

Когда собравшиеся на домашнюю вечеринку рослые гимназисты, окружив рояль, увлеченно, до самозабвения, тянули «Дубинушку» или «Назови мне такую обитель», Лида по слуху подбирала аккомпанемент, но стоило ей уступить место кому-нибудь другому, хор почему-то сразу редел, и песня уже не звучала так истово и горячо.

Я был очень горд тем, что старшекласники так радушно и дружелюбно принимают меня в свою среду, и ради их скромных вечеринок с шумными спорами и разноголосым пением готов был отказаться даже от вечернего гулянья в городском саду.

А ведь еще недавно мне казалось, что на свете нет большего наслаждения, чем это воскресное гулянье, за которое надо было платить гривенник. Раздобыть гривенник было не так-то легко. Иной раз приходилось целых два дня отказываться на большой перемене от бутерброда с колбасой, стоившего всего только пять копеек. Но эта жертва так щедро вознаграждалась, когда с билетом в руке вы свободно и уверенно входили в охраняемые контролерами ворота и вас мгновенно подхватывали размеренные, сверкающие серебром и медью звуки духового оркестра.

Под музыку, то бодрую, то задумчиво-печальную, вы неслись, как на крыльях, по широким, освещенным поверху аллеям в дальнюю глубь сада, где можно было бродить в полутьме и в прохладе, не рискуя попасться на глаза шнырявшим в поисках очередной жертвы гимназическим надзирателям.

Если бы в придачу к единственному гривеннику у вас в кармане оказалось еще три-четыре, вы могли бы проникнуть в таинственное двухэтажное здание в самом начале сада, откуда до вас случайно долетали то мужские, то женские голоса, то раскатистый хохот, то неудержимые, захлебывающиеся рыдания.

У входа в этот необыкновенный дом были расклеены большие разноцветные листы тонкой бумаги, на которых — во всю ширину — красовалось непонятное слово «Трильби», а под ним напечатанные разными шрифтами — то крупным, то мелким — ряды фамилий, по большей части двойных.

Это был театр, летний городской театр. Игнали в нем иной раз приезжие актеры, но чаще всего местные врачи, адвокаты, чиновники, жены аптекарей, офицерские дочки, а режиссером у них был пламенный любитель театрального искусства — земский начальник, капитан в отставке Левицкий.

Как они играли, хорошо или плохо, я не знаю. Да в те времена такого вопроса у меня и не возникало. С восхищением и благодарностью смотрел я на сцену, когда передо мною взвивался театральный занавес.

Все пленяло меня в театре: и частые огоньки рампы, и торопливый перестук молотков перед поднятием занавеса, и смена довольно прими-

тивных декораций, изображавших то гостиную с атласной мебелью и золочеными столиками, то перекресток дороги, то аллею в саду, а иной раз и нечто совершенно неопределенное.

Но больше всего меня поражало то, что взрослые люди, суетящиеся на сцене, заняты игрой, словно серьезным и важным делом.

Мне казалось, что самое трудное в актерском искусстве — это умение как будто по-настоящему смеяться и плакать. Но, пожалуй, еще труднее удерживаться от смеха там, где смеяться не положено.

А как удивляла меня необычайная память актеров, быстро обменивавшихся репликами и произносивших без единой остановки и запинки длиннейшие монологи.

Впрочем, удивление мое несколько ослабело, когда до моего слуха донесся сиплый, но довольно явственный шепот из будки перед сценой.

Почти каждая фраза, которую должны были произнести актеры, долетала до меня заранее из этой загадочной будки.

Эх, не умеют подсказывать! Поучились бы у нашего Степки Чердынцева.

7. Приглашение в литературу

Начало двадцатого века было и началом резкого перелома в моей жизни.

Через некоторое время после того, как я поступил в гимназию, семья наша навсегда покинула заводской двор и пригородную слободку и переселилась наконец в городскую квартиру — в двухэтажный деревянный дом, над калиткой которого было написано крупными буквами:

«Дом Агарковых».

С переездом в город кончилось, в сущности, мое детство.

Быстрее понеслось время. Как будто кто-то придал часовым стрелкам новую скорость.

На заводском дворе мне порой некуда было девать часы и целые дни. Лето тянулось бесконечно долго — куда дольше, чем летние каникулы моей гимназической поры.

Хоть прямое, сознательное любованье природой было мне, как и другим ребятам в этом возрасте, чуждо, но как-то на ходу, на бегу, между делом и среди игры я в глубине души радовался, как никогда потом, нашим старым, ветвистым деревьям, о корни которых столько раз спотыкался, оркестру кузнечиков в жаркий полдень, кружению ласточек на закате и даже предвечерней перекличке ворон над мрачным, полуразрушенным заводом...

После нескольких лет жизни на Майдане город с десятком тысяч жителей показался мне настоящей столицей. Он поразил меня не только своими каменными домами (изредка даже двухэтажными!), но и какой-то своеобразной свободой, которой пользуются горожане по сравнению с жителями пригорода.

Город гораздо меньше зависит от погоды, чем слободка, где после проливного дождя улица становится непроходимой. В городе вы не связаны с какой-нибудь одной хлебопекарней или лавочкой: столько здесь булочных и пекарен — выбирай любую!

Здесь вам не надо, как на слободке, просить лошадь у соседа, чтобы съездить куда-нибудь. По улицам катят взад и вперед, зазывая седоков, извозчики в пролетках с двумя прозрачными фонарями по бокам. За гривенник вы можете проехаться барином, разглядывая вывески лавок по обеим сторонам улицы.

А как сочно, как вкусно называются эти городские лавки — бакалея, галантерея, торговля москательными товарами. И в каждой лавке свои

запах, свой уклад, свои особенные повадки у продавцов. Солидный, неторопливый, упитанный приказчик отпускает крупу, отвечает сахар или режет для вас колбасу в бакалейной лавке. Гораздо более гибкий, проворный, обладающий светскими манерами продавец обслуживает покупательниц в галантерее. И такие рослые, степенные, неразговорчивые дядьки грохочут своим товаром в железо-скобяных лавках.

В самом сердце города живет своей особой жизнью целый каменный городок, состоящий из множества лавок и крытых переходов. Это Гостиный ряд, так приветливо манящий прохожих нарядными витринами днем и такой неприступный, замкнутый на все замки и охраняемый цепными псами ночью.

А есть на одной из главных улиц большой, двухэтажный дом, где в любое время суток — и днем и ночью — радушно встречают проходящих и приезжающих. Над крышей этого дома, во всю ее длину, прибита вывеска, которую я с таким трудом разбирал в те времена, когда приходил в город с Майдана:

«Коммерческие номера».

Я знал, что этот дом — гостиница и что люди здесь живут не так, как в других домах, не постоянно, а день-другой, самое большее — неделю или две. У дверей гостиницы всегда стоят и разговаривают между собой или со швейцаром приезжие. Среди них часто встречаются люди, бреющие не только бороду, но и усы (что в то время было еще редкостью). Люди эти завязывают галстуки широким бантом и говорят какими-то особенными — звучными и раскатистыми — голосами. С ними дамы в больших шляпах с перьями и в нарядных платьях, каких не носят у нас в городе.

Это те самые приезжие актеры и актрисы, которые так великолепно рыдают и смеются в театре.

Но чаще всего из дверей гостиницы выходит усатый и бородатый народ — в картузах, в поддевках и в сапогах бутылками.

У тех, кто носит только усы, поддевки несколько более щеголеватые, в талию, да и картузы у них поаккуратнее, с высоким верхом наподобие военных фуражек. А у людей бородатых картузы помягче, пониже, поддевки потолще и пошире в поясе.

Усачи — это мелкие помещики нашего уезда или управляющие имениями. Бородачи — купцы.

Я не раз заглядывал в открытую дверь гостиницы, стараясь представить себе, как живут эти незнакомые люди в таинственных комнатах, называемых «номера».

Неожиданно мне представился случай побывать в «Коммерческих номерах». Произошло это так.

На одной из вечеринок в квартире у Лебедевых, где чаще всего собиралась молодежь — гимназисты и гимназистки старших классов, — увидел я как-то необычного гостя, петербургского студента. Это был первый встреченный мною, однако же совсем незаурядный студент. Он был сыном богатого, но весьма либерального помещика Бобровского уезда и приезжал из отцовского имения на собственной тройке с колокольчиками и бубенцами. Носил студенческую фуражку с голубым околышем и щегольскую шинель офицерского покроя с широкой пелериной (такую шинель называли «николаевской»).

Собою он был хорош, статен, высок. Черты лица были у него строгие, правильные, глаза — веселые, блестящие, светло-голубые. Небольшая русая бородка была аккуратно расчесана.

Наши серьезные и самолюбивые гимназисты-старшеклассники глядели на него искоса, исподлобья — отчасти потому, что считали его ба-

ричем и «белоподкладочником», отчасти, может быть, из ревности — так представительен и великолепен был он в своем форменном студенческом сюртуке, так непринужденно и весело смеялся, сверкая ровными, белыми зубами. А бородку он как будто нарочно отпустил для того, чтобы всем было видно, что он давно уже перешел из юношеского в более солидный возраст.

Впрочем, он всячески старался держаться с нашими усатыми гимназистами запросто, на равной ноге, пел с ними вольные и задорные студенческие песни, вроде:

Или:

У студента под конторкой
Пузырек нашли с касторкой.
Динамит — не динамит,
А при случае палит.
У курсистки под подушкой
Нашли пудры фунт с осьмушкой...

Там, где тинный Булак
Со Казанкой-рекой,
Точно братец с сестрой,
Обнимаются,
От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты
Шатаются.
А Харлампий святой
С золотой головой,
Сверху глядя на них,
Улыбается.
Он и сам бы не прочь
Погулять с ними ночь,
Да на старости лет
Не решается...

Акомпанировала, как всегда, Лида Лебедева. Однако присутствие петербургского гостя ее немного смущало. Она сбивалась и, покраснев, уступала место у рояля студенту, который легко и ловко подбирал любой мотив длинными, сильными пальцами с двумя перстнями — на указательном и безымянном.

Я был значительно моложе всех присутствующих и в пении участия не принимал — стыдился показать, что голос у меня еще совсем детский.

Однако студент обратил свое внимание и на меня. Узнав от кого-то — вероятно, от Лиды Лебедевой, — что я пишу стихи, он дружески похлопал меня по плечу и предложил пристроить несколько моих стихотворений в одном из петербургских толстых журналов — по моему выбору — например, в «Русском богатстве» или в «Мире божьем». Но предварительно он и сам бы хотел познакомиться с моей поэзией.

В конце концов мы условились, что я приду к нему на следующее утро в «Коммерческие номера». На всю жизнь запомнил я номер, в котором проживал мой студент: пятнадцатый.

Еще бы не запомнить! Взрослый человек, остановившийся в гостинице, студент петербургского университета (это звание казалось мне тогда равным чуть ли не званию профессора или академика) приглашает меня к себе в номер, чтобы послушать мои стихи и потолковать об устройстве их в одном из столичных журналов... Все это было так

невероятно, что я решил ничего не рассказывать своим домашним до завтрашнего дня.

Вернувшись домой, я долго ходил по комнате, раздумывая о том, какие из моих стихов больше всего подошли бы для толстых журналов. Это была неразрешимая задача. Петербургских журналов я еще никогда не читал, а только видел на столах в библиотеке. Кто знает, какие стихи могут понравиться редакторам «Русского богатства» и «Мира божьего»!..

После долгих сомнений и размышлений я решил переписать начисто всю тетрадку стихов.

Бережно и старательно до глубокой ночи переписывал я стихотворение за стихотворением, тут же на ходу исправляя строчки, которые мне казались слабыми.

Утром я проснулся позже, чем предполагал, и, отказавшись от завтрака, опрометью помчался в гостиницу, где, как мне представлялось, меня уже давно поджидает мой великолепный студент в том же самом щегольском, застегнутом на все пуговицы сюртуке, в каком я его видел вчера.

Вот они наконец — эти «Коммерческие номера»!

Вместе с несколькими взрослыми людьми — с двумя офицерами и дамой в широкой шляпе — вошел я в подъезд гостиницы. Бородатый старик швейцар в поношенной ливрее с давно потускневшими пуговицами и позументами поклонился вошедшим взрослым, а меня спросил:

— Ты к кому, мальчик?

Я назвал студента.

— А, в пятнадцатый! — сказал бородач. — Только их, кажись, дома нету. С вечера не вернулись.

И он указал рукой на доску, на которой под номерами висели ключи от комнат.

Я поколебался немного, но все-таки решил постучаться к студенту. Не может быть, чтобы такой серьезный человек меня обманул.

По обе стороны длинного полутемного коридора я увидел множество дверей. Одни из них были полуоткрыты — так, что я мог разглядеть бреющегося перед стенным зеркалом толстого человека в синих штанах с красными кантами и с болтающимися сзади подтяжками или целую компанию мужчин и женщин, завтракавшую за столом, уставленным графинами, тарелками, чайниками и пестрыми чашками.

Другие двери были плотно и таинственно закрыты, и перед ними, точно на страже, стояли туфли, ботинки или высокие сапоги со шпорами.

Вот и номер, где живет мой студент. Я тихонько постучался, но ответа не было. Подождав минуты две, я постучался сильнее, но и на этот раз никто не ответил. Неужели он и в самом деле не вернулся с вечера? Где же и когда я его теперь найду?

Вот тебе и «Мир божий»!

Я был не на шутку огорчен. Не оттого, что терял надежду увидеть свои стихи напечатанными в толстом журнале. Нет, мне было жаль какого-то обещанного и несостоявшегося праздника...

Пробегавший мимо меня с подносом на вытянутой руке молодой парень в белой рубашке навыпуск и в белых штанах крикнул мне на ходу:

— А вы заходите без стука! Чего стучать — соседей будить? Нонче воскресенье — проезжающие спят допоздна!

От его подноса, накрытого салфеткой, вкусно пахло блинами, теплым маслом и какой-то копченой рыбой. У меня даже засосало пол ложечкой: ведь я ушел из дому без завтрака.

Послушавшись совета, я нажал ручку двери и вошел в номер.

Первое, что попало мне на глаза в просторной и все же душевной комнате, была роскошная шинель студента, небрежно брошенная на спинку кресла. Со спинки другого кресла свешивались синие студенческие брюки со штрипками.

Значит, он дома, в номере. Но почему же его не видно?

Тут только я услышал громкий храп из-за пестрой ширмы, которая была похожа на те, что носят на спине бродячие петрушечники.

Спит.

Я тихонько уселся на стул у небольшого, накрытого узорчатой скатертью стола, на котором стояли пустой графин, бутылка темно-красного вина с черно-золотым заграничным ярлыком и сифон сельтерской воды.

Я стал внимательно разглядывать номер: умывальник с большой фарфоровой чашкой и кувшином, несколько позолоченных стульев с потертыми плюшевыми сиденьями и такой же диванчик. А над диванчиком на стене — картина в золотой раме, изображающая румяную красавицу в красном платье с распущенными по плечам пышными волосами. Почему-то по одну сторону пробора волосы были иссиня-черные, а по другую — белокурые.

Под изображением было напечатано крупными золотыми буквами: «Туалетное мыло Ралле и К°».

Осмотрев все, что было в номере, я стал невольно прислушиваться к храпу. Он вовсе не был так однообразен, как показалось мне вначале: в нем было и хрипение, и мурлыканье, и бульканье, и свист.

Как-то незаметно я и сам задремал и выронил из рук толстую книгу, между страницами которой была у меня моя новенькая тетрадка со стихами. Я заложил ее в книгу, чтобы она не помялась дорогой.

— Ммм... кто там? — сонным и недовольным голосом спросил студент.

Я не знал, что и ответить. Вряд ли он запомнил мою фамилию.

— Это я... Вы помните, вчера у Лебедевых... Вы просили занести вам стихи для журналов...

— А, поэт! — уже более бодрым голосом сказал студент. — Отлично. Сейчас я буду весь к вашим услугам!

Через несколько минут он вышел из-за ширмы в каком-то полосатом халате, подпоясанном шнурком с красными кистями. Волосы прилипли у него ко лбу, нерасчесанная бородка сбилась и смотрела куда-то вкось.

После долгого умывания с фырканьем и плеском он пригладил свои, уже слегка поредевшие, волосы, расправил бородку и, поморщившись, сказал:

— Фу, какой вкус во рту противный... Будто всю ночь медный ключ сосал... Сельтерской, что ли, выпить?

И, нажав ручку сифона, он нацедил себе полный стакан шипучей, пенистой воды.

— Так-с, — сказал он, усаживаясь в кресло, на котором висели его брюки. — Самоварчик закажем, а?.. И, может быть, осетринки с хреном!.. — добавил он медленно и задумчиво.

Вызвав звонком полового и заказав самовар, осетрину и графинчик зубровки, он снова уселся в кресло и уставился на меня своими голубыми, но на этот раз несколько мутноватыми глазами с красными прожилками в белках.

— Значит, вы мне стишки принесли? Вот и отлично. Давайте-ка их сюда, давайте!

Я молча протянул ему свою тетрадку. Он небрежно раскрыл ее и перевернул страницу, другую.

— Так, так,— сказал он.— Почерк у вас отличный. Превосходный. Вероятно, по чистописанию пятерка? А?

Немного обиженный, я пробормотал, что чистописания у нас уже давно нет.

— Ах, простите! Конечно, нет... Но пишете вы все-таки отлично,— сказал он, вновь раскрывая мою тетрадку.

— Вы сами прочтете стихи или мне вам прочесть? — нерешительно спросил я, видя, как рассеянно перебрасывает он страницы.

— Нет, зачем же?..— сказал студент, позевывая.— Кто же это с самого утра — да еще натошак — стихи читает? Стихи приятно декламировать вечером и, разумеется, в обществе женщин. Не так ли?

И он с размаху бросил мою бедную тетрадку в раскрытый чемодан, где лежали носки, платки, крахмальные воротнички и сорочки.

В это время дверь отворилась, и в номер, скользя на мягких подошвах и поигрывая подносом с графинчиком и тарелками, вбежал половой.

— Что ж, закусим? — спросил студент, разворачивая салфетку.— Присаживайтесь, поэт!

— Спасибо, не хочу,— сказал я сдавленным голосом и, неловко поклонившись, вышел в коридор.

Я уже ясно понимал, что стихи мои не увидят ни «Мира божьего», ни «Русского богатства»... Но взять их обратно у меня не хватило храбрости.

8. «Первые попытки»

Если бы судьба случайно не свела меня с этим столичным студентом, мне бы и в голову не пришла мысль послать свою рукопись в редакцию какого-нибудь журнала.

Насколько я себя помню, пристрастие к стихам появилось у меня с самого раннего возраста. В сущности, «писать стихи» я начал задолго до того, как научился писать. Я сочинял двустихия, а иногда и четверостишия устно, про себя, но скоро забывал придуманные на лету строчки. Постепенно от этого «устного творчества» я перешел к письменному.

Мне было лет пять-шесть, когда я впервые участвовал в детском утреннике. На маленькой сцене, специально построенной по этому случаю в саду у наших знакомых, старшие ребята представляли какую-то пьеску, а мы, младшие, выступали в дивертисменте — пели, читали стихи или плясали русского в красных рубашках, подпоясанных шнурками. Публика разместилась на стульях, расставленных перед сценой. Когда очередь дошла до меня, я быстро сбежал по лесенке со сцены и, шагая по проходу между рядами стульев, стал громко и размеренно читать стихи, отбивая шагами такт. Где-то в задних рядах публики меня наконец задержали и вернули на сцену, объяснив мне, что во время чтения стихов надо не ходить, а стоять смирно. Это меня очень удивило и даже огорчило. Разве устоишь на месте, когда строчки стихов так и подмигивают двигаться, шагать, отстукивать такт...

По совести говоря, я и до сих пор думаю, что был тогда прав. Известно, что в греческом театре хор не стоял на одном месте, а мерно двигался. Да и самое деление стиха на «стопы» оправдывает мое детское представление о том, как надо читать стихи.

Но переубедить взрослых пятилетнему человеку нелегко. Мне пришлось дочитать стихотворение со сцены, но уже безо всякого удовольствия.

Однако придумывать стихи я не перестал.

К двенадцати-тринадцати годам я сочинял целые поэмы в несколько

глав и был сотрудником и соредактором литературно-художественного журнала «Первые попытки».

Другим редактором этого рукописного журнала был мой приятель Ленья Гришанин. Как и большинство друзей моего детства, он был значительно старше меня — лет на шесть, на семь по крайней мере. В школе он никогда не учился, так как с малых лет был калекой: ноги у него были согнуты в коленях, и ходил он будто на корточках, сильно шаркая на ходу ногами. Из дому он почти никогда не отлучался и учился в одиночку — по гимназической программе. И все же успевал куда больше своих сверстников-гимназистов, а книг прочел столько, сколько иной не прочтет за целую жизнь.

Пальцы обеих рук были у него тоже сведены и не разгибались. Но он каким-то чудом ухитрялся вкладывать левой рукой в сложенные щепоткой пальцы правой перо, рейсфедер или карандаш и не только писал и чертил, но даже и рисовал превосходно. Недаром каждый номер нашего журнала выходил с красочными заголовками и с тонкими рисунками пером в тексте.

Ленья был не только редактором журнала, но и нашей типографией: все номера от первой до последней строчки переписывал начисто он один, так как считал мой почерк слишком детским. Хорошо еще, что номера состояли всего лишь из нескольких страничек и выходили в одном-единственном экземпляре. Впрочем, больше и не требовалось. Журнал читали, кроме Лени и меня, только мои товарищи по классу, мой брат и Лёнина сестра.

Семья Гришаниных была маленькая, но тесно спаянная одиночеством и каким-то особенным умением понимать друг друга с полуслова. Я очень любил бывать в этом доме, где как будто совсем не было старших, — так просто, по-дружески, шутливо и в то же время серьезно относились друг к другу Ленья, его мать и шестнадцатилетняя сестра-гимназистка Маруся. Ленья подчас едко подтрунивал над веселым и прихотливо-изменчивым нравом своей младшей сестры, но к его добродушно-насмешливым замечаниям она уже давно привыкла и никогда на них не обижалась.

Приехали Гришанины в наш город откуда-то с Украины, где служил в последние годы своей жизни отец семьи, армейский офицер. Похоронив мужа, Александра Михайловна, оставшаяся с двумя маленькими детьми на руках, долго бедствовала и не могла вовремя полечить больного сына. После многих мытарств ей удалось получить место сиделицы винной лавки в городе Острогожске, когда торговля водкой стала монополией государства. Как ни жалка была эта должность, добиться ее было не так-то легко. Нужно было солидное поручительство, чтобы бедной офицерской вдове была наконец предоставлена честь отпускать покупателям бутылки, запечатанные белым или красным сургучом. «Белые головки» стоили дороже, чем красные.

Винная лавка, которую в просторечии именовали «казенкой», «монополькой» или «винополькой», была нисколько не похожа на обыкновенные лавки.

Над входом ее красовалась темно-зеленая вывеска с двуглавым орлом и строгой, четкой надписью:

«Казенная винная лавка».

Частая железная решетка разделяла помещение на две половины. В одной, куда не было доступа посторонним, царил чинный и даже торжественный порядок, точно в аптеке, в казначействе или в банке. На многочисленных полках стояли, выстроившись, как солдаты по ранжиру, сороковки, сотки и двухсотки, которым потребители дали свои.

более сочные и живописные прозвища: шкалики, мерзавчики, полумерзавчики и т. д.

А по ту сторону решетки толклась самая разношерстная публика. Людям, которые были, как говорится, «на взводе» или «под мухой», отпустить водку не полагалось, но завсегдатаи казенки не сдавались и подолгу заплетающимся языком убеждали сиделицу, что они «как стеклышко». Если уговоры и мольбы не действовали, они переходили к угрозам и к самой отборной ругани.

В таких случаях сиделица имела право вызвать городского, который всегда дежурил неподалеку от казенки. Но, кажется, Александре Михайловне не пришлось ни разу прибегнуть к содействию властей. Из маленькой двери, которая вела в жилые комнатки, выходил, с трудом переступая согнутыми в коленях и далеко выставленными вперед ногами, Ленья. Этот человек, поднимавшийся всего на полтора аршина от пола, никогда не ввязывался в споры с покупателями. Но было, должно быть, нечто устрашающее в строгом юношеском лице с пронзительными голубыми глазами и придавленным к земле паучьим теле. Во всяком случае, поглядев на него, даже самый отъявленный буян умолкал и пятился к дверям.

Обычно, пока торговля в казенке шла тихо и мирно, Ленья относился к своим обязанностям и к тому хмельному заведению, которое обслуживала его семья, с трезвым и печальным юмором. Только такое снисходительное, философское отношение и могло примирить его с делом, которым ему приходилось заниматься отнюдь не по влечению сердца.

Напряженно думая о чем-то своем, он живо и ловко расставлял по полкам сотни бутылок, которые привозили со склада в корзинах, разделенных на гнезда, или взбирался на лесенку, чтобы достать для покупателя сороковку или шкалик, если нижние полки были уже пусты.

После обеда Ленью сменяла на посту мать или Маруся, а он уходил в свою комнату рисовать что-нибудь или читать книжки.

От него я впервые узнал о Писареве, которого он читал, не отрываясь, со страстным увлечением.

И когда года через два-три я сам стал читать Писарева, я понял, кому был обязан мой приятель своим умением спорить остро и колко, хотя, впрочем, какая-то едкая, подчас горькая ирония была присуща и ему самому.

Со мной он обращался, как старший с младшим, — ведь у него было гораздо больше знаний и житейского опыта, чем у меня. И все же ему, видимо, нравилось подолгу болтать со мной о самых разных материях. Может быть, он просто отдыхал от своих мыслей и тревог в обществе мальчика, который нисколько не досаждал ему обидным сочувствием и с открытой душой встречал каждую его шутку, каждое меткое словцо.

Наш рукописный журнал «Первые попытки» был для меня важным и серьезным делом, а для него, по всей вероятности, только забавой. Однако он старательно рисовал заголовки журнала и аккуратно снабжал его прозой — коротенькими юмористическими рассказами и заметками «из мира науки», — в то время как я мог предложить журналу только стихи.

В комнате, где мы работали, всегда стоял острый, пронзительный водочный запах, которым была пропитана насквозь вся квартира.

Иногда под вечер, когда на столе у Лени уже горела керосиновая лампа, нашу редакционную работу неожиданно прерывала Маруся. Некоторое время она неподвижно, с закрытыми глазами, сидела в старом кресле, отдыхая от гимназии и от занятий с учениками, которых она репетировала. А потом, как-то сразу стряхнув с себя усталость, приносила брату мандолину и начинала упрашивать его еще разок пройти с

ней романс, который она готовила для гимназического вечера. У Лени был прекрасный слух, и Маруся никогда не выступала на вечерах без его одобрения.

Поворчав немного, Леня все же брал мандолину и, наклонившись над ней, принимался тереть струны, а Маруся становилась в позу, складывала руки коробочкой, как это делают профессиональные певицы, и пела:

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты...

Не знаю, нравилось ли Марусино пение клиентам «казенной винной лавки», до которых долетал такой неожиданный для этого заведения лирический романс Чайковского, но мне казалось, что лучше петь нельзя.

— Фальшивите, фальшивите, сударыня,— говорил ей Леня и опять наклонялся над мандолиной.

Я смотрел на его быстро мелькающие руки и думал о том, как отлично справляются с любым делом эти уродливо скрюченные, негибачишие пальцы.

Брат и сестра были очень похожи друг на друга — те же немного прищуренные голубые глаза, те же мягкие светло-русые волосы. Должно быть, Леня был бы очень хорош собой, если бы его не изувечила болезнь.

Когда в лавке не было посетителей, в комнату к Лене приходила Александра Михайловна, темноволосая, худощавая, преждевременно состарившаяся женщина в очках. Она пристраивалась где-нибудь в углу, видимо радуясь возможности побыть с детьми,— ведь эта маленькая семья так редко бывала в сборе.

Но раздавался резкий, пронзительный звонок из лавки, извещающий о приходе покупателей.

— Вот вам и «тревога мирской суеты!» — с усмешкой говорил Леня и, шаркая ногами, отправлялся торговать казенным вином.

Как из горного озера река, так из детства, которому весь мир представляется извечно неизменным и неподвижным, вытекает своенравная, стремительная юность.

В первые годы жизни мы обходимся без календаря да, в сущности, и без часов. В календарь заглядываем главным образом перед днем рождения, а часы напоминают нам о себе только тогда, когда время идет к обеду или ко сну.

Всё в детстве кажется нам устойчивым, незыблемым, первозданным: город, улицы, названия улиц и лавок, да и самые лавки, где продают крупу и соль в «фунтиках», а сахарные головы в обертке из плотной синей бумаги. Мороженщики с тарахтящими на ходу ящиками на колесах, петрушечники с пестрыми ширмами — всё это как будто существует с незапамятных времен, чуть ли не с начала мира...

В эти годы жизни вполне полагаешься на взрослых, которым известно, что бывает и чего не бывает на свете, что, когда и как надо делать. Мир представляется нашему воображению загадочным, но вполне разумным, хоть пока еще нам знакома только очень небольшая его частица — наш двор да еще несколько прилегающих к нему улиц. Мы забрасываем взрослых бесчисленными вопросами, но далеко не всегда получаем от них вразумительные, утешающие ответы.

Но вот наступает юность. Мир с необыкновенной быстротой разрастается — в него входят уже целые страны, материки и далекие

звездные миры. Время становится считанным и раздвигается в обе стороны — в прошедшее и будущее.

Все на свете оказывается непостоянным, изменчивым и не всегда разумным. Мы начинаем замечать, что взрослые не так уж надежны — они часто ошибаются, колеблются, не согласны друг с другом, а иной раз даже противоречат себе самим и далеко не все на свете знают.

Нам теперь часто приходится действовать на свой собственный страх и риск. Дороги разветвляются, и на каждом перекрестке перед нами встает трудная задача выбора пути. Кое-какой житейский опыт у нас уже накоплен, и мы с нетерпением ждем и жаждем нового опыта.

Весь мир приходит в движение за какие-нибудь два-три года.

Он становится огромным и в то же время — хоть это и может показаться странным и даже противоречивым — как-то уменьшается в нашем сознании.

Нам больше не кажутся великанами деревья на дворе. Не так заметен теперь замшелый камень, глубоко вросший в землю за старым заводом. Мы уже не следим с таким пристальным вниманием за катящимися по оконному стеклу дождевыми каплями, которые делятся и дробятся по пути вниз, словно блестящие шарики ртути.

Зато перед нами открывается даль, как в бинокле, который повернули другой стороной.

К тому же с приходом юности наши дни наполняются несметным множеством разнообразных впечатлений, навсегда заслоняющих от нас первоначальную пору жизни.

(Окончание следует)



АННА АХМАТОВА

★

НОВЫЕ СТИХИ

..*

Подумаешь, тоже работа,—
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое.

И чье-то веселое скерцо
В какие-то строки вложив,
Поклясться, что бедное сердце
Так стонет средь блещущих нив.

А после подслушать у леса,
У сосен, молчальниц на вид,
Пока дымовая завеса
Тумана повсюду стоит.

Налево беру и направо
И даже, без чувства вины,
Немного у жизни лукавой,
И все — у ночной тишины.

1959 г. Комарово. Лето.

..*

Не страшай меня грозной судьбой
И великою северной скукой.
Нынче праздник наш первый с тобой,
И зовут этот праздник разлукой.
Ничего, что не встретим зарю,
Что луна не блуждала над нами,
Я сегодня тебя одарю
Небывальными в мире дарами:
Отраженьем моим на воде
В час, как речке вечерней не спится,
Взглядом тем, что падучей звезде
Не помог в небеса возвратиться,
Эхом гóлоса, что изнемог,
А когда-то был свежий и летний,
Чтоб ты слышать без трепета мог
Воронья подмосковного сплетни,

Чтобы сырость октябрьского дня
 Стала слаще, чем майская нега.
 Вспоминай же, мой ангел, меня,
 Вспоминай, хоть до первого снега.

1959 г., октябрь. Ярославское шоссе.

ЛЕТНИЙ САД

(Из цикла «Белые ночи»)

Я к розам хочу, в тот единственный сад,
 Где лучшая в мире стоит из оград,

Где статуи помнят меня молодой,
 А я их под невскою помню водой.

В душистой тиши между царственных лип
 Мне мачт корабельных мерещится скрип.

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
 Любуясь красой своего двойника.

И замертво спят сотни тысяч шагов
 Врагов и друзей, друзей и врагов,

А шествию теней не видно конца
 От вазы гранитной до двери дворца.

И шепчутся белые ночи мои
 О чьей-то высокой и тайной любви.

И все перламутром и яшмой горит,
 Но света источник таинственно скрыт.

1959 г., июль. Ленинград.

ОТРЫВОК

И мне показалось, что это огни
 Со мною летят до рассвета,
 И я не дозналась, какого они,
 Глаза эти странные, цвета.

И все трепетало и пело вокруг,
 И я не узнала, ты враг или друг,
 Зима это или лето.

1959 г.

ВОСПОМИНАНИЕ

Ты выдумал меня, такой на свете нет,
Такой на свете быть не может.
Ни врач не исцелит, не утолит поэт —
Тень призрака тебя и день и ночь тревожит.
Мы встретились с тобой в невероятный год,
Когда уже иссякли мира силы,
Все было в трауре, все никло от невзгод,
И были свежи лишь могилы.
Без фонарей, как смоль, был черен Невский вал
Глухая ночь вокруг стеной стояла...
Так вот когда тебя мой голос вызывал,
Что делала — сама еще не понимала.
И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом,
По осени трагической ступая,
В тот навсегда опустошенный дом,
Откуда унеслась стихов сгоревших стая.

1956 г., 18 августа. Старки.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В. ВЕРЕСАЕВ

★

ЗАПИСИ ДЛЯ СЕБЯ

Фрагменты из книги

В середине двадцатых годов Викентий Викентьевич Вересаев задумал на основе своих записных книжек и дневников создать книгу — «Записи для себя». Он работал над ней до последних дней жизни — до 1945 года. Ниже мы предлагаем фрагменты из этой книги. На наш взгляд, «Записи» В. В. Вересаева представляют самый живой интерес и не должны покоиться в архивах.

Настоящая публикация подготовлена Ю. Бабушкиным по материалам Центрального государственного архива литературы и искусства СССР.

Передо мною большими шагами расхаживал известный художественный критик, высокий человек со студенчески длинными волосами, рукою откидывал волосы с красивого лба и говорил:

— Вот перед окнами вашего кабинета — церковка. Зашел к вам художник, увидел ее. «Какая замечательная церковь! Подлинная русская церковь! Как чувствуется в ней глубокое смирение русского народа, его просветленно-христианская примиренность с горькою своею судьбою!

Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя...

Это нужно зарисовать». Вы смотрите на его картину: верно! Как на ладони вся христианская душа долготерпеливого русского народа.

Зашел потом другой художник. «Какая характерная церковь! Как тут отражено глубочайшее, в сущности, равнодушие русского народа ко всем небесным делам! В готике, — какой там могучий порыв к небу, все устремление — высоко вверх, к богу! А посмотрите на эти купола: широкие, как репа, основания и то-оненькие хвостики к небу. Там, дескать, нам делать нечего. Тут нужно устраивать жизнь, на земле!.. Это нужно зарисовать!» Зарисовал, и вы видите: действительно, жизнь следует устраивать на земле.

Третий художник пришел. «Какое великолепие! Посмотрите на эти фиолетовые тона, как они играют на золоте куполов!.. Нет, это нужно зарисовать!»

Вам тогда приходит мысль: по-видимому, правда, церковка моя замечательная. Нужно сфотографировать. Сфотографировали. И — ничего! Ни христианского долготерпения, ни пренебрежения к небу, ни красивой игры фиолетовых тонов. Все это от себя внесли художники, каждый из них заставил нас взглянуть на явление его глазами.

(1903 г.)

Писатель — это человек, специальность которого — писать. Есть изумительные мастера этого дела.

Художник — человек, «специальность» которого — глубоко и своеобразно переживать впечатления жизни и, как необходимое из этого следствие, — воплощать их в искусстве.

Не люблю римскую литературу. Горячо, до восторга, люблю литературу эллинскую. Потому что не люблю писательства и люблю искусство. Все римские поэты — писатели, изумительнейшие мастера слова. Это все время замечаешь и изумляешься — как хорошо сделано! А у эллинов — пусть и у них мастерство изумительное, — у них этого мастерства не замечаешь, дело совсем не в нем, а в том внутреннем горении, которым они полны.

Новейшие литературы — русская и французская. У нас — искусство, у французов — писательство. И какое писательство! Куда нам до них! И все-таки можно только гордиться, что у нас его нет.

Впрочем, есть исключения и у нас и у них. Полоса нашего старшего модерна: Мережковский, Вячеслав Иванов, Брюсов — типичнейшие писатели. У французов же чудеснейшие художники: Бодлер, Верлен. Я бы сказал еще с особенной охотой: и Мопассан. Но и у него — какие провалы в болото писательства! Рассказ, как кормящая женщина в вагоне тоскует, что ей распирает грудь молоком. И будто бы не знает, как легко можно у себя отдоить молоко. И вот рабочий предлагает ей свои услуги, отсасывает молоко, и, когда она благодарит его, он отвечает, что это он должен ее благодарить, что он уже два дня не ел.

Какая литературщина!

Каким неотесанным самоучкой кажется Гомер рядом с Вергилием! Как корявы порою его стихи, как неубедительны ритмы, как примитивны аллитерации, как ненужны проскакивающие иногда банальнейшие рифмы! То ли дело Вергилий: точный, сжатый стих, богатейшая звукопись, ритмы, точно соответствующие содержанию, изумительные аллитерации...

И все-таки — просто смешно ставить их рядом. Великан Гомер и рядом, по колено ему, — Вергилий. Когда я читаю Гомера, вокруг меня начинается волноваться сверкающая стихия жизни, я чувствую молодую бодрость в каждом мускуле, я не боюсь никаких ужасов и бед жизни, передо мною в чудесной красоте встают «легко-живущие» боги — символы окружающих нас сил.

И я чувствую, что Гомер поет, потому что не может не петь, потому что горит душа и пламенными языками рвется наружу. Лев Толстой писал про него Фету: «этот черт и поет и орет во всю грудь, и никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его будет слушать».

Когда читаю «Энеиду» Вергилия, чувствую перед собою с огромным мастерством рассказанную сказочку о приключениях выдуманных героев, о действиях богов, в которых ни сам Вергилий не верит, ни мы с вами. То же и с «Освобожденным Иерусалимом» Торквато Тассо. Даже смешно и как-то неловко в душе: на что тратят люди время — на сказочки! А у Гомера просто забываешь, что рассказывает он сказки, настолько важно в нем совсем не это, а то, чего и следа нет ни у Вергилия, ни у Тассо.

Искусство делает самое малое большим. Как будто заглянешь в маленькое окошечко — и вдруг раскинутся перед глазами широчайшие дали, и сердце дрогнет от волнения.

Когда-то в журнале «Русское богатство» был помещен рассказ Л. Мельшина «Пасынки жизни». В нем описывалась бедственная жизнь

почтовых чиновников. Хороший рассказ. И из него с полнейшею очевидностью вытекало заключение: да, совершенно необходимо увеличить жалованье почтовым чиновникам!

А вот «Живой труп» Льва Толстого. Вдребезги разбита жизнь хороших людей только потому, что существует нелепый закон, запрещающий развод. Что же «вытекает» из драмы? Что необходимо отменить такой закон? Нет. В окошечке распахивается широчайшая даль, и в ужас приходишь, как люди способны калечить своими нормами и схемами живую человеческую жизнь.

Картина французского художника Жоффруа «В больнице» (в Люксембургском музее в Париже). Лежит на больничной кровати девочка, а рядом на стуле, задом к зрителю, сидит пришедший проведать девочку ее отец — рабочий. Видна только его согнутая спина. Но вся труженическая жизнь его и вся угнетенность его чувствуются в этой понурой спине.

Серовский портрет Веры Мамонтовой. Сидит девушка-подросток за столом, на столе персик. Только всего. А чувствуется вся поэзия минувших «дворянских гнезд».

У Пушкина в вариантах к «Графу Нулину»:

Он весь кипит как самовар...
Иль как отверстие вулкана
Или — сравнений под рукой
У нас довольно — но сравнений
Не любит мой степенный гений,
Живей без них рассказ простой...

Это действительно характерная особенность Пушкина, — он не любит образов и сравнений. От этого он как-то особенно прост, и от этого особенно загадочна покоряющая его сила. Мне иногда кажется, что образ — только суррогат настоящей поэзии, что там, где у поэта не хватает сил просто выразить свою мысль, он прибегает к образу. Такой взгляд, конечно, ересь, и опровергнуть его нетрудно. Тогда, между прочим, похеривается вся восточная поэзия. Но несомненно, что образ дает особенный простор всякого рода вычурностям и кривляньям.

Зачем оригинальному художнику стараться быть оригинальным? Микель-Анджело. Душа переполнена необычайными, никем никогда не воплощенными образами. Безбородый, голый Христос с торсом и с чудовищными мускулами Геркулеса. Богородица с трупом сына на коленях — нежная шестнадцатилетняя девушка. Могучая мужская фигура «Ночи» с прилепленными конусами женских грудей. Одно только нужно: смелость быть самим собой.

— *Erapez le bourgeois!* — Ошарашивай мещанина! Как это характерно для средненького таланта и для бездарности! Провел ли бы Микель-Анджело хоть одну линию резцом, написал ли бы Бетховен хоть одну ноту, чтоб кого-нибудь «ошарашить»?

Я не знаю, было ли это напечатано. Я это слышал от лиц, близко знавших художника В. И. Сурикова. Его картина «Утро стрелецкой казни». Утренние сумерки. Лобное место. На телегах — привезенные на казнь стрельцы с осунувшимися от пыток лицами, с горящими восковыми свечами в руках. Солдаты-преображенцы. Царь Петр верхом распоряжается приготовлениями к казни. Смутно вырисовываются виселицы.

Когда Суриков уже кончал картину, заехал к нему в мастерскую Репин. Посмотрел.

— Вы бы хоть одного стрелца повесили!

Суриков послушался совета, повесил. И картина на три четверти... потеряла в своей жути. И Суриков убрал повешенного.

Как легко было так писать! Взял записную книжку, стань перед витриной и пиши! Описывать наружность человека: лоб у него был белый и открытый, густые брови нависали над черными вдумчивыми глазами, нос... губы... волосы... И так дальше. Или обстановку комнаты: посреди стоял стол, покрытый розовою скатертью с разводами; вокруг стола было расставлено пять-шесть стульев... Комод в углу... В другом углу... И так дальше. А нужно-то совсем не так: закрой глаза и вдумайся, дай себе отчет: что тебе больше всего бросилось в глаза в данном лице или обстановке? И этими-то двумя-тремя чертами — но чертами характерными, яркими — все и опиши. И довольно.

Когда вы описываете мужчину, женщину, местность, думайте всегда о ком-нибудь, о чем-нибудь реальном.

Стендаль.

Это — глубоко верное замечание. Нужно настойчиво, не уставая, искать подходящего человека — на улице, в театре, в трамвае, в железнодорожном вагоне, пока не найдешь такого, который совершенно подходит к воображаемому тобою лицу. И тогда уж прилепись к этому человеку целиком. И он даст тебе массу самых неожиданных и прелестных деталей, которые оживят задуманный тобою образ до неузнаваемости. То же и с пейзажем. Сила Льва Толстого, что он всегда делал так.

Нужно кончать описывать природу раньше, чем читатель может заметить, что автор ее описывает.

У настоящего художника никогда не найдешь никакого нравоучения. «Нравоучение» у него вытекает из самого описания жизни. из подхода его к ней. Ему не нужно писать: «Как это возмутительно!» Он так опишет, что читатель возмутится как будто сам, помимо автора. А равнодушный халтурщик — для него совершенно необходим в конце «закрученный хвостик нравоучения». Иначе читатель воспримет все как раз даже наоборот. Как в известном рассказе Чехова «Без заглавия». Воротился настоятель в свой монастырь из большого города и с ужасом стал рассказывать о нечестии и разврате, царящих в городе.

— Опьяненные вином, они пели песни и смело говорили страшные, отвратительные слова, которых не решится сказать человек, боящийся бога. Безгранично свободные, бодрые, счастливые, они не боялись ни бога, ни дьявола, ни смерти, а говорили и делали все, что хотели. А вино, чистое, как янтарь, подернутое золотыми искрами, вероятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пивший блаженно улыбался и хотел еще пить. На улыбку человека вино отвечало тоже улыбкой и, когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости!

Описав все прелести дьявола, красоту зла и пленительную грацию отвратительного женского тела, настоятель проклял дьявола и ушел в свою келью.

Удивительно ли, что наутро в монастыре не осталось ни одного монаха? Все они бежали в город.

Дворянские беллетристы шестидесятых-семидесятых годов — Боле-слав Маркевич, Авсеенко, Всеволод Крестовский и пр., — когда выводили благородного дворянина, то писали о нем так:

— Погоди ж ты! — процедил князь Троекуров, побледнев.

Если же речь шла о семинаристе-нигилисте, то писалось так:

— Погоди ж ты! — прошипел Крестовоздвиженский, позеленев.

Теперь, с других, конечно, позиций, повторяется совсем то же самое. Герои симпатичные бледнеют и цедают, несимпатичные — зеленеют и шипят. Я просто не могу понять, как после Льва Толстого можно так писать.

Совсем не страшны и очень мало вредят писателю самые ярые на него нападки в печати и самые уничтожающие критические статьи. Человеку самолюбиво кажется: вот, нет никого, кто бы не прочел обидной для него статьи, все только о ней говорят. А на деле, кто и прочел, тот очень скоро забыл, а уж через месяц никто и не помнит. Только в очень редких случаях критический отзыв может быть губителен для писателя, — когда отзыв принадлежит очень авторитетному лицу, а сам писатель — неважный, не способный делом своим опровергнуть отзыв критика. Так было, например, с отзывом Добролюбова о магистерской диссертации Ореста Миллера «О нравственной стихии в поэзии». Всю литературную карьеру профессора Ореста Федоровича Миллера испортил этот суровый отзыв. Но столь же суровая статья Писарева о Щедрина — «Цветы невинного юмора» — нисколько Щедрина не повредила.

Но вот что страшно, вот что убийственно для писателя, вот от чего он никогда не сможет целиком оправиться. Это — меткая эпиграмма или слово, подцепляющее какую-нибудь характерную слабую сторону писателя. Никакие самые презрительные и ругательные статьи не повредили Лесниду Андрееву так, как повредил добродушно-насмешливый отзыв Льва Толстого: «Он пугает, а мне не страшно». Иному читателю и стало бы страшно при чтении Андреева, но он вспоминает Толстого и повторяет: «Он пугает, а мне не страшно!»

Убийственны были прозвища и словечки, которыми высмеивал того или другого писателя огултельный Виктор Буренин, критик рептильной газеты «Новое время». Все презирали Буренина, но словечки его и прозвища часто неотрывными ярлыками навсегда прилеплялись к писателю. С его руки, например, пристали к Петру Дмитриевичу Боборыкину прозвание «Пьер Бобо» и слово «боборыкать». И читатель, берясь за новый роман Боборыкина, говорил, улыбаясь:

— Посмотрим, что тут набоборыкал наш Пьер Бобо!

Извольте-ка после этого захватить читателя!

Был беллетрист и корреспондент Василий Ив. Немирович-Данченко. Он вечно завирался в своих корреспонденциях самым фантастическим образом. Буренин прозвал его «Невмерович-Вральченко». И одно это прозвище с гораздо большим успехом подорвало доверие к его сообщениям, чем сделали бы это самые обстоятельные опровержения и изобличения.

Или из современности. Демьян Бедный писал про правозероковского публициста Питирима Сорокина:

Пити-пити-питири-м!

Питири-м, тирим, тирим!

И все воробыиное легкомыслие писателя налицо.

Трудное это и запутанное дело — писательство. Писатель должен не наблюдать жизнь, а жить в жизни, наблюдать ее не снаружи, а изнутри.

Между тем обычная история жизни писателя: удалась ему вещь, обратил на себя внимание — и бросает прежнюю работу, и становится профессионалом. И вот — человек садится писать не тогда, когда ему что-то нужно сказать, а тогда, когда нужно платить за квартиру, шить жене пальто. И на глазах свежий росточек таланта желтеет, сохнет. И нет уж писателя. Начинающий писатель, если он уважает свой талант и дорожит им, не должен «жить» литературой. Чем угодно добывай средства к жизни, только не писательством. Придет время, и то же писательство самотеком начнет кормить тебя произведениями, написанными раньше.

Не говорю уж об этом. Но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. Обычная теперь для него среда — товарищи писатели, заседания секций, ресторанчики, клуб писателей. Варка в собственном соку. А потом куда-нибудь выезжает, ходит с блокнотом и «набирает материал».

Нужно в жизни жить, работать в ней — инженером, врачом, педагогом, рабочим, колхозником.

— Хорошо, а когда же тогда писать?

— Когда? После работы. В дни отдыха. В месяц отпуска.

— Много ли тогда напишешь?

— И очень хорошо, что немного. Все, что тогда напишется, будет полноценно, нужно. А так, по совести сказать, взять почти у любого писателя полное собрание его сочинений, — много ли потеряет литература, если выбросить из него три четверти написанного?

Когда в загорающемся сиянии славы, среди гула восторженных приветствий в литературу вступает молодой талант, мне всегда бывает за него страшно и больно. Как будто на большой высоте человек пошел по слабо натянутому канату. Знает ли он, какой это опасный путь, знает ли, что из многих десятков людей до конца дойдут, хорошо, если двое, трое? Знает ли, что с каждым шагом все больше должна расти его строгость к себе, что не нужно прислушиваться к доносящимся снизу восторженным крикам и рукоплесканиям? Можно все это знать, и все-таки голова начинает сладко кружиться, исчезает подобранность тела, ноги бойко и развязно ступают по канату, — и летит человек вниз, и расшибается насмерть. И никто даже не ахнет, не подбежит к его труп. Равнодушно поглядят и скажут:

— Еще одна несбывшаяся надежда!

Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижал требовательность к себе, с каждым успехом начинало писаться «легче». И как в это время бывал полезен жестокий щелчок — отказ редакции, суровая встреча критики!.. Просите, товарищи, судьбу, чтоб она была к вам построже и позлее.

И вот это еще. «Небес избраннык», «божественный посланник». И теперь сплошь да рядом писатель серьезнейшим образом начинает считать себя таковым. Писательский труд — это какой-то совсем особенный труд, высоко возносящий писателя над серою толпою. После этого труда всякий другой, обычный труд оскорбителен, презренен. Стал человек в этой области инвалидом — выдохся, писать больше не о чем. Но сам по себе крепчайший мужчина, хоть барки грузить. Но он предпочитает бездейтельно ждать исчезнувшего «вдохновения» и быть вечным клиентом Литературного фонда.

Знавал я одного поэта, бывшего рабочего. Хороший был поэт, отмеченный и читателем и критикой. Как-то он сказал мне:

— Подыхаю от нищеты! Что можно заработать стихами!

Я вспомнил, что он был прежде электромонтером. А я как раз только что въехал в новую квартиру, нужно было проводить в ней электричество. Я ему предложил:

— Вот! Не возьметесь ли?

Он оглядел меня так, как если бы я изящному денди предложил в заплатанном и затасканном костюме войти для танцев в бальный зал. Ответил неохотно:

— Я это дело давно уже бросил.

И отошел.

«Автор одного произведения»... Их много у нас. Грибоедов. Сухово-Кобылин — трилогия. Ершов, автор «Конька-Горбунка». Д. Гирс — неоконченный роман «Старая и новая Россия» в «Отечественных записках» за 1868 год. А прожил (и писал) до 1886 года. А. Л. Боровиковский — в семидесятых годах лучший после Некрасова поэт «Отечественных записок», очень несправедливо забытый.

Хороши были у него не только гражданские стихи, но и стихи другого рода. Помню, например, из одного стихотворения такое четверостишие:

Пусть говорят — ночная полутьма
Введет в обман и призраки покажет.
Нет, только ночь тебе всю правду скажет,
А дню не верь: обманывает день!

Молодежь того времени списывала его стихи и учила наизусть. А он даже не издал их отдельной книжкою. Стал впоследствии крупным деятелем по судебному ведомству и автором специальных трудов по гражданскому праву. Из более новых: Найденов — «Дети Ванюшина», Тимковский — «Сильные и слабые». Благо было тем из них (Сухово-Кобылин, Боровиковский), которые сказали, что могли сказать, и спокойно замолчали. Для большинства же это единственное их произведение стало отравой, заразившей кровь на всю жизнь. Нечего больше сказать, нет потребности сказать, все сказано, а пишут, пишут, пишут... Какое оскорбление и литературы и самих себя! Неужели только в литературе жизнь? Неужели и без нее нельзя жить полно, глубоко и плодотворно?

Странная судьба скульптора Ф. Ф. Каменского. Всякий знает, хотя бы по снимкам, его группу «Первый шаг», находящуюся в ленинградском Эрмитаже: карапуз в рубашонке неуверенно делает шаг, а молодая мать, опустившись на одно колено, поддерживает ребенка. Каменский, родившийся в 1838 году, блестяще начал свою карьеру, еще учеником Академии получил несколько серебряных и золотых медалей, был отправлен за границу, получил звание академика. Художник А. А. Куренной рассказывал мне со слов брата Каменского: скульптор жил в Риме, женился, родился ребенок. Знаменитый «Первый шаг» его — с жены и ребенка. Жена умерла. Каменский бросил скульптуру, в начале семидесятых годов уехал в Америку и там стал жить физическим трудом. Брат посетил его в Америке. Он имел свою ферму и на ней работал. Однажды — кажется, на чикагскую всемирную выставку — Каменский представил статую. Получил премию. И опять умолк.

Лет тридцать назад меня в упор спросила одна курсистка, прямолинейная девица, признававшая только химию и политическую экономию:

— Скажите, как вы сами думаете: если бы никогда не появилось в печати ничего, что вы написали, — было бы что-нибудь в нашей жизни хоть немножко иначе, чем теперь?

Я ответил:

— Видите, начинается дождь. Он очень нужен для посевов, для травы; может быть, он определит весь урожай нынешнего года. Вот перед нами упала капля дождя. И вы спрашиваете: изменилось ли бы что в урожае, если бы этой капли совсем не было? Ничего бы не изменилось. Но весь дождь состоит из таких капель. Если бы их не было, урожаем бы погиб.

Молитва писателя: «Господи, избави меня от корректора, а с наборщиком я сам управлюсь».

Сколько ни борись с корректором, но в конце концов он вместо «конъюктура» поставит «конъюнктура», вместо «интерполяция» — «интерпелляция», вместо «цезура» — «цензура».

Через каждые пять лет перечитывай «Фауста» Гете. Если ты каждый раз не будешь поражен, сколько тебе открывается нового, и не будешь недоумевать, как же раньше ты этого не замечал, — то ты остановился в своем развитии.

Меня спросила одна девушка:

— Какая идея в «Фаусте»?

Я ответил:

— Вы помните, Фауст соглашается отдать свою душу Мефистофелю, если сможет сказать мгновению: «Стой, ты прекрасно!» И это мгновение настает тогда, когда Фауст видит, что затеянное им дело обещает принести огромную пользу человечеству. Характер этого счастья таков, что Мефистофель теряет власть над Фаустом, и Фауст спасается.

Когда девушка ушла, мне стало стыдно. Как будто о простирившемся перед нами огромном лесе меня спросили, какой в нем смысл, а я показал на молодой дубок и сказал, что из него можно согнуть великолепную дугу для телеги. Какова «идея» «Фауста»? Да разве дело в той дуге, которую можно согнуть из молодого дубка! Лес этот дает столько и материальной пользы, и красоты, и здоровья, что просто смешно говорить о дуге. В «Фаусте» на каждой странице такая неисчерпаемая глубина мысли, переживаний, настроений, жизненного опыта, знаний, что основная «идея» тут имеет значение третьестепенное.

Мне после этого было приятно прочесть в разговорах Гете, записанных Эккерманом, следующее его признание:

«Ко мне приходят и спрашивают, какую идею я хотел воплотить в моем «Фаусте». Точно я сам знаю это и могу выразить!.. Было бы удивительно, если б я вздумал всю столь богатую, пеструю и в высшей степени многообразную жизнь, которая изображена в «Фаусте», нанизать на тонкую нить одной всепроникающей идеи... Я собирал в душе впечатления, и притом впечатления чувственные, полные жизни, приятные, пестрые, многообразные, какие мне давало возбужденное воображение. Затем, как поэту, мне оставалось только художественно округлять и развивать эти образы и впечатления и, при помощи живого изображения, проявлять их, дабы и другие, читая и слушая изображенное, получали те же самые впечатления... Я склоняюсь к мнению, что чем несоизмеримее и для ума недостижимее данное поэтическое произведение, тем оно лучше».

До чего глуп становится самый умный человек, когда больно задето его самолюбие!

Если хочешь ценить человека, то заранее нужно скинуть со счета его самолюбие и тщеславие. Иначе, может быть, не останется для тебя ни героя, ни подвижника, ни мудреца.

Одно из великолепных исключений — Фридрих Энгельс. Для него ничего не приходится скидывать со счетов. Ведь только подумать! Огромный ум, совершенно самостоятельно пришедший к основным положениям марксистской теории. Он мог быть первым номером — и добровольно сделал себя вторым номером при Марксе. «То, что сделал Маркс, — писал он, — я не мог бы выполнить. Он стоял выше, смотрел шире, видел больше и быстрее, чем все мы, остальные. Маркс был гений, а мы в лучшем случае — таланты». И вот свой большой талант он скромно отдает на служение гению. В прямой ущерб собственной научной работе старается побольше заработать денег, чтобы дать возможность Марксу спокойно и без забот работать над «Капиталом». Все время ставит себя в тень, и справедливость должна применять большие усилия, чтобы вывести его из этой тени и поставить вплотную рядом с Марксом.

Молодой Гете приучил себя смотреть с крыши страсбургского собора вниз, чтобы отучить себя от головокружения при взгляде в бездну. Он не выносил резких звуков, поэтому ходил к казарме во время вечерней зори и слушал грохот барабанов, от которого чуть не лопалась барабанная перепонка. Испытывал невольный суеверный страх при ночном посещении кладбища — и нарочно проводил там часы. Многие военные, чтоб приучить себя «не кланяться пулям», без нужды подставляют себя под обстрел.

Это все просто и легко исполнимо. Но вот как отучить себя от страданий самолюбия? Какие для этого способы? Нет ничего смешнее и противнее кипящего самолюбием человека. Как себя от этого избавить? Удовлетворение самолюбия ведет к все большим требованиям. От поругания самолюбия оно тоже только растет. Самолюбив и нетерпим признанный мастер. Еще, может быть, самолюбивее и нетерпимее мастер непризнанный, собственным преклонением перед собою замещающий отсутствие преклонения других. Когда жизнь одергивает зарвавшегося молодого человека, — это для него очень полезно. Но как вот самому олегривать себя?

Мне кажется, я в общем не страдаю избытком самолюбия и еще больше убеждаюсь в этом, когда наблюдаю товарищей писателей.

И вот — интересное наблюдение. К столетней годовщине смерти Пушкина издательство «Советский писатель» выпустило мою двухтомную работу: «Спутники Пушкина». Издательство пересылало мне все отзывы читателей об этой книге. Раз получаю пачку таких отзывов. Один более лестный, чем другой. Казалось бы, можно бы получить полное удовлетворение. Но в пачке этих писем было также очень злое и едкое письмо одной старой учительницы. Она писала, что автор копается в грязном белье Пушкина и его спутников, что он принижает Пушкина до собственного своего пошлого уровня, что книгу его не следовало бы допускать в библиотеки и т. п.

И что же? Потонул этот отзыв в десятках хвалебных отзывов, компенсировался ли, по крайней мере, ими? Нет. Весь день на душе было определенно неприятное ощущение, со стороны совершенно непонятное. Ложка керосина в бочке душистого вина.

Вот. Какие способы бороться с подобными переживаниями?

Искренность — дело трудное и очень тонкое, она требует мудрости и большого душевного такта. Маленький уклон в одну сторону — и будет фальшь; в другую — и будет цинизм. Способность к подлинной искренности, правдивой и целомудренной, — великий и очень редкий дар.

Поэт Н. М. Минский в начале девяностых годов выпустил книгу «При свете совести». Редко можно встретить более фальшивую книгу. Чувствуешь на каждой строке, как автор говорит себе: «Я ничего не побоюсь, я буду так правдив с собою, как никто еще никогда не был». И раздувает, размазывает еле заметные ошущеньица, смещает перспективу, во имя искренности лжет на себя и на других. Утверждает, например, что когда у вас умрет даже самый близкий, самый любимый человек, то, при самой искренней скорби, в глубине души у вас живет приятная мысль, что вот я, я теперь буду центром общего внимания, я, шатаюсь от скорби, буду первый идти за гробом, и все с сочувствием будут смотреть на меня...

Вот в какого рода «искренность» можно впасть, если не относиться к ней строго и требовательно. А уклонишься в другую сторону — и там ждет тебя циническая «искренность» Федора Карамазова или Василия Розанова.

Глаза — зеркало души. Какой вздор! Глаза — обманчивая маска, глаза — ширмы, скрывающие душу. Зеркало души — губы. И хотите узнать душу человека, глядите на его губы. Чудесные, светлые глаза и хищные губы. Девически-невинные глаза и развратные губы. Товарищески-радушные глаза и сановнически поджатые губы с брюзгливо опущенными вниз углами. Берегитесь глаз! Из-за глаз именно так часто и обманываются в людях. Губы не обманут.

Умное лицо получается у человека не оттого, что он умен, а только оттого, что он много думает. Я знаю несколько женщин: у них очень хорошие, вдумчивые, умные лица, а сами они — глупые; но они серьезно относятся к жизни, добросовестно вдумываются в нее. Знал я одного критика. Редко можно было встретить такого тупого человека. Но он добросовестно ворочал воробьиными своими мозгами — и лицо у него без всякого спора было умное. А вот у Декарта и Канта лица совершенно дурацкие. Видно, думалось им очень легко.

— О чем вы задумались?

Добросовестно ответить на вопрос можно только через значительное время. Когда человек «задумался», в нем работает подсознательное, результатов своей работы оно еще не вынесло в сознание. Внешний вид человека в это время: брови подняты, глаза выпячены и смотрят в пространство, ничего не фиксируя. Когда человек «думает» — вид другой: брови сдвинуты, взгляд определенный, фиксирует одну точку. Тут он сразу может ответить, о чем думает.

Нет ничего отвратительнее и нет ничего прекраснее старческих лиц. И нет их правдивее. С молодого, упругого лица без следа исчезают черточки, которые проводятся по коже думами и настроениями человека. На старческом же лице жизнь души вырезывается всем видною, нестираемую печатью.

Совет лицемерам. — Ты прикидываешься на людях энтузиастом, отзывчивым человеком, добрым товарищем. Наедине и в семье ты не считаешь нужным притворяться, и лицо твое принимает обычное, присущее тебе выражение мелкого и злого эгоиста, думающего только о своих выгодах. И на лицо твое наносятся определенные черты, которые все труднее становится сглотить на людях. Лицемерь и наедине. Тогда маска твоя станет прочнее.

Есть какие-то свои законы и в психологии лжи. Когда начинающему писателю говоришь: «У вас чувствуется подражание такому-то», — он с неизменной закономерностью отвечает:

— Мне это и другие говорили. Но представьте себе: когда я писал свою вещь, я этого писателя еще не читал.

Один молодой человек, давший мне на прочтение повесть, и в манере и в плане до смешного представлявшую подражание «Мертвым душам», тоже уверял, что он в то время еще не читал «Мертвых душ».

Гомер. Боги сидят, беседуют, попивая нектар; даже потеют при усиленной работе. Даже походка, как у людей. Боги, как мужчины, «широко шагают». Богини, как женщины, семят ногами, «походкой подобные робким голубкам». До чего убога человеческая фантазия! Везде религии изображают бога или богов в виде людей, или животных, или их комбинации. Почему не сумели создать чего-то прекрасного, великого, одухотворенного, живого — и ничем не напоминающего живущие существа? Гениальнейший художник мог бы на этой задаче сойти с ума.

Буриданов осел — что это такое? Ну, кто же не знает! Осел стоял между двумя охапками сена и никак не мог решить, в какую сторону ему повернуть голову. Так и умер с голоду. Хорошо. Ну, а кто такой сам Буридан? Владелец осла? Автор басни об осле? Вот этого почти никто не знает. Буридан был французский философ-схоластик четырнадцатого века, противник учения о свободе воли; пример с ослом он приводил в опровержение учения о свободе воли: при полной свободе воли осел умер бы с голоду между двумя одинаковыми охапками сена, потому что у него абсолютно не было бы никакого мотива предпочесть одну охапку другой. Пример и сам по себе мало удачный, и нигде в сочинениях Буридана его не находят, сомневаются даже, принадлежит ли он ему. А прославился Буридан ослом своим, можно сказать, в веках, и прославился весьма прочно. Поистине, въехал в храм бессмертия на осле, как Реомюр и Цельсий на термометрах, Рентген на своих лучах, Ампер, Вольт и Фарадей — на свойствах электричества.

Мне говорил один очень хороший и наблюдательный хирург:

— Не знаю, как это объяснить научно. Но убежден я глубоко и непоколебимо. Может быть совершенно одинаковый (наружно) уход за больным, а результаты разные, в зависимости от того, исполняет ли ухаживающий только свой долг — хотя бы с идеальной добросовестностью, — или он жадно, страстно хочет спасти больного. Смело говорю, что в последнем случае возможность выздоровления повышается по крайней мере процентов на 25. Я высказал это свое наблюдение проф. Х. Он ответил изумленно: «Я это тоже заметил, но боялся говорить». И даже больше скажу. Там, конечно, где организм не отравлен безнадежно, где он борется, где часто, как, например, при тифе или при крупозном воспалении легких, все зависит от того, выдержит ли организм еще сутки, — там, я говорю, страстное желание жены или матери буквально не дает больному умереть, поддерживает его жизненные силы.

Иногда серьезно начинаешь верить в «прану» йогов и в то, что люди избыток этой жизненной силы — праны — страстным своим желанием способны переливать в других людей. На империалистической войне у меня в госпитале было две сестры с огромнейшим запасом этой жизненной силы и подлинной любви к каждому больному, горячего желания его спасти. И что же? На их дежурстве почти ни один больной не умирал! Помню один случай. У больного была газовая гангрена ноги — делались

подкожные вливания, сделана была экзартикуляция тазобедренного сустава. Я подошел: умирает. Говорю: «Через десять минут умрет. Покройте его». Уж достаточно был в этом опытен. Но — при нем была одна из упомянутых сестер. И он начал теплеть и ожил. Многое еще нам не известно в организме человека.

Четвертушкой бумаги осторожно стараюсь направить трепыхающуюся бабочку с верхнего оконного стекла вниз, где окно открыто. Она мечется, бросается в стороны.

— Глупая, тебе же добра хочу!

Но она совершенно не в состоянии этого усвоить. Не потому только, что не в состоянии понять моих слов, а потому, главное, что по существу не в силах воспринять того, что я ей хочу сказать. С какой стати я, чужое ей существо, стану ей делать добро? Весь мир для нее — только среда, добыча или опасность.

Когда вдумаешься в это, то тут — своеобразный источник утешения и самого светлого оптимизма. Отчаяние берет, сколько среди людей жестокости, подлости, вероломства, себялюбия... А — почему им не быть? Что это за ребячья привычка видеть в человеке «образ божий» и в его плохих поступках — поругание этого образа? Человек — не «образ божий», а потомок дикого, хищного зверья. И дивиться нужно не тому, что в человечестве так много этого дикого и хищного, а тому — сколько в нем все-таки самопожертвования, героизма, человеколюбия. Нечего приходить в отчаяние, что у волка, ястреба, человека так много волчьего, ястребиного и... человеческого. Это вполне естественно. А вот от этого можно испытывать большую радость: сколько уж в человечестве высокой моральной красоты! И сколько ее еще будет, когда явятся более благоприятные условия!

Декабрист М. С. Лунин — замечательный писатель и изумительный человек, — отмечая влияние сибирского климата и ссылки на его душевное состояние, писал сестре между прочим: «Излагая мысли, я нахожу доводы к подтверждению истины; но слово, убеждающее без доказательства, не начертывается уже пером моим».

«Слово, убеждающее без доказательств...» В этом сила оратора. В этом — и тайна успешного спора с женщиной. Никакой логикой нельзя ее убедить, если говоришь с раздражением. И нужно очень мало логики, если слово сказано мягко и с лаской. И это почти со всякой женщиной, как она ни будь умна. Эмоциональная сторона в ней неодолима. Рассказывал Леонид Андреев: однажды поспорил он о чем-то с женой; приводил самые неопровержимые доводы, ничего на нее не действует; он разъяренно спросил:

— Ну, как же тебя еще убеждать?

Она жалобно ответила:

— Поцеловать меня.

Мы разучивали с тремя ребятами басню «Слон и Моська». Все они уже знали ее наизусть.

По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за Слоном толпы зевак ходили.

И вдруг один с недоумением спросил:

--- Почему они зевали?

Я спросил других — почему? Никто не смог объяснить. Но одинаково всем троим картина представлялась совершенно определенной: толпы людей ходят за слоном и — зевают. Как могло случиться, что дети так долго не спрашивали, в чем тут дело?

Дети очень часто не спрашивают о значении непонятных слов. Это — не отсутствие любознательности, это — своеобразное стремление справиться собственными силами с непонятым словом и создать картину в меру собственного разумения¹. Один старый писатель вспоминал, что в детстве стихотворение Лермонтова «Ангел» он читал так:

По небу, по луночи ангел летел.

И ему представлялось, что «луночь» — это что-то вроде озаренного лунным светом небосклона.

Умирал один мой знакомый, человек глубоко верующий. Пошел его проведать. Иссох, оброс седою бороною. Жена все силы на него кладет. Лицо у нее бледное от бессонных ночей и хлопот. Что-то мне рассказывает, улыбаясь. Он враждебно посмотрел на нее и сказал:

— Вот! Я умираю, а она каким тоном говорит!

9 сент. 1940 г. — Давление крови у меня непрерывно растет, и все меры мало помогают. Сейчас — 210. Совершенно не могу физически работать, что меня всегда так живило. Мало и трудно могу работать умственно: сейчас же начинаются боли в голове. Что ж! Семьдесят три года. Пора и честь знать. Удивительно, как смерть меня мало пугает!

Последним желанием Анаксагора было, чтобы в день его кончины ежегодно устраивались детские игры. Я на это не имею права, потому что для детей ничего не сделал. Но я бы хотел, чтобы при моей смерти звучал детский смех, чтобы все кругом улыбались, чтобы не было похоронного настроения, люди не ходили бы с повешенными носами, не вздыхали бы скорбно. Пусть не стоит надо мною шубертовский «Wilder Knochenmann» — «дикий костяной человек» с косою. Пусть реет благодный Thanatos, брат-близнец Сна.

¹ Ну что ж! Ну да! Ходят за слоном и зевают. Вот какие бывают странные существа.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Н. МЕЛЬНИКОВ

★

ДЕНЬ НА ДАЛЕКОЙ СТРОЙКЕ

Мешок с деньгами стоял в углу дежурки. Оля, кассирша, два рослых парня Леша и Паша, караулившие мешок, и я ждали, когда диспетчер, лысый полный человек с красной шеей и малиновыми прожилками на щеках, соблаговолит дать нам машину, чтобы ехать на вокзал. Да, именно соблаговолит, потому что ему было не до нас. Он забивал «козла» со своими подчиненными — с шоферами — и вот уже с полчаса твердил, что придет полуторка, она и отвезет нас. Между тем за окном выстроилось несколько «газиков». Сначала мы не понимали, почему нам не хотят дать «газик», а потом поняли: диспетчеру не хотелось терять партнера.

— Я знаю, что делаю,— говорил он Оле.— Поспеешь. Подойдет полуторка и подкинет вас.

Оля ходила вокруг стола, за которым шла игра, и, чуть не плача, мяла в руках платочек. Лицо у нее было застенчивое, просительное, она говорила, вернее не говорила — жаловалась, что лучше ей умереть, чем опоздать на поезд: люди ведь ждут получку. На станцию Мылки, куда нас привезет поезд, подадут бульдозер, а это тоже не шутка — гонять бульдозер впустую.

На все это диспетчер или отвечал одним словом «поспеешь». или тупо острил:

— К жениху, что ли, торопишься?

Я пробовал вмешаться, но получил отпор:

— Обойдемся без адвокатов. Ясно?

— Нет, не ясно! — вдруг крикнула Оля. Застенчивость ее как рукой сняло. Она вплотную подошла к столу и смахнула на пол костяшки.— Давайте машину!

Диспетчер побагровел.

— Ты как смеешь озорничать? — заорал он.— Ты откуда взялась такая?

— Из Амурска взялась. Дадите машину?

С лавки поднялся один из шоферов и, махнув нам перчатками, бросил на ходу:

— Поехали.

Леша взвалил на плечи мешок, Паша вскинул винтовку за спину, и мы двинулись.

Я проехал десять тысяч километров, останавливался в Хабаровске, пробыл день в Комсомольске, и встреча с лысым диспетчером была единственной неприятностью. Все старались помочь мне советом или делом. В Амурск, куда я должен был попасть, машины не шли: размыло дорогу. Тут годился только бульдозер. Его посылали в исключительных случаях — сэкономили бензин. В горькоме Комсомольска-на-Амуре, в тресте, в редакции городской газеты мне решительно запретили идти пешком.

— Вы не знаете тайги, и мы не имеем права вас пускать.

Выручить меня могла только оказия. Решено было, что я поеду на станцию Мылки и буду дожидаться этой оказии там. Расстроенный, спустился я по трестовской лестнице, дошел уже до первого этажа, когда услышал, что меня зовут сверху. Перепрыгивая через две ступеньки, вниз бежал пожилой человек — заместитель парторга треста. Он с радостью сообщил, что нашел для меня оказию, что из Амурска приехали люди за деньгами.

— Вам чертовски повезло, — сказал он, прощаясь.

В «газике» по дороге на вокзал каждому хотелось отвести душу, ругнуть диспетчера.

Леша, казах по национальности, не очень хорошо говоривший по-русски, сказал:

— Я ему хотел настоящий мат сказать. Оля была. Не положено.

Мы приехали на вокзал за двенадцать минут до отхода поезда. Пока покупали билеты, пробирались на платформу, усаживались в вагон, прошло еще несколько минут. Кто-то забарабанил нам в окно. Оля сорвалась с места и побежала к выходу. Леша пояснил мне:

— Папа и мама Оли. Они построили Комсомольск.

Когда-то я видел первостроителей этого города в фильме «Комсомольск». Тогда, мальчишкой, я был влюблен в героиню фильма и даже ревновал ее к высокому, худощемому, с неприветливым лицом парню. До сих пор вижу дождливое утро в дошатой лачуге, где этот парень с злым лицом держит над головой безмятежно спящей героини посудину, в которую капает вода с дырявой крыши.

Я досадовал и не понимал, почему она, смелая, умная, красивая, любит злого и худощего парня. К тому же он хотел бежать со стройки. И почему он, проклятый эгоист, так заботливо охраняет сон той, которую хочет бросить.

Прошло множество лет, и мне показалось, что я снова вижу своих героев. Она, милая, с веселым лицом и ясными глазами, чуть отяжелевшая с годами, держала под руку высокого и худощавого человека в мрачно надвинутой на глаза кепке. Никакой несправедливости я больше не находил в этом.

Времени для прощания с родителями у Оли было в обрез. Ей принесли пакетик с конфетами, и она, так решительно расправившись с диспетчером, теперь с той же решительностью засунула в рот сразу две конфеты, потом чмокнула папу, чмокнула маму и поспешила в вагон.

Только тронулись, Оля в панике спросила меня:

— Где ваши вещи?

Я ответил, что чемодан оставил в Комсомольске, боялся, что с ним в бульдозер не возьмут.

— Так-таки ничегошеньки не взяли?

Я показал зубную щетку, зубной порошок и мыльницу.

Паша доверительно сообщил мне:

— Я, между прочим, проездом был в Москве. Ничего не скажешь — большой город.

На станции Мылки, куда мы прибыли часа через два, нас встречал невысокий блондин в замасленном ватнике.

— Машина подана, — объявил он.

За тощим станционным строеньцем стоял бульдозер, громадный, выдавший виды. Комья перемолотой глины повисли на нем.

Теперь нас было пятеро вместе с водителем. Незаметно, тихо к нам присоединился шестой спутник — парень в брезентовой куртке и крошечной кепке на затылке.

— Ты зачем здесь? — строго спросила Оля.

— Дело есть,— ответил парень.— На девятом километре сани с трубами забрать надо.

— Ты-то при чем здесь?

Парень молчал, а Паша тихо, чтобы не слышала Оля, сказал мне, что в свое время Оля спасла жизнь этому человеку. И пока разогревали мотор, Паша коротко поведал мне эту историю.

Как-то из своего окошка Оля увидела, что на улице пять человек избивают одного, да еще орудут палкой. Оля выскочила на улицу — и к ним. Хулиганы оторопели от неожиданности. А Оляхватила у них палку и сама замахнулась. Этому хулиганы уже не могли стерпеть, но, к счастью, тут подоспел начальник одного из строительных управлений Моисеенко.

— Высоченный мужчина,— рассказывал Паша.— Величиной прямо с памятник Пушкину.

Ему нравилось лишний раз вставить словечко о Москве.

История кончилась тем, что хулиганов засадили за решетку, а парень с месяц пролежал в больнице. Теперь тенью ходит за Олей и говорит, что он должен жениться на ней, потому что она его спасительница. Ну, а Оля, конечно, гонит его.

— Во-первых, он моложе ее,— продолжал Паша.— Во-вторых, он даже не нравится ей. А парень что надо. Васькой зовут. Слесарь шестого разряда.

Уже темнело, когда мы тронулись в путь. Васе места в кабине не досталось, и он безропотно улегся плашмя на крыше кабины. Меня, как гостя, усадили на мешок с деньгами. Я согласился не без опаски: никогда в жизни мне не приходилось сидеть на мешке с деньгами — зарплате целого коллектива строителей целлюлозно-бумажного комбината. Оля и Леша устроились по одну и другую сторону от водителя. Паша — в ногах у Оли, на ящичке с инструментами.

Тайга началась сразу же за станцией. Дорога представляла собой широко разрытое глинистое месиво. Растаявший снег и бесконечные весенние дожди до краев заполнили коричневой водой глубокие ямы и овраги. Я понял, почему с такой категоричностью меня не пускали пешком.

— Вы не подумайте,— сказала Оля.— У нас есть другая дорога. Амур тронется — вот тогда заживем. По воде три часа туда, час сорок обратно. Да и здесь скоро подсохнет.

Я не мог оторвать глаз от работы бульдозериста. Он сидел выпрямившись, я бы сказал торжественно, впившись глазами в дорогу, не глядя на работу своих рук. Руки его легко передвигали рычаги, не зажимая их в кулак, а только ладонями подталкивая их то от себя, то к себе. Казалось, их не надо даже подталкивать, а стоит только мысленно сказать им — и они с готовностью выполняют приказание. Эта легкая работа рук и рычагов никак не совмещалась с тем невероятным усилием, с каким сама машина, взвывая, преодолевала овраги, захлебываясь в воде.

После особенно трудного маневра бульдозерист останавливал машину и минуту сидел, откинувшись назад, закрыв глаза. Сначала мне казалось, что он уставал не столько от своей работы, сколько от сочувствия к машине, которой так безжалостно доставалось. Но, конечно, это было не так. Пот градом лил с его лица. Дорогой ценой ему давалась и эта торжественная поза и эти будто бы легкие прикосновения к рычагам. Дорога на каждом шагу угрожала нам ямами. Попробуй разгляди и не сядь на мертво.

Только один раз нам пришлось вылезти из бульдозера. Толщенное дерево лежало поперек дороги. Пришлось опустить нож и поудобнее

развернуть машину. В кабине было так тесно, что водитель попросил нас выйти. Остался только Леша, не пожелавший расстаться с мешком.

— Чудак человек, — сказал ему водитель. — Что я с твоим мешком сделаю?

— Порядок нужен, — ответил Леша.

Вообще-то и он и Паша работали плотниками. Сопровождая Олю, они только выполняли комсомольское поручение.

— Настоящее дело мы вчера сдали, — говорил Леша, — крижи под причал.

Я спросил Лешу, не тянет ли его домой, в Казахстан.

— Зачем тянет? — ответил он. — Мой дом теперь здесь. Тайга.

Великая стройка, охватившая всю страну, не только расширила географические представления людей, но и приобщила их к новым профессиям. Вряд ли предки этого сына степей представляли себе путешествие на Дальний Восток. Вряд ли в роду у этого потомка скотоводов были прежде плотники.

Первое время справа от нас тянулась железнодорожная насыпь. Кое-где уже были уложены рельсы. Когда дорогу построят, двадцатикилометровый путь от Мылок до Амурска будет исчисляться минутами. А сейчас мы ехали уже более двух часов, а конца еще не было видно. Часы показывали около восьми, а в тайге была черная-пречерная ночь. Казалось, что наш бульдозер всеми своими сотнями лошадиных сил борется теперь не с колдобинами и вязкой глиной, а пробивает именно эту черную ночь, плотную, как стена. Тусклые лучи фар ползали по этой стене. Молоденькие березки то в одиночку, то парами будто выбегали из темноты на дорогу поглазеть на нас и тут же исчезали.

Где-то на полпути подцепили сани с трубами, за которыми ездил Вася. Доставил их сюда трактор с Мылок, а дальше была уже не его зона. Время от времени Васина рука появлялась в смотровом окне. Это значило: дайте закурить. А когда Оля стала угощать нас конфетами, рука в окне стала появляться значительно чаще.

Наконец где-то впереди показались огни, и я чуть было не крикнул: «Земля!» Но, как выяснилось, «земля» была еще далеко: огни то появлялись, то исчезали надолго. Чем ближе мы подъезжали к Амурску, тем разговорчивее становились мои новые знакомые. Под конец они даже заспорили. По мнению Оли, Пионерская улица, на которой она живет, самая красивая, потому что спускается к Амуру. Леша презрительно морщился. Он жил на Школьной, с видом на строительную площадку комбината и совсем близко от парка и танцевальной площадки.

— Где завтра новенькие дома сдают? — запальчиво спрашивал он и сам отвечал: — На Школьной!

Паша сначала молчал. Он жил в палаточном городке, а где и на какой улице ему дадут квартиру, он еще не знал. Однако, по его мнению, Молодежную улицу не сравнить ни с какой другой, ведь не случайно ее мостят специальными плитами: пройдет время — и она несколько не уступит улице Горького в Москве. На Молодежной самые высокие дома, и если забраться на крышу, то видны не только комбинат и Амур, но и на десятки километров вокруг видно.

Показались темные силуэты домов барачного типа. Бульдозер петлял между ними, как в лабиринте, и наконец остановился у большого крыльца.

Водитель выключил мотор, сбросил перчатки, откинулся на спинку и, глубоко вздохнув, сказал:

— Все!

На крыльце толпился народ, оттуда доносились оживленные голоса:

— Приехали...

— А уж мы заждались.

— Зарплата пришла.

Оля была права, когда в дежурке говорила, что люди будут ждать ее приезда. Всем хотелось собственными глазами удостовериться, что зарплата «пришла», теперь и спать можно спокойно идти.

Оля поручила меня сторожу конторы, чтобы тот отвел меня в гостиницу. Я шел за ним вслепую: земля вокруг была кромешная.

Дежурная, она же уборщица, указала мне койку в комнате на четверых и ушла, не спросив ни паспорта, ни командировочного удостоверения, ни даже фамилии. На трех других койках уже спали. Лиц не было видно. Мои соседи спали, укрывшись с головой.

Утром, когда я проснулся, все три койки были аккуратно застелены. Окно туманилось, слезилось.

Я вспомнил, что на Школьной сегодня сдают дома, и поспешил одеться.

Шел мелкий теплый дождь. На крыльце дежурная мыла лестницу. Я не помнил, с какой стороны вчера пришел. Куда ни глянь — все изрыто, размыто, лужа на луже, канава на канаве. Я не мог понять, как мне ночью удалось пройти сюда. Кругом в беспорядке были разбросаны одноэтажные дома. Где Пионерская, на которой живет Оля? Где Школьная с видом на комбинат? Где, наконец, Молодежная улица, что своей красотой скоро не уступит улице Горького в Москве?.. То тут, то там виднелись приземистые одноэтажные бараки общежитий. Я спросил уборщицу, как пройти на Школьную.

— Да отсюда рукой подать, — ответила она. — Пойдете по нашей Строительной и упретесь в Школьную.

Я пошел и уперся в громадную лужу. Навстречу шли девушки с лопатами на плечах. Ни на мгновение не задумываясь, они шагнули в лужу и по-хозяйски зашагали по воде. Я осмелел и двинулся вперед.

В том, что я попал на Школьную, сомнения не было. По левую сторону от меня стояло типовое четырехэтажное здание школы. Напротив нее — несколько белых двухэтажных домов с настееж открытыми окнами. Почти во всех окнах сидели на подоконниках девушки и, обхватив руками колени, ждали начала работы.

Верно говорил Леша — отсюда открывается вид на громадную ровную площадку, предназначенную для комбината. Я знал, что этот комбинат будет одним из самых крупных в стране: он должен перерабатывать в год два миллиона кубометров древесины. Из одного миллиона кубометров древесины можно получить сто пятьдесят тысяч километров вискозной ткани. Такая лента может трижды опоясать земной шар. Мне также было известно, что комбинат будет состоять из завода сульфитной высокооблагороженной вискозной целлюлозы, сульфитно-спиртового завода, фабрики тарного картона и завода древесно-волоконистых плит. Работая на отходах, этот завод будет превращать опилки и обрезки в легкие и прочные утепляющие стройматериалы. Будет построен глиноземный завод. Глинозем потребуется для производства бумаги и картона.

В Комсомольске корреспондент городской газеты шутя говорил мне, что в Амурске: на улицах не будет сквозняков и жителям, мол, нечего бояться простуды. Планировка предусмотрена такая, что ни одна улица не разрезает город по прямой насквозь. Живописная застройка самостоятельными кварталами образует короткие переходы, которые то идут параллельно друг другу, то изгибаются сообразно разрезу местности, то веером расходятся от парка. С севера и востока будущий город обступит тайга. С запада Амурск, как в зеркале, увидит себя в Падалинском озере. С юга город спустится к Амуру, на берегах которого задума-

ны не только громадные причалы, но и купальни для начинающих пловцов.

Но строительство комбината еще не началось. Город только-только зарождается. На улицах, где не будет сквозняков, пока что сам черт голу сломит...

Я вошел в дверь первого же дома. Все здесь искрилось белизной и свежестью. Несколько ступенек и площадка. На ней две двери в квартиры. Я вошел в ту, что была ближе. Маленький коридорчик и большая комната. В ней было куда светлее, чем на дождливой улице.

Четыре девушки, сидевшие по две на каждом окне, с удивлением смотрели на меня: что, мол, за птица явилась?

— Здравствуйте.

Ответила одна, рыженькая:

— Здравствуйте.

Другие отвернулись и стали смотреть на улицу. Девушки были явно чем-то расстроены, но поздороваться-то могли они все-таки.

— Что у вас тут случилось? — спросил я.

Ответа не последовало. Только рыженькая хихикнула в кулачок. На нее строго поглядела другая — широколицая, с тяжелыми черными вихрами, выбивавшимися из-под косынки. Я решил объяснить, откуда я и зачем приехал. Может, подберут. И еще спросил, кто здесь бригадир.

— Бригадир я, — ответила широколицая. — Только про нас нечего писать.

— Это почему?

— Нечего, и все! Вы про Володьку Пулеева пишете. Жену с годовалым ребенком бросил, а сам удрал. Про нас нечего писать.

Рыженькая выступила вперед и сообщила:

— Мы теперь всем мужчинам бойкот объявили: знаться с ними не будем.

— Вот оно что! А куда удрал этот Пулеев?

— Откуда приехал, туда и удрал. Кто его, подлеца, знает.

— Он из Сызрани, — сказала третья, но четвертая не согласилась:

— Я слышала, Володька вовсе камчатский.

Две другие девушки были на одно лицо — светленькие, курносые, и у каждой по родинке над верхней губой. На мой вопрос, не сестры ли они, и та и другая кивнули. Звали их Верочкой и Любочкой.

— Двойняшки мы, — сказали они в один голос.

— Одним словом, — продолжала бригадирша, — хорош тип этот Пулеев.

— А вы-то сами откуда? — спросил я.

— Из Комсомольска, — ответила рыженькая.

— А что, в Комсомольске работы не было?

Ответила бригадирша:

— Это у нас наследственное. Родители Комсомольск строили, ну а мы — Амурск. Вы вот про что еще напишите. У нас в прошлом месяце дом не приняли. Сегодня, допустим, покончили с ним, а завтра стены потрескались, пол буграми пошел. Вы думаете, мы виноваты? Не обезопасили фундамент, его и подмыло. Дом оседать стал. Но мы-то при чем?

Рыженькая, ее звали Людой, вздохнула и сказала:

— Ох и досталось нам.

— Особенно по карману, — добавила бригадирша. — Но мы еще повоюем.

Пришел мастер, и началась обычная предсменная «накачка» — краску на окна не ляпать, подоконники должны блестеть, как зеркало.

— Сегодня,— сказал мастер,— дом сдадим, хоть умри. Понятно?

— Понятно,— отозвалась бригадирша.— Не дети.

— Тогда все.

Рыженькая представила меня мастеру:

— Дяденька из Москвы, писать про нас хочет.

Мастер извинился, что, мол, с утра уже успел так закрутиться, что не сразу заметил меня.

На прощание я сказал девушкам, что хотел бы зайти к ним в общежитие.

— Заходите, пожалуйста,— ответила рыженькая.— Знаете, где Пионерская?

— Найду.

— Ну, так значит Пионерская, женское общежитие. Только ведь вы не придете. Обманете.

— Нет, не обману.

— К нам начальство не очень-то заходит,— сказала бригадирша.

— Я же не начальство.

— Ну все-таки.

Вместе с мастером мы вышли на лестницу. Мастер кивнул в сторону девушек и заговорил:

— Скажу откровенно, когда мне их дали, думал, пропаду, а теперь не жалею. Не девчата, а клад. Это сегодня они не в духе. За Мотю Лапшину обижаются. Муж ее бросил. Вот и придумали какой-то дурацкий бойкот. А вообще они народ веселый. Взять, к примеру, бригадиршу Римму Сапожкову. Лет не много, а вывела свою бригаду на звание коммунистической.— Он задумался и вдруг спросил:— А вы верно из Москвы?

Я полез за своей командировкой, но он остановил меня:

— Да что вы, я не к тому. Я-то сам никогда в Москве не был, и, когда встречу москвича, как-то не верится.

Ударили в рельс, мастер убежал по своим делам, а я вышел на улицу. Дождь не переставал, но вряд ли кому-нибудь здесь придет в голову ходить под зонтиком. В Комсомольске я тоже не встречал людей с зонтиками. Наверно, это просто здешняя привычка не бояться дождя и не укрываться от него.

В конце Школьной в небе висели два кирпичных блока. Два башенных крана — два гиганта — стояли возле пятиэтажных домов. Один дом уже был подведен под крышу, другой достраивался. Я, кажется, поторопился с выводом, что приехал на пустое место. Кругом земля вздыбилась, ее избородили траншеи. Грудами лежали трубы.

Где-то поблизости раздался девичий голос:

— Когда танцы откроете?

Из-за штабелей красного кирпича на меня глядели девушки и парни. Я подошел.

— Ой, простите, мы обознались.

Здесь работали каменщики. Они встретили меня куда приветливее, чем отделочники. И пока кран не опустил сюда свой крюк за очередной порцией кирпича, мы разговорились. В Амурске не хватало подсобных рабочих, поэтому бригаде приходилось самой заготавливать себе материал. Кое-кого это сердило: мы, мол, четвертого разряда, а вот какими пустяками занимаемся. За плечами бригады — участие в строительстве больницы, аптеки, почты, магазина.

— С премиями у нас плохо,— сказал бригадир по фамилии Воркунов, веснушчатый парень с замысловатым чубом.— Бригаду часто перебрасывают от одного прораба к другому, и, как назло, перед праздни-

ками. Получается, что до нас никому дела нет. Вопрос об этом поднимали, но дальше комитета комсомола дело не двинулось.

Поговорили и о другом. Бригаде давно хотелось стать коммунистической, но на новом месте с первого дня не очень-то себя проявишь.

Я спросил, сколько лет бригадиру.

— Я с тридцать восьмого. Двадцать один уже, а им,— он кивнул на свою бригаду,— есть по восемнадцать, а то и по семнадцать.

— А что, мало? Нельзя в коммунистическую бригаду? — обиделась одна из девушек.

Но ее засмеяли — возраст тут ни при чем, важно, как работает и живет человек.

Я спросил, как называется улица, которую они строят.

— Молодежная,— ответил бригадир.— Спуститесь вниз — тут и Амур.

Именно об этой улице и говорил Паша в бульдозере. Она, Молодежная, напоминала ему московскую улицу Горького.

Я простился с каменщиками и направился по Молодежной к Амуру. Стали попадаться пустые, заброшенные хибарки и сарайчики бывшего нанайского поселка Падали. Местные колхозники дали согласие, чтобы на их земле был построен комбинат. Но кое-кому из стариков не хотелось покидать насиженные места, и они пригласили шамана отогнать стройку. Шаман бил в бубен, плясал, а в это время совнархоз почему-то законсервировал стройку. Шаман стал первым человеком. Но скоро опять пришли строители, опять шаман бил в бубен, опять плясал и даже выл, но строители продолжали свое дело. И тогда шаман навсегда погорел. Колхозники переехали за двадцать километров от Амурска, в новенькие дома поселка Оми, где до сих пор бригада строителей из Амурска продолжает возводить колхозные строения.

Эту историю с шаманом мне рассказали в Комсомольске и не раз рассказывали потом в Амурске.

Я добрался до берега, спустился к самому Амуру. Подняв воротники пальтишек, шныряли мальчишки с удочками.

Кстати, о рыбах. Не грозит ли рыбному промыслу строительство целлюлозно-бумажного комбината, с его сточными водами, насыщенными химическими веществами? На этот вопрос строители комбината отвечают категорически: нет! Дело в том, что воды комбината, прежде чем вернуться в Амур, пройдут специальную фильтрующую систему протяженностью в десятки километров; побывают в отстойниках и поглотителях, в ручье Болотном и речках Болинь и Большая Хурба.

— Нет,— говорят строители.— Рыбы могут быть совершенно спокойны.

Сейчас Амур все еще был покрыт льдом. Посеревший, с глубокими трещинами лед готовился в путь. Но когда он тронется, никто не знал может, через час, а может, через два дня. У самого берега лед сходил на нет, здесь лежала черная вода. Слева виднелась крыша крошечной насосной станции, справа на причале работал бульдозер, разравнивая груды мелкого камня. Камень подвозили самосвалы, они шли один за другим. Свежеобструганные желтые кряжи торчали из воды.

Открылась кабина бульдозера, и со мной поздоровался вчерашний водитель.

— Я вижу, у вас работенка нелегкая,— сказал он мне.— С утра да под дождичком вышагивать.

— А какая работенка легкая? — спросил я.

— Мне-то что,— ответил водитель.— Меня дождик не мочит, ветер не продувает. Сижу себе покуриваю. Ей-богу, не променял бы.

И это говорил человек, который вчера взмок от работы.

Я должен предупредить читателя, что имена в очерке вымышленные. В Амурске я вспоминал другие стройки, других строителей и их дела. Людей этих роднит одно общее дело, они как бы дополняют друг друга. И, может быть невольно, я объединил черты разных людей в одном человеке. Так что пусть товарищи из Амурска не принимают все, что я о них написал, только на свой счет.

Моисеенко, человек «величиной с памятник Пушкину», как выразился Паша, сидел в кабинете за большим столом. Бочком к столу стояли два кожаных кресла для посетителей.

— Документы можете не показывать,— сказал Моисеенко.— Я про вас все знаю. Мне из треста три раза звонили, просили бульдозер для вас на Мылки выслать, а я отказал. Сердитесь, наверное?

Я ответил, что понятия не имел об этих звонках из треста и что, конечно, не сержусь.

— Мне каждый литр бензина дорог,— продолжал он меня убеждать, хотя я и не спорил.— Угораздило же вас в такую чертову погоду приехать. Мы же, как на острове, живем. Через два-три дня Амур тронется, тогда за три часа можно будет сюда добраться.

Нас перебил телефонный звонок. Моисеенко взял трубку и не успел приложить ее к уху, как стал кричать:

— Где я тебе ее возьму, связь эту? Стой, не отходи! — Он повернулся ко мне и пояснил: — Надо на берег срочно телефон ставить. Там взрывники дежурят, ждут, когда Амур пойдет, а у нас ни одного свободного аппарата.— И снова в трубку: — Слышишь меня? Снимай в орсе, скажи, что я приказал. Пусть побегают. Лучше работать будут. Все.

Вошел человек в черном демисезонном пальто и кепке.

— Знакомьтесь,— сказал Моисеенко.— Наш партийный вожь товарищ Вершков, а это,— он указал на меня,— тот самый товарищ, которому мы с тобой не дали бульдозер. Теперь он нас с тобой пропишет за милую душу.

— Ну что ж,— сказал Вершков.— Может, оно и к лучшему.

Похоже было, что парторг не расположен к шуткам. Говорил он глухим, тихим голосом.

— Ты что такой злой сегодня? — спросил Моисеенко.

Вершков закурил, затянулся и только после этого ответил:

— Мотя Лапшина не работает. Не с кем ребенка оставить.

— Я ж говорил, пусть в ясли в Комсомольск везет.

— Не хочет. Лучше, говорит, на хлебе и воде сидеть буду, а дочку не отдам. Да разве она одна такая? А сколько еще будет!

Моисеенко встал из-за стола. Он и верно был величиной с памятник.

— Они что, Амурск строить приехали или рожать?

— И Амурск строить и рожать. У тебя сколько детей? Четверо?

— Ну, четверо.

— Чего ж зря говорить. Сегодня на Школьной сдают дома. Люди освобождаются...

Моисеенко перебил его:

— Я их на Молодежную перебрасываю. Хватит в палатках зимовать. Померзли. Наглопались дыму.

Вершков хотел возразить, но Моисеенко не дал.

— Знаю, что ты сейчас скажешь: Комсомольск строили — не в хомомах жили. Так это ж двадцать семь лет тому назад. Мы с тобой Комсомольск строили киркой и лопатой, а сюда экскаватор пришел раньше человека. Почему Молаеву давать квартиру не хочешь?

— Не я, а постройком решил не давать,— ответил Вершков.— Человек плохо работает. За что ему давать квартиру?

Уже потом я заметил, что, когда Моисеенко волновался, он вставал из-за стола. Сейчас он с шумом отодвинул кресло. Казалось, всей своей массивной фигурой он хотел навалиться на парторга.

— Ты что ж равняешь Молаева с рядовым комсомольцем? Молаев — это ж должность. К тому ж освобожденная, черт возьми. Комсорг ударной стройки.

Вершков все тем же глухим, тихим голосом ответил:

— Плохо работает Молаев, а мы квартиры даем лучшим. Был он плотником — лучше парня не сыскать. Тогда бы и получил. Стал комсоргом — будто подменили человека. Надулся. Люди его не видят. Из комитет не выходит. По вечерам, вместо того чтобы в общежитиях бывать, с женой под ручку прохаживается. За что ему квартиру давать? Живет не под открытым небом и даже не в палатке, а в нормальной комнате. За водой далеко ходить? Ну что ж, походит.

Моисеенко опустил в кресло. Возразить хотелось, да нечего.

— Вот ты о младенцах печешься.— обиженным голосом заговорил он,— да и беременных считаешь, а что скажешь, когда Амур тронется и в щепки разнесет насосную и кряжи на причале? Мы даже достроить его не успеем. Рухнут ко всем чертям все наши планы! Куда будем грузы принимать?

— Тут гадать нечего,— ответил Вершков.— В Хабаровске лед прошел. Не сегодня-завтра у нас пойдет.

— Ты что, сводку слышал?

— Звонил. Сводку теперь не услышишь. Радио из строя вышло.

— Как — вышло?

— Ну, как выходит. Молчит — и все. Радист вызвал механика из Комсомольска.

— А сам что, маленький?

— Не маленький, а боится вскрыть передатчик.

В третий раз Моисеенко поднялся из-за стола. Но на этот раз скорее от радости, чем от волнения. Ему, кажется, выпал случай при мне, при чужом человеке, отомстить парторгу за свое явное поражение с яслями и отдельной квартирой для Молаева.

— Дайте почту,— потребовал он в телефонную трубку, с нескрываемой ехидцей поглядывая на Вершкова.— А людей без последних известий он не боится оставлять... Почта? Радиста мне! — И снова к парторгу:— Плохо воспитываешь людей... Радист? Это Моисеенко. Почему радио молчит? Народ хочет слушать передачи по заявкам. Что? Боишься аппарат открыть. А с девками гулять не боишься? Нет. Даю два часа сроку, чтобы радио заговорило. Все.— Он бросил на рычаг трубку и сел в свое кресло. Ему явно хотелось улыбнуться, но это было бы сейчас неуместно, и он морщил лоб, сдвигал брови.— А газеты где?— Моисеенко продолжал наступление.— Почему твои вертолеты сбрасывают почту, когда им залагорассудится?

— Вертолеты не мои. Погода нелетная,— ответил Вершков и встал.— Пойду к взрывникам.

Когда за ним закрылась дверь, Моисеенко сказал:

— Въедливый мужик, но ничего, мы с ним сработались.

Хотелось до темноты попасть в общежитие к девушкам, на Пионерскую, четыре. А то стемнеет, тогда ищи эту Пионерскую.

Второй раз за сегодняшний день пришлось мне мыть сапоги. Я заметил, что у местных жителей, встречающихся на улице, сапоги куда чище

моих. Меня даже злило: что они, по воздуху, что ли, летают? Нет, просто и здесь нужна сноровка.

Я шел, стараясь держаться поближе к домам. Сапоги скользили, разъезжались, я нет-нет да и хватался за стенку. Пионерская была еще ближе, чем Школьная. Может, поэтому она показалась мне красивее Школьной.

У входа в общежитие старушка вахтерша сурово и подозрительно оглядела меня с ног до головы и не сразу, а о чем-то поразмыслив, сказала, как пройти в комнату восемь. Я подумал, что, может, и она на старости лет тоже примкнула к «бойкоту».

Белизна стен, окон, кроватей, подушек, скатерти на столе прямо-таки ударила в глаза. Мне неловко стало за свои замызганные сапожищи, и я не решался переступить порог.

— Входите, — приказала мне бригадирша Римма.

— Наслежу.

— Вытрем.

По грубоватому и неприветливому тону, которым меня встретили, я понял, что опять здесь что-то стряслось и мне придется начинать знакомство сначала. Кроме Риммы, в комнате были двойняшки Вера и Люба. Отсутствовала рыженькая Люда.

— Ну как, сдали дом? — спросил я, усаживаясь на стул.

— Сдали, — ответила Римма. Она сидела против меня, положив руки на стол.

— А где же Люда? — спросил я.

Римма мрачно усмехнулась:

— Ваша Люда совесть потеряла.

— Это почему же?

Девушки рассказали мне, что их комната и соседняя договорились с парнями не разговаривать, в кино с ними не ходить и тем самым отомстить за Мотю Лапшину. Бойкот так бойкот! А Люда нарушила слово и «улизнула» в кино с Ванькой Копыловым.

— Пусть придет только! — грозились Римма.

Я стал защищать Люду. Я сказал, что объявлять бойкот всем парням из-за одного подлеца просто глупо.

— А как же их еще перевоспитать можно?

Я ответил, что нечего всех перевоспитывать, ведь не все такие, как Пулеев. На что Римма сказала:

— Вы Людку не защищайте. Сейчас придет, посмотрите, какой овечкой прикинется.

Люда и в самом деле вскоре пришла. Она улыбнулась мне с порога и там же, у самой двери, стянула с ног сапоги. Одна из двойняшек не выдержала и тихо спросила:

— Кино интересное было?

— Ой, девочки, замечательное!

Вера хотела еще что-то спросить, но, поймав на себе грозный взгляд Риммы, прихлопнула ладонью рот. Вопрос задала сама бригадирша:

— Какими конфетами Ванька Копылов угощал?

Люда всплеснула руками.

— Что вы, девочки! Я с ним даже ни одного словечка не промолвила. Неужели не верите?

Пришла еще одна гостья, собственно, даже две: одну звали Мотей, вторую, что была у нее на руках, завернутую в конверт, — Танечкой. Танечку положили на кровать, с Моти сняли пальто и усадили ее к столу. Больше всех хлопотали двойняшки: одна побежала ставить чайник, другая загремела посудой.

— Радуйся,— сказала Моте бригадирша.— Нас с завтрашнего дня на ясли переводят.

— Ой ли?— не поверила Мотя.— Вы ж малярши.

— Будто сама не знаешь. Сегодня малярши, завтра кирпичи класть будем. Малярных-то работ нет сейчас. Через два месяца откроем ясли.

— Не верится что-то,— проговорила Мотя.

Я тоже подтвердил про ясли, сказав, что только сегодня слышал, как начальник давал указания послать туда людей.

Люда, должно быть обрадованная, что про нее забыли, а может, и простили ее, весело и мечтательно заговорила:

— Сегодня квартиры строим, завтра ясли, потом набережную... Люблю строить города.

— А по-моему,— сказала бригадирша,— больше всего ты любишь с парнями в кино целоваться.

Щеки Люды стали пунцовыми. Бригадирша продолжала:

— Заметила хоть, про что кино было?

— Пожалуйста!— ответила Люда.— Одна тетечка любила одного дядечку...

— Дальше,— наступала бригадирша.

— Пожалуйста!.. Потом дядечка зазнался...

Больше Люда ничего не могла рассказать.

— Ну вот,— победно заключила бригадирша.— А говоришь -- не целовалась.

И тут тоном старшей сказала Мотя:

— Ладно тебе, Римка.

Но бригадирша не унималась. Она сказала, что дальше так жить нельзя; в кино билет можно получить только с боя, парни пользуются этим, разберут все билеты, а потом приглашают. Попробуй откажись, когда охота фильм посмотреть.

Из репродуктора, что висел на стене, вдруг полилась музыка.

— Девочки! Заговорило!— закричала Люда.

Даже бригадирша обрадовалась.

— Наконец-то,— сказала она и заулыбалась.

Я поднялся.

— Приходите еще,— сказала Люда.

— Приду.

Против женского общежития живут парни. Несколько человек у дверей о чем-то громко спорили. Мне замахали рукой, приглашая подойти. Это был мастер, с которым я познакомился утром на Школьной.

— Вот полюбитесь,— сказал он.— Девчат не пускают к нам в общежитие. Они проведать больного пришли, яблок принесли, а их не пускают.

Две девушки, у каждой в руках по пакетику, стояли, смущенно потупив глаза. В дверях — вахтер.

— Почему не пускаете?— спросил я его.

— Не велено.

— Кто не велел?

— Известно, начальство.

Девушки в один голос сообщили:

— Молаев, вот кто не велел. Комсорг наш. Знаете?

Я ответил, что слышать слышал, но еще не знаком.

— К нему Оля сейчас побежала. Она так это дело не оставит. Он в парткоме. Можете его там застать.

— Пропустите девушек,— сказал я вахтеру.— Сейчас уладим все.

— Не велено.

Мастер возмутился:

— Товарищ из Москвы просит тебя. Десять тысяч километров проехал.

— Да хоть бы с другой планеты,— ответил вахтер.

Партком в том же доме, что и контора управления. Днем здесь всегда толпится народ, а сейчас пусто. Только из одной комнаты доносились голоса. На двери дощечка: «Партком».

— Можно?

— Пожалуйста.

Я вошел и увидел парторга Вершкова, Олю и светловолосого парня с круглым лицом и при галстуке.

— Не помешал?

— Да нет,— ответил Вершков.— У нас разговор открытый. Знакомьтесь: комсорг Молаев, член комитета Оля Аросьева.

— Мы знакомы,— сказала Оля.

Молаев сидел за небольшим столом и, не мигая, смотрел на чернильницу.

— Тебе хорошо,— продолжала Оля прерванный из-за меня разговор,— ты женатый, а другим так и встречаться нельзя!

— Мотыка Лапшина тоже встречалась,— не отрывая глаз от чернильницы, проговорил Молаев.— Известно, чем кончаются такие встречи.

Оля от возмущения стукнула кулаком по столу.

— Клевета!

— Тихо,— остановил ее Вершков.— Слушай, друг, не ты первый женился, не ты последний. Скажи по-честному, кто тебя надоумил не пускать девушек в общежитие к парням?

— Сам решил.

Парторг спросил его, когда в последний раз он был на строительных площадках и в общежитиях у ребят. Молаев молчал. За него ответила Оля:

— Катя его не пускает, женушка. При себе держит. Зачем, говорит, тебе ходить, грязь месить? Отдай распоряжение, на то ты и начальство.

— Ступай,— сказал ему Вершков,— отменяй свое распоряжение.

Молаев ушел.

— У меня к вам еще дело,— сказала Оля.— Второй праздник бригада Воркунова остается без премий. Разве они виноваты, что их перебрашивают от одного прораба к другому? Замолвите словечко в постройкоме. Ладно?

— Ладно. Все?

— Не очень все, но на сегодня хватит.

Все трое мы вышли на улицу.

Я и не заметил, когда стемнело, но вечер был не такой черный, как вчера. Дождь перестал. На небе полно звезд.

На перилах крыльца сидел человек. Оля окликнула его:

— Вась?

— Я.

— Чего домой не идешь?

— Гуляю.

Это был тот самый Василий, что ехал на крыше бульдозера. В самом деле он неотступно ходил за Олей.

— Ох и доходишься,— сказала Оля,— придется на комитете проработать. Другого выхода нет.

Она простилась и ушла. Ушел и Василий.

— Вы не подумайте, что комсорг — плохой парень,— сказал Вершков.— Ведь не случайно его выбрали. Никогда в жизни не видел, чтобы человек ни с того ни с сего так менялся. Душа общества был, русскую

отплясывал лучше всех. Я думаю, его сейчас проняло. А честно говоря, Оля Аросьева — вот кто комсорг.

Подошли девушка и парень с красными повязками на руках.

— Как дела? Тихо?

— На нашем участке тихо. Один случай в палаточном, — сказал парень, а девушка добавила:

— Получка сегодня.

В штабе дружины на табуретке сидел человек под сильным хмелем, с тупой безнадежностью на лице. Рядом стояли капитан милиции и два дюжих дружинника.

— Прощайте, товарищ Вершков, — сказал человек на табуретке.

— Здравствуй, — ответил Вершков. — Мы ж сегодня с тобой не делись.

— Нет, прощайте. Вот други постарались, сами сюда привели. — Он указал на дружинников.

Капитан рассказал, что человек этот, по фамилии Кoryтов, решил проучить жену за то, что она отказалась выдать ему денег на четвертинку. Угрожал даже ножом охотничьим. Хорошо, дружинники подоспели.

То, что друзья, или, как называл их Кoryтов, «други», сами привели его в штаб, никак не укладывалось у него в голове.

— Лучше бы в морду дали, — жаловался он.

Один из дружинников угрюмо ответил:

— Давали мы тебе в морду. Не помнишь ни черта. Разве нам удовольствие тащить тебя сюда? Зачем нож вытащил?

Кoryтов всхлипывал:

— Сажайте, судите...

Капитан усмехнулся и сказал:

— Сейчас тебя отведут проспаться. Потом домой пойдешь. Завтра побеседуем.

Пришел милиционер. Кoryтов не переставал жаловаться и плакать:

— Вы ей, моей жене, скажите, не прощу я ей этого. Я очень разочарован в ней. Мужу четвертинку пожалела.

Его увели. Ушли и дружинники.

— Что ему будет? — спросил я.

— Как дело повести, — ответил капитан. — Можно дать до пяти лет. Только кому от этого польза? Кoryтов не преступник. Безобразие случилось в первый раз. В семье двое детей. Дадим пятнадцать суток — на всю жизнь запомнит.

В этот тихий звездный вечер в поселке играла гармонь. Кое-где в домах уже потух свет. Мы с Вершковым собирались пожелать друг другу спокойной ночи, но вот мимо нас пробежали несколько человек. Кто-то крикнул на ходу:

— Амур пошел!

И в ту же минуту раздались подряд три взрыва, таких свирепых, что зазвенели в домах стекла. Оборвалась гармонь, народ высыпал на улицу и бежал к берегу. Побежали и мы. Мощный сноп света повис над белой гладью Амура. Это включили прожектор. Мы бежали на свет, не разбирая дороги, главное — не упасть, а чистым все равно не придешь.

Снова и снова раздавались взрывы. Скоро мы присоединились к тем, кто прибежал раньше нас. Ближе к берегу не пускали. Около дежурной будки маячила высокая фигура Моисеенко. Вершков быстро зашагал к нему, а я за ним. Его пропустили как начальство, ну а я «просочился», ни на шаг не отставая от него.

— Проспали, черти! — крикнул на кого-то Моисеенко, а когда увидел

нас с парторгом, тихо заметил: — Никто не проспал. Секундное дело. Попробуй задержи. Прямо Северный полюс, только белых медведей нет.

Взрыв заставил нас укрыться в будке. Ее трясло и пошатывало. На топчане лежали сотни мешочков с аммоналом. Рядом — столик и телефон. На потолке тускло горела лампочка. Снова взрыв — и лампочка заметалась, заморгала.

— Этот парень меня изведет сегодня, — сказал Моисеенко.

— Какой парень? — спросил Вершков.

— Взрывник. Где он там прячется? Три дня как приехал — и сразу в бой. Единственная надежда наша.

В дверях раздался голос:

— Вот это встреча!

Я не сразу понял, что это относится ко мне, но мне протягивали руку, на меня смотрели сквозь очки знакомые смеющиеся глаза Григория, или просто Гриши, — пассажира, с которым мы вместе ехали из Москвы до Хабаровска.

— Как вы сюда попали? — спросил я.

Гриша ответил, что один только день пробыл в Хабаровске и тут же был командирован в Амурск. Больше он ничего не успел рассказать — подхватил три мешочка с аммоналом и побежал к причалу. Уже на ходу он крикнул:

— Я от Люси телеграмму получил!

Моисеенко спросил, давно ли я знаю взрывника. Я ответил, что познакомился с ним в поезде.

— А кто такая Люся? — допытывался он.

Я удовлетворил его любопытство и объяснил, что Люся тоже ехала с нами в поезде.

За неделю, проведенную в поезде «Москва — Хабаровск», с Гришей произошло удивительное превращение. Двое суток мы ехали в купе одни, и он являл собой воплощение непорочности — не курил, не пил водки. На пять лет, которые он собирался провести на Дальнем Востоке, у него был заготовлен и расписан план его жизни: вставать в шесть, ложиться в двенадцать; изучить испанский, подготовиться в Горный институт. И, конечно, не жениться, пока намеченное не будет выполнено.

Два дня по утрам он делал физзарядку, зубрил испанский и позволял себе «развлечься» только партией в шахматы.

В Свердловске в нашем купе появились две девушки — Люся и Валя. От Гришиного прилежания ничего не осталось.

— Поглядите хорошенько на Люсю, — как-то шепнул он мне. — Ох, как она мне нравится!

С этого часа русско-испанский словарь пылился в сетке, пока его не засунули обратно в чемодан. В другой раз он, трезвенник, предложил мне:

— Хорошо бы выпить.

Короче, Гриша влюбился.

Люсе и Вале предстояло ехать дальше, чем нам, — в Южно-Сахалинск. Обе девушки окончили десять классов и школу связисток-слаботочниц. Как выяснилось, их собирали в дорогу целую неделю. Провожающих на перроне собралась толпа. Это мы сами видели. Скоро стало ясно, что собирали их в дорогу в большом волнении и поэтому не лучшим образом: девушкам не из чего было пить, нечем резать хлеб, нечем было писать письма с дороги. Наше совместное путешествие привело к тому, что Гриша остался без вечной ручки, а я без чашки.

У Люси был отличный слух, и голос был хороший, но она не могла спеть до конца ни одной песни: не запоминала слов. У Вали же не было ни слуха, ни голоса, но слова всех песен она знала назубок. Она выпол-

няла роль суфлера. Валя уступала подруге и во внешности. Люся — тоненькая, хорошенькая, с модной челочкой и лукавыми ямочками на щеках. Валя — полноватая для своих лет, молчаливая, с маленькими глазками.

Слушая их песни о жизни в палатках, о кострах, я подумал, что не жажда приключений влечет Люсю, Валю и Гришу в далекие края, а стремление участвовать в жизни страны, на карте которой все чаще и чаще можно отметить флажком рождение нового советского города.

В Хабаровске мы посадили девушек в автобус аэропорта, а потом и сами распрощались.

Кто бы мог подумать, что пройдет несколько дней — и на моего случайного знакомого по вагону будет смотреть с надеждой население целого поселка! От него зависело, устоит ли причал, уцелеет ли насосная станция, снабжавшая поселок водой.

Взрывы несколько удалились, они бухали теперь у насосной станции. Гриша работал не один. Ему помогали несколько человек. То и дело кто-то прибежал за новой порцией аммонала.

В будку ворвались знакомые мне Леша и Паша. Перебивая друг друга, они стали упрашивать Моисеенко разрешить им помочь взрывникам. Они говорили, что, пока взрывники спасают насосную станцию, они не дадут льду навалиться на кряжи причала.

Волнуясь, Леша плохо справлялся с русским языком:

— Зачем моя кряжи ставил? Пропадет, погибнет все.

Моисеенко был непреклонен, хотя и отвечал шутя:

— Это, брат, уметь надо. Наука. Видишь, Григорий наш колдует. Он этому колдовству несколько лет учился. Куда надо всадить аммонал? В щель. И я это не смогу, и ты не сможешь.

Мы стояли уже не в будке, а на воздухе. В свете прожектора невысокая фигурка Гриши то замирала над Амуром, то исчезала в темноте, чтобы вскоре снова появиться.

К причалу, завывая, шел самосвал.

— Стой, куда прешь! — закричал Моисеенко и поднял обе руки.

Самосвал притормозил и остановился. Из кабины выскочил водитель и направился было к нам, но его остановил взрыв. Голова водителя ушла в плечи, да и весь он кому-то отвесил поклон, как, бывало, отвешивали мы поклоны на войне. Потом, осмелев, он подошел.

— Разрешите камушек ссыпать. Я в одну минуту управлюсь.

Моисеенко ответил, что он здесь не начальник.

— Вон там начальник, — указал он на Гришу. — Его спрашивай.

Водитель побежал к причалу, и, видно, переговоры решились в его пользу: Он бросился к самосвалу, вскочил в кабину и повел машину к причалу. Амур пусть беснуется, а причал достраивать надо.

Вслед за первой машиной пришла вторая, третья, четвертая. И Гриша и водители работали согласованно. Не успевало отгрохотать эхо от взрыва, как к причалу шел самосвал.

Взрывы утихли, и мы направились к насосной будке. Утром здесь мирно плескалась вода. Теперь она была зажата огромными торосами. Мимо медленно проплывали льдины, едва задевая эту ледяную гору и отталкиваясь от нее.

— Ну как, взрывник? — спросил Моисеенко.

— За насосную можно не волноваться, — ответил Гриша. — Она теперь в надежном укрытии. Но, конечно, посматривать за ней надо. — И, как бы в подтверждение своих слов, он носовым платком протер стекла своих очков.

— Еще раз здравствуйте! — слышалось у меня за спиной

Это был комсорг Молаев. Он хотел что-то сказать мне, но тут подбежала девушка и, захлебываясь от негодования, заговорила с ним:

— Ты почему, как сумасшедший, убежал без меня?

— Ты спала.

— И не думала. По-твоему, я ничего не вижу?

— Что ты видишь? — ласково спросил он и зашептал мне на ухо: — Ревнует она меня.

Он сказал это без огорчения, скорее с гордостью.

— К кому ревнует-то?

— Так, вообще...

Я не знаю, вышел ли к Амуру в эту ночь весь поселок, но на горе, на обрыве, под которым, зажата с трех сторон, стояла насосная, народу было видимо-невидимо.

Пройдет день-другой — и поселок заживет своей обычной жизнью. Он уже не будет оторван от Большой земли, от своего старшего брата Комсомольска. Зимой по льду два раза в день ходил автобус, теперь будут курсировать катера, днем и ночью баржи будут доставлять в Амурск строительный материал.

Чтобы убедиться, что пора эта наступила, и пришло сюда население Амурска.

Была здесь и Мотя Лапшина со спящей Танечкой на руках.

— Пошел все-таки Амур,— сказала Мотя и заплакала.

— Что же вы плачете?— спросил я.

— С дочкой расставаться придется. Я слово дала Вершкову — как лед пройдет, отвезти ее в Комсомольск.

Как мог, я успокаивал Мотю, уверял ее, что время пролетит быстро, что она и оглянуться не успеет, как откроются ясли в Амурске, а пока можно навещать Танечку по выходным. Короче, все будет хорошо.

И Мотя, кажется, поверила, что все у нее будет хорошо. Забегая вперед, скажу, что потом видел ее на торжественном вечере Первого мая. Она сидела в первом ряду и держала на руках свою Танечку. Мотя дважды чмокнула Танечку в щеку, когда парторг Вершков с трибуны обратился к ней:

— Будь спокойна, Мотя. Ясли откроем еще до осени.

Перед собранием Ершков говорил мне:

— Как быть? Вот с вертолетом прислали мне доклад, отпечатанный на стеклографе. Я понимаю товарищей из горкома, они знают, что времени у меня не слишком много самому писать. Но я не любитель делать доклад ради доклада. Не каждый ведь день перед людьми выступаешь.

И Вершков, поздравив собравшихся с Международным праздником солидарности всех трудящихся, повел разговор о делах и жизни Амурска. Никогда раньше я не присутствовал на торжественном вечере, на котором не стеснялись бы говорить о трудностях, критиковать неполадки и даже шутить. Когда комсорга Молаева предложили выбрать в президиум, кто-то громко, под общий смех, сказал, что надо и жену его выбрать, а то как бы она не соскучилась.

«Теперь-то уж,— подумал я,— Молаева наверняка проняло».

В перерыве, перед художественной частью, ко мне подошли поздороваться Люда и двойняшки.

— Где Римма?— спросил я.

— Сегодня ведь Валька Финицкий петь будет,— ответила Люда,— а у них с Риммой такие отношения, что она волнуется, когда он поет. Поэтому не приходит.

Я спросил:

— А бойкот как же?

— Отменили,— не без радости сообщила Люда.

Часов в двенадцать ночи народ стал уходить с берега. Отгрохотали и взрывы. Лед то останавливался, то шел, но пока что больше не угрожал ни станции, ни причалу.

Меня остановил Моисеенко и сказал:

— Напишите, что нам до зарезу нужен большой клуб. Мы не дворец хотим, а самый простой клуб. Сначала нам дали денег, а потом отобрали, когда постановление вышло о дворцах.

Я заверил его, что напишу обязательно.

К нам подошла Оля.

— Товарищ Моисеенко, у меня к вам просьба.

— Что такое?

— Вы ведь бригаду Воркунова знаете?

— Знаю.

— Несправедливо получается. Второй раз премии им не дают. Дело ведь не только в деньгах. Обидно ребятам.

— Ты кассир, ты и давай деньги.

— Я не шучу. Замолвите словечко на постройкоме.

— Замолвлю,— пообещал Моисеенко.

Оля хитро подмигнула мне: обработала, мол, сначала одного, а теперь другого. Пожалуй, прав Вершков — вот кто прирожденный комсорг.

Я пошел к Грише в будку, он хотел мне что-то показать. Увидав меня, Гриша сразу же завел разговор о Люсе. Он получил от нее телеграмму. В телеграмме было всего три слова: «Доехала благополучно. Люся».

— Ну, что скажете?

Гриша смотрел на меня восторженными глазами.

— Хорошая телеграмма.

— С этой весны пятьдесят девятого года я навсегда амурский,— сказал Гриша.— На карьере работы невпроворот. Скорей бы прошел лед, почту будут привозить нормально. Я газет три дня не читал.

— А как с испанским? Учите?

— Зубрю понемногу.

Он улегся на топчан караулить Амур, а я пошел домой.

Меня не пугали больше ни лужи, ни грязь, ни темнота, я легко мог найти свой дом, или Пионерскую, или Школьную, или Базарную, где находился штаб дружины, будто не первый день жил в Амурске. А когда перед моим отъездом парторг Вершков подарил мне фотографию будущего Амурска, мне казалось, что я уже видел эти широкие улицы, что веером расходятся от парка, видел красавицу Молодежную, напоминающую Паше улицу Горького в Москве.

Из темноты меня кто-то окликнул:

— Товарищ, как пройти в общежитие для приезжих?

— До общежития рукой подать. А ты надолго сюда?

— На всю жизнь.

Я смотрел на парнишку, с ног до головы перепачканного глиной, отмахавшего двадцать километров по непроходимой таежной дороге с чемоданом на плече, и молчал. Если спросить его: «Ты кто по профессии?» — будь он плотник или каменщик, шофер или монтажник, он ответит: «Я строитель». И это так: он строитель. И строитель не только новых советских городов, но и строитель новой жизни на земле.

А когда спросишь такого вот паренька, что привело его в Амурск, он скажет, как сказали бы тысячи его сверстников, как сказала сегодня Люда: «Люблю строить города».



ПУБЛИЦИСТИКА

ДМИТРИЙ РУДЬ

★

КЛЮЧ К ИЗОБИЛИЮ

Мысли о комплексной механизации сельского хозяйства как об одной из жгучих проблем наших дней и желание поделиться ими с читателем пришли мне в голову не за письменным столом.

Минувшей осенью я разъезжал по хуторам и станицам Кубани. Повсюду разговор только и шел, что о предстоящем Пленуме Центрального Комитета партии, о тех важнейших вопросах, которые будут на нем обсуждены. Круг этих вопросов очень широк, но каждый из них логикой самой жизни связан с другим, образуя неразрывную цепь мер, направленных к единой цели.

В этом я убедился в буквальном смысле воочию, побывав в совхозе «Сад-гигант» — крупнейшем в стране плодовом хозяйстве. У него две тысячи восемьсот гектаров одних яблонь!

Урожай нынче выдался отменный, но, тем не менее, я бродил по бесчисленным кварталам этого уникального сада одолеваемый чувством глубокой досады — деревья ломились под тяжестью неснятых плодов, земля казалась зеленой от обилия падалицы.

— Машин таких еще не придумали, — неизменно слышал я в ответ на свои недоуменные расспросы, — а у людей рук не хватает, чтобы собрать и сберечь это богатство.

Как же, думалось мне, пойдет дело дальше, когда начнут плодоносить многие десятки тысяч, миллионы гектаров новых садов и виноградников, уже заложенных и закладываемых тут же, на Кубани, и во всей стране? А что будет к концу семилетки, когда настолько поднимутся урожай и умножатся стада, что продукция нашего сельского хозяйства чуть ли не удвоится?

И так ясно, до осязаемого понятны становились дальновидность, последовательность и настойчивость, с какими партия начиная с исторического сентябрьского Пленума Центрального Комитета 1953 года ратует за комплексную механизацию сельскохозяйственного производства. В самом деле, это ведь в подлинном смысле слова ключ к обилию продуктов в нашей стране!

Вот об этом и хочется сейчас поговорить.

I

Стало уже как бы литературным штампом всякий разговор о великом прогрессе нашего крестьянства начинать с обращения к трагической доле Авдея и Авдотьи из известного очерка Глеба Успенского «Четверть» лошади». Но, да простит меня читатель, я поступлю точно так же. И не потому, что не хочу либо не считаю нужным искать более оригинальное начало. Для разговора на избранную мной тему, как мне кажется, лучшего начала и не сыскать.

Послушайте и рассудите сами.

«— Одна вишь четверть лошади приходится, изволите видеть, на каждую какую-то там квадратную, что ли, душу. Ну что ж это означает, позвольте вас спросить?

— Как квадратную душу? Что вы, Иван Иванович!

Иван Иванович посмотрел в книгу и сказал:

— Ну, пес с ней. Ну, ревизскую, что ли! Но что ж означает четверть лошади? Какая такая лошадиная четвертая часть? Которая же первая-то часть у ей? Это даже прямо сказать — насмешка одна!»

И дальше:

«Но вот совершенно неожиданно.. я собственными глазами увидел четверть лошади!.. Шел я, скучал, ни о чем не думал и вдруг случайно услышал:

— То-то-- кабы лошадь была!

Слова эти жалобно проговорил женский голос, и я положительно не знаю, почему при слове «лошадь» вспомнил фразу Ивана Ивановича:

— Четверть лошади! Ну, скажите, пожалуйста, не насмешка ли?

«А может быть,— мелькнуло мне,— именно на эту-то бабу и приходится в среднем выводе только четверть? Как же она живет с одной четвертью?..»

— Как же без лошади? — сказал мужской голос.— Без лошади пропадешь!

«Как же в самом деле без лошади? — подумалось мне.— Как же с одной четвертью-то?..»

И, знакомя читателя с былой каторгой крестьянского труда, автор заключает:

«Что делать! — у бедных людей была только четвертая часть лошади, и поэтому недостающие части лошадиной силы они должны были взять на себя».

Очерк Успенского датирован 1888 годом. И, по всей вероятности, для многих явится откровением. что и спустя сорок лет, в 1928 году, уже накануне сплошной коллективизации. в стране на душу сельского населения приходилась в среднем все та же... четверть лошади.

Чем же это объяснялось?

Четверть века все оставалось без изменения. Затем грянула война. Она нанесла конскому поголовью страны тяжчайший урон. Немало пострадало оно и в пору гражданской войны, наконец катастрофически сократилось после памятного недорода и голода 1921 года. Но далее, с восстановлением подорванного войнами и вражеской интервенцией народного хозяйства, тягловые ресурсы сельского хозяйства стали быстро расти, и уже в 1928 году количество рабочего скота достигало у нас двадцати семи — двадцати восьми миллионов голов. Сельского населения было тогда в СССР около ста двадцати миллионов. Вот она и четверть лошади на душу!

Это — в среднем. А глянуть глубже?

Тридцать процентов всех крестьянских хозяйств — семь с половиной миллионов дворов — вовсе не имели рабочего скота. Еще мозолили руки пахарей пять миллионов сох. А тракторов имелось всего лишь около тридцати тысяч, к тому же на девять десятых — иностранных марок.

Так было еще на одиннадцатом году Советской власти. И не диковиной представлялось тогда то, над чем горько сокрушался в свое время Глеб Успенский:

«Прямо, как струна, идет крестьянин за сохой; он, по-видимому, только идет, и ничего нет удручающего вас, наблюдателя, в этой походке; но подойдите к нему поближе, посмотрите на эту спину, как бы не умеющую согнуться,— она вся дрожит: нет в ней места даже величиной в булавочную головку, которое бы не трепетало самым напряженнейшим усилием. Нужно затаить дух, собрать в себе все силы, обуздать каждый мускул, страдающий от тяжести, которую ему приходится преодолеть, заставить его исполнить трудное дело, не дать ему ни малейшей воли, и вот отчего твердой походкой идущий по пашне человек, кажущийся таким непоколебимо спокойным, на самом деле каждый шаг свой одолевает страшным напряжением нервов, таким напряжением, что вздохнуть можно, только дойдя до конца полюсы...»

Нет, нельзя было дольше терпеть ни безоружности миллионов масс крестьянства, ни тяжелейших условий их труда! И так же твердо и решительно, как на второй день своего прихода к власти партия покончила с былым земельным неравенством, она принялась за дело технического переоснащения сельского хозяйства.

В деревне начинал свою победную поступь второй Октябрь.

За пять лет до того, заглядывая, как всегда, далеко вперед, Ленин писал:

«Если мы сохраним за рабочим классом руководство над крестьянством, то мы получим возможность ценой величайшей и величайшей экономии хозяйства в нашем государстве добиться того, чтобы всякое малейшее сбережение сохранить для развития нашей крупной машинной индустрии, для развития электрификации... В этом и только в этом будет наша надежда. Только тогда мы в состоянии будем пересечь, выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, именно, с лошади крестьянской, мужицкой, обнищавшей, с лошади экономной, рассчитанных на разоренную крестьянскую страну,— на лошадь, которую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на лошадь крупной машинной индустрии...»

Этот мудрый завет партия, как известно, с полным успехом претворила в жизнь, коренным образом преобразив энергетику сельского хозяйства. Давным-давно стала музейным экспонатом соха. Исчезло из нашей обиходной речи слово «бестягловый». Страна создала свою собственную могучую автотракторную промышленность, еще в конце первой пятилетки прекратила импорт тракторов, и вот вместо прежней четверти лошади у нас на душу сельского населения приходится теперь одна с третью, притом не жалкой мужицкой клячи, а механической лошадиной силы, куда более производительной. За тридцать лет доля механических двигателей в энергетических мощностях сельского хозяйства поднялась с пяти до девяноста пяти процентов. Сбылась великая ленинская надежда: с лошади крестьянской, мужицкой, обнищавшей страна наша в самом деле пересела на лошадь крупной машинной индустрии.

2

Советская власть не только посадила мужика на трактор, но и помогла ему мастерские овладеть им, в совершенстве освоить машинную технику.

Помню, как весной 1931 года, в разгар посевной, я приехал в Донбасс, в зерносовхоз «Шахтер». Хозяйство еще только рождалось, а в адрес его уже пришло около сотни импортных тракторов. Вместе с ними прибыл американец, инженер Бериккер, консультант фирмы «Мак-Кормик Диринг».

Ни гаражей, ни жилых помещений для рабочих на территории совхоза еще не было. Люди ютились в палатках, случалось, ночевали даже под открытым небом. Машины повели со станции железной дороги прямо на поля, приступили к вспашке. «Шахтер» сеял уже в ту весну двадцать две тысячи гектаров.

На второй или третий день моего пребывания в совхозе газета принесла весточку взбудоражившую весь коллектив. Под крупно набранным заголовком «Учебно-опытный ставит мировые рекорды» в телеграмме из Верблюда сообщалось, что 11 апреля тракторист Кузьменко на тракторе «Катерпиллер» с шестью двадцатичетырехрядными сеялками засеял за смену семьдесят восемь гектаров. В «Шахтере» такими же агрегатами засеивали не более шестидесяти пяти.

Кузьменко бросил вызов: можно добиться большего! И люди «Шахтера», не колеблясь, приняли этот вызов. Убыстрился темп посевных работ. И не далее как на третий день ударник «Шахтера» тракторист-комсомолец Алеша Мельников, засеяв за смену восемьдесят гектаров, оставил рекорд Кузьменко позади.

Главный агроном совхоза поспешил поделиться новостью с мистером Бериккером. Но тот недоверчиво покачал головой, протянул ему прејскурант с указанием предельной производительности выпускаемых в США тракторов, в том числе и марки «Катерпиллер», и предостерегающе что-то сказал. Переводчик повторил по-русски:

— Нет, нет! Это исключается. Тут какая-то ошибка. Нельзя сделать больше того, что рекламирует завод.

Агроном пригласил Бериккера на участок Мельникова. Целую смену провел американец в поле, а потом неотступно следил за каждым движением учетчика, обмеряя всего посев. И вот последний раз мелькнула в руках парня мерловка.

— Восемьдесят с третью гектара! — объявил он.

Все молча окружили чумазого, неловко переминавшегося с ноги на ногу тракториста. Молчание нарушил американец. Произведя какие-то записи в своей книжке, он что-то громко, восторженно сказал.

Переводчик, улыбаясь, передал своими словами:

— Мистер Бериккер убедился, что никакой ошибки нет. Он удивлен и восхищен. Он говорит, что это чертовски хорошо!..

А в наши дни сменная норма выработки многосеялочного посевного агрегата на тяжелой гусеничной тяге колеблется в совхозах в пределах семидесяти—восемидесяти гектаров. Выходит, что выдающийся мировой рекорд производительности труда на тракторе с годами обратился у нас в обычное, рядовое явление, и то, что в США, классической стране капитализма, в свое время считалось невозможным, немислимым, стало в СССР нормой. Это в стране, которая еще не так давно была страной «четверти лошади», сохи, серпа и лукошка, страной неимоверно отсталой, чуть ли не первобытной техники земледелия!

Нельзя сказать, что в оснащении сельского хозяйства тракторами мы топтались на месте, что «выжимать» из них наивысшую выработку нас заставляет малочисленность тракторного парка. Правда, мы позже американцев ступили на путь тракторизации. По численности тракторов мы уступали и теперь уступаем американцам. Когда Мельников ставил свой рекорд, страна наша насчитывала не более ста тысяч, а США имели уже около миллиона физических тракторов. Ныне их в СССР — миллион, в США — пять миллионов. Но последние двадцать пять — тридцать лет тракторный парк рос у нас вдвое быстрее, чем в США, и вырос за это время в десять раз. При шестипроцентном тракторном парке трактор многим американским фермерам недоступен. Это прямой результат иного, чем у нас, социального строя. Трактор остановлен у границ этих ферм частоклоном капиталистической собственности. У нас же тракторами имеют возможность пользоваться и пользуются все без исключения крестьяне, и ни один гектар земли, если он только поддается механизированной обработке, не возделывается иначе.

Но у нас, помимо того, еще действует, как то было и в случае с Мельниковым, сила примера, которая не могла проявить себя в обществе капиталистическом и, как предвидел Ленин, получила «громадное значение в обществе, отменившем частную собственность на землю и на фабрики...» Неугасимый светильник ленинского соревнования озаряет труд наших колхозников. Руководит ими глубочайшая признательность партии за ту новую, светлую долю, какая уже выпала им, прямым и недалеким потомкам Авдея и Авдотьи из «Четверти» лошади» Глеба Успенского.

Говорят: дети становятся на плечи своим родителям, они видят дальше и кругозор их шире. Да, таков закон жизни, закон прогресса. Но о наших сельских механизаторах можно сказать, что они не на один и не на два человеческих роста, а на целых десять стоят выше предшествующих поколений крестьян. И не потому лишь, что каждый из них производит в десятки раз больше того, что производил его дед или отец. Самый характер работы сельского механизатора так же неизмеримо далек от прежнего крестьянского труда, как самоходный комбайн — от косы, серпа и цепа.

Было бы бессмысленно, нелепо бросать тень на слово «работа». Это одно из старейших и широко употребляемых у нас слов, обозначение основополагающего, важнейшего в нашей жизни и высокоочтимого в нашем обществе понятия. А ведь это слово этимологически сродни слову «раб». Но столь глубоки, знаменательно глубоки у нас перемены в технике, во внутреннем содержании земледельческого труда, что... Впрочем, давайте возьмем в руки номер «Литературной газеты» от 30 июня минувшего года и прочтем, что рассказывается в корреспонденции из Красноярска об испытаниях трактора, управляемого по радио:

«По кочковатой земле с редкими клочьями пожухлой от зноя травы движется трактор. Поблескивают отполированные траки гусениц... Все, как обычно. И только одно обстоятельство, как толчок электрического тока, встряхивает вас — в кабине нет человека. Сквозь распахнутые дверцы просвечивает то же блекло-голубое небо — за стеклом даже нет места для сиденья.

Трактор идет прямо. Останавливается, снова устремляется вперед, поворачивает направо, налево. Навесной плуг на тракторе, словно следуя невидимой команде, то поднимается вверх, то остро врезается в землю.

Вы оглядываетесь вокруг: как же так — такого не бывает...

Оказывается, бывает. Виктор Алексеевич Михайлов стоит около крошечного зеленого ящика — чуть больше портфеля. Металлический хлыст антенны поднимается над травой. В руках у Михайлова предмет не больше школьного пенала. Это пульт управления.

Михайлов, словно укротитель, негромко произносит:

— Поворот налево.— Виктор Алексеевич передвигает рычажок. Трактор поворачивает налево.— Двигаться прямо,— говорит он. И трактор послушно идет прямо...»

Вот он, земледельческий труд нашего завтрашнего дня! И действительное, точное представление о нем дает уже не слово «работать», а «управлять».

3

Общеизвестно, что сельскохозяйственная техника используется у нас куда полнее и производительнее, чем в США. Там приходится в среднем на трактор что-то около сорока гектаров пашни. Даже при стопроцентной механизации полеводства и самом высоком уровне агротехники среднегодовая выработка на трактор вряд ли превысит там полтора-два гектаров условной мягкой пахоты. У нас же на полях колхозов она еще в 1950 году превышала 650 гектаров!

При всем том затраты труда, скажем, на центнер зерна у нас в совхозах в 1,8 раза, а в колхозах в 7,3 раза больше, чем в США. Как же так?

А дело в том, что затраты эти складываются из трудовых усилий не одних только механизаторов. На каждого тракториста в колхозах приходится по полтора-два десятка колхозников и колхозниц, занятых на других, нередко еще мало механизированных, а то и ручных работах. Этим-то и обусловлена непомерно высокая затрата труда на единицу колхозной продукции.

И надо сказать, что зря у нас публикуют обычно лишь данные о механизации основных сельскохозяйственных работ в колхозах и совхозах. Они выглядят, конечно, очень эффектно, но вместе с тем заслоняют собой серьезные пробелы в механизации колхозно-совхозного производства, ложно успокаивают нас, отвлекают от радикального, хозяйского решения проблемы ее комплексности — актуальнейшей проблемы наших дней.

Раскройте любой статистический сборник по сельскому хозяйству — и вы получите самое радужное представление об уровне механизации сельскохозяйственных работ. Что ни показатель, то 90, 98, а то и все 100 процентов. И статистиков не в чем упрекать. Они честно оговаривают, что это данные о механизации «основных» работ. Но слово это как-то не обращает на себя внимания, не улавливается глазом, и складывается впечатление, будто наше сельское хозяйство уже предельно механизировано. Превратное впечатление — нам еще многого недостает для этого!

Что же кроется за кажущимся благополучием?

В Краснодарском крае, едва ли не наиболее насыщенном машинной техникой, есть колхоз «Кубань», Славянского района, по своему техническому оснащению выделяющийся даже среди других кубанских колхозов. Прежде чем поехать в эту артель, я заинтересовался, какова мощность ее тракторного парка и сколько у нее земли. В районной сельскохозяйственной инспекции мне сообщили: 58 тракторов общей мощностью в 1395 механических лошадиных сил, а земли — 12 184 гектара. Частное от деления первого на второе превзошло мои ожидания. На каждую тысячу гектаров сельскохозяйственных угодий колхоз «Кубань» располагал 114 механическими лошадиными силами, тогда как по стране в целом их приходится на ту же площадь примерно 55—60. Вот в таком хозяйстве я и вознамерился разведать подлинное положение с механизацией.

И что же?

Не пришлось ничего разведывать. Агроном Василий Александрович Баранник предложил моему вниманию производственно-финансовый план колхоза на 1959 год, расчеты которого раскрывали довольно любопытную картину. Они явно расходились с данными статистики, свидетельствовавшими, что основные сельскохозяйственные работы в колхозах края, а стало быть, и в артели «Кубань», механизированы полностью.

В Краснодарском крае зерновые культуры — наиболее механизированная отрасль колхозного производства. Однако же из 184 тысяч трудодней, которые колхоз «Кубань» наметил затратить на возделывание хлебов, на долю механизаторов приходилось только 92 тысячи, то есть равным счетом половина. Вот как дело оборачивалось! Даже кукуруза, под которую «Кубань» отводит полторы тысячи гектаров и выращиванием которой в колхозе занято пять созданных по примеру Гиталова и Мануковского механизаторских звеньев, и та еще на треть возделывается вручную.

Еще ниже уровень механизации в таких отраслях хозяйства, как овощеводство, садоводство и виноградарство; тут на долю механизаторов приходится соответственно 31, 28 и 21 процент всех расходуемых трудодней. И всего-навсего пять процентов — в животноводстве.

Как же это понять? Ведь лет пять назад и даже позже, еще в 1956 году, все выглядело иначе и соотношение как будто больше клонилось в пользу механизаторов. Что же случилось? Что с тех пор произошло? Машин, что ли, стало меньше? Ничего подобного. Тракторов стало больше.

Выходит, что трактор сам по себе — это еще не все для механизации сельского хозяйства? Да, как видно, так. Больше того: он и с посевными и почвообрабатывающими машинами, с комбайном и грузовым автомобилем тоже еще не все для полной замены ручного труда машинным.

За последние три года тракторный парк колхоза «Кубань» увеличился в полтора раза. Но в это же трехлетие посевы кукурузы в «Кубани» расширились в два с половиной, а плантации поливного риса — в десять раз. поголовье крупного рогатого скота увеличилось более чем вдвое, свиней — втрое, птицы — почти вчетверо. Молока колхоз стал производить в два с половиной, зерна — в четыре с половиной, а мяса — в пять раз больше. На восемь тысяч голов скота выросло животноводство артели, на двадцать тысяч голов — ее птицеводство.

И вся эта многотысячная масса сельскохозяйственных животных, эти горы сельскохозяйственной продукции, естественно, потребовали своего. За скотом и птицей необходим уход, их надо кормить и поить, а коров, кроме того, еще доить, овец — стричь. И добавившиеся к артельной продукции три с половиной миллиона пудов зерна, сена, соломы, корнеплодов и зеленой массы надо не только собрать, но и доставить на место, по-хозяйски сберечь — засыпать в закрома, заскирдовать, заложить в бурты, засилосовать, затем доставить на фермы и раздать скоту. А работы эти ведь в большинстве своем еще слабо, очень слабо механизированы. И потому везде нужны люди, рабочие руки, множество рук. Отсюда та жгучая острота, какую приобрела у нас с недавних пор проблема комплексной механизации. Крутой подъем сельского хозяйства и огромный, беспрецедентный рост колхозного производства — вот что, собственно говоря, и поставило ее в порядок дня как одну из насущнейших, неотложных проблем.

— А завтра? — спрашивает, имея в виду ближайшее будущее, председатель колхоза Федосий Мамра. И сам же отвечает на этот вопрос: — К концу семилетки у нас одним коров будет три тысячи — вдвое больше, чем сейчас. Свиней будет тысяч десять, да сорок — пятьдесят тысяч голов птицы. Плантации риса расширятся с полутора тысяч гектаров почти до трех тысяч, сады и виноградники займут до тысячи гектаров. Да мы без комплексной механизации, прямо-таки сказать, пропадем!..

4

В этих высказываниях нет ничего неожиданного. Так же рассуждают сегодня и в тысячах других колхозов, подобно артели «Кубань» поднявшихся за последнее время круто в гору.

Страна уверенно движется вперед по пути сельскохозяйственного прогресса. Из месяца в месяц, из года в год растет у нас производство сельскохозяйственных продуктов, и уже не за горами день, когда мы вплотную подойдем к их изобилию.

Федосий Мамра, само собой, преувеличивает, когда говорит, что без комплексной механизации мы, дескать, пропадем. Пропасть-то, конечно, не пропадем, но должным образом встретить и по-хозяйски освоить надвигающееся обилие продуктов без нее, безусловно, не сможем.

Упрекать Федосия Мамру в неповоротливости или же безынициативности как будто не приходится. Он из тех руководителей, что, точно муравьи, «ташат» в свое хозяйство все новое, прогрессивное, все, что так или иначе может послужить укреплению и дальнейшему развитию колхоза. После того, что он высказал, я не преминул, конечно, поинтересоваться успехами комплексной механизации в колхозе «Кубань». Но Федосий Андреевич только развел руками.

— Попробуйте-ка раздобудьте хоть десятую долю того, что для этого нужно!. За свеклоподъемником, который можно было бы приспособить к погрузке и разгрузке зерна, вот уже две недели гоняюсь и все никак его не заполучу. Да что там говорить: метра водопроводных труб, и того днем с огнем не сыскать. Остается лишь полагаться на техническую самостоятельность, на своих колхозных умельцев. Но ведь это же примитив, самая что ни на есть кустарщина! Хотя мы не одиноки. Вот почитайте, если не читали.

И, порывшись в ящике письменного стола, председатель протянул мне номер краевой газеты.

На первой полосе под крупным заголовком «Большую механизацию — на поля и фермы Кубани!» колхозники комплексной бригады одной из сельскохозяйственных артелей Ново-Титаровского района рассказывали о своем решении механизировать все трудоемкие процессы. С понятным удовлетворением отмечали они, что доход артели вырос за последние шесть лет с четырех до двадцати шести миллионов рублей и что ей поэтому под силу крупные вложения в механизацию.

Можно было ожидать, что вслед за этим последует перечень новых машин, которые колхоз уже приобрел либо намерен приобрести. Но вместо этого рассказывалось о той же «технической самостоятельности» колхозных рационализаторов и изобретателей, о которой я только что слышал от Мамры. Немало выдумки проявили они, чтобы улучшить уже имеющиеся машины, облегчить труд в полеводстве и в животноводстве. Сами изготовили тележки для перевозки сена, изобрели половосборщик, приспособили культиваторы к обработке кукурузы и подсолнечника в рядах, усовершенствовали универсальный силосоуборочный комбайн, изобрели навозопогрузчик. Бралась своими силами сделать еще транспортер для выгрузки силоса из траншей, раздатчик кормов, машину для протравливания семян, бульдозер, самокормушки.

Дальше колхозники писали о своей работе над составлением технологических карт и под конец обращались к научным работникам и коллективам промышленных предприятий края с призывом помочь им быстрее осуществить задуманное и скорее покончить с тяжелым и малопродуктивным ручным трудом.

Уже вернувшись с Кубани, в Москве, я узнал о новом интересном начинании того же порядка известного своими выдающимися достижениями в машинном возделывании кукурузы бригадира механизаторов артели имени Кирова, Ново-Усманского района. Воронежской области, Николая Мануковского. Он и его товарищи решили тоже своими силами механизировать все трудоемкие работы в колхозе. Здесь уже разработана технология производства с учетом его полной механизации, составлены технологические карты.

Многого не хватает колхозу для осуществления этого замысла. Часть недостающей техники механизаторы собираются сами изготовить, остальную колхоз намерен приобрести. Но где? Точных адресов пока никто не может назвать. Да и в лучшем случае, если колхоз все нужное достанет, то вряд ли машины эти будут технологически увязаны между собой, вряд ли будут соответствовать одна другой и по производительности и по качеству работы. А ведь как это важно для комплексной механизации!

Я отнюдь не намерен расхолаживать новоусманцев. Технологические карты колхоза имени Кирова рисуют сказочно заманчивые перспективы. При новой технологии затраты труда на возделывание зерновых сократятся, например, в два с лишним раза, на возделывание подсолнечника — в два с половиной, а сахарной свеклы — даже в четыре с лишним раза. Еще больше труда сэкономит колхоз в животноводстве. В 1958 году он затратил на производство центнера молока 4,4 трудодня, а на центнер говядины — 29 трудодней. Комплексная механизация снизит эти затраты соответственно до 6,2 и 37,3 человеко-часа (обратите внимание: счет идет не на «дни», а на «часы»). Правда, колхоз и после того будет еще отставать от соответствующих показателей США, в осо-

бенности по мясу. Но сегодня он производит одно количество продукции, завтра будет производить вдвое-втрое больше.

Заглянем в технологическую карту колхозной свинофермы и мысленно представим себе все, что в ней записано. Все механизмы работают с помощью электричества. Корма со складов подвозятся к кормокухне трактором. Концентраты разгружаются в приемный бункер, а из него транспортером подаются в загрузочный. Оттуда зерно самотеком идет в дробилку, из нее через циклон поступает в бункеры-дозаторы, а затем, также самотеком, попадает в кормосмеситель. Примерно то же самое происходит и с другими кормами — картофелем, свеклой, сеном.

Все это очень напоминает поточную систему производства на крупном индустриальном предприятии. Вот каким станет труд свиноводки в колхозе имени Кирова уже в нынешнем году!

Честь и хвала ново-титаровским и ново-усманским механизаторам! Но почему им все или же почти все приходится делать самим, своими силами? Почему у нас, в стране гигантского индустриально-технического прогресса, колхозы в комплексной механизации производства вынуждены уповать на своих доморощенных умельцев и выходить из положения в основном за счет «технической самостоятельности»?

Нет, нельзя это считать нормальным и нельзя с этим мириться! Техническая самостоятельность — дело хорошее, нужное, и его следует всячески поощрять. Неугомонное беспокойство наших сельских рационализаторов и изобретателей, их неутомимые творческие искания — все это полезно, ценно и заслуживает самой горячей поддержки. Но на одном этом далеко не уедешь.

Так оно, к сожалению, и есть

Возьмем, к примеру, такой большой и важный участок сельскохозяйственного производства, как погрузочно-разгрузочные и транспортные работы. По подсчетам Всесоюзного института механизации сельского хозяйства (ВИМ), они поглощают двадцать процентов всех затрат труда в растениеводстве, а по ряду культур и того больше: от сорока до семидесяти. Объем этих работ в нашем сельском хозяйстве колоссально велик, он составляет около миллиарда трехсот миллионов тонн, примерно столько же, сколько ежегодно перевозят все железные дороги страны, вместе взятые.

Между тем уровень механизации этих работ в колхозах и совхозах еще ничтожно мал. На таких массовых операциях, как погрузка, разгрузка и внесение навоза, торфа и минеральных удобрений он не превышает и трех процентов. Только в колхозах механизация погрузочно-разгрузочных и транспортных работ позволила бы избавить от тяжелого и малопродуктивного труда, высвободить для развития других отраслей хозяйства не менее миллиона трехсот тысяч человек!

А жизнь не стоит на месте. В самом ближайшем будущем, уже к 1965 году, объем этих работ возрастет ведь еще больше, чуть ли не вдвое. Что же промышленность? Учитывает она это? Не сказал бы. Только за последние шесть лет она поставила сельскому хозяйству более миллиона тракторов и грузовых автомобилей. А много ли в числе этих автомобилей самосвалов? И много ли получили колхозы и совхозы за то же время тракторных саморазгружающихся прицепов, тележек, механических погрузчиков? Нет, совсем недостаточно.

Так же или почти так обстоит дело и с поставкой колхозам и совхозам средств механизации для животноводства, для садов и виноградников. При существующем положении вещей полностью, комплексно механизировать все эти отрасли просто невозможно.

5

Слово «комплекс» происходит от латинского «complexus» — связь — и означает совокупность предметов, составляющих одно целое. Комплексная механизация предполагает не только замену ручного труда машинным во всех звеньях производства, но и выполнение всех работ системой машин, взаимосвязанных и взаимодополняющих одна другую.

Казалось бы, после июньского Пленума ЦК КПСС все, кто имеет хоть какое-либо отношение к комплексной механизации, должны были утратить свои заботы о ней. Однако колхозы и совхозы этого что-то не ощущают.

Конечно, то, чем в последнее время занимались и занимаются Министерство сельского хозяйства и научно-исследовательские институты механизации и электрификации сельскохозяйственного производства — ВИМ и ВИЭСХ,— разработка технологических карт и оказание колхозам и совхозам практической помощи в этой области,— дело нужное и важное. Кому, однако же, не ясно, что даже идеально разработанной технологической карте грош цена, если хозяйство не располагает нужной техникой и уже по одному тому не в состоянии ее применить.

Подсчитано, что для полной комплексной механизации требуется свыше тысячи ста видов всяких машин, орудий и приспособлений. Госплан планирует из них лишь полтораста названий. В номенклатуре сельскохозяйственного машиностроения — около пятисот. Производство свыше половины всей техники, необходимой для комплексной механизации сельского хозяйства, вообще вне сферы нашей крупной машинной индустрии. Часть этих машин, орудий и приспособлений, наименее сложная, изготавливается кустарно на предприятиях местной промышленности, в мастерских РТС, совхозов и колхозов. Другая часть еще в чертежах конструкторов, третья — пока лишь в замыслах.

Но что говорить о том, чего нет. В сущности, сейчас никто всерьез не занят тем, чтобы уже имеющуюся технику «увязать», сочетать в определенной системе, в комплексе.

Не погрешу, если замечу, что пропаганда новинок сельскохозяйственной техники поставлена у нас донельзя плохо. В нашей стране издаются десятки сельскохозяйственных журналов, выходят сельскохозяйственные газеты; вместе взятые, они имеют огромный, многомиллионный тираж. Но мне что-то не приходилось встречать в них объявлений о новой технике. А почему бы на обычно пустующих второй, третьей и четвертой страницах журнальных обложек не помещать фотоснимки и краткие описания новых машин, информацию об их выпуске, применении, производственной и экономической эффективности?

Сельхозгиз нынче догадался наконец издать «Справочник по новой технике в сельском хозяйстве», но явно поспешил при этом. Тираж его — пятьдесят тысяч, одних же колхозов, совхозов и РТС у нас восемьдесят тысяч.

А кто вообще ведает комплексной механизацией колхозно-совхозного производства? Кто за нее отвечает? Государственный научно-технический комитет? Министерство сельского хозяйства? Совнархозы, коим подведомственны предприятия сельскохозяйственного машиностроения? ВИМ, ВИЭСХ или же ВИСХОМ — институт сельскохозяйственного машиностроения? Каждый понемногу, и, к сожалению, никто настоящему.

Промышленность мало заинтересована в производстве новой сельскохозяйственной техники вообще, а в комплексном выпуске ее и подавно. Переключить завод на выпуск новой машины не так легко. Перестройка производства требует, как известно, времени и сопряжена с определенными «жертвами» — завод в течение какого-то срока не выполняет плана, и его коллектив лишается премий. Единственно, кто заинтересован в новой технике, это конструктор. Но и то лишь до тех пор, пока предложенная им машина не принята. А дальше — проходят зачастую годы, прежде чем она поступает в серийное производство, и нередко случается так, что когда-то новая, прогрессивная конструкция оказывается безнадежно устаревшей.

Значительно упрощают дело комплексной механизации такие прогрессивные новшества технологии сельскохозяйственного производства, как наземное силосование, свободно-выгульное, беспривязное содержание скота, внесение в почву удобрений в жидком виде. Они попросту делают ненужными многие трудоемкие процессы. Однако же научная разработка и внедрение новой технологии ведутся непросто и медленно. Решающее значение для комплексной механизации на животноводческих фермах и стационарных работах в полеводстве и на подсобных предприятиях имело бы, разумеется, резкое повышение уровня электрификации сельскохозяйственного производства. Нечего говорить о том, как много могли бы облегчить и упростить комплексную механизацию наши селекционеры, если бы, работая над выведением новых сортов, они заботились не только о повышении урожая, но и о том, чтобы возделывание новых

сортов возможно легче и проще поддавалось бы механизации. Наука в этом отношении еще в неоплатном долгу перед колхозами и совхозами.

В Министерстве сельского хозяйства СССР я совсем недавно встретил знакомого председателя колхоза с Украины. Разговорились все о том же — о механизации. Мой собеседник с горькой усмешкой протянул мне брошюру президента ВАСХНИЛ П. П. Лобанова «Сельскохозяйственная наука в семилетке», раскрытую на восемьдесят девятой странице. Там сказано:

«Комплект оборудования для малой механизации молочных ферм был проверен в колхозах имени Макарова и имени Калинина, Кунцевского района, Московской области и в других хозяйствах. Комплект рассчитан на сто коров. Сюда входит следующее оборудование: электронасосный агрегат для подачи воды из шахтного колодца; аппаратура для автоматизации работы электронасосного агрегата; деревянный бак для воды, установленный на чердаке коровника; автопоилка для коров; доильная площадка на 8 станков простейшего типа с выдаиванием молока непосредственно в молочные бидоны; ручные тележки для перевозки бидонов и других грузов; конный самосвал для вывозки навоза из коровника; конная повозка для подачи кормов в коровник на кормовые площадки с последующей раздачей кормов вручную; универсальная дробилка кормов: полуназемная силосная траншея и транспортер СТ-2 для выемки силоса из нее» (разрядка моя.— Д. Р.).

Быть может, включенные в комплект ручные и конные работы не поддаются механизации? Так нет же. Председатель колхоза раскрыл вслед за тем сентябрьский номер журнала «Механізація сільського господарства» за прошлый год и показал мне сообщение инженера Сагач о том, как в совхозе «Киевский» с помощью электрокаров ЭК-2 механизировали доставку и раздачу кормов и какую это дало большую выгоду.

Остается еще сказать о самом Министерстве сельского хозяйства СССР. Оно и после реорганизации машинно-тракторных станций — крупнейший в мире потребитель сельскохозяйственной техники. Шесть тысяч совхозов ежегодно расходуют на ее приобретение миллиарды рублей. В системе министерства тридцать машиноиспытательных и около ста комплексных опытных станций — огромная сеть учреждений, которые могли бы многое, очень многое сделать для скорейшего внедрения комплексной механизации в сельскохозяйственное производство. Могли бы, но тоже не делают. А ведь каждая опытная станция имеет свой отдел механизации. И кому не ясно, что говорить всерьез об агротехнике, о повышении урожайности сельскохозяйственных культур, о продуктивности скота, минуя механизацию — и именно комплексную, сегодня уже никак нельзя.

Показательны примеры Среднеазиатской и Калининской машиноиспытательных станций, показательны в том смысле, что они свидетельствуют о ничем не оправданной расточительности. Оказывается, если люди хотят и творчески, по-хозяйски берутся за дело, то колоссально много можно сделать даже с теми средствами механизации, какие у нас уже есть. Среднеазиатская машиноиспытательная станция еще в 1957 году провела широкий производственный опыт по комплексной механизации производства хлопка-сырца имеющимися машинами, обеспечив посев, поливы, уход за посевами и уборку урожая на двадцати пяти гектарах силами одного человека, и получила по 28,3 центнера хлопка-сырца с гектара. А в колхозах и совхозах при существующей организации работ на уборку урожая с такой площади обычно выделяют двадцать—двадцать пять человек. Аналогичный опыт провела позже на возделывании льна Калининская станция.

Спрашивается, далеко ли вышли сторицей оправдавшие себя эксперименты за пределы этих станций? В министерстве мне не могли сказать на сей счет ничего вразумительного. На обеих станциях бывает немало «охотников» за передовым опытом, пытливых, ищущих людей — партийных и советских работников, директоров совхозов, председателей колхозов и механизаторов, однако же дело комплексной механизации возделывания хлопка и льна в результате этого мало двигается вперед. В лучшем случае наиболее энергичные и настойчивые из экскурсантов, возвратившись домой, опять же сами, своими силами и средствами, пытаются делать то же самое. А осталь-

ные, каких великое множество? А те, кто не побывал ни здесь и ни там? Вот и прикиньте, сколько теряют, сколько зря переводят времени, труда и средств колхозы и совхозы!

Итак, к какому же основному выводу можно и нужно прийти? Если говорить о самом главном: надо немедленно навести хозяйский порядок в этом большом и жизненно важном деле.

Не претендую на безупречность моей точки зрения, но думаю, что решать проблему комплексной механизации сельского хозяйства следует так же основательно, я сказал бы, так же капитально, как в свое время решалась проблема тракторизации сельского хозяйства.

Мы начинали пробовать свои силы в тракторостроении еще в двадцатые годы на предприятиях транспортного машиностроения — Коломенском и Харьковском паровозостроительных заводах. Эти первые попытки больших последствий, как известно, не имели. Не решил дела даже успех «Красного путиловца», которому наряду со своим основным производством удалось наладить серийное производство тракторов и выпустить их не одну тысячу. Широко и стремительно двинулась тракторизация нашего сельского хозяйства лишь с пуском Сталинградского, Харьковского и Челябинского тракторных гигантов, когда оснащение деревни тракторами было, в самом глубоком смысле этих слов, поставлено на рельсы крупной машинной индустрии.

Успешное решение проблемы комплексной механизации сельского хозяйства, по-видимому, упирается в то же самое. Быть может, нужны мощные промышленные предприятия, каждое из которых специализировалось бы на производстве не отдельных, разрозненных машин, а на выпуске их в комплексе, соответствующем наиболее прогрессивной технологии той отрасли сельскохозяйственного производства, для которой он предназначен.

В докладе на XXI съезде КПСС Н. С. Хрущев говорил: «Наша машиностроительная промышленность будет оснащать сельское хозяйство еще лучшими машинами, которые позволят колхозам и совхозам получать больше продукции при меньших затратах труда и средств. В этих целях,— подчеркнул Никита Сергеевич,— надо ускорить работы по созданию систем машин для комплексной механизации...»

В контрольных цифрах на 1959—1965 годы указано, что в ряде отраслей промышленности, в том числе и в сельскохозяйственном машиностроении, в семилетке предусматривается целесообразная концентрация производства однотипной продукции на минимальном количестве заводов и организация централизованного изготовления унифицированных и нормализованных агрегатов, узлов и деталей методами массового крупносерийного производства.

Скорейшее выполнение этой задачи поможет нашим колхозам и совхозам быстрее взять новые рубежи в техническом прогрессе производства.

Краснодар—Москва,
ноябрь 1959 года.



В МИРЕ НАУКИ

Академик М. Н. ТИХОМИРОВ

★

О БИБЛИОТЕКЕ МОСКОВСКИХ ЦАРЕЙ

(Легенды и действительность)

В истории встречаются загадки, которые долго привлекают к себе внимание и подчас так и остаются неразрешимыми. К числу таких загадок относится и вопрос о библиотеке московских царей XVI—XVII веков. О ней, как далее будет видно, рассказывают различные источники, и, казалось бы, нельзя сомневаться в том, что такая библиотека существовала. Однако сообщения этих источников подвергнуты сомнению. Одни из них признаны недостоверными, другие считаются если и достоверными, то недостаточными для того, чтобы сказать с точностью, что это была за библиотека и, в частности, были ли в ней латинские и греческие рукописи светского содержания. К тому же первоначальные сухие высказывания наших историков постепенно обросли различного рода легендами и дополнениями.

А между тем вопрос о библиотеке московских царей выходит далеко за пределы простого любопытства. Он имеет громадное значение для понимания культуры средневековой России. Вот почему нам хотелось бы заново поставить эту проблему и познакомить любителей прошлого нашей Родины с одной из ярких страниц ее истории.

О том, что московские цари обладали большой библиотекой греческих и латинских рукописных книг, в Западной Европе в XVI веке ходили разнообразные слухи. Уже в то время была сделана попытка установить, действительно ли имеется такая библиотека. Крайне характерно, что эту попытку предприняли просвещенные итальянские круги, связывавшие сведения о царской библиотеке с последними византийскими императорами. Рассказывали, что византийский император Иоанн незадолго до взятия Константинополя турками в 1453 году отправил драгоценные греческие рукописи в Москву для их спасения.

Знарок греческой письменности Петр Аркудий получил от кардинала Сан-Джорджо поручение проверить этот слух. Аркудий побывал в русской столице вместе с польско-литовским послом Львом Сапегаю в 1600 году.

По словам Аркудия, он при всем своем старании не был в состоянии обнаружить следы библиотеки с греческими рукописями. Как бы в оправдание своих бесполезных поисков, Аркудий сообщил, что такой библиотеки якобы никогда и не было. Он прибавил различного рода рассказы о том, что великие князья московские были людьми необразованными и как данники татарского хана вынуждены были даже подвергаться унижительным процедурам при встрече ханских посланников.

Эти рассказы обнаруживают источник сведений Аркудия — он говорил о московских царях на основании некоторых авторов. И действительно, одновременно с письмом Аркудия Лев Сапега писал о том же другому католическому прелату, известному Клавдию Рангони, папскому нунцию в Польше, прославившемуся впоследствии содействием самозванцу Дмитрию. Сапега уверял, что в Москве нет никакой библиотеки, за исключением немногих церковных книг.

Однако даже то усердие, с которым Петр Аркудий и Лев Сапега выясняли вопрос о греческих рукописях, показывает, что в Италии существовало мнение, будто в Москве имелись различного рода сочинения знаменитых греческих и латинских авторов. Об

этом же говорилось в других сообщениях о библиотеке в Москве, где, по мнению некоторых просвещенных поляков, процветала греческая письменность.

Как видим, уже триста лет тому назад мнения о существовании библиотеки московских царей были противоречивыми.

Вопросом о царской библиотеке особенно занялись в конце XIX — начале XX века, когда история русской культуры начала интересовать относительно широкие научные круги. В это время выступала своеобразная скептическая школа, старавшаяся доказать бедность и убожество старинной русской культуры, в силу чего и речи не могло быть о каких-то сокровищах древнегреческой письменности, якобы сохранных Москвой.

К числу скептиков принадлежал и С. А. Белокуров, написавший объемистую книгу «О библиотеке московских царей в XVI столетии». Автор привлек колоссальное количество различного рода материалов с единственной целью доказать, что никакой библиотеки в Москве не было да и быть не могло, так как Россия того времени еще не доросла до понимания ценности древних греческих и латинских книг.

Труд Белокурова сыграл своего рода роковую роль в вопросе о библиотеке московских царей. Как ни странно, скептицизм еще усилился благодаря выступлению археолога Стеллешко... в защиту идеи существования такой библиотеки. Ведь «защита» эта опиралась на фантастические рассказы о различных подземельях в Москве и других городах, где можно было найти хотя бы какой-либо подвал или «загадочную» дверь в подземелье. С этого времени в так называемых «серьезных профессорских кругах» кадетского толка говорить о библиотеке московских царей сделалось даже несколько неприличным. Это стало считаться показателем «квасного патриотизма» и недостаточного критицизма в науке.

Правда, у Белокурова нашлись оппоненты, и притом несомненно более талантливые, чем он сам. Это были И. Е. Забелин, Н. П. Лихачев, А. И. Соболевский. Но беда заключалась в том, что все они принадлежали к консервативным кругам и выступления их рассматривались как своеобразная поддержка царского строя. Ведь это было время, когда гнилой царский режим трещал по всем швам и прогрессивные люди с неприязнью относились к тем, кто в той или иной мере, прямо или косвенно, способствовал поддержке царизма.

А между тем не кто иной, как академик А. И. Соболевский, привел доказательства в пользу существования царской библиотеки, и его мнение заслуживает большого внимания. Соболевский глубоко изучил древнюю русскую письменность и ее связи с общеславянской письменностью. Он ясно понимал своеобразие старинной русской литературы и то особое место, которое она занимает в мировой культуре. Его положения, высказанные в статьях о библиотеке московских царей, не потеряли своего значения и в наше время.

Как сейчас, я вижу этого сухонького старичка, который в свои семьдесят лет обычно ходил пешком с Пресни, где он жил в своем небольшом особнячке, на Красную площадь в Исторический музей. Иногда я был его попутчиком, так как жил по соседству. По дороге мы говорили о ряде исторических вопросов, в том числе и о таинственной библиотеке.

Какие же аргументы А. И. Соболевский и другие ученые выдвигали в пользу того, что в Москве существовало собрание рукописей греческих авторов, хранившееся в царской библиотеке, и что нам, собственно говоря, известно о библиотеке московских царей?

Наибольшее значение имеют два свидетельства XVI столетия. Первое из них помещено в житии Максима Грека, который был приглашен великим князем Василием Ивановичем в Москву для перевода греческих книг. Самая возможность подобного приглашения уже указывает на то, что греческие книги существовали в Москве. Иначе зачем было искать переводчика в южнославянских странах?

Здесь не место подробно говорить о Максиме Греке, этой колоритнейшей фигуре XVI столетия. Стоит только напомнить вкратце, что он получил образование во Флоренции, участвовал в движении знаменитого Савонаролы, постригся в монахи и жил на Афоне. Оттуда он приехал в Москву в качестве переводчика в 1518 году.

Максим Грек находился в чести у великого князя девять лет. Затем произошла катастрофа. Он был обвинен в ереси. К этому прибавлялось и другое, более опасное обвинение — в сношениях с турецким султаном. В действительности же причиной опалы Максима Грека было его противодействие разводу великого князя Василия Ивановича с первой женой Соломонией. Дело это по тому времени было неслыханным. Ведь браки, разрешенные церковью, даже в случае смерти жены русские книжники называли так: первый брак — законом, второй — законопреступлением, третий — «свинским житием».

Дальнейшая жизнь Максима проходила в темницах и под надзором в монастырях. Он умер в преклонном возрасте, в 1556 году. Страдальческая участь Максима Грека возвела его в глазах современников в ранг святых. И уже в XVI веке возникли сказания о Максиме-«философе». В одном из них мы и встречаем первое упоминание о царской библиотеке (даем его в приближении к современному языку).

«После некоторого времени великий государь, вечно памятный Василий Иоаннович, призвав инока Максима, вводит его во свою царскую книгохранильницу и показал ему бесчисленное множество греческих книг. Этот же инок был во многом размышлении и удивлении о таком множестве бесчисленном созданного с любовью собрания и сказал благочестивому государю, что и в Греции он не сподобился увидеть такое множество книг».

Это сказание о библиотеке греческих книг, принадлежавшей великому князю Василию Ивановичу, находится в рукописях XVII века. Однако Белокуров считает его недостоверным на том основании, что оно относительно позднее и написано не современником. Нет сомнения в том, что житие Максима Грека было составлено, вероятно, не раньше конца XVI века, но почти все сказания об иноках, которых стали считать святыми, возникли через некоторое время после их смерти. При жизни к святым никого не причисляли и их биографий не писали. К тому же о существовании греческих рукописных книг в России, в частности в Москве, говорят и другие источники. Поэтому даже Белокуров вынужден был признать наличие какого-то количества греческих книг в России. Но, по его мнению, такие книги были исключительно церковного содержания: апостолы, псалтыри и так далее.

У нас имеется сообщение о царской библиотеке, записанное уже со слов очевидца. Оно принадлежит ливонцу Ниенштедту (1540—1622), составившему хронику Ливонии, в которую включен рассказ о выселении немцев из Юрьева (Дерпта, Тарту) в русские города в 1565 году. В числе высленных он называет и пастора одной церкви в Юрьеве магистра Иоанна Веттермана. В связи с этим рассказывается следующая история:

«Его (то есть Веттермана.— М. Т.) как ученого человека очень уважал великий князь, который даже велел в Москве показать ему свою либерею (библиотеку.— М. Т.), которая состояла из книг на еврейском, греческом и латинском языках и которую великий князь в древние времена получил от константинопольского патриарха, когда москвит принял христианскую веру по греческому исповеданию. Эти книги как драгоценное сокровище хранились замурованными в двух сводчатых подвалах. Так как великий князь слышал об этом отличном и ученом человеке, Иоанне Веттермане, много хорошего про его добродетели и знания, потому велел открыть свою великолепную либерею, которую не открывали более ста лет с лишком, и пригласил через своего высшего канцлера и дьяка Андрея Солкана, Никиту Висровату и Фунику, вышеозначенного Иоанна Веттермана и с ним еще несколько лиц, которые знали московитский язык, как-то: Фому Шреффера, Иоахима Шредера и Даниэля Браккеля, и в их присутствии велел вынести несколько из этих книг. Эти книги были переданы в руки магистра Иоанна Веттермана для осмотра. Он нашел там много хороших сочинений, на которые ссылаются наши писатели, но которых у нас нет, так как они сожжены и разрознены при войнах, как то было с Птолемеевой и другими либереями.

Веттерман заявил, что хотя он беден, но отдал бы все свое имущество, даже всех своих детей, чтобы только эти книги были в протестантских университетах, так как, по его мнению, эти книги принесли бы много пользы христианству. Канцлер и дьяк великого князя предложили Веттерману перевести какую-нибудь из этих книг на русский язык, а если он согласится, то они предоставят в его распоряжение трех вышеупомя-

нутых лиц и еще других людей великого князя и несколько хороших писцов, кроме того постараются, чтобы Веттерман с товарищами получали от великого князя кормы и хорошие напитки в большом избылии, а также хорошее помещение и жалование и почет, а если они только останутся у великого князя, то будут в состоянии хлопотать и за своих.

Тогда Веттерман с товарищами на другой день стали совещаться и раздумывать, что-де как только они кончат одну книгу, то им сейчас же дадут переводить другую, и, таким образом, им придется заниматься подобной работой до самой своей смерти; да, кроме того, благочестивый Веттерман принял и то во внимание, что ему придется совершенно отказаться от своей паствы. Поэтому они приняли такое решение и в ответ передали великому князю: когда первосвященник Онаний прислал Птоломею из Иерусалима в Египет 72 толковника, то к ним присоединили наученнейших людей, которые знали писание и были весьма мудры; для успешного окончания дела по переводу книг следует, чтобы при совершении перевода присутствовали не простые миряне, но наимнейшие, знающие писание и начитанные люди.

При таком ответе Солкан, Фуника и Висровата покачали головами и подумали, что если передать такой ответ великому князю, то он может им прямо навязать эту работу (то есть вместе присутствовать при переводе) и тогда для них ничего хорошего из этого не выйдет; им придется тогда, что и наверное случится, умереть при такой работе, точно в цепях. Поэтому они донесли великому князю, будто немцы сами сказали, что поп их слишком несведущ, не настолько знает языки, чтобы выполнить такое предприятие. Так они все и избавились от подобной службы. Веттерман с товарищами просили одолжить им одну книгу на 6 недель; но Солкан ответил, что если узнает про это великий князь, то им плохо придется, потому что великий князь подумает, будто они уклоняются от работы. Обо всем этом впоследствии мне рассказывали сами Томас Шреффер и Иоанн Веттерман. Книги были страшно запылены, и их снова запрятали под тройные замки в подвалы».

Вот, казалось бы, совершенно точное и ясное свидетельство о существовании библиотеки греческих и латинских рукописей в Москве XVI века — ведь о ней сообщается со слов очевидца. Совершенно непонятно, зачем нужно было Ниенштедту придумывать подробности о двух сводчатых подвалах, когда никакого спора о библиотеке московских царей не возникало.

Тем не менее навязчивая идея о малокультурности русских людей заставила Белокурова путем разного рода натяжек отвергнуть и это прямое свидетельство. Он считает его недостоверным, основываясь главным образом на том, что в этом известии говорится не только о греческих, латинских, но и о еврейских книгах, которые будто бы не могли храниться у московского великого князя. Теперь, когда мы знаем о существовании ряда произведений, переведенных с еврейского на русский язык в XV—XVI веках, это замечание кажется почти смешным. Ведь русские люди того времени отнюдь не забывали о том, что библия была написана на еврейском языке, и считали его одним из трех священных языков (греческий, латинский и еврейский), на которых было составлено священное писание.

К тому же в самом известии Ниенштедта имеются прямые указания на то, что его свидетельство имеет большую историческую достоверность. В нем в несколько искаженной форме названы действительные фамилии царских дьяков XVI века: Андрея Щелкалова (Солкана), Никиты Висковатова (Висровата) и Фуникова (Фуник). При этом дьяк Щелкалов назван высшим канцлером. Этот титул иностранные писатели присваивают думному дьяку Посольского приказа, каким и был в действительности Андрей Щелкалов в это время. Откуда же можно было выдумать подобные подробности? Они явно записаны со слов очевидца, в данном случае пастора Веттермана.

Но есть и другое обстоятельство, которое не было замечено Белокуровым и которое свидетельствует в пользу достоверности известия Ниенштедта,— это упоминание о 1565 годе, годе посещения царской библиотеки Веттерманом. Ведь 1565 год был началом опричнины. В этом году изменник князь Андрей Курбский написал Ивану Грозному послание, в котором укорял царя за преступление по отношению к московской аристократии. Презрительный тон послания бежавшего князя нарочито подчер-

квивал малокультурность самого Ивана Грозного и всех русских людей по сравнению с другими якобы образованными народами. Письмо Курбского вызвало возмущение царя, направившего ему свое ответное послание, в котором он неоднократно ссылается на различного рода литературные произведения. Вот тогда-то и могла возникнуть мысль о переводе греческих и латинских книг, хранившихся в Москве, для того чтобы показать всей Европе, обвинявшей Россию в варварстве, какие богатства хранятся у русского царя. Дальнейшие события помешали Ивану Васильевичу заняться своей библиотекой, но свидетельство Ниенштеда о ее существовании не может быть опровергнуто никакими натяжками и придирками. Библиотека московских царей с греческими и латинскими рукописями существовала — это факт, не подлежащий сомнению.

Помимо двух рассмотренных выше свидетельств о библиотеке, можно указать на то, что греческая письменность действительно находила распространение на Руси.

Главная ошибка буржуазных историков начала нашего века заключалась в плохом знакомстве с русской культурой старого времени, в отрицании того, что русские люди нуждались в знании греческого языка.

В самом деле, вспомним о том, что высшая церковная иерархия на Руси в значительной мере формировалась из числа ученых греков, приезжавших в Россию, вероятно, хоть с малым количеством книг на родном языке. Московскими митрополитами были греки: Феогност в XIV веке, Фотий и Исидор в XV веке; на рубеже этих столетий — болгарин Киприан, прекрасно знавший греческий язык и сам переводивший с греческого языка на русский некоторые книги. Но и высшее духовенство из русских уроженцев нередко владело греческим языком, как мы это знаем о митрополите Алексее, которому приписывается перевод Нового завета с греческого на русский. В Москве был особый греческий монастырь; он находился на Никольской улице (теперь улица 25 Октября). Москвичи называли этот монастырь «Никола Старый», «Никола Большая голова», может быть потому, что собор его обладал византийским куполом. Монастырь существовал уже в XIV веке и придерживался греческих обычаев. В келье монастыря Николы Старого жил одно время Медоварцев, работавший над переводом псалтыри под руководством Максима Грека.

Вместе с иерархами прибывали сопровождающие их лица — тоже греки. На Русь из Византии приезжали и различные художники и архитекторы. Вспомним о знаменитом Феофане Гречине, который расписал церкви в разных городах. Его замечательные росписи и до сих пор сохранились в Новгороде, в церкви на Ильине улице. Современник, рассказывая о Феофане Гречине, упоминает и о том, что он нарисовал город Москву в красках — во дворце серпуховского князя Владимира Андреевича.

Странно было бы думать, что приезжавшие в Москву греческие мастера не привозили с собой никаких греческих книг или жили среди общества, где не было переводчиков с греческого на русский. Образованные русские люди стремились к византийскому просвещению, и наши источники говорят о том, что в XIV веке в соборе Ростова Великого пели церковные песнопения на двух клиросах: на одном — по-гречески, на другом — по-русски. В рукописях, принадлежавших Чудову монастырю в Кремле и написанных в XV веке, встречаются записи, сделанные по-гречески или буквами, подражающими греческим.

Но не только духовенство и приезжие художники и ремесленники нуждались в греческом языке. Между Москвой и Византией шел постоянный торговый обмен. Монах Игнатий подробно описал путешествие митрополита Пимена, которого он сопровождал, из Москвы в Константинополь в 1389 году. Путешествие в Царьград совершалось таким образом: от Москвы до современной Рязани добирались по Москве-реке и Оке, от Оки к верховьям Дона везли небольшие речные суда на колесах, с верховьев Дона начинался долгий путь к Азову, где пересаживались на морские суда и плыли по морю в Константинополь. Промежуточными пунктами были Кафа (Феодосия) и Судак (Сурож) в Крыму. От Судака добирались до Синопа и потом вдоль берега Малой Азии до Константинополя. Были и другие пути, но донской был одним из самых удобных.

В Константинополе и Судаке существовали постоянные русские колонии. Купцов, торговавших с Причерноморьем, на Руси называли сурожанами. О них сохранились даже былины. Неправдоподобно, чтобы купцы, торговавшие с Константинополем и другими причерноморскими странами, не знали греческого языка и не нуждались в греческих книгах. Об одном московском купце XV столетия сообщается, например, что он умел говорить на трех языках: русском, греческом и «половецком». Под половцами в данном случае понимаются татары — они часто именовались так в русских сочинениях того времени. Впоследствии среди суздальских купцов XVIII века существовала особая речь, которой они пользовались, чтобы скрыть от посторонних свои секреты. В этом тайном «арго» оказались и слова, носящие явно греческое происхождение.

Вспомним о термине «суровские товары», обозначавшем шелковые и так называемые «красные» товары. Этот термин бытовал вплоть до начала нашего века. В словаре Даля мы найдем и термин «суруга» для обозначения купца. В Москве и в других городах России долгое время существовали суровские ряды, торговавшие шелком и получившие свое название от города Сурожа.

В «Хождении митрополита Пимена» рассказывается о радостной встрече русских, живших в Константинополе («тамо живущая Русь»), с приезжими соотечественниками. Они «добре» угостили своих соплеменников и устроили для них «утешение великое», как автор образно называет на своем церковном языке обильную трапезу с изрядным возлиянием тех напитков, «их же и монаси приемлют».

Наконец вспомним о приезде в Москву наследницы византийских императоров Софьи Фоминичны Палеолог, вышедшей замуж за Ивана III. С ней приехали многие греки. И снова возникает недоуменный вопрос: неужели Софья и ее многочисленные спутники не имели с собой книг на родном языке? Факт совершенно невероятный. А ведь великий князь Василий Иванович, по сказанию владевший библиотекой, был сыном Софьи.

Возникает законный вопрос: если у русских существовала потребность в греческом языке, то куда же делись греческие книги, привозимые в Россию? Мы можем ответить ссылкой на существование в Москве великолепной библиотеки греческих книг, одного из лучших в мире собраний греческих рукописей, хранящемся в Историческом музее. Правда, Белокуров положил много стараний для того, чтобы доказать, будто бы так называемое Синодальное (Патриаршее) собрание греческих рукописей в Москве возникло только в XVII веке, когда патриарх Никон послал на православный Восток Арсения Суханова для покупки древних рукописей.

Но ведь Арсений ездил для покупки только тех рукописей, которые могли быть полезными для исправления русских церковных книг. Арсений Суханов в отдельных случаях, конечно, мог купить и рукопись иного, не церковного содержания, однако значительное число рукописей гражданского порядка в Синодальном собрании невольно вызывает сомнение в том, купил ли их Арсений Суханов или же они находились в патриаршей библиотеке значительно раньше. Назовем некоторые из таких рукописей: две Илиады, история Павзания, география Страбона, история Фукидида, философия Аммония, философия Арата и арифметика Никомаха, комедии Аристофана, физика Аристотеля, речи Аристида, трагедии Эсхила и Эврипида, категории Аристотеля и другие. Сомнительно, чтобы подобные рукописи, ставшие в XVII столетии уже большой редкостью и в Западной Европе, в особенности комедии Аристофана или история Фукидида, куплены были Сухановым. Однако, когда мы вспомним о том, что в Москве жили ученые-митрополиты греки (Феогност, Фотий, Исидор) и болгарин Киприян с его византийской образованностью, то не покажется особенно смелой догадка, что эти рукописи остались в патриаршей библиотеке после их смерти.

Рукописи светского содержания сохранялись по традиции, не привлекая к себе особого внимания. Ведь даже в XVIII веке они казались малоинтересными для церковной библиотеки, и это объясняет нам тот печальный факт, в силу которого некий профессор Маттеи, родом саксонец, совершил в Синодальной библиотеке ряд хищений, попросту говоря, украл несколько рукописей и продал их библиотекам различных стран Западной Европы. Так и появилась в голландском городе Лейдене (конечно, не повинном в воровстве профессора XVIII века) рукопись, содержащая, кроме не-

скольких песен Илиады, еще и гимны Гомера, притом в таком виде, в каком другие рукописи их не имеют.

Можно было бы задать вопрос: является ли Синодальное собрание рукописей, хранящееся в Государственном Историческом музее в Москве, остатком царской библиотеки? Ответ должен быть отрицательным, потому что митрополичья, впоследствии патриаршая библиотека и библиотека московских царей были разными учреждениями.

Правда, ряд буржуазных историков пытался и русских царей XVI—XVII веков представить полуграмотными людьми, не имевшими даже собственных библиотек, а бравшими книги, так сказать, напрокат из патриаршего или из какого-либо монастырского собрания. Но этот взгляд надо признать явно противоречащим нашим историческим свидетельствам. Так, мы знаем о лицевых рукописях (с миниатюрами), которые специально делались для царевичей. Мы знаем о царских экземплярах печатных книг. Один из экземпляров первопечатного Апостола 1564 года даже заключен в кожаный переплет, на котором вытиснен московский герб и сделана надпись: «Царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси». Этот экземпляр был подносным и был, видимо, подарен одному литовскому гетману.

Библиотека московских царей существовала, и остатки ее, разбросанные по разным собраниям, сохранились и до нашего времени. Распыление царской библиотеки с русскими книгами вероятнее всего произошло в XVIII столетии, после переноса столицы в Петербург. В частности, историк В. Н. Татищев, живший в первой половине XVIII века, рассказывает о том, что Петр Первый брал с собой в персидский поход для чтения Муромскую «топографию». Это, видимо, был сборник сказаний о муромских князьях Петре и Февронии. Тот же Татищев упоминает, что Петр Первый подарил ему одну летопись, приказав ее выдать из кабинета, то есть из учреждения, специально ведавшего делами императора.

Нам хорошо известно о библиотеках ряда бояр, собиравших книги. К их числу в XVII веке принадлежал, например, стольник В. Н. Собакин. Рукописи из его библиотеки с соответствующими пометами находят теперь в разных собраниях. Князь В. В. Голицын был известен как обладатель большого количества рукописей и печатных книг и так далее.

Итак, хотя можно считать установленным факт существования царской библиотеки с русскими рукописями, это не решает вопроса о том, что же произошло с тем богатым собранием греческих и латинских книг, которые видел в 1565 году ливонский пастырь Иоанн Веттерман. И. Е. Забелин думал, что царская библиотека погибла во время московского пожара 1571 года. Но ведь такие пожары были и раньше. Зачем же настаивать на том, что библиотека обязательно погибла?

Сейчас совершаются крупнейшие открытия в истории письменности: в замурованных пещерах найдены рукописи в Палестине, в Египте, в Средней Азии.

Может быть, сокровища царской библиотеки лежат еще в подземельях Кремля и ждут только, чтобы смелая рука попробовала их отыскать. А такие подземелья и в самом деле существовали в Кремле с XVI века.

Старая пословица говорит: «Попытка не пытка, а спрос не беда». Понски этих сокровищ в древней кремлевской земле будут стоить сравнительно недорого, а находка возможно сохранившейся библиотеки — подчеркиваем, возможно, так как нет уверенности, что она еще существует, — имела бы грандиозное значение.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

ДУХОВНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ ОДНОГО КРИТИКА

ФРГ

«Ди вельт» («Мир»),
ежедневное издание.
№ 204 от 3 сентября
1959 года. Год издания
14-й. Гамбург. Издатель
Генрих Шульте. Главный
редактор Ганс Церер.

★

Начнем издавека. В 1957 году в Варшаве вышла в издательстве «Читальник» небольшая монография Марцелия Раницкого «Повествовательное искусство Анны Зегерс». Книга эта — при всей спорности, даже неправильности отдельных положений и оценок — была написана с уважением к таланту немецкой писательницы-коммунистки и (так по крайней мере казалось) с пониманием революционного, идейно-целеустремленного характера ее творчества.

Ныне автор этой книги сменил местожительство и гражданство, сменил политические убеждения (зпрочем, были ли они у него раньше?), частично сменил даже фамилию. Он подписывается «Марсель Рейх-Раницкий» и пишет уже не на польском, а на немецком языке; он стал постоянным сотрудником влиятельной западногерманской газеты «Ди вельт», уделяющей много места вопросам литературы и искусства.

В марте — июне 1959 года в «Ди вельт» была опубликована большая серия статей Раницкого, представлявших собою систематическое и упорное шельмование всех лучших писателей Германской Демократической Республики. Молодых прозаиков и поэтов, чей талант расцвел в годы Республики, критик обвинял в упрощенчестве и приспособленчестве. Писателей старшего и среднего поколения, прошедших через испытания эмиграции или антифашистского подполья, он пытался представить как людей, находящихся в скрытой оппозиции к народно-демократическому строю.

Раницкий не особенно затруднял себя аргументацией. В качестве основного приема анализа он избрал гадание и чтение чужих мыслей. Арнольд Цвейг успешно работает над продолжением своего антивоенного цикла романов, опубликовал за последние годы несколько новых книг? Нет, что-то тут неладно! Значит, затаил недовольство. Бодо Узе исподволь, не спеша трудится над вторым томом своего романа «Патриоты»? Нет, что-то тут неладно! Значит, затаил недовольство. Эдуард Клаудиус, автор известного романа «О тех, кто с нами», принял ответственное дипломатическое назначение? Нет, что-то тут неладно! Значит, затаил недовольство. Раницкому кажется в одинаковой мере предосудительным и подозрительным, если писатель пишет много или если он пишет мало, если он занят государственной, общественной деятельностью или занимается только литературным творчеством. Произвольно перемешивая факты с вымыслом и домыслом, Раницкий, отчасти повторяя, отчасти дополняя то, что пишут другие реакционные западногерманские журналисты, дал абсолютно недостоверную, искаженную картину литературной жизни ГДР.

Отравленное перо Раницкого не пощадило и героиню его книги. В статье об Анне Зегерс («Ди вельт» от 14 марта) критик не постеснялся вывернуть наизнанку свои собственные утверждения двухлетней давности. В книге, вышедшей в Польше, Раницкий рассматривал творчество Анны Зегерс как образец повествовательного искусства, «анализирующего современную проблематику с идейных позиций борющегося пролетариата»¹. Ныне он выискивает в произведениях писательницы, начиная с раннего

¹ Marceli Ranicki. Epika Anny Seghers. Warszawa. 1957, str. 220.

романа «Спутники», «противоречие между художнической совестью и политическим сознанием». В 1957 году Раницкий утверждал, что в романе Зегерс «Мертвые остаются молодыми» «история немецкого народа показана и истолкована исключительно через индивидуальные судьбы персонажей»¹, он особо отмечал типичность образа Клемма, одного из тех немецких промышленников, которые прокладывали дорогу гитлеризму. В 1959 году критик, напротив, утверждает, что в этом романе Зегерс «индивидуальные судьбы вымышленных персонажей подчиняются не столько ходу истории, сколько прежде всего социологической теории с претензией на универсальное обобщение». Понятно, что Раницкий, поступив на службу к нынешним сородичам Клемма, должен был особенно круто изменить свое отношение именно к этому роману Анны Зегерс. На сей счет есть выразительная немецкая поговорка: «Wess Brot ich ess, dess Lied ich sing!» («Чей хлеб я ем, того и песню пою»).

В статье, опубликованной в марте 1959 года, Раницкий и Анну Зегерс причислял к тем писателям ГДР, которые затаили недовольство. Не пишет, не выпускает новых романов — нет, что-то тут неладно! Очевидно, утверждал критик, Зегерс переживает творческий кризис.

Прошло несколько месяцев, издательство «Ауфбау» выпустило большой роман Анны Зегерс «Решение» — плод многолетней работы писательницы. (На русском языке роман печатается в журнале «Иностранная литература».) Версия о вынужденном молчании, творческом кризисе и прочем оказалась несостоятельной. Но Раницкий не смутился этим. В «Ди вельт» появилась еще одна его статья под сенсационными заголовками: «Духовная капитуляция Анны Зегерс.— Долгожданная новая книга писательницы — документ разрушения личности».

Раницкий и здесь не обременил себя аргументацией. В его статье ничего не сказано о содержании нового романа Зегерс, не назван ни один из его персонажей. Несколько презрительно-бездоказательных утверждений, несколько вырванных из контекста цитат — вот и весь, с позволения сказать, критический анализ. Справедливость требует отметить, что до того, как Раницкий перекочевал на Запад, он умел писать более грамотно и толково.

Действие романа «Решение» происходит вскоре после окончания второй мировой войны, в 1947—1951 годах. «С подлинными событиями, людьми и конфликтами этих лет «Решение» не имеет ничего общего», — заявляет Раницкий. Так ли? В новом произведении Анны Зегерс речь идет о том, как возрождается к новой жизни завод, становящийся народным предприятием ГДР, как налаживается быт людей, выбитых из колеи войной, разрухой и голодом, как в массе рабочих и работниц, одурманенных фашизмом, травмированных тяжелыми переживаниями военных лет, подчас вовсе отчаявшихся, изверившихся, рождается новое отношение к труду, вера в свои силы и в свое молодое государство. В этом произведении вместе с тем идет речь о том, как промышленные магнаты Западной Германии — те, кто недавно еще финансировал Гитлера, а потом всеми правдами и неправдами добивался почетной денацификации, — пытаются с помощью американской разведки сорвать строительство новой жизни на востоке страны... Словом, в романе Зегерс говорится действительно о самом главном, о том, что волнует миллионы людей в обеих частях Германии, и не только в Германии.

Большое место в сюжете романа занимает история группы перебежчиков, давших себя сманить на Запад. Среди этих перебежчиков — инженеры, жены инженеров, отдельные рабочие. Одни бегут на Запад потому, что их прельщает фальшивый блеск витрин, рекламные соблазны сытой и спокойной жизни, другие — потому, что когда-то давно попали в сети гестапо и не сумели выпутаться («коготок увяз — всей птичке пропасть»), иные же просто по неустойчивости, слабости характера. Не эти ли главы романа вызвали у Раницкого неприятные и весьма свежие воспоминания? Его личный пример подтверждает, насколько жизненно остра эта тема, безбоязненно затронутая Анной Зегерс. В последних главах романа мы убеждаемся, что, несмотря на временное смятение, вызванное дезертирством нескольких предателей, коллектив завода устоял, не растерялся, успешно продолжал свою работу в новых, усложнившихся условиях.

¹ Marcelli Ranicki. Epika Anny Seghers. Warszawa. 1957. стр. 181.

Действия отдельных нечестных или нестойких людей могут затруднить, замедлить шествие социализма, но не могут остановить его. Таков один из основных выводов, подсказываемых логикой образов и сюжета романа «Решение». Можно понять, что чтение этой книги для перебежчика Раницкого было тягостным по причинам, не имеющим ничего общего с эстетическими качествами самого романа.

Мы, разумеется, хорошо помним, что достоинства художественного произведения отнюдь не определяются его темой. Но все-таки нельзя не оценить той незаурядной смелости, которую проявила писательница, взявшись за совершенно новый, крайне неподатливый, почти не освоенный художественной литературой жизненный материал. Перед нами первая широкая эпическая картина послевоенной германской действительности. И по глубине проникновения в психологию людей и по широте охвата жизни роман «Решение» намного превосходит прежние произведения писателей ГДР на современные темы.

Как раз с эпической широтой романа Зегерс связаны те особые претензии, которые предъявляет к нему Раницкий. Он возмущается: в книге шестьсот страниц и свыше полтора десятка действующих лиц. Попробуй-ка удержи в памяти такую ораву!

Согласимся. Любителям легкого, развлекательного чтения лучше не браться за новый роман Зегерс. Это не такая книга, которую можно прочесть залпом, не отрываясь. Но это книга, к которой, оторвавшись от нее, хочется вернуться. И которую, прочитав однажды, хочется потом перечитать, вдуматься, взглядеться пристальнее в лица и судьбы действующих лиц.

И тут возникает необходимость поспорить с Раницким — не с Раницким-перебежчиком, сотрудником западногерманской газеты, а с тем польским критиком, который опубликовал в 1957 году книгу о повествовательном искусстве Анны Зегерс. Тогда, два года назад, Раницкий еще никак не оспаривал и не брал под сомнение идейные основы творчества Зегерс. Однако одним из коренных недостатков его работы была устарелость эстетических критериев. Беда не столько в том, что в его книге ни разу не встречался термин «социалистический реализм», сколько в том, что критик и тогда вовсе не задумался над вопросами художественного новаторства, свойственного поборникам и мастерам этого метода. С точки зрения, которую тогда отстаивал Раницкий, удачно построено лишь такое повествование, в котором все действие сосредоточено вокруг одного главного героя и по возможности вокруг одного главного события и где все остальные персонажи, все эпизоды соотнесены с этим героем и этим событием. Именно в таком построении видел Раницкий одно из главных художественных достоинств романа «Седьмой крест», отчасти и более ранней повести Зегерс «Оцененная голова». Зато, говоря о романе «Мертвые остаются молодыми», Раницкий (и тогда, когда он еще не ставил в нем под сомнение правдивость, типичность событий и персонажей) не мог примириться с тем, что в этом романе несколько самостоятельных сюжетных линий и что некоторые основные его действующие лица встречаются друг с другом изредка или даже вовсе не встречаются. То, что было в этом произведении Зегерс смелым, необходимым для раскрытия политической темы и несомненно оправдавшим себя новаторским поиском, критик расценивал как просчет романистки.

Такой ход рассуждений Раницкого свидетельствовал, что он в своем понимании композиции романа отстал по крайней мере на сто лет.

В самом деле: развитие большой эпической формы начиная примерно с половины прошедшего столетия отмечено растущим тяготением писателей к широте социального диапазона. Борьба классов, общественная активность масс, народ в целом — все это завладевает сознанием писателей и входит в литературу чем дальше, тем больше. Случайно ли, что в «Войне и мире» количество персонажей, по самым неполным подсчетам, превосходит пятьсот и что в эпопее Толстого, помимо главных и второстепенных действующих лиц, имеется множество эпизодических, сюжетно незначительных персонажей? Случайно ли, что в «Анне Карениной» гораздо больше действующих лиц, чем это было бы необходимо художнику для того, чтобы раскрыть историю любви Анны и Вронского, и что в этом романе оба главных героя — Анна и Левин — встречаются друг с другом лишь под конец повествования, а на протяжении

всего действия их жизненные пути идут параллельно? Мы помним, что в каждом из основных романов Золя действие организовано не вокруг судьбы одного лица, а скорее вокруг «гигантских экономических организмов современной эпохи» (выражение Лафарга) — организмов, с которыми связаны судьбы многих людей (шахта в «Жерминале», биржа в «Деньгах» и т. д.). Роман XX века, как мы знаем, продолжил эти поиски, свойственные мастерам предшествующего столетия. Понятно, что в литературе социалистического реализма проблемы народа, его активности, его роли в истории ставятся с особенной остротой. И потребность в произведениях большого эпического размаха становится тем более очевидной.

Все сказанное не значит, что роман с одним главным героем, с единой сюжетной интригой стал невозможен в передовой литературе наших дней. В романе «Седьмой крест» Анна Зегерс блистательно сумела сгруппировать большое количество разнообразнейших социальных типов вокруг Георга Гейслера, бежавшего из фашистского концлагеря. Судьба беглеца, сталкивающегося на протяжении одной недели со многими очень разными людьми, привлекает к себе самый острый читательский интерес и в то же время дает писательнице возможность поставить большие общественные, политические, нравственные вопросы, показать подлинный облик фашистской Германии. Но такое строение сюжета не во всех случаях возможно. В романе «Мертвые остаются молодыми», где действие занимает не неделю, а двадцать пять лет, писательнице понадобилась совсем иная сюжетная структура — менее концентрированная, более разветвленная.

В ходе работы над романом «Решение» перед Анной Зегерс встали новые, несравненно более сложные, чем прежде, идейные задачи, а следовательно, и сюжетные и композиционные задачи. То обилие персонажей, над которым издевается теперь Раницкий, не является в этом романе ни прихотью писательницы, ни признаком упадка ее таланта. Оно в данном случае вызвано важной художественной необходимостью.

Роман «Решение» написан, в сущности, очень сжато. Анна Зегерс здесь, как и везде, избегает многословия, не дает повествованию разбухнуть за счет исторического фона или авторских отступлений. Все большие события политической жизни, о которых говорится в романе «Решение», пропущены через переживания, поступки, восприятия, оценки разнообразных действующих лиц. Но лиц этих действительно много, и каждое из них по-своему нужно автору.

Зегерс почувствовала, что глубоко разведать, осмыслить становление новой жизни в восточной части Германии можно только, если не замыкаться в пределы восточной части Германии. И она была права.

Иногда, читая произведения современных западногерманских писателей (даже лучших из них), мы ощущаем недосказанность, неполноту, а значит, и неполноценность отражения жизни, проистекающую оттого, что эти писатели пытаются делать вид, будто Германской Демократической Республики вовсе не существует (такая недосказанность сильно умалет, например, реалистическую ценность талантливой книжки Г. Бёлля «Дом без хозяина»).

В романе Анны Зегерс «Решение» отражено действительное положение вещей. Рядом с Германской Демократической Республикой существует государство, где жизнь построена на совершенно иных началах. Там господствуют другие общественные отношения, другие взгляды и нравы, там, по сути дела, другой мир. Но, чтобы перейти в этот другой мир, достаточно сесть в вагон берлинского метро, а в некоторых местах Берлина просто перешагнуть через улицу. Тесное соприкосновение и непрерывное столкновение двух миров ощущаются непрерывно во всей будничной жизни Германии — обеих частей ее. Это обстоятельство влияет по-своему на жизнь каждого рядового немца. Роман Зегерс «Решение» — первая значительная книга послевоенной немецкой литературы, где эта небывалая в истории ситуация (два мира в одной стране!) отображена с суровой и покоряющей правдивостью.

Более того, Анна Зегерс в построении сюжета и композиции своего романа исходит и из того, что судьбы современной Германии неразрывно связаны с судьбами других народов и стран. Биографии многих немцев переплетены с освободительной борь-

бой испанского народа, с французским Сопротивлением, а иной раз и с политической возней заокеанских бизнесменов. Писательница вводит в повествование отдельные эпизоды, действие которых происходит в Мексике, США, Испании, Франции,— это необходимо для всестороннего освещения избранной ею темы.

Анна Зегерс видит мир и людей как художник социалистического реализма, как художник, который убежден, что будущее человечества и пути развития каждого народа зависят в конечном счете от усилий многих и многих рядовых трудящихся. Мысль об ответственности каждого простого человека за судьбы страны определяет и главную тему романа и способы разработки этой темы. Идея выбора, решения, лежащая в основе книги, требовала, чтобы автор ввел в действие много разнообразных людей. Мы видим разные типы инженеров и разные типы рабочих. Каждый из персонажей — или почти каждый — по-своему решает коренной вопрос: в каком мире, в каком лагере ему надлежит находиться. Идейный замысел романа отразился в своеобразии сюжета. Раницкому кажется, что тут просто причудливое нагромождение не связанных друг с другом персонажей. Он не хочет видеть, что без этого обилия лиц, как и без частой смены места действия, писательница не могла бы ставить и решать те большие проблемы, которые лежат в основе ее романа.

Все ли действующие лица «Решения» охарактеризованы с одинаковой тщательностью? Разумеется, нет — да это было бы и невозможно. Лица эпизодические, входящие в действие лишь на короткое время, есть, кстати сказать, и в романе «Седьмой крест», который восхищает Раницкого (в этом мы согласны с ним) своей сюжетной слаженностью. В «Решении» эпизодических персонажей гораздо больше, чем в прежних романах Зегерс. Но они необходимы — не столько для полного раскрытия судьбы главных героев, сколько для полного раскрытия большой социальной темы.

Задумав роман «Решение», писательница взяла на себя художественные задачи необычайной трудности. Всюду ли она вполне успешно преодолела эти трудности? Об этом еще будет время поговорить более подробно тогда, когда роман станет известен советскому читателю. Можно сказать уже сейчас, что в романе есть отдельные образы и эпизоды, которые вызывают возражения. Есть основание досадовать, скажем, что старый коммунист Мартин (знакомый нам по роману «Мертвые остаются молодыми») и в этой новой книге Зегерс очерчен лишь очень бегло. Есть основание сожалеть, что образ другого заслуженного революционера, Рихарда Хагена, очень интересно задуманный, решительно и плотно входящий в сюжет вначале, не получает в дальнейшем развитии действия той глубокой, всесторонней разработки, какой он заслуживал бы... Но важно, что Анна Зегерс сохраняет и в своем новом романе свойственное ей умение показывать большие события и сдвиги, преломляя их через умонастроения, чувства, повседневный быт многих обыкновенных, рядовых людей. Она в полной мере проявляет здесь присущее ей умение говорить с читателем о сложных политических вопросах, совершенно обходясь без риторики и общих слов. Она проявляет здесь и прежнюю свою способность — находить живые, зримые детали повседневной жизни, в которых воплощается существенное, типическое.

Раницкий решается утверждать теперь, что от былого психологического мастерства Анны Зегерс в новом романе «не осталось и следа». И это утверждение критика столь же голословно, столь же бездоказательно, как и все остальное, что сказано в его статье. В новом романе Зегерс, в силу свойственной ему необычайно большой концентрации лиц и событий, герои чаще проявляют себя в действии, чем в размышлениях и переживаниях. И тем не менее многие страницы романа привлекают именно тонкостью психологического рисунка. Таковы, например, в первой главе книги чередующиеся, взаимно друг друга дополняющие потоки мыслей-воспоминаний двух сверстников — Роберта Лозе и Рихарда Хагена — о своем детстве и юности: одни и те же эпизоды далекого прошлого предстают в различном освещении, с разных сторон, и таким образом выявляется несходство характеров и жизненных путей тех, что были неразлучны в школьные годы. Острый драматизм, присущий важнейшим сценам романа, часто основан прежде всего именно на психологической напряженности. Глубоко драматична, например, история трудной любви инженера Ридля, работающего в ГДР, и его жены Катерины, верующей католички, живущей на Западе и не решающейся переехать к

мужу. Здесь, как и в некоторых других сюжетных линиях романа, политическая проблематика непосредственным образом вторгается в самые частные, интимные сферы человеческого существования. Убедительно и сильно, с глубоким проникновением в интеллектуальную жизнь человека написана сложная судьба писателя Герберта Мельцера, бывшего активного антифашиста, которому понадобились долгие годы исканий и скитаний, чтобы он смог вернуться в лагерь прогресса, от которого на время отошел. У Анны Зегерс нередко самые простые бытовые, жанровые сцены наполняются большим, очень человеческим психологическим содержанием, и это делает ее героев, пусть даже скупо очерченных, живыми и привлекательными для читателя. Таковы, например, эпизоды в доме Эндерсов. Мы ясно видим убогую комнату в первом этаже разрушенного здания, где поселилась после войны большая рабочая семья, обрастающая все новыми родственниками, друзьями, временными соседями, которых надо приютить, — и понимаем, почему к Эндерсам приходят «на огонек» даже малознакомые люди, которым хочется посудачить, поделиться заводскими новостями, поспорить о том, что волнует многих. Внимательно исследуя внутреннюю жизнь персонажей, Анна Зегерс искусно мотивирует и те резкие, внезапные повороты сюжета, которые не раз возникают в ее романе. Драматически остра сцена карнавала в одном из прирейнских городов: посреди карнавального веселья рабочий Антон — единственный в городе, кто не выпил ни капли спиртного в этот праздничный день, — убивает бывшего эссовца Отто Бентгейма, мстя за гибель невесты; и читатель, знакомый с предысторией Антона, знающий, как созревала идея мести в этом молчаливом и одиноком человеке, не сомневается в достоверности необычного происшествия...

Мы почти забыли о перебежчике Раницком. Но вернемся к нему. После того как он на протяжении всей статьи обвинял Анну Зегерс в шаблонности, нарочитости, в том, что она якобы подчинила свое повествование штампам «производственных романов сталинского периода» и т. д., Раницкий под конец высказывает еще одно обвинение, логически несовместимое со всеми предыдущими. Он утверждает, что в романе «чувствуется, быть может против воли писательницы, меланхолическое настроение, которое кажется свидетельством ее разочарования и скрытого уныния».

«Быть может, против воли писательницы... Кажется свидетельством...» Все это относится к излюбленной Раницким области гадания. Для него все средства хороши, лишь бы навести тень на ясный день и опорочить книгу, неугодную его хозяевам. В романе Зегерс показано, как аполитичные инженеры и старые ворчун-рабочие постепенно приучаются работать для нового общества с любовью, с душой, — Раницкий недоволен. В романе показано, как подростки-сироты или полусироты, чье детство было исковеркано войной, учатся, приобретают квалификацию, находят семью в заводском коллективе, — Раницкий недоволен. Оптимистический исход основных жизненных конфликтов, разворачивающихся в романе, представляется ему надуманным. Вместе с тем на страницах «Решения» возникает немало драматических событий. Тут и непреодолимые семейные неурядицы, и тяжкие неудачи в работе, и — в разные моменты, по разным причинам — смерть нескольких симпатичных читателю лиц... И Раницкий злорадствует: вот оно, «скрытое уныние», вот где обнаруживается, что Анна Зегерс затаила недовольство против нового строя!

Отождествлять мысли и настроения автора с мыслями и настроениями его персонажей — это очень избитый и никак себя не оправдывающий критический прием. Не оправдывает он себя и тогда, когда речь идет о литературных героях, чьи жизненные драмы завершаются благополучным исходом. Среди действующих лиц романа Зегерс преобладают люди, прошедшие крайне сложный путь. Пример тому — Роберт Лозе, с которым мы встречаемся на первых и на последних страницах романа. В жизни Роберта по-своему отражаются судьбы его народа, пережившего позор фашизма, горечь отрезвления, трудности послевоенной разрухи. Надо ли удивляться, что новая, счастливая жизнь складывается у людей, подобных Роберту, исподволь и очень нелегко и что такие люди даже в радостные минуты не могут полностью избавиться от тягостных воспоминаний? Анна Зегерс с полной мерой писательской откровенности воссоздала не только успехи, но и помехи, препятствия, ошибки на пути становления социализма в Германской Демократической Республике. За это честь ей и хвала. И, пожалуй,

сама ожесточенность нападок на нее в реакционной печати является свидетельством (не «кажется», а является свидетельством!), что эта сложная и интересная книга о нелегком пути народа нанесла врагам социализма более тяжелые удары, чем могли бы нанести десятки гладких и ловко скроенных, облегченно-занимательных произведений...

Роман Анны Зегерс «Решение» — прежде всего свидетельство большой нравственной стойкости писательницы, которая не побоялась подводных камней современной темы, не побоялась сложности нового жизненного материала и создала ту большую, правдивую книгу о послевоенной Германии, которая так нужна ее читателям. Раницкий, который два года назад кое-что соображал и хоть отчасти разбирался в творчестве Анны Зегерс и в художественной литературе вообще, ныне вовсе разучился соображать. И это не удивительно. Духовная капитуляция перед властью собственников ни для кого не проходит безнаказанно.

Т. МОТЫЛЕВА.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. МАКЕДОНОВ

★

КРАСОТА ПРОСТОТЫ

(Еще об Исаковском)

Есть поэты — гости. Гости могут быть дружелюбными, могут быть очень яркими, интересными собеседниками. С ними хорошо провести время. Но все-таки это только гости.

И есть поэты — спутники, участники нашей жизни. Можно сказать — члены нашей семьи. Они живут все время вместе с нами, они стали неотъемлемой частью нашего сознания даже тогда, когда мы с ними не разговариваем, и даже тогда, когда мы о них как будто не думаем.

Они могут быть менее яркими и интересными, чем те, кто бывает у нас только в гостях. И все-таки они не гости, а свои, родные, постоянно наши.

Именно таким членом семьи советского человека стал Михаил Исаковский. Знаменитая Катюша и другие герои лирических песен Исаковского вошли в жизнь миллионов людей во всех уголках нашей огромной страны. Более того, и далеко за ее пределами миллионы людей узнали и полюбили нашу Катюшу, лирику нашего Исаковского.

Лирика Исаковского стала настолько неотъемлемой частью народного сознания, что мы иной раз сами об этом забываем. Это уже что-то само собой разумеющееся, всегда нам сопутствующее — даже тогда, когда стихи Исаковского мы не вспоминаем, когда их заслоняют другие голоса, другие лица.

В лирике Исаковского есть что-то «элементарное», самоочевидное. Но когда элементарность в поэзии является только элементарностью, она нас не удовлетворяет. Читатель ее перерастает. Почти во всех стихах Исаковского «элементарность» подымается над самой собой, переходит в ту безусловную и глубокую простоту, про-

стоту основного, главного, фундаментального в нашей жизни — жизни самой внутренней, самой интимной и в то же время самой общей, всенародной. Ту простоту и всеобщность, которые выступают как продолжение простоты и всеобщности классической поэзии и которые отражают новую простоту, новую всеобщность, новое единство коллективного и индивидуального, созданных именно нашим временем, нашими идеалами. И отсюда та особая, неповторимая задушевность лирики Исаковского, которая и сделала ее спутником нашей жизни.

Много писалось об Исаковском, о народности его творчества, о значении его вклада в советскую поэзию. И все же вновь и вновь возникает потребность и необходимость поговорить с читателем об Исаковском, так же как и у читателя возникает еще раз потребность встретиться, поговорить с поэтом, послушать его песни.

В этом году исполняется шестьдесят лет со дня рождения Исаковского. Эта дата дает дополнительное основание и необходимость оглянуться на творческий путь Исаковского, задуматься над его значением.

Хотя Исаковский выступил еще в двадцатых годах, зрелость и расцвет его творчества связаны в основном уже с последующим этапом развития нашей поэзии. Он был одним из тех поэтов, которые проложили пути нашей поэзии после двадцатых годов. И пути эти были путями именно развития социалистического реализма в поэзии.

Перед Исаковским никогда не стояла проблема поисков своего места в революции, в новом мире, проблема, волновавшая в свое время ряд поэтов его поколения.

ния. Он с самого начала своей сознательной поэтической деятельности чувствовал себя частицей и представителем нового мира, и это облегчало, освещало пути его поэтического развития.

Наша жизнь поднялась,
словно песня большая-большая,—
Та,
которую хочется слушать
и хочется петь самому.
(1931)

Сравнение нашей жизни с песней кажется нам теперь элементарным и очевидным. Однако это сравнение органически присуще именно лирике Исаковского, оно естественно и закономерно в ней.

Грандиозность подъема нашей жизни, многообразие путей этого подъема голос Маяковского передавал, конечно, с большей силой, чем голос Исаковского. Поэзия нашей жизни у Маяковского выражена не в песне, а прежде всего в страстной ораторской речи — речи «агитатора, горлана, главаря». И хотя в поэзии Исаковского тоже есть ораторское начало, оно превращается в напев. Характерно полное отсутствие интонации «главаря» в его лирике. Исаковский подчеркивает, что он только слушатель и участник хоровой песни. Эта принципиальная скромность песни Исаковского является глубокой и постоянной чертой его лиризма. Творчество Исаковского отразило с особой ясностью и задушевностью именно как бы «хоровое» начало в самой личности советского человека.

Уже в сборнике «Провода в соломе» (1927), отмеченном Горьким, и особенно в стихотворениях конца двадцатых годов определилась, сформировалась поэтическая индивидуальность Исаковского, определилось то новое, что он внес в развитие социалистической лирики. Одним из первых Исаковский сумел раскрыть и передать новое поэтическое содержание повседневной «массовидной» практической жизни рядового советского человека (в особенности человека новой, советской деревни), отразить рост и созревание социализма, превращение идеала социализма в норму и основу всей жизни, бытия и быта советского человека.

Исаковский ввел в поэзию, так сказать, запросто и по-товарищески, целую галерею новых лирических героев, типических характеров и типических обстоятельств нашей жизни, тесно слитых с лирическим «я» поэта.

В его поэзии заговорили, зажили и крестьянин, вступающий в колхоз («Поэма ухода», 1929), и колхозный сторож, жертвующий своей хатой, чтобы спасти общественное имущество («География жизни»), и тракторист Ваня Грай, и деревенский почтальон с его любовными и нелюбовными делами, и сельская учительница, и «колхозница Маруся» («Юбка»), и многие другие советские люди разных дел и профессий — девушки и парни, матери и отцы, молодые и старики.

В первых стихах Исаковского это были главным образом люди советской деревни, и пафос их был пафосом социалистического преобразования деревни. В дальнейшем круг героев Исаковского все расширялся и далеко вышел за деревенские рамки. Оформился, определился новый лирический герой Исаковского, близкий и родной, с проникающим в душу голосом, часто мягко посмеивающийся и над своими друзьями и над самим собой. Все дела, помышления и чувства этого героя освещены единой целью, единым пафосом слитности своей судьбы с «суровой и ясной», «завидной» судьбой страны, первой в мире построившей социалистическое общество. В годы Великой Отечественной войны этот герой раскрыл все свое внутреннее богатство, все свои силы, и в лирике Исаковского нашла отражение красота подвига советского человека, Советской России.

Спасла ты, заслонила
От гибели весь мир.

Конечно, и до Исаковского или независимо от него поэзия повседневной и героической жизни советского человека, жизни, уже определившейся в существенных своих социалистических приметах, была воспроизведена и закреплена в творчестве ряда советских поэтов, начиная с некоторых стихотворений Какина, Демьяна Бедного, позднего Маяковского, Светлова и других весьма разных поэтов. Но на рубеже двадцатых и тридцатых годов произошел поворот к углубленной конкретности в изображении нового советского человека, в частности и нового лирического героя. Этот поворот отражал собой внедрение принципов социализма в гущу повседневных человеческих отношений, превращение его из далекого идеала в норму обычной жизни во всех ее существенных сторонах. Этот поворот определил собой новую стадию

развития художественного метода социалистического реализма — и в прозе и в поэзии.

В лирике произошло необыкновенное расширение и конкретизация «поэтической действительности» нового мира, проза новой повседневности стала поэтической, стала основной тканью поэзии. Внешним выражением этого явилось и более широкое использование в поэзии элементов и приемов повествовательной и описательной речи, углубление психологического анализа, изображения «диалектики души» нового лирического героя.

Этот процесс привел и к новому переосмыслению литературной традиции. Влияние модернистской поэтики преодолевались более решительно, чем в двадцатых годах, произошло новое возрождение классической традиции Пушкина, Некрасова — их углубленной простоты и правдивости, их высокого реализма. Но, конечно, это было не просто возвращение к этой традиции, а ее переработка. Творчество Исаковского сыграло большую роль в этом переходе советской поэзии к новому этапу своего развития. Оно подготовляло и в дальнейшем сопровождало появление таких произведений, как «Мать» Н. Деметьева, поэм и лирики А. Твардовского.

Основные темы и мотивы лирики Исаковского уже неоднократно анализировались нашей критикой (в том числе и автором этой статьи). Можно лишь напомнить и подчеркнуть, что круг этих тем и мотивов охватывает самые основные стороны жизни, мыслей и чувств советского человека: труд, творчество, любовь, защиту родной страны от фашистского варварства, борьбу за коммунистическое будущее.

Особенно характерна для Исаковского тема культурного и, если можно так выразиться, эмоционального роста и возвышения человеческой личности в процессе строительства и утверждения новых, социалистических отношений между людьми. В стихах двадцатых и начала тридцатых годов Исаковский с особой любовью воспроизводит и утверждает самые первые, подчас еще наивные (до трогательности) формы этого роста, роста людей, которым Советская власть открыла выход из «тараканьей тоски» старой деревни к справедливой жизни и «зеленым звездам» «ночных тракторов». Лирика Исаковского и есть отражение этого роста, этого пре-

вращения бывшего батрака Степана (из замечательной лирической поэмы «Четыре желания»), который имел «четыре желания» и ни одно из них не мог удовлетворить, в сознательного хозяина «зеленых звезд», в нового человека, уверенно сажающего «вишню», из которой вырастет счастье всего человечества.

Детство и ранняя юность Исаковского прошли еще в дореволюционной деревне, и контраст этой жизни с новыми возможностями и достижениями советского человека также является одной из центральных тем Исаковского вплоть до некоторых стихотворений уже послевоенных лет (например, «Детство»).

Это отталкивание от прошлого («Догодай, моя лучина...»), обостренное и незатухающее осознание огромности того нового и светлого, что принесла любому советскому человеку социалистическая революция, дает историческую перспективу и фон всей лирике Исаковского вместе со столь же ясным и постоянным осознанием перспективы будущего. Для Исаковского эта перспектива всегда является глубоко личным, душевным переживанием, всегда свежим. Лирический герой Исаковского всегда поет большую песню новой жизни, «словно в первый раз на свете» (А. Твардовский).

Слияние, взаимопроникновение героического и будничного, общественного и личного — это общая черта социалистического реализма. Но в лирике Исаковского она выступает со стороны, если можно так выразиться, особой простоты и скромности.

В известном стихотворении «Прощание» («Дан приказ: ему — на запад...», 1935) воспроизведены та героиня и те люди эпохи гражданской войны, которых уже неоднократно воспевала советская поэзия до Исаковского. Но воспроизведены они здесь в форме простой сценки прощания двух влюбленных, написанной с оттенком юмора («Напиши... куда-нибудь»). Пафос гражданской войны, как внутренний свет, освещает и определяет все детали личного поведения, бытия и быта. Масштаб героини «Прощания», конечно, не столь значителен по сравнению с «Перекопом» Н. Тихонова или «Гренадой» М. Светлова. Но это не только отблеск той же героини, но и ее продолжение и развитие, это новый метод ее воспроизведения, и «Прощание», при всей его непритязательности и скромности поэтических средств, представляет собой

своеобразнейшее, даже, можно сказать, новаторское стихотворение, оказавшее немалое влияние на советскую поэзию. В нем слились лирико-«очерковая», драматизированная сценка с элементами героической баллады и высокой лирической песни. Сдержанный пафос оттенен и усилен здесь столь характерным для Исаковского любовным юмором и необычайной конкретностью в передаче примет времени, обстановки, интонации речи. Поэт находит непринужденную, сердечную, товарищескую манеру обращения и разговора со своими героями, он как бы объединяется с ними и благодаря этому достигает удивительной непосредственности контакта со временем, с великими историческими событиями.

В дальнейшем Исаковский далеко ушел вперед от «Прощания». Он создал такие стихи, как «В прифронтовом лесу» и «Русской женщине». Здесь героика советского человека дана уже в прямых и важнейших своих проявлениях, в напряженнейшие, высокие минуты. Но и здесь, в другой форме, мы имеем тот же синтез героического и простого, монументального размаха обобщения — и непосредственной, почти «очерковой» конкретности; то же искусство воспроизвести великие исторические дела со стороны их скромности, как бы даже интимной, домашней, — и тем выразительнее, новее, сильнее они выступают.

Таким образом, новое, что внес Исаковский в поэзию и что он взял из самой действительности, было не только новизной тем, но и новизной метода их изображения. Исаковский ищет все более непосредственный, прямой контакт с жизнью, все большую простоту и достоверность ее красоты. Но, пожалуй, лучше всего можно показать особенности поэтики и мастерства Исаковского путем подробного разбора отдельных, «ключевых», его стихотворений.

Вспомним прежде всего «Поэму ухода». Это стихотворение относится еще к 1929 году, но в нем талант Исаковского уже достиг зрелости.

Пафос стихотворения — пафос «года великого перелома», решительного разрыва крестьянина со старой, частнособственнической жизнью. Это было одно из самых первых стихотворений на эту тему. Исаковский откликнулся на «великий перелом» с чрезвычайной быстротой, что насколько не помешало полноте художественной

разработки темы. Наоборот, именно горячая современность отклика, прямой и тесный контакт поэта с тем историческим событием, которое он воспевал, именно непосредственность отклика на основе ясного понимания исторического смысла события, его направления, его будущего, горячее и страстное стремление помочь своему герою выйти из «тараканьей тоски» и вера в реальную возможность этого выхода — все это и создало особую, столь неповторимую и потому столь долговечную художественную силу «Поэмы ухода».

Лирический разговор идет здесь не от лица самого автора, а от лица крестьянина, решившегося порвать со старой «тараканьей тоской» хуторской России. Судьба лирического героя осмыслена и выражена как большая историческая судьба, «судьба человеческая, судьба народная». Лирический герой раскрыт как историческое лицо и в то же время живая, конкретная индивидуальность, слитая с движением мысли-чувства, лиризма авторского «я», и освещенная этим движением.

Вот как дана характеристика того, с чем порывает, от чего уходит герой стихотворения.

Выйдешь в поле,
а в поле — ни сукина сына,—
Хочешь пой,
хочешь вой,
хочешь бей головой ворота —
На двенадцать засовов
заперта хуторская Россия,
И над ней
умирает луна —
Эта
круглая сирота.

Неоспоримо мастерство и сила этого отрывка. В чем же его своеобразие и «секрет»?

Сначала грубейший прозаизм («а в поле — ни сукина сына»), но он отвечает реальным элементам старой крестьянской речи и глубоко оправдан характером героя, ужасом всей той хуторской России, от которой он уходит. Самая грубость, вульгаризм речи подготавливает резкость разрыва. Далее — удивительный переход в нарастающую, поющую жалобу (действительно почти вой), что подчеркнуто и тонкой, без нажима, оркестровкой самого звучания (преобладание ударной гласной «о» с аккомпанементом «у», «ы», «а») и на-

растающими повторами, синтаксическими параллелизмами, внутренними рифмами («пой-вой-головой»). «Воющий» крик-жалоба переходит в обобщающий образ «запертой» на двенадцать засовов хуторской России (причем слово «засовов» музыкально тонко подкрепляет этот переход). И вершина нарастания трагизма достигается смелым использованием своеобразной метафоры-каламбур: сама луна в этой ночи хуторской России — только «круглая сирота» и она «умирает», как сирота. Да, уж дальше как будто идти некуда: «хочешь бей головой ворота!» Однако сдержанный юмор, глубоко скрытый в каламбурном образе, не только оттеняет, но в то же время и смягчает этот трагизм, стилистически и эмоционально подготавливает тот переход к новому, который дает последующее движение стихотворения. Ибо на деле-то положение героя совсем не безвыходное и совсем он не «круглый сирота»! Ибо все двенадцать засовов хуторской России уже открыты, и «незабвенный товарищ Петров» уже осветил дорогу вперед «зелеными звездами» ночных тракторов.

Я к нему подойду —
 к человеку хорошей науки —
 И скажу, что пришел
 под его под колхозную власть.
 Я вручу ему молодость,
 силу и руки.
 И крестьянскую часть,
 и крестьянскую часть.
 Он ответит мне — голосом
 теплым и чистым,
 Он покажет,
 где силы мои приложить
 Я, наверное, стану
 неплохим трактористом
 И сумею
 доверие заслужить.

Пафос выхода, сменяющий пафос ухода, также передан с предельной простотой, даже будничностью — прозаичностью интонации. «Я, наверное, стану неплохим трактористом и сумею доверие заслужить» Фраза звучит почти по-газетному и, во всяком случае, взята из повседневной речи. А эпитет «незабвенный» в отношении «товарища Петрова» окрашивает этот пафос чуть заметной сердечной улыбкой автора, которая еще сильнее оттеняет взволнованность рассказчика.

Как видим, за внешней безыскусственностью скрывается большое богатство интонационных переходов, контрастов, ассоциа-

ций, уподоблений, картин старого и нового. И все это слито в стройное, гармоничное целое, ибо подчинено основной мысли-переживанию, основной правдивой тенденции. И она определяет ведущую интонацию стихотворения, его музыку, его общий простой, но в то же время поэтический строй. Именно реальность выхода из «тараканьей тоски» с художественной необходимостью позволяет и заставляет драматический «вой» «круглого сироты» просветлить другой интонацией, основанной на вере в будущее, в «зеленые звезды», заставляет и самый трагизм окрасить теплым юмором, основанном на этом знании выхода, позволяет сплавить эти интонации в некое единство, отмеченное высокой простотой. А сама эта простота создается ясностью поэтического идеала и поэтического видения.

Разрыв со старой хуторской деревней раскрыт с позиции нового, социалистического человека. Герой стихотворения еще не совсем знает, что несет ему будущее. Но поэт знает и верит. Два «я» — лирическое «я» автора и «я» лирического героя — сочетаются в единой и в то же время сложной синтетической интонации на основе единой идейной тенденции. Два разных, хотя и дружественных социальных типичных характера со своей речевой характеристикой окрашены единым лирическим пафосом. И оба характера представляют разные стороны такого объективного общественного, совершенно не зависящего от лирического «я» события, как «год великого перелома».

Здесь рождается и столь характерный для Исаковского мягкий юмор, освещающий внутренней улыбкой все переживания героя; он также помогает поэту вести за руку своих героев к их же будущему.

Исаковский создает, сочетает самые разнообразные словесные лады: разговорную, ораторскую, песенную и даже романсную речь; описание, призыв, лирическую жалобу с примесью сдержанного юмора, «грубейшие» прозаизмы и высокие метафоры («зеленые звезды» ночных тракторов, «на музыку ветра положена ночь» и т. д.). Все это многообразие синтез, объединено ясной и правдивой тенденцией, превратившейся в сдержанный, но глубоко лирический пафос.

Интонационный синтетизм «Поэмы ухода» как будто и не нов, истоки его можно

найти и у Некрасова, отчасти у Есенина, и у Маяковского, хотя манера последнего внешне очень далека от манеры автора «Поэмы ухода». Но там, где у Некрасова был протест и искание выхода, там у советского поэта выступает реальная возможность выхода. И отсюда особая, можно сказать, небывалая прозрачность, гармоничность интонации и небывалый жанровый синтетизм «Поэмы ухода», соединяющей в себе своего рода «историческую песню» — действительно целую поэму, дающую монументальный образ большого исторического события, — с лирическим рассказом-размышлением, со своеобразной оптимистической элегией, осложненной и обогащенной элементами юмора, и песни, и очерка.

«Поэма ухода» была настоящим открытием в нашей поэзии двадцатых годов. Уже одна эта поэма показывает, что совершенно неправы те, кто твердит о «банальности» и «традиционности» Исаковского.

Вспомним теперь другое стихотворение Исаковского — «В прифронтовом лесу» (1942). Оно ассоциируется для нас с мотивом популярной песни. Но песенная мелодия не полностью передает внутреннее богатство стихотворения. Чем же так хваляет за душу это, как выразился А. Дерман, «незамысловатое» стихотворение, широко использующее самые, казалось бы, банальные интонации?

Пафос стихотворения — суровая необходимость и красота всенародного подвига. Тема и тональность отражают обстановку первых лет, самых тяжелых лет Великой Отечественной войны, волю к победе ценой любых жертв. Как же подходит Исаковский к этой теме? Уже в самом выборе лирического сюжета проявляются его художнический такт и своеобразие.

...Бойцы в осеннем прифронтовом лесу, где «с берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист», слушают, как гармонист играет старинный вальс «Осенний сон».

Вдыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы —
Товарищи мои.

Вы слышите эту задушевную и простую мелодию, как будто действительно напоминающую старинный вальс. И, «словно в забытьи», слушают ее бойцы в какой-то короткий момент отдыха — после боя и перед

боем. И простым ритмическим и синтаксическим ходом обнажено, подчеркнуто главное — речь идет о бойцах, о товарищах и поэта и всех нас. Дальше «я» поэта уже непосредственно сливается с коллективным «я» товарищей и бойцов. Они вместе слушают, вместе вспоминают под звуки старинного вальса, осеннего вальса в осеннем лесу:

Под этот вальс весенним¹ днем
Ходили мы на круг,
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг;

Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет,
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.

Какая подчеркнутая традиционность, как бы банальность, даже архаичность лексики («очей любимых свет»)! Какие «романсные» приемы! Это действительно старинный, сентиментальный вальс, и вся ритмика, огласовка передают мелодию, настроение вальса. И кажется так далеко это от войны, от сурового, страшного 1942 года, от его крови, смерти, неслыханных, жесточеннейших в истории человечества боев. Но именно в этом исходном контрасте ярко проявилась вся сила таланта Исаковского и того, что Белинский называл «тактом действительности». Ведь война у всех стояла за плечами — и у гармониста, и у слушающих его бойцов, и у поэта, и у тишины осеннего леса!

Отметим попутно, что за «банальным» сравнением («очей... свет») стоит тонкая ассоциация. Это ведь воспоминание о тех минутах юности и любви, когда все время «ловим мы» «очей любимых свет». Исаковский передает возвышенность и чистоту и этих первых минут любви и самого воспоминания о них на фоне «прифронтового леса». И естественно возникает затем (в следующих двух строчках) новая ассоциация — воспоминание о минутах грусти, о первых разлуках, — «когда подруги нет». Ибо ведь сейчас война, встала угроза самой тяжелой разлуки со всем любимым.

Все эти сложные, богатые переливами переходы, связи человеческих чувств переданы

¹ Тонкий подтекст создает это сочетание осеннего дня и «осеннего» вальса с воспоминанием о весеннем дне. Оно оттеняет контраст весны жизни с суровостью войны и в то же время напоминает о молодости, бодрости.

с той предельной истиной и простотой истины, которые и составляют художественность.

Вся сцена изображена с полной безыскусственностью и даже, казалось бы, с оттенком сентиментальности, столь не подходящей пафосу стихотворения. Но война звучит в нем как грандиозный и грозный подтекст, она стоит за сценой. И сама сентиментальность мелодии старинного вальса, и тишина осеннего леса, и невесомость падающих листьев, и воспоминания бойцов глубоко оттеняют беспримерность, напряженность, суровость борьбы. А с другой стороны, всей этой картиной и соответствующей музыкой стиха создается атмосфера задумчивой и просветленной грусти, теплой надежды, подготавливающая переход к прямому призыву к борьбе.

Этот переход составляет вторую половину стихотворения, резко контрастирующую с первой и в то же время органически из нее вырастающую. «Лирическое воспоминание» о прошлом, о мирной довоенной жизни, сила и простота воспоминаний напоминают нам о значимости тех светлых человеческих ценностей, за которые идет борьба. Ибо, выражаясь общеизвестными словами «Василия Теркина», бой шел «не ради славы, ради жизни на земле». Вот эта жизнь — на земле — и нависшая над ней угроза — и звучат в неслышном падении ставших «невесомыми» листьев осеннего леса, в звуках старинного вальса, в мелодии воспоминаний, ассоциаций, переживаний, ими вызванных. Так естественно возникает переход к необходимой борьбе за светлое, человеческое, родное, народное.

Начало этого перехода:

И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом...

Война напоминает о себе. Она стоит за плечами.

И каждый слушал и молчал
О чем-то дорогом...

Опять найдены необыкновенно простые слова, одновременно дающие и картину переживания и его оценку. И выразительно звучит это молчание «о чем-то дорогом».

И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну,
Но каждый знал — дорога к ней
Ведет через войну...

И вот война прямо вошла в стихотворение. Задушевное описание, раздумье, воспоминание сменяются непосредственным, горячим обращением, убеждением, размышлением. Переход резкий, хотя и подготовленный; как будто вздрагиваешь, очнувшись от воспоминаний:

Так что ж, друзья, коль наш черед,—
Да будет сталь крепка!

Песня-описание переходит в речь оратора, сохраняя мелодичность и задушевность песни.

Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час...

Вместе с поэтом, вместе с бойцами мы сливаемся в нарастающем чувстве коллективного долга, воли к борьбе. И мы знаем:

А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз.

В этих словах — сознание долга и огромность той жертвы, которую, может быть, придется принести, готовность к ней и сила мужества, побеждающего страх смерти!

И, пройдя через эту готовность, мы знаем, чувствуем: «что положено кому — пусть каждый совершит». Прозанизм «что положено кому» с художественным тактом напоминает о воинском долге, о суровом и справедливом языке воинского устава, солдатской речи. Но этот прозаизм — только оттенок. И вслед за ним вырывается наружу, звучит во весь голос прямой пафос всего стихотворения, всего Исаковского, всего народа:

Настал черед, пришла пора,—
Идем, друзья, идем!
За все, чем жили мы вчера,
За все, что завтра ждем;

За тех, что вянут, словно лист,
За весь родимый край...

Так песня-разговор переходит в могучую и прямую ораторскую речь, сохраняя и расширяя песенное звучание. А сравнение с вянущим листом создает глубинную переключку с началом стихотворения, своеобразную «спиральную» композицию развития чувства-мысли. И в конце стихотворения вырывается как будто неожиданная, но глубоко подготовленная новая мелодия — призыв к бою.

Сыграй другую, гармонист,
Походную сыграй!

Прекрасно передана в этом стихотворении общность мысли, общность пережива-

ния и общность решения-подвига. Авторское «я» совершенно неотделимо слито с коллективным лирическим героем («товарищи мои») и в то же время живет как самобытная, неповторимая индивидуальность, идет с бойцами и впереди них в бой.

Лирическое «я» выступает здесь, с одной стороны, как участник сцены «В прифронтовом лесу», как тот, кто вместе с бойцами слушал осенний вальс и вместе с ними пойдёт в бой. И, с другой стороны, поэт обращается не только к этим бойцам, но и ко всем бойцам, которые читают его стихотворение. Переход от образа поэта, участника описанной им коллективной сцены, к образу поэта, говорящего уже со всем народом и своим собственным голосом и голосом своих товарищей по «прифронтовому лесу», происходит совершенно незаметно.

Как «Поэма ухода» и «Прощание», «В прифронтовом лесу» — сюжетное стихотворение. Стихотворение также сочетает в себе принципы «исторической песни» о конкретном историческом событии, всенародно м поступке-действии, с лирическим рассказом-очерком. Сюжет еще более индивидуализирован, чем в «Поэме ухода», — это рассказ-очерк о конкретном случае, факт из жизни, из «географии жизни» и биографии поэта. Но это не повествовательная, а именно лирическая сюжетность. Лирическим событием является здесь само переживание — бойцов и поэта, — движение этого переживания. И эта лирическая сюжетность очень типична для всей советской поэзии. Она сливает в себе личную историю с историей великого всенародного подвига, включает в себя, не теряя качества лиризма, эпическое героическое начало. Элегия сливается с героической песней, одой и в то же время с сюжетной лирикой типа баллады и даже послания и, наконец, с элементами романа.

Интонационный и жанровый синтез, типичный для советской поэзии, в этом стихотворении Исаковского достигает необычайной целостности. Хотя диапазон поэтических средств как будто и неширок, но «оркестровка» их, или, точнее, их «хорошая» гармония, поэзия поразительна. Индивидуальной особенностью Исаковского является и здесь предельная непосредственность, сердечность этого синтеза, его простота и скромность.

«В прифронтовом лесу» — одно из лучших (если не лучшее) и одно из наиболее внутренне оригинальных и смелых, несмотря на кажущуюся «незамысловатость» (незамысловатость и без кавычек, ибо искусство должно быть богатым и умным, но не «замысловатым»), стихотворений Исаковского и, смело можно сказать, одно из лучших произведений нашей лирической поэзии.

Вспомним стихотворение Исаковского «Русской женщине» (1945). В нем создан простой, конкретный и в то же время собирательный, монументальный образ той, что в годы великой войны пронесла на себе «безмерную тяжесть», той, чье имя, «как клятву», как «молитву», шептали бойцы «на переднем краю». Многие поэты по-разному воспевали героизм советской женщины в годы войны. Но мало кто сумел рассказать о ней с такой удивительно сердечной простотой и теплотой, с такой непринужденностью душевного разговора самого близкого, самого родного человека.

...Да разве об этом расскажешь —
В какие ты годы жила!

Стихотворение начинается именно как живая, сдержанно взволнованная беседа, и дальше продолжается эта беседа-рассказ о подвиге труда, терпения, любви русской женщины, о ее беспредельной скромности и силе.

Красота советского человека, его подвигов, его труда — все это вошло в советскую поэзию начиная с ее первых шагов. Но достаточно сравнить образы русской женщины в этом стихотворении Исаковского с образами советской женщины в лирической поэзии до Исаковского, чтобы ясно ощутить новое, увиденное и переданное поэтом.

Вспомним, например, «Рабфаковку» Светлова (1925). «Рабфаковка» была подлинно новаторским стихотворением. В нем выступил один из новых лирических героев советской поэзии — рядовая советская девушка в ее будничности и в ее романтике.

В стихотворении Светлова подвиг, поэзия жизни рабфаковки, новой советской девушки, раскрывается не только и не столько путем изображения непосредственных деталей, ситуаций, штрихов ее собственной жизни и работы, сколько путем авторских ассоциаций и сопоставлений с героическими образами женщин прошлого — с Жанной д'Арк, например.

Отдельные конкретные детали («платье серенькое... на спинке стула» и т. д.) жизни рабфаковки подчинены этим контрастным и «приподымающим» бытовую реальность параллелям и слиты в собирательном, «собственно» высоком образе.

Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели.

Исаковский продолжает этот путь «высокого лирического синтеза» исторической и бытовой конкретности образа нового лирического героя, синтеза его идеального и реального значения. Но в отличие от Светлова Исаковский героический пафос русской женщины «выводит» как бы исключительно из ее конкретных повседневных дел.

Рубила, возила, копала,—
Да разве всего перечтешь?

Всякие «приподымающие» параллели в «Русской женщине» отсутствуют, поэт дает конкретный, без прикрас, но освобожденный от всего мелкого, случайного образ героической русской советской женщины, «сказавшейся» «как она есть». Как и в стихотворении Светлова, поэт выступает здесь как непосредственный задушевный собеседник и товарищ своей героини (она «сестры родней» Светлову). Но в отличие от стихотворения Светлова Исаковский не сравнивает и не комментирует, он сливается со своим рассказом, с течением жизни героини. Стремление к более полному слиянию идеального и реального, героики и скромности сопровождается изменением господствующей интонации стиха по сравнению со стихотворением Светлова в сторону еще большей простоты и непринужденной разговорности.

Интонация стихотворения «Русской женщине» — это интонация задушевного разговора товарища и друга русской женщины, который словно бы вместе с ней рубил, возил и копал, вместе с ней писал письма на фронт и вместе с бойцами на переднем крае читал их «святую неправду».

...И ты перед всею странюю.
И ты перед всею войною
Сказалась — какая ты есть.

Широкая историческая картина, на фоне которой «перед всею странюю» выступают дела русской женщины, отсутствие узкоин-

дивидуальных штрихов в ее обрисовке с типической для многих стихотворений Исаковского интонацией «высокой песни» — ораторской и задушевной одновременно — придают образу русской женщины черты собирательности, монументальности. Возвышенное содержание образа дано прежде всего как высота конкретного, простого, повседневного труда.

Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.

В холодные зимы, в метели,
У той у далекой черты
Солдат согривали шинели,
Что сшила заботливо ты.

В качестве высшей оценки поэт говорит лишь, опять-таки сохраняя форму непринужденного живого обращения:

Сказалась — какая ты есть.

Это простейшее «какая ты есть» больше всех восклицаний, деклараций, метафор, ассоциаций и сопоставлений передает нам величие русской женщины, ибо действительно суть ее величия и состояла в том, что она полностью «сказалась», полностью проявила себя, свою суть. Тут все говорит само за себя, автор лишь напоминает о том, что есть.

Высокий, монументальный, идеальный образ русской женщины выступает главным образом в ее простоте и скромности, и на этом основан сам художественный метод Исаковского. Контраст этой скромности и, так сказать, деловитости изображения с монументальностью подвига создает новую идейную и эмоциональную силу лиризма. И в самом характере рассказчика — лирического «я» — выступили новые черты собирательной поэтической личности советского народа, в той стадии и форме развития этой личности, когда героическое и будничное слились в простоте и скромности ежедневного подвига. Я не хочу сказать, что «Рабфаковка» хуже «Русской женщины». Оба стихотворения очень хороши. В некоторых отношениях «Рабфаковка», может быть, даже совершеннее. Но в «Русской женщине» Исаковского выражаются те новые тенденции, возможности развития социалистического реализма в нашей лирике, которые в период создания «Рабфаковки» еще не существовали.

Можно привести и другие сходные примеры. Читатель может сам проделать соответ-

ствующий сравнительный анализ и убедиться в том, что в «Русской женщине» Исаковского мы имеем, с одной стороны, продолжение традиции классической русской лирики (начиная с некрасовских лирических героинь, да и более ранних) и традиции уже немало (ко времени написания «Русской женщины») опыта новой, социалистической лирики, а с другой стороны, нечто совершенно новое.

Стихи Исаковского, как правило, сюжетны, предметны. Они всегда рассказывают о каком-то законченном, определенном лирическом событии, переживании. Эти события бывают большими или маленькими, трагическими или шутливыми, подвигом целой страны или сценой зарождающейся любви. Но всегда они освещены и направлены ясной и правдивой мыслью — тенденцией, отвечающей общему пафосу нашей поэзии. Поэтому Исаковский сравнительно редко говорит только «от себя» или «о себе». Поэтому он сливается с лирикой, включает в нее элементы повествования, описания, разговоры в лицах, драматические происшествия, но возвышая все это до самого непосредственного лиризма.

Лирическое «я» обычно проявляет себя или в обращении, разговоре поэта с его героями: любимой женщиной (например, в прекрасном стихотворении «Услышь меня, хорошая...»), подругой, товарищем, или собирательным героем (например, «русской женщиной»), или даже со всей страной (например, «Слово о России»). Или (еще чаще) в лирическом рассказе или «очерке», в основе которого лежит определенный законченный сюжет-переживание (например, чудесное стихотворение «Вишня», «Прощание», знаменитая «Катюша» и множество других).

Часто Исаковский выступает от имени одного из своих героев, как в «Поэме ухода» или во многих его общеизвестных песнях («Каким ты был, таким остался...», «На закате ходит парень...» и т. д.). Но это не «сказовая» манера: голос лирического героя обычно сливается с голосом самого Исаковского, окрашен его пафосом или его улыбкой (как в «Поэме ухода»). И только в отдельных стихотворениях начала тридцатых годов, как, например, в «Юбке», «Географии жизни», Исаковский использует настоящий «сказ».

Голоса героев и голос лирического «я»

выступают в самых разнообразных соотношениях. Но иногда достигается то удивительное многостороннее и полное слияние голоса «от себя» и голоса героев, которое мы видели на примере стихотворения «В прифронтовом лесу».

Лирический герой или лирическое «я», как правило, связаны с определенной, конкретной ситуацией или единичным «лирическим событием», сюжетом.

В поэзии Исаковского лирическая сюжетность становится господствующим лирическим жанром (хотя отнюдь не отменяет и существования обычных, «несюжетных» лирических стихотворений) и приобретает качественно новые черты.

Лирическая сюжетность внешне проявляется прежде всего как жанровый синтетизм. Совмещаются признаки, характерные для баллады, элегии, послания, оды и других жанров. Но лирическая сюжетность не сводится к простому «включению» в лирическое стихотворение «эпических» повествовательных или описательных и «драматических» элементов. Лирический сюжет включает в себя развитие, с одной стороны, самой авторской мысли или чувства, вызванных каким-то конкретным случаем, и, с другой стороны, развитие лирических характеров, связанных этим сюжетом с лирическим «я» автора. Иногда «сюжет» связан, как в «Русской женщине» и «Поэме ухода», с очень обобщенным изложением большого исторического события, без ясно индивидуализированных персонажей.

Но иногда Исаковский добивается более развитой индивидуализации сюжета и действующих лиц. Например, в известной песне «На закате ходит парень...» дан индивидуальный образ и «моргающего», вздыхающего, застенчиво-влюбленного парня и чуточку лукавой, но также застенчивой и влюбленной девушки — лирической героини, от лица которой поется песня. Авторское лирическое «я» в этой песне на первый план вовсе не выступает, но оно тоже присутствует «за кулисами» в форме добродушного и сердечного авторского юмора, «постановщика» этой сценки. В «Прощании» (1935) чрезвычайно сжато, двумя-тремя штрихами также обрисованы два лирических характера, и лирическое стихотворение-песня одновременно превращается в настоящую сцену из лирической исторической драмы с развитым диалогом, авторскими ремарками и своеобразной концовкой (восклицание одно-

го из героев: «напиши... куда-нибудь»), афористически сжато обрисовавшей и характер героя и характер обстоятельств жизни страны в период гражданской войны. И здесь также поэт прямо «от себя» ничего не говорит, но авторская «субъективность» проявляется не только в обрисовке характеров и поступке героев (как это было бы в прозаическом рассказе), а и в авторской интонации рассказа-песни, роль которой мы видели и в стихотворениях другого жанра, типа «Русской женщине», «Поэмы ухода», «В прифронтовом лесу». Здесь жанровый синтетизм особенно широк, стихотворение приобретает черты предельно сжатой лирической поэмы с элементами действительно эпического размаха и одновременно задушевного, почти интимного по тону лиризма.

Мы уже говорили об интонационном синтетизме у Исаковского, который заметен даже в таких коротких стихотворениях, как «Ласточка» и «Пробилась зелень полевая...».

В основе этого интонационного сплава везде лежит живая разговорная речь, но очищенная от вульгаризмов и диалектизмов. В эту речь входят как прозаизмы (хотя, в общем, Исаковский пользуется ими очень умеренно), так и «высокие», подчас книжные обороты.

Язык Исаковского не очень богат, но содержит в себе основные «пласты» живой речи. Обычно речь лирического «я» имеет более обобщенный, идеализированный характер, а речь героев включает в себя больше резко выраженных прозаизмов и больше индивидуализирована.

Другой основной интонационный «лад» поэзии Исаковского — это песенный лад, часто сопряженный с элементами ораторской речи. Разделить «ораторские» и песенные приемы у Исаковского обычно трудно, преобладает все же отчетливо напевное начало. Стихотворения с резким преобладанием ораторской интонации Исаковскому относительно мало удаются. Наиболее яркие примеры ораторских интонаций у Исаковского — «Слово о России», «Слово к товарищу Сталину», но ораторская речь и здесь слита с основной для Исаковского интонацией задушевного разговора-обращения и напевными элементами, что отличает ораторские интонации у Исаковского от ораторских интонаций Маяковского.

Исаковский известен в народе главным образом как автор песен, и литература об

Исаковском также останавливается главным образом на анализе его песенного мастерства. И действительно, разговорная речь, как правило, «поднята» Исаковским до музыкально-песенной. Но ни в одной из песен Исаковского нет только песенных интонаций. Ряд стихотворений Исаковского — и притом лучших — содержит лишь элементы собственных песенных интонаций, хотя и поется как песни. Многие — и притом также из лучших — стихотворений Исаковского («Вишня», «Ласточка» и другие) совсем не содержат специфических песенных оборотов и приемов и уже не могут бытовать как песни, хотя также все-таки содержат элементы музыкальной, мелодической речи. Поэтому правильнее говорить об общей музыкальности, мелодичности речи Исаковского.

В советской лирике начала тридцатых годов — в частности, лирике Исаковского — отражается стремление нового, советского человека, уже построившего основные элементы социалистического общества, к более полному и многостороннему развитию, выявлению всех сторон своей личности, личности хозяина новой земли, перед которым, как сказано в одном из стихотворений Рыленкова, открылся мир «как на ладони весь». В лирической поэзии возникло стремление к детальному, многостороннему воспроизведению образа лирического героя во всей полноте его личной и общественной жизни.

Эта новая ступень развития социалистической лирики отнюдь не отменяла предыдущую. Прогрессивное развитие искусства никогда не идет путем ликвидации предыдущего этапа. Наоборот, каждое достижение искусства остается вечно жить и в его последующем движении, ибо подлинное произведение искусства всегда сохраняет неповторимую поэзию именно данного момента, данной стадии развития человечества. Подлинное искусство всегда современно, но не может быть только временным, так как специфика и назначение искусства состоят в том, чтобы делать временное вечным или хотя бы долговечным, современное — будущим и будущее — современным.

Таким образом, лирика тридцатых годов не отменяла лирику двадцатых, а сохранила и развила ее.

Переход к новому этапу, к углублению и конкретизации лирического героя и лирического «я», к более многосторонним и детальным связям с той действительностью, которая была построена советским человеком и предстала перед ним как новый, уже им построенный богатый мир,— этот переход происходил как путем обновления творческого метода поэтов, сложившихся еще в двадцатых годах (например, Асеева, Сельвинского, Багрицкого, Тихонова, Заболоцкого, Светлова и других), так и путем появления целого ряда новых поэтов — Твардовского, Симонова, Кедрина, Н. Деметьева, Суркова, Корнилова, Берггольц, Прокофьева, Щипачева, Смелякова и многих других,— в той или иной мере отразивших эти новые тенденции.

Это новаторство разными поэтами осуществлялось с разной силой.

Мы видели и индивидуальную роль Исаковского в этом повороте. Здесь и художественное открытие Исаковским новых лирических характеров, в частности лирических характеров, выращенных новой, социалистической советской деревней. Здесь и пафос простоты и скромности нового человека и задушевность, интимность контакта лирического героя и лирического «я» с основным, главным, наиболее простым и важным в нашей действительности. Здесь и полное, беззаветное, забывающее себя слияние лирического характера с общим пафосом «суровой» и «завидной» судьбы нового общества, пафосом социалистического коллектива. И особая роль песенного начала и слияние его с простым, сердечным, дружеским разговором поэта со своими товарищами по социалистическому коллективу. Этот разговор у Исаковского подчас еще является несколько элементарным, простодушным и теперь не во всем уже удовлетворяет душевные потребности коллектива строителей нового мира. Но это все же настоящий, любовный, душевный поэтический разговор, который сделал Исаковского необходимым спутником и участником духовной жизни советского человека.

Более тридцати лет назад М. Горький впервые обратил внимание на талантливость и самобытность совсем еще тогда молодого и не замеченного литературной критикой Михаила Исаковского.

Теперь, через столько лет, радостно оглянуться на большой путь, пройденный поэтом. Сейчас уже нет людей, которые оспа-

ривали бы значение Исаковского как народного лирика и песенника, а песни Исаковского достигли небывалого всенародного и международного признания и распространения. И многие другие советские поэты — подчас незаметно для самих себя — впитали, усвоили и продолжили ряд поэтических открытий Исаковского и иногда даже с оттенком снисходительности рассматривают его стихи как что-то уже элементарное и давнее, почти школьное, забывая о том, чем они обязаны этой школе.

Лирика Исаковского неравноценна. В его творчестве, как и в творчестве других советских поэтов, мы всегда чувствуем противоречие между уже наметившимися новаторскими возможностями социалистического реализма как художественного метода и еще относительно неполным осуществлением этих возможностей. Это связано и с молодостью нашего реализма, нашего искусства, это связано и с ошибками и недостатками нашей литературы, которые имели место в период культа личности. Нельзя не видеть и некоторые индивидуальные рамки возможностей Исаковского. Несомненно, что ему несколько не хватает поэтической выдумки, фантазии, изобретательности. Его индивидуальный «поэтический инвентарь» не очень разнообразен. Тем более поучительно то новое и действительно замечательное, чего удалось достигнуть Исаковскому, особенно в его лирике тридцатых годов и военных лет.

Если верить Фукидиду, Перикл говорил от имени древних афинян классического века греческой демократии и греческого искусства: «Мы любим красоту, состоящую в простоте».

Мы все понимаем, что красота не сводится только к простоте. Но глубокая правда слов Перикла заключается в том, что в красоте искусства самое сложное и глубокое выступает как самое простое, непосредственное, очевидное. Искусство не упрощает правду жизни, но возводит ее в простоту; в особенности искусство социализма.

Красота, состоящая в простоте, отражает красоту той простоты, которая уже есть в самой жизни. Вспомним еще слова Беллинского: «Простота есть красота истины».

В необыкновенном чувстве красоты самой простоты, быть может, и состоит самый тонкий «секрет» мастерства, художествен-

ности, очарования лучших стихотворений Исаковского. И это новая простота, та простота, та ясность, та определенность мыслей и чувств нового человека, которая создана единством цели, реальностью его идеала, которая создается новой прозрачностью отношений человека к человеку.

Вольтер когда-то писал: «Конечно, с простым гражданином могут случаться самые трагические происшествия, но они никогда не производят такого впечатления, как несчастья государей, так как их судьба связана с судьбой всей нации».

Социалистическая революция впервые в истории создала такой общественный строй, в котором судьба каждого простого гражданина связана с судьбой всей нации и каждый гражданин несет реальную ответственность за судьбу своего общества. Это коренное изменение роли человеческой личности и содержания ее деятельности легло в основу новаторства социалистической лирики, определило новый тип лиризма, посредством которого каждый гражданин, каждое элементарное «я» нашего народа, выступает как «я» всего народа. Это единство одновременно и простое и очень сложное, опосредствованное чрезвычайно многообразными отношениями человека в новом общественном строе. Лирика Исаковского поэтически открыла и закрепила нам некоторые очень существенные стороны этой новой роли личности в истории — и в частности простоту, интимность этого многообразного единства, его задушевность и связанную с ней внутреннюю скромность советского человека в самом величии и красоте ежедневного подвига. Строительство коммунизма есть ежедневный подвиг всей жизни каждого советского человека, и в этом суть его внутреннего мира, даже тогда, когда он и не полностью сам это созна-

ет. И следовательно, в этом суть его наилиричнеешего «самовыражения». И это очень просто, прозрачно просто. Это надо только увидеть, назвать, рассказать, пропеть. Вот суть Исаковского. И это новая суть, ибо еще никогда раньше такого лиризма не бывало.

Можно сказать, что новый лирический мир, созданный нашей революцией, строительством коммунизма, богаче, чем мир лирики Исаковского. Да, конечно, гораздо богаче. Исаковский отразил лишь некоторые стороны этого нового мира и прежде всего его внутреннюю простоту и скромность. И отразил, конечно, не все — хотя кто один может отразить это все? Пусть так. Ну и что ж?

И, конечно, когда мы говорили о новаторстве Исаковского, мы говорили о самом главном и лучшем в его творчестве. В стихах Исаковского всегда есть подлинная правдивость чувства, основного направления, есть глубокая, неподдельная любовь к простому советскому человеку и его счастью. Есть красота простоты.

В последнее десятилетие наш читатель очень вырос. Простота нашего человека и его красота стали более сложными, глубокими, увеличились его запросы к себе, к жизни, а следовательно, и к поэзии.

Это предъявляет новые требования к каждому поэту, в том числе и к Исаковскому. Читатель любит того Исаковского, который уже есть, и он хочет любить того Исаковского, который еще будет. Лучшее в нем всегда будет жить с нами. А то новое, что внес в нашу поэзию Исаковский, будет сопровождать ее по всем путям подлинного новаторства, будет оставаться примером той красоты, которую несет с собой простота истины.



К 100-летию со дня рождения А. П. Чехова

В. ЛАКШИН

★

ЧЕХОВ И ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Этот, 1960 год — это год двух памятных дат русской и всей советской культуры. Сейчас мы отмечаем столетие со дня рождения Чехова. А всего лишь через несколько месяцев — другая годовщина: ровно пятьдесят лет назад глухой осенней ночью Лев Толстой покинул Ясную Поляну, и на станции Астапово оборвалась эта великая жизнь...

Но имена Толстого и Чехова ставятся рядом не случайно, не по юбилейному поводу — давно настала пора уяснить взаимоотношения двух выдающихся современников, творчество которых знаменует целую эпоху русской литературы.

Многообразны личные и творческие связи писателей. Здесь и увлечение Чехова идеями Толстого в восьмидесятые годы, и заметные черты сходства чеховских пьес и «Живого трупа», и родственность психологического анализа в творчестве писателей, и более глубокая общность в самых свойствах реализма двух замечательных художников.

В этой статье пойдет речь о нескольких эпизодах дружеских встреч, бесед и споров писателей, эпизодах, позволяющих нам в чем-то ближе узнать, почувствовать в Толстого и Чехова. «...Связи писателей между собой, — верно заметил недавно К. Федин, — составляют уже сами по себе литературный факт тогда, когда свидетельство об этих связях затрагивает творческую жизнь или когда оно касается только личности писателя». Личность писателя помогает нам понять его книги, так же как книги разъясняют нам его личность.

Неверно было бы рисовать отношения Толстого и Чехова как идиллические, принося в жертву юбилейному тону историческую правду, сглаживая все противоречия

и несогласия. Несмотря на глубокую симпатию и уважение друг к другу, Чехова и Толстого разделяло очень многое. Не следует забывать, что Чехов познакомился с Толстым в ту пору, когда тот с особой энергией проповедовал свои религиозные и философские догмы. Во взаимных оценках, разговорах, творческих спорах проявилось своеобразие взглядов, общественной и литературной позиции каждого из писателей. Но обоих — и Толстого и Чехова — всегда объединяло правдоискательство, чуткость совести, стремление уяснить, по выражению Горького, «вопросы коренные, вопросы духа». Их объединяло и высокое сознание того, что судьба и счастье человека немислимы вне судьбы и счастья народа. Толстой и Чехов завещали нам благородное бескорыстие, требовательность к себе и своему труду, глубокую заинтересованность судьбами литературы в целом.

Великие художники, проникновенные психологи, понятные и близкие в своем творчестве людям разных стран и народов, Толстой и Чехов вместе с тем глубоко национальны. Толстовская разрушительная сила, прямота и резкость, страстность натуры и чеховская объективность, душевная мягкость и деликатность, скромность, сострадание к людям — это словно две стороны, два типа русского гения.

Высокая человечность и демократизм делали их противниками того общественно-го строя, при котором они жили. Та же человечность сохранила их книги для потомков, на многие века, для нас с вами и для будущего.

Толстой и как человек и как писатель оставил в жизни Чехова очень заметный след, несмотря на то, что личное знаком-

ство их было поздним и между ними не завязалось даже обычной дружеской переписки.

Они были людьми разных поколений. Один из очевидцев, которому посчастливилось присутствовать при их встрече, заметил в своих воспоминаниях, что Толстой относился к Чехову, «как любящий отец к милому сыну». Именно «сыну», потому что разница в их возрасте, в жизненном и литературном опыте была весьма серьезной. И в самом деле, когда юный таганрогский гимназист, не смеявший мечтать о писательстве, услышал впервые имя Льва Толстого, тот уже был известен как выдающийся русский художник и мыслитель, автор «Детства», «Севастопольских рассказов», «Войны и мира».

Среди литературных «полубогов» Чехова Толстой не сразу занял первое место. В молодые годы творчество Тургенева оказалось ближе Чехову. Оглядываясь позднее на свои первоначальные литературные верования, Чехов вспоминал: «Помню, в молодости, я и мои товарищи считали величайшим писателем Тургенева, и когда при нас один студент стал доказывать, что гр Л. Н. Толстой стоит выше, как художник, мы горячо с ним спорили. А после пришлось убедиться, что студент был прав, и Толстой действительно заслони́л Тургенева».

Изменение литературных пристрастий Чехова не было капризом своевольного вкуса. Толстой с его «Анной Карениной» и «Крейцеровой сонатой», «Властью тьмы» и «Смертью Ивана Ильича» был для Чехова художником более современным, более родственным по всему строю чувств и критическому пафосу. Зреющий талант, мужажущую мысль Чехова волнует жгуче-злободневная и не теряющая от этого своего общечеловеческого смысла постановка Толстым больших вопросов русской жизни. Чехову дорога нравственная требовательность Толстого, постоянное беспокойство и искания его мысли. Но и со стороны художественной Чехов ощущает толстовский реализм — эту суровую простоту, беспощадную искренность, исследование самых потаенных глубин души — как новую ступень, новое достижение в искусстве, перекликающееся с его собственными творческими поисками. По сравнению с Толстым тургеневская манера письма кажется теперь Чехову местами как бы старомодной, наив-

ной. Перечитав в начале девяностых годов почти всего Тургенева, Чехов не удержался от прямого сопоставления его с Толстым. «Я читаю Тургенева,— писал он Суворину.— Прелестно, но куда жиже Толстого! Толстой, я думаю, никогда не постареет. Язык устареет, но он все будет молод».

Анна Каренина, герои «Войны и мира» как-то особенно нежно, интимно, не «политературному» любимы Чеховым. Когда заходит о них речь, то порой у него прорывается интонация, с какой говорят лишь о добрых знакомых, не по книге, а лично известных, реально живших людях. Так, однажды в письме к брату, рисуя тяжелую и неприятную поездку в Петербург по железной дороге, Чехов замечает: «Вообще ночь была подлая. Единственным утешением служила для меня милая и дорогая Анна (речь идет об «Анне Карениной».— В. Л.), которой я занимался во всю дорогу». А передавая в другой раз свои впечатления от «Войны и мира», Чехов негодует на медиков, не сумевших вылечить Андрея Болконского. «Если б я был около князя Андрея,— пишет Чехов,— то я бы его вылечил».

С жадным интересом относится Чехов ко всему, что выходит из-под пера Толстого. В кругу его обычного чтения не одни прославленные романы, но и повести, рассказы, философские трактаты, статьи Толстого об искусстве.

Чехов с вниманием следит за деятельностью Толстого как драматурга. И хотя чеховские художественные искания в этой области далеки от драматических принципов Толстого, он сочувственно принимает его пьесы восьмидесятых годов. Чехов присутствует на одном из спектаклей первой постановки «Власти тьмы», осуществленной любительской труппой в доме Приселковых, и с похвалой отзываясь о пьесе. Комедия «Плоды просвещения» также нравится ему, и в середине девяностых годов он даже замышляет поставить ее силами кружка литераторов, причем сам рассчитывает выступить в роли одного из мужиков (как известно, Чехов не только по-писательски был неравнодушен к сцене, но отличался и актерскими способностями).

Не пропуская ничего из написанного Толстым, откликаясь в письмах к друзьям почти на каждое вновь прочитанное его сочинение, Чехов стремится достать и то, что по цензурным условиям не напечатано,

а ходит по рукам в списках, издается в заграничных издательствах. В его библиотеке хранится женеваское издание книги «В чем моя вера» (1888). С «Крейцеровой сонатой» он также знакомится по спискам.

Неизменное пристрастие Чехова к сочинениям Толстого совсем не исключало критического отношения к отдельным образам, характерам, картинам в толстовском художественном творчестве, не говоря уже о философских и религиозно-этических тенденциях Толстого, которые Чехов зачастую решительно опаривал. Так, чрезмерно тенденциозным кажется Чехову изображение Наполеона в «Войне и мире», и, высоко ставя роман в целом, Чехов не может этого не заметить. «Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир»,— сообщает он в одном из писем.— Читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжка, и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Все, что делают и говорят Гьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов,— все это хорошо, умно, естественно и трогательно; все же, что думает и делает Наполеон,— это не естественно, не умно, надумано и ничтожно по значению». Можно и не согласиться с этим мнением Чехова, но сейчас нам важно подчеркнуть другое: Чехов смело и беспристрастно судит то, что кажется ему слабостью, пусть даже гениальной вещи. И так было всегда — и в личном общении с Толстым и в отзывах о его творчестве; Чехов всегда и везде неизменно сохранял независимость суждений, свою высокую объективность. Один из литераторов, знакомых с Чеховым, писал: «Насколько я успел заметить, у Чехова не было «богов» в литературном мире. Анализируя всякую человеческую личность, он всегда делал спокойный, замечательно правдивый вывод. Вот это, дескать, его хорошие черты, а вот это дурные... Я уверен, что если бы, например, и Л. Н. Толстой сделал худой поступок, то Чехов бы сказал: «Да, это дурно». Внутренняя свобода, духовная нескованность была органической чертой всего поведения и личности Чехова, и, может быть, именно это, порой безотчетно, ценил и уважал в нем Толстой.

У Чехова никогда не могло возникнуть

ревности, чувства писательского соперничества по отношению к Толстому. Признавая его великаном в искусстве, а себя скромно считая лишь членом писательской «артели восьмидесятников», Чехов говорил обычно о слабых сторонах Толстого с искренним огорчением. Так, очень высоко расценив при первом чтении «Крейцерову сонату», Чехов подосадовал на то, «что повесть не избежала участи всех человеческих дел, которые все несовершенны и несвободны от пятен». Чехов сознается, что, читая повесть, он едва удерживался, чтобы не крикнуть «Это правда!» или «Это нелепо!» Но такое противоречивое впечатление не ставит его в тупик. Высказывая свое трезвое, лишенное односторонности мнение о «Крейцеровой сонате», Чехов ни на миг не теряет истинной меры вещей: «Я не скажу, чтобы это была вещь гениальная, вечная — тут я не судья, но, по моему мнению, в массе всего того, что теперь пишется у нас и за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения. Не говоря уже о художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за одно то, что она до крайности возбуждает мысль». Это свойство Толстого: непрестанно будить мысль, заставляя читателя вместе с автором искать, мучиться и сомневаться, ставить все новые вопросы и неотвратимо требовать на них ответа,— все это в той же мере, что и несравненный дар художественной изобразительности, привлекало Чехова в Толстом.

Толстой был первооткрывателем «диалектики души» в русской литературе. Его психологическое мастерство в «Детстве», «Войне и мире», «Анне Карениной» стало для молодого Чехова одной из тех великих традиций, на которых он воспитывал себя как художник. Не менее сильно воздействовали на Чехова толстовские «малые жанры», его поздние повести и рассказы: «Смерть Ивана Ильича», «Крейцера соната», «Хозяин и работник».

Внимание к личности, к нравственной стороне, духовному миру человека сближало писателей. В конце восьмидесятых — начале девяностых годов появляются повести Чехова, находящиеся во внутреннем родстве с исканиями Толстого-реалиста. В «Скучной истории», «Дузля», «Огнях», «Рассказе неизвестного человека», «Палате № 6» очень сильна философская,

интеллектуальная струя. «Вопросы коренные, вопросы духа» решаются не в авторских отступлениях, не в добавление к «картинам жизни», а в самом рассказе о судьбе героя, задумавшегося над своей жизнью и жизнью других людей. Чехов, подобно Толстому, берет человека в тот момент, когда вопросы смысла и цели бытия становятся для него глубоко личными, кровными, неотвратимыми, и, кажется, если не ответить на них, нельзя жить дальше.

Писателей интересует и самый путь к «духовному прозрению». Может быть, поэтому им часто не так даже важны характеры героев, как душевные состояния, общие для разных людей, оказавшихся в сходных положениях в сходные минуты.

Много писали о том, что Чехов (и в этом он тоже развивает традицию Толстого-художника) искусно передает самое течение жизни, ее незаметный и ровный поток. Но правдивейшее изображение каждодневных мелочей нужно писателю лишь для того, чтобы лучше показать враждебность обывательской инерции существования истинному призванию человека. В недрах серых, бессмысленных будней вызревает кризис, протест против незаметной лжи и пошлости, обратившихся в «норму».

В «Дуэли», «Огнях», «Рассказе неизвестного человека» писатель показывает историю ломки старых взглядов, разочарование в прошлом, поиски новых верований и убеждений, отличных, впрочем, от толстовского «просветления» в божьей, в религиозном смиреннии. Но, как и у Толстого, чеховские герои сознают, что живут они неразумно, ложно и что надо переменить жизнь.

«Скучную историю» современная Чехову критика восприняла как прямое подражание «Смерти Ивана Ильича». О подражании говорить здесь не приходится: так далеки и замыслы повестей и характеры героев — толстовского заурядного чиновника и чеховского профессора, славного своими учеными заслугами, отдавшего более четверти века науке. Но самый способ распознавания истинной цены человека, когда судьба оставляет его один на один со старостью, несчастьями или смертью, заставляет оглянуться на свою жизнь, оценить ее, отбросив всю условную ложь, самый подход к человеку «изнутри» родствен у Чехова и Толстого.

Новый тип проблемной повести, соединявшей в себе нравственное и социальное, лирику и быт, утонченную психологию и пафос мысли, складывался, таким образом, у Чехова не без влияния автора «Смерти Ивана Ильича».

В сознании Чехова писательский, литературный облик Толстого был тесно связан с представлением о нем как о выдающемся человеке, гражданине, славном современнике. Еще задолго до знакомства с Толстым Чехов сумел ощутить и оценить силу и обаяние его личности, полюбил и стал уважать Толстого как человека и общественного деятеля. «В своей жизни я ни одного человека не уважал так глубоко, можно даже сказать, беззаветно, как Льва Николаевича», — признавался позднее Чехов в письме к Горбунову-Посадову. «Беззаветно уважал» — даже слова какие-то особенные, не похожие на обычно крайне сдержанного и скупого в выражении эмоций Чехова! Но в них нет и малейшего «подогрева». Чехов любит смелостью, откровенностью, независимостью поведения Толстого, отсутствием робкой оглядки на правительственные сферы или на авторитет так называемого «общественного мнения».

К началу девяностых годов относится событие, еще больше укрепившее в глазах Чехова моральный и общественный авторитет Толстого. Неурожай 1891 года вызвал жестокий голод в ряде губерний средней полосы России. Демократически настроенная интеллигенция пыталась, вопреки правительственным запретам, организовать помощь голодающим. В этом движении приняли активное участие и Чехов и Короленко. Но «частная помощь» голодающим встретила официальные препятствия. В этих условиях деятельность Толстого, организовавшего в Самарской губернии бесплатные столовые и обратившегося к обществу со статьей «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая», была дерзким и ободряющим примером. «Все повесили носы, — писал Чехов в одном из писем по поводу препятствий, чинимых властями, — пали духом; кто озлился, а кто просто омыл руки. Надо иметь смелость и авторитет Толстого, чтобы идти наперекор всяким запретам и настроениям и делать то, что велит долг». Статья о помощи голодающим вызвала у Чехова чувство восторженной гордости за ее автора: «Толстой-то,

Толстой! Это, по нынешним временам, не человек, а человечище, Юпитер».

Все возраставшее для Чехова значение Толстого-художника и все крепнувшее доверие к его человеческому и общественному авторитету делали для Чехова заманчивой и привлекательной мысль о личной встрече с Толстым. Возможность такой встречи появилась уже в начале девяностых годов, но знакомство состоялось далеко не сразу и, как мы увидим, не по вине Толстого. Имя Чехова в эту пору было уже хорошо известно в Ясной Поляне, а небольшие, полные юмора и жизненной правды рассказы молодого писателя были по достоинству оценены автором «Войны и мира».

Впервые посоветовал Толстому прочесть один из чеховских рассказов Н. Н. Страхов, приметивший этот яркий талант в то время, когда Чехов не был еще общепризнан, не издал ни одной книжки, а печатался лишь в журналах. Это было, вероятно, в середине восьмидесятых годов. Первый отзыв Толстого был осторожен. «Я прочел один из его рассказов в каком-то календарике, — передавал Толстой свое впечатление. — Он живо написан. Но таких рассказов можно написать тысячу и тогда даже трудно судить о степени таланта автора. А ведь он написал только десятки, вероятно».

Несшиеся со всех сторон похвалы молодому таланту разбудили в Толстом желание ближе узнать Чехова как писателя. Толстой никогда не составлял своего мнения по чужим вкусам и рекомендациям, и вот мы уже видим его с томиком рассказов Чехова в руках. Надо думать, это был сборник «В сумерках», удостоенный в 1888 году Пушкинской премии и вышедший к тому времени двумя изданиями.

Толстой читал сборник, очевидно, в четыре приема и всякий раз не забывал отметить свое впечатление в дневнике. 15 марта 1889 года: «Я читаю хорошенькие вещицы Чех[ова]. Он любит детей и женщин, но этого мало». 17 марта: «Читал Чех[ова]. Нехорошо — ничтожно». (Эта запись сделана, очевидно, под впечатлением утреннего чтения, затем следует новая, вечером того же дня.) «Весь вечер сидел один, читал Чехова. Способность любить до художеств[енного] прозрения, но пока незачем». И, наконец, 18 марта: «Рано встал, много работал, дочитал Чехова...»

В противоречивых оценках Толстым пер-

вой прочитанной им книги Чехова, как в зародыше, содержится и все позднейшее его отношение к чеховскому творчеству. Толстой признает достоинства реалистической манеры Чехова. Он находит у него способность «любить до художественного прозрения», а это — редкая похвала в устах Толстого. Нравится ему безошибочность чеховских психологических наблюдений, тонкое знание мира женской души, симпатия к детям. Но Толстому кажется, что у Чехова нет вполне определенного миросозерцания, что смысл, цель и направление его творчества недостаточно ясны ему самому и уж, во всяком случае, далеки от того «христианского содержания», «высшего», религиозного отношения к добру и злу, в коем одном Толстой находит в это время оправдание для искусства. Он как бы даже досадует иной раз на художественное мастерство, заставляющее читателя забывать о религиозно-нравственном значении искусства. В одном из писем Толстой объединяет Чехова с Мопассаном и художниками И. Репиным, Н. Касаткиным в том смысле, что внешняя сторона искусства — «beau», то есть прекрасное, якобы заслоняет от них содержание, «добро» в его, толстовском, понимании.

Это мнение Толстого о Чехове нельзя верно оценить, не заметив, что во всех суждениях об искусстве в эти годы Толстой до крайности сужает и делает специфически «толстовским» понятие содержания. По его требованию, «иск[уство], чтобы быть уважаемым, должно производить доброе. А чтобы знать доброе, надо иметь миросозерцан[ие], веру. Доброе есть признак истинн[ого] иск[уства]». В конкретном применении это толстовское «добро» в искусстве оборачивалось порой узостью и ригоризмом нравственно-религиозных догм в «народных рассказах», «Послесловии к «Крейцеровой сонате» и т. п. Оно предполагало и «непротивление злу» и добродетели смирения и опрощения.

В начале девяностых годов Толстой все внимательнее присматривается к Чехову-писателю, не пропускает его новинок, печатающихся в газетах и журналах, знакомится со сборником «Невинные речи», читает «Степь», «Палату № 6», «Черного монаха». И почти каждую из вновь прочитанных вещей он награждает лестными, не по-толстовски щедрыми похвалами: «Степь» — прелесть! — говорит он Г. Руса-

нову.— Описания природы прекрасны. Рассказ этот представляется мне началом большого биографического романа, и я удивляюсь, почему Чехов не напишет его». «Какая хорошая вещь Чехова «Палата № 6». Вы, верно, читали»,— пишет Толстой И. Горбунову-Посадову. «О «Черном монахе»,— сообщает тот же Г. Русанов,— Лев Николаевич с какой-то особенною нежностью сказал: «Это прелесть! Ах, какая это прелесть!..»

Живые, «читательские» эмоции Толстого говорят о его искреннем увлечении творчеством Чехова. Но когда Толстой переходит от этих непосредственных впечатлений к раздумьям и обобщениям, к оценке чеховского творчества с точки зрения своего идеала искусства, от него как бы отлетает дух живого обаяния и прелести Чехова, и он готов осудить его решительно и бесстрашно. Имя Чехова служит тогда лишь для иллюстрации толстовских суждений о бессодержательности и бесцельности всего «нового искусства».

Когда Толстой, освобождаясь от чеховского художественного гипноза, сурово, «по-богословски», как сказал бы сам Чехов, судит его с позиций высшего, «христианского» понимания целей искусства, мы должны помнить и о Толстом, который волнуется, трогательно переживает, в комических местах заразительно смеется, а в грустных — нередко плачет над книгами Чехова. Толстой — читатель Чехова живо воспринимает и с наслаждением впитывает в себя живую правду его творчества, Толстой — критик Чехова отстраняет непосредственное впечатление и, иной раз хмурясь, творит свой проповеднический суд.

Впрочем, противоречивость суждений заставляет иногда Толстого опровергать самого себя, в его высказываниях мы обнаружим порой наилучшие аргументы против его собственных воззрений. «Хотя у него есть способность художественного прозрения,— говорил о Чехове Толстой в 1894 году,— но сам он еще не имеет чего-нибудь твердого и потому не может учить. Чехов вечно колеблется и ищет. Для тех, кто еще находится в периоде стояния, он может иметь то значение, что приведет их в колебание. И это хорошо». Толстой укоряет Чехова за то, что он «не может учить», что он «вечно колеблется и ищет» Он видит в этом недостаток писателя, а

идеалом представляет иное, открыто дидактическое искусство. Но не случайно, должно быть, в другую минуту у того же Толстого вырывается противоположное признание: «Художник для того, чтобы действовать на других, должен быть ищущим, чтоб его произведение [было] исканием. Если он все нашел и все знает и учит, или нарочно потешает, он не действует. Только если он ищет, зритель, слушатель, читатель сливается с ним в поисках». И это суждение Толстого, определяющее онлу правдивого творчества вообще, приближает нас к объяснению «заразительности» для него как для читателя произведений Чехова. Истинное искусство — всегда смелый поиск, дерзание мысли и духовная неуспокоенность. Для Толстого, как и для Чехова, это неизменно оставалось сокровенной сутью творчества.

Весть о том, что Толстой с вниманием и интересом следит за творчеством автора книги «В сумерках», вскоре достигла и Чехова. Понятно, какое впечатление могло произвести на него одобрение «великого Льва»: для Чехова не было большего авторитета в литературном мире.

Приятель Чехова, актер П. Свободин, посетивший Толстого летом 1889 года, первый сообщает в письме к Чехову приятную новость: Толстой читал его книгу и отзывался о нем как о «вдумчивом» писателе. А вскоре известия о том, что Толстой всерьез заинтересован творчеством Чехова, начинают приходиться с разных сторон. Руководители «Посредника», друзья и сподвижники Толстого, приглашают Чехова участвовать в их издании.

Толстой, как вскоре узнает Чехов, выражает желание свидеться с ним и даже сам не прочь, вопреки обыкновению, пойти к нему знакомиться первым. Все это волнует, искренне радуется Чехова, но — странное дело — не заставляет его, обычно такого общительного и «артельного» человека, стремиться к личной встрече с Толстым, искать его знакомства. Напротив, Чехов как будто всячески отстраняет эту возможность, уходит от близящегося свидания Чехову хотелось увидеться, поговорить с Толстым, но именно потому, что эта встреча была желанна и полна значения для Чехова, он боялся, как бы она не вылилась в нарочитое, искусственное и полуофициальное знакомство. А он имел основание

опасаться этого, потому что за посредничество в их отношениях с непрошеным энтузиазмом брались посторонние люди

Из писем Чехова мы узнаем о том, что было недосказано, не понято или утаено иными мемуаристами, расписывавшими его комическую робость перед визитом к Толстому. «Мне очень нужно в Москву,— пишет Чехов сестре,— но противно ехать по такой погоде... Боюсь также, что Сергеенко потащит меня к Толстому, а к Толстому я пойду без провожатых и без маклеров. Не понимаю, что за охота у людей посредничать!»

С обостренной нетерпимостью относился Чехов ко всему, что хоть в малой мере отдавало литературной модой, искусственностью, сенсацией. Еще в молодости он советовал брату Николаю не обольщаться такими «фальшивыми бриллиантами», как знакомства с знаменитостями. Он не хотел, чтобы его первая встреча с Толстым хоть отдаленно напоминала что-нибудь подобное и вылилась бы в то всегда тягостное для Чехова положение, когда надо «ничего не делать и изображать гостя». Не мог явиться Чехов к Толстому и как идейный приверженец, видевший в Ясной Поляне свою Мекку и желавший получить от вероучителя разрешение сомнений. Поэтому ему хотелось, чтобы знакомство состоялось органически, как бы невзначай, без специальных представлений и рекомендаций, с истинным достоинством и простотой. Все это заставляло Чехова ждать случая, когда к Толстому можно будет отправиться запросто и одному, непрерывно перекладывая свое посещение Хамовников и Ясной Поляны с лета на осень, а с осени на зиму, а там снова на лето. Вот почему писатели встретились лишь в 1895 году.

Воспоминания современников, бывших в это время в Ясной Поляне, дают нам возможность зримо представить первую встречу Чехова с Толстым.

Чехов приехал в Ясную Поляну свежим августовским утром. Миновав въездные белые столбы, он не спеша стал подниматься по светлой березовой аллее, так называемому «Прешпекту», к едва видневшемуся за деревьями большому барскому дому и неожиданно заметил впереди себя старика в белой полотняной блузе, с полотенцем через плечо. Всмотревшись, Чехов узнал Льва Николаевича. Пересилив охватившее его вдруг волнение, Чехов подошел к нему

и назвал себя. Лев Николаевич так искренне обрадовался Чехову, с такой простотой и непосредственностью предложил ему тут же пойти на речку купаться, что волнение и смущение Чехова моментально развеялись. Чехов любил впоследствии вспоминать, что первый серьезный разговор с Толстым происходил у них «по горло в воде». Сама обстановка встречи исключала всякую натянутость и неловкость. Непринужденная и гостеприимная без навязчивости манера приема гостей, бывшая обыкновением в Ясной Поляне, сделала то, что Чехов почувствовал себя вскоре у Толстых «как дома». Он прожил в яснополянкой усадьбе два дня и сохранил самые лучшие воспоминания об этой встрече.

Образ живого Толстого оказался несколько не беднее и не ниже того, каким рисовался Чехову, по рассказам знакомых и впечатлениям от его книг, автор «Войны и мира». Это был тот самый «человечище, Юпитер», которым, еще не зная его лично, восхищался Чехов. Убеждая впоследствии Горького поехать к Толстому, Чехов говорил ему, что он увидит «нечто неожиданное-огромное...». Наверное, он вспоминал при этом свое первое впечатление от встречи в Ясной Поляне. Уже одно присутствие Толстого, возможность наблюдать за ним, следить за ходом его могучей, страстной и часто парадоксальной мысли доставляли Чехову искреннюю радость. Словно спеша поделиться этой радостью, Чехов говорил впоследствии одному из случайных своих собеседников: «Какой же это интересный человек: если попробовать его изучать, то можно в нем провалиться, как в бездонном колодце... А какая силища духовная! Когда говоришь с ним, чувствуешь себя в полной его власти... Я не встречал людей более обаятельных и более, так сказать, гармонически созданных... Это человек почти совершенный». Чехов наслаждался беседами с Толстым, изумляясь «способности Л. Н-ча так тонко подмечать в людях, в обстановке и в природе, проникать в самую суть вещей...». И Толстой находил в Чехове необыкновенно чуткого, деликатного и умного собеседника. Помимо несравненного личного обаяния и чувства собственного достоинства, которое, по словам Бунина, исходило от Чехова «как некий радиус», в его облике была еще одна черта, особенно родственная душе Толстого,— это его демократические, народные свойства. «В редкой

деревне не встретишь крестьянина, похожего на Чехова, с чеховским выражением лица, с чеховской улыбкой,— удачно подмечал П. А. Сергеенко.— Чехов настолько типичен как сын народа, что исключивши его народность, нельзя совершенно понять его ни как писателя, ни как человека. У Чехова и наклонности были чисто русские, деревенские. Он любил простых людей, простоту в отношениях, простоту в искусстве. Простота была личностью Чехова».

Еще до приезда в Ясную Поляну Чехову довелось слышать, что Толстой работает над новым большим романом, и естественным было его нетерпение скорее познакомиться с этим произведением. За два дня до посещения Чехова Толстой сам читал главы «Воскресения» съехавшимся гостям. Но в день приезда Антона Павловича он чувствовал себя не совсем здоровым и после обеда ушел отдыхать, а Чехов вместе с В. Г. Чертковым, И. И. Горбуновым-Посадовым, С. Л. Толстым, С. Т. Семеновым отправился в уединенную беседку в дальнем конце парка с рукописью Толстого. Это были первые главы «Воскресения» в одной из черновых редакций: встреча Нехлюдова с Катюшей, суд, предыстория героев. «Антон Павлович слушал чтение спокойно, внимательно, молча,— вспоминает один из присутствовавших,— читали, кажется, часа два. По окончании чтения пошли в дом, вниз, в кабинет Толстого. Лев Николаевич встал после отдыха, но не выходя, по случаю недомогания, из кабинета. Он с любопытством ожидал, что ему скажут по поводу его новой работы.

Антон Павлович тихо и спокойно стал говорить, что все это очень хорошо. Особенно правдиво схвачена картина суда. Он только недавно сам отбывал обязанности присяжного заседателя и видел своими глазами отношение судей к делу: все заняты были побочными интересами, а не тем, что им приходилось разрешать... Неверным же ему показалось одно, что Маслову приговорили к двум годам каторги. На такой малый срок к каторге не приговаривают». Толстой с благодарностью выслушал мнение Чехова и, работая впоследствии над романом, исправил указанную ему ошибку в приговоре Масловой.

Однако Толстой уловил, должно быть, что, выделяя сцену суда, Чехов обошел молчанием все, что касалось отношений Нехлюдова с Катюшей, то есть то, что бы-

ло более всего важно для самого автора. Это умолчание и в самом деле было не случайным. В истории кающегося барина Чехов ощутил «толстовскую» тенденцию и нарочитость.

Если при чтении глав романа в Ясной Поляне Чехов лишь насторожился по отношению к этой тенденции и промолчал, то позднее, прочтя роман целиком, он высказался с полной определенностью. «Все, кроме отношений Нехлюдова к Катюше, довольно неясных и сочиненных,— писал Чехов Горькому в 1900 году,— все поразило меня в этом романе силой и богатством, и широтой, и неискренностью человека, который боится смерти, не хочет сознаться в этом и цепляется за тексты из свящ[енного] писания». В романе Толстого более всего понравилась Чехову широкая и емкая картина русской жизни конца века, нарисованная рукой точной и беспощадно смелой, равно способной на изображение дворцов и деревенских изб, светских раутов и пересыльных трактов. «Это замечательное художественное произведение,— отзывался Чехов о «Воскресении» в письме к М. О. Меньшикову.— Самое интересное — это все, что говорится об отношениях Нехлюдова к Катюше, и самое интересное — князя, генералы, тетушки, мужики, арестанты, смотрители. Сцену у генерала, коменданта Петропавловской крепости, спирита, я читал с замиранием духа — так хорошо! А т-те Корчагина в кресле, а мужик, муж Федоси! Этот мужик называет свою бабу «ухватистой». Вот именно у Толстого перо ухватистое».

Чехову особенно по душе как раз те сцены, в которых, с бесподобной пластикой и зримостью изображая влиятельных сановников или великосветских дам, Толстой изобличает вошедшее в плоть этих людей лицемерие, обнажает истинные мотивы слов и поступков, преследует, настигает и отдает на суд читателя все оттенки фальши, таящиеся в лоске выверенных фраз.

Прочно занятая Толстым позиция адвоката «стоимиллионного замлельческого народа» придавала — при всех противоречиях его мысли — особую силу, мощь и резкость толстовской критике. В своем творчестве Чехов не был так решителен, так открыто тенденциозен, как автор «Воскресения», «громовец» Толстой. Ему мешало отсутствие ясности и конкретности классовой позиции, дающей обычно такую

уверенность и силу в отрицании. Но в главном направлении критики они едины.

И не случайно чеховский рассказ «В суде» переключается с некоторыми сценами «Воскресения», а протест против лжи и тупого насилия в рассказах «Именины», «Жена», «Припадок», «Палата № 6» близок пафосу поздних толстовских повестей. Толстой и Чехов обращали внимание читателя на то, что сами общественные формы так опустошились и запутались, настолько стали поперек судьбам людей, что совершенно изжили себя, стоят на грани краха. И именно не отдельные, пусть скверные, недобрые люди, такие, как прокурор, осудивший Маслову, или тупой Никита — страж палаты № 6, виновны в этом, а весь уклад, весь порядок жизни. Личность придавлена, опутана официальной, государственной, церковной, светской и домашней, бытовой ложью. Писатели показывают нередко состояние человека, изнемогшего от этой лжи, дошедшего до трагедии, как Протасов в «Живом трупе» или героиня «Именин».

В каждом дне обычной, «нормальной» жизни Чехов и Толстой вскрывают оскорбительную бессмыслицу, противоестественность признанной лжи. Зло это неуловимо, и оно везде, в каждом светском разговоре, в любой канцелярской бумаге, в праздниках и в буднях.

И, кстати, о праздниках. «19 февраля. Обед в «Континентале» в память великой реформы, — записывает однажды в своем дневнике Чехов. — Скучно и нелепо. Обедать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести, свободе и т. п., в то время, когда кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные, и на улице, на морозе ждут кучера, — это значит лгать святому духу». Вот типично толстовская антитеза! Обоих писателей отличала редкая чуткость совести, чувство личной ответственности и личного долга перед народом. Они не из тех, кто с охотой рассуждает за сытным столом о народных бедствиях. Это у них в крови и тревожит, «как тень отца Гамлета».

Чехову близка не одна лишь обличительная, низвергающая, разрушительная сила автора «Воскресения». Ему дорого и сочувственное, любовное изображение Толстым в его романе простых людей, крестьян, мужиков. Там, где писатель не впадал

в ложную идеализацию патриархального быта и нравов, где его сочувствие не перерождалось в слепое и наивное поклонение, он рисовал великолепные реалистические характеры людей из народа, таких, как Тарас, муж Федосьи, — образ, полюбившийся Чехову.

Восхищаясь искусством Толстого, значительностью его мысли, Чехов отметил и слабые стороны «Воскресения», метко оживив противоречия романа. «Конца у повести нет, — замечал Чехов в письме М. О. Меньшикову, — а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из евангелия, — это уж очень по-богословски. Решать все текстом из евангелия — это так же произвольно, как делить арестантов на пять разрядов. Почему на пять, а не на десять? Почему текст из евангелия, а не из корана? Надо сначала заставить уверовать в евангелие, в то, что именно оно истина, а потом уж решать все текстом». Крайняя толстовская субъективность и бездоказательность, проявившиеся и в таких частностях, как деление арестантов на пять разрядов (первый разряд — «люди совершенно невинные», второй разряд — «люди, осужденные за поступки, совершенные в исключительных обстоятельствах», и т. д.), кажется Чехову неоправданной. Тем более произвольным и натянутым представляется ему разрешение всех сложных коллизий романа выписками из евангелия. И дело не только в том, что Чехову, с его материалистическими и атеистическими наклонностями, чужда сама идея просветления Нехлюдова и начала «нового периода его жизни» под воздействием христианских заповедей. Чехову такой конец кажется фальшивым и в «техническом отношении», то есть с точки зрения художественной завершенности, сюжетной законченности вещи.

Обратившись к общей оценке Чеховым романа «Воскресение», мы несколько отвлеклись от хронологического хода рассказа. Летом 1895 года в Ясной Поляне Чехов познакомился лишь с самыми первыми главами романа, да еще не в окончательной редакции, и, высказывая Толстому свое мнение, говорил, как помним, лишь о понравившихся ему сценах, прежде всего об изображении суда. Да и вряд ли, даже если бы Чехов уже тогда имел что сказать Толстому о недостатках его романа, он стал бы делать это при первом же знакомстве.

Никакие дисгармонические впечатления не испортили эту встречу, и хозяин и гость расстались весьма довольные друг другом. «Впечатление чудесное,— писал Чехов Суворину.— Я чувствовал себя легко, как дома, и разговоры наши с Л[ьвом] Н[иколаевичем] были легки». В свою очередь Толстой сообщал сыну. «Чехов был у нас, и он понравился мне. Он очень даровит, и сердце у него, должно быть, доброе, но до сих пор нет у него своей определенной точки зрения». Что разумел Толстой под этой «точкой зрения», лишний раз расшифровал в своих воспоминаниях П. А. Сергеенко: «В Ясной Поляне, если не ошибаюсь, Чехов был только один раз, и в первый свой приезд оставил после себя элегическое впечатление. Льву Николаевичу после беседы с Чеховым стало ясно, что Чехов стоит вне религиозного искания, которое одно, по глубококому убеждению нашего великого писателя, только и может привести человека к внутреннему озарению и к источнику истинной жизни. Но его неотразимо привлекал Чехов и как художник, и как человек с прекрасным, мягким характером. Отсюда и получилось элегическое впечатление».

Яснополянская встреча положила начало неизменно теплым и дружеским отношениям писателей, оборванным лишь безвременной смертью Чехова.

Весной 1897 года Чехов тяжело заболел. Обострился застаревший легочный процесс, в ночь под 22 марта пошла горлом кровь. Чехова отвезли в клинику Остроумова на Девичьем поле.

28 марта в клинику неожиданно пришел проведать Чехова Толстой, и его с почетом проводили в палату № 16, которую больной Чехов называл своей «темницей». К моменту визита Толстого Чехов чувствовал себя еще очень скверно и большей частью лежал. Это не помешало ему, однако, вступить в живую беседу с Толстым. Впоследствии он в шутку говорил друзьям, что Лев Николаевич, «наслышавшись об его опасном состоянии, ожидал, вероятно, найти его чуть ли не умирающим, и когда этого не оказалось, то даже как будто выразил на своем лице некоторое разочарование».

Чехов лежал на спине, один в просторной палате. Рядом с его постелью стояло массивное кленчатое кресло, а соседняя кро-

вать была завалена газетами. Толстой присел в кресло рядом с чеховской постелью. стал расспрашивать его, много рассказывал сам.

Здесь, в больничных стенах, они, кажется, впервые остались с глазу на глаз. Толстому, между прочим, давно хотелось вызвать Чехова на откровенный разговор, чтобы уяснить себе, на чем держится его «скептическое» миросозерцание. Вскоре он затронул тему, какой не принято касаться у постели тяжело больного человека. Заговорили о смерти и бессмертии.

Толстой считал, что, если человек научился сознательно мыслить, он не может не думать о смерти. В своем дневнике он записывал: «Когда болеешь, умираешь, то сосредоточивайся в себе, думай о смерти и жизни за смертью; а не тоскуй об этой». Поэтому-то с обычной дерзкой искренностью он заговорил о смерти с Чеховым. Тот с охотой подхватил показавшийся ему «преинтересным» разговор.

Надо думать, эта беседа была в лад с невеселым настроением Чехова, которое он, правда, умел хорошо прятать за иронической шуткой, иногда, впрочем, мрачноватой по тону. Когда врачи в те дни уверяли его, что он поправляется, Чехов охотно с ними соглашался, а «окончательно поправлюсь,— добавлял он иной раз,— когда умру». Особая «задумчивость» Чехова не укрылась и от Толстого, который рассказывал после своего посещения клиники: «К состоянию своему Антон Павлович относится — наружно по крайней мере — спокойно; он такой же, как и всегда, только несколько более задумчивый, впрочем временами одушевляется и говорит с обычным юмором».

Разговор о смерти и бессмертии был, таким образом, интересен и небезразличен обоим, но тут же выяснилось, что взгляды собеседников на этот предмет серьезно расходятся.

Толстого всегда неотступно преследовала и терзала мысль о смерти, вечная загадка уничтожения и небытия. В соответствии со своим нравственно-религиозным идеалом Толстой понимал бессмертие не как продолжение жизни в ином мире, но в тех же привычных земных, телесных формах,— а отвлеченно-философски, как растворение личности в неопределенном начале «разума» и «добра».

Эти мысли Толстой высказывал еще в «Войне и мире», в описании сна, который видит Пьер Безухов под впечатлением гибели Каратаева. Какой-то старичок учитель показывает Пьеру глобус. «Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие». Каратаев «разлился и исчез», как капля, которая соединилась с другими каплями, потеряла свою особенность, превратилась в часть целого. Так Толстой мыслил уничтожение личности, индивидуальности, материальной оболочки при переходе к непознаваемому и лежащему за смертной чертой «бесконечному», «вечному».

В рассуждениях Толстого о бессмертии слились и его вера во «всемирный дух», уничтожение личности перед абсолютной силой «добра», и желание отгородиться от грубой лжи церковников, противопоставить им свою «очищенную» религию, которая на деле была «новым, очищенным, утонченным ядом для угнетенных масс» (Ленин).

Преследовавший Толстого страх смерти делал вопрос о бессмертии не просто теоретическим отвлечением, а болезненным, лично мучительным чувством. На страницах толстовского дневника мы часто сразу же за датой записи встретим три многозначительные буквы «е. б. ж.». Это слова — «если буду жив» — его талисман, его нехитрое заклятие от смерти.

Тщетно пытался уверить себя Толстой, что «смерть есть радостное событие, стоящее на конце каждой жизни». Тщетно утешал себя сомнительными параллелями и софизмами, вроде следующего: «Думал о смерти: о том, как странно, что не хочется умирать, хотя ничто не держит, и вспомнил об узниках, кот[орые] так обживутся в своих тюрьмах, что им не хочется и даже боятся покидать их для свободы. Так и мы обжились в своей тюрьме этой жизни и боимся свободы». Мы уже говорили, как тонко чувствовал Чехов, что автор «Воскресения» не вполне искренен в своих суждениях о благодати смерти.

Толстой хотел бы умереть в полном единении с богом, в спокойной убежденности своей веры. Но душу его терзали сомнения Недаром в дневнике он писал: «Когда я

буду умирать, я желал бы, чтобы меня спросили: продолжал ли я понимать жизнь так же, как я понимаю ее, что она есть приближение] к Богу, увеличение любви... Если не буду в силах говорить, то если да, то закрою глаза, если нет, то подниму их вверх». Поразительна эта последняя воля великого вероискателя и испытателя жизни. Толстой будто хочет пытать даже саму смерть, ищет дорогу ему истину и на страшной черте.

Когда в клинике Толстой стал развивать Чехову свои мысли о бессмертии, Чехов поначалу внимательно слушал, но потом не утерпел и вступил в спор. Сам он рассказывает об этом в письме к М. О. Меншикову так: «В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым вели мы преинтересный разговор, преинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие в кантовском виде; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цель которого для нас составляет тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы, мое я — моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой, — такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивлялся, что я не понимаю».

Как комментарий к разговору с Толстым могут быть расценены мысли Чехова, записанные Сувориным 23 июля 1897 года, через четыре месяца после знаменитого свидания в клинике: «...Смерть — жестокость, отвратительная казнь. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешиться тем, что сольюсь с вздохами и муками в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже цели этой не знаю. Смерть возбуждает нечто большее, чем ужас. Но когда живешь, об ней мало думаешь. Я, по крайней мере. А когда буду умирать, увижу что это такое. Страшно стать ничем. Отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи. Очень противно об этом думать». Характерно, что Толстой, когда рассуждает о смерти, стремится перенестись мыслью в область «вечного», «бесконечного», а Чехов словно не в состоянии представить себе ничего потустороннего, невольно возвращается к пошлой реакции здесь, «на земле». В записной книжке Чехова мы читаем. «Мне ужасно

подумать, что на открытии моего памятника будут камер-юнкеры». Лицемерные сожаления, питье чая, камер-юнкеры, созданные отдать почести,— все это словно черточки для комического рассказа Чехова, не очень настроенного всерьез обсуждать «гроба тайны роковые».

Мысли о неизбежности смерти не преследовали Чехова с такой тягостной неотступностью, как Толстого. Они редко посещали его среди дел, забот и радостей обычной жизни. А сам вопрос о бессмертии возникал у Чехова не из ощущения «греховности» или неполноты земного существования, не из религиозных идеалов, а от досады на краткость жизненных сроков, на безвозвратность уничтожения с человеческой личностью целого мира, заключенного в одной душе и дорогого своей неповторимостью, особенностью. «О, зачем человек не бессмертен? — думает Андрей Ефимыч в повести «Палата № 6». — Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладеть вместе с земною корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом, и потом, словно в насмешку, превращать его в глину... Видеть свое бессмертие в обмене вещами так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодною дорогая скрипка». Так говорит доктор Андрей Ефимыч, но трудно не услышать здесь отзвуки размышлений и самого автора. Трезвость взглядов, полное равнодушие к религии соединились у Чехова с горьким сожалением, прорвавшимся в возгласе его героя: «О, зачем человек не бессмертен?»

Несогласие Чехова с Толстым в спорах о бессмертии показало лишний раз коренное различие их жизненных принципов, всего мировосприятия.

«Споришь с человеком,— замечал Толстой,— и не можешь понять, как он не сдается на очевидность доказательства. А поищи и ты увидишь, что несогласие его от того, что его мировоззрение несогласно с твоим. Хочешь согласиться, то ищи согласия в религиозном мировоззрении, состоящем в ответе на вопрос: из-за чего жить? Все в этом». Если последовать сове-

ту Толстого и «поискать», в чем внутренняя суть его разногласий с Чеховым, то легко убедиться, что чертой, более всего их разделявшей, хоть не всегда с виду заметной, был материализм одного и религиозность, идеализм другого.

Отрицание Чеховым идеализма и мистики, материалистический взгляд на вещи достаточно засвидетельствованы им самим как в творчестве, так и в непосредственных признаниях. «Воспретить человеку материалистическое направление,— писал Чехов,— равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет и истины... Я думаю, что когда вскрываешь труп, даже у самого заядлого спиритуалиста необходимо явится вопрос: где тут душа? А если знаешь, как велико сходство между телесными и душевными болезнями, и когда знаешь, что те и другие болезни лечатся одними и теми же лекарствами, поневоле захочешь не отделять душу от тела». Характерно, что Чехов любит в решении общих вопросов пользоваться аргументами медицинской практики; его естественно-научное образование служит опорой материалистических взглядов. Толстой имел, видимо, некоторый резон сказать в своем дневнике: «Нынче царство материализма, т. е. женщин и врачей». Врачебный диплом, которым Чехов так гордился, был для Толстого лишним свидетельством скепсиса и «безверия». «Ему мешают медицина...» — говорил он о Чехове.

Спор в клинике Остроумова, по внешности чисто умозрительный и не имевший ничего общего с земными идеалами собеседников, на деле был тесно с ними связан. «Чтобы верить в бессмертие,— считал Толстой,— надо жить бессмертною жизнью здесь, т. е. жить не в себя, а в Бога, не для себя, а для Бога». Отречение от личности, аскетизм, непротивление, которые поздний Толстой проповедовал как земное призвание человека, служили, по его мысли, как бы приготовлением к загробному существованию, полному растворению во всеобщем начале «любви» и «добра».

Впрочем, в своем представлении о бессмертии Толстой не всегда был так тверд, как ему этого хотелось. «Вера в Бога, настоящая, верная,— писал Толстой в дневнике,— только тогда, когда порвется вера в себя, в людей, в счастье здесь». Бог в этой записи — только другое имя для бес-

смертия. Непоколебимая и полная вера в бога, может, больше всего нужна была Толстому для того, чтобы отогнать от себя призрак смерти. Но такой нерассуждающей и безусловной веры Толстой так никогда и не обрел. Уже в 1901 году Софья Андреевна однажды сказала в ответ на слова Толстого о близкой смерти: «Скучно жить в старости, и я хотела бы поскорей умереть». А Лев Николаевич вдруг оживился, и у него как-то вырвался горячий протест: «Нет, надо жить, жизнь так прекрасна!» Над толстовскими теориями торжествовало простое и мудрое человеческое чувство жизнелюбия, доверия к жизни. Это непосредственное чувство Толстой иногда стыдливо прятал, словно боясь не выдержать заданного себе тяжелого урока. Но и в его художественных сочинениях и в живом общении с людьми это чувство, вопреки всему, пробивало себе дорогу. Для Чехова Толстой и был дорог тем, что не все в нем исчерпывалось его нестойкой религией.

Вернемся, однако, к прерванному рассказу. Тем же мартовским вечером в больничной палате Толстой и Чехов говорили еще и на другую тему, обоим им близкую.

«Толстой пишет книжку об искусстве, — сообщал Чехов в письме к А. И. Эртелю. — Он был у меня в клинике и говорил, что повесть свою «Воскресение» он забросил, так как она ему не нравится, пишет же только об искусстве и прочел об искусстве 60 книг».

Оставив работу над романом, в котором, как ему стало казаться, все было «неверно, выдуманно, слабо», Толстой в пору свидания с Чеховым весь был захвачен писанием книги «Что такое искусство?», которая как будто близилась к завершению.

Но до конца работы, как стало вскоре ясно, было еще далеко, и одним из стимулов к ее продолжению послужило свидание с Чеховым. Толстой поделился с Чеховым мыслями о своей работе. Со взглядами Толстого на современное искусство Чехов был знаком и ранее. Теперь Толстой, очевидно, повторил все это, может быть, только в еще более категорической форме Толстовские взгляды на искусство, если коротко говорить, сводились к тому, что в современном обществе господствует ложное представление об искусстве и правит извращенный вкус; произведения истинного искусства, высоко нравственного, религиозного, доступного народу, подменяются под-

дельным, извращенным искусством высших классов.

Но что считать таким ложным искусством? Чехов мог присоединиться к Толстому в критике декадентства, изощренной условности, театральной рутинности. Открывающее толстовскую статью об искусстве описание оперной репетиции, где автор зло смеется над сценическими штампами, над невыносимой деланностью, фальшью оперных «царей», даже в чем-то схоже с чеховскими суждениями о косности, «тупости и пустозвонстве» современного театра. А рассуждения Толстого о социальном паразитизме буржуазного искусства и местами его аргументация были предвосхищены Чеховым в речах старого профессора из «Скучной истории», напоминающих иногда отдельные страницы толстовского трактата.

Так или иначе, но критика Толстым пошлости и искусственности как двух болезней современного искусства должна была быть сочувственно принята Чеховым. Впрочем, уже из того немногочисленного, что рассказывал Толстой о своей работе, сидя у постели больного Чехова, тот мог почувствовать, как противоречиво было отношение Толстого к предмету своих размышлений — искусству. Обличая — и справедливо обличая — искусство упадочное, декадентское, Толстой приходил к мысли о вырождении искусства вообще. Его отрицание распространялось не только на новейшую оперу и символическую драму, а и на все почти русское и европейское искусство начиная с эпохи Возрождения. Данте и Шекспир, Рафаэль и Микеланджело, Бах и Бетховен не избежали его осуждения.

Вывод Толстого оказался ложным Чехову, так как он не считал основной задачей творчества выражение религиозного сознания и не видел поэтому безысходного тупика, в который, по словам Толстого, зашло все современное искусство. Чехов хорошо сознавал, что наряду с декадентами в литературе работают такие гиганты, как сам Толстой, готовый отрицать и свое художественное творчество, но объективно представляющий силу и славу современного искусства. «Мысль у него не новая, — писал Чехов о своем разговоре с Толстым, — ее на разные лады повторяли все умные старики во все века. Всегда старики склонны были видеть конец мира и говорили, что нравственность пала до *pes plus ultra*, что искусство измельчало, износи-

лось, что люди ослабели и проч. и проч. Лев Николаевич в своей книжке хочет убедить, что в настоящее время искусство вступило в свой окончательный фазис, в тупой переулочек, из которого ему нет выхода (вперед)». Можно предположить, что деликатное сомнение в таком пессимистическом взгляде Чехов тогда же выразил и самому Толстому.

Впечатление о работе «Что такое искусство?», сложившееся первоначально со слов автора, подтвердилось, когда через несколько месяцев Чехов прочел выдержки из статьи Толстого, напечатанные в газете «Новое время». «Все это старо,— писал Чехов Суворину.— Говорить об искусстве, что оно одряхлело, вошло в тупой переулочек, что оно не то, чем должно быть, и проч. и проч., это все равно, что говорить, что желание есть и пить устарело, отжило и не то, что нужно. Конечно, голод старая штука, в желании есть мы зашли в тупой переулочек, но есть все-таки нужно и мы будем есть, что бы там ни разводили на бабах философы и сердитые старики». Чехова, как и прежде, покорило категорический тон рассуждений Толстого о вырождении искусства. Но, зорко приметив слабость Толстого, он не мог еще тогда в полной мере оценить сильные стороны его книги, которая в целом виде стала ему известна лишь позднее. Ни в переписке, ни в дневнике писателя, ни в мемуарах о Чехове мы не найдем прямых его откликов на книгу «Что такое искусство?». Но нельзя ли обнаружить следы чтения Чеховым толстовского трактата в его художественном творчестве?

В бумагах писателя сохранился отрывок, печатаемый ныне под названием «Письмо» в собрании его сочинений. Ни точная дата, ни общий замысел произведения не ясны. Содержание отрывка несколько необычно. «Многоуважаемая Мария Сергеевна! Пошлю Вам книгу, о которой писал в среду. Прочтите. Обращаю Ваше внимание на страницы 17—42, 92, 93 и 112, особенно на те места, которые я подчеркнул карандашом. Какая сила!» Так пишет своей доброй знакомой молодой человек Игнатий Баштанов, недавно бросивший духовную академию. По случайному несчастью он оказался прикованным к постели. В вынужденном безделье и томительной скуке, на которую обречен больной, утехой служат чтение и думы о прочитанном. В письме к

Марии Сергеевне Игнатий Баштанов пишет о какой-то глубоко захватившей его книге, пересказывает свой спор с приятелем Травниковым об искусстве, спор, навеянный этим чтением. Не названы ни книга, ни ее автор, а между тем по одному описанию Баштанова складывается впечатление, что речь идет о вполне реальной, но исключительно незаурядной вещи, о книге-событии.

«Какая сила! — восхищается Баштанов.— Форма, по-видимому, неуклюжа, но зато какая широкая свобода, какой страшный, необъятный художник чувствуете в этой неуклюжести! В одной фразе три раза «который» и два раза «видимо», фраза сделана дурно, не кистью, а точно мочалкой, но какой фонтан бьет из-под этих «которых», какая прячется под ним гибкая, стройная, глубокая мысль, какая кричащая правда!»

Чехов не был обычно щедр на громкие похвалы. «Кричащая правда», «страшный, необъятный художник» — так он мог говорить об одном лишь писателе. Чеховым, или, точнее, его героем, отмечены даже характерные, бросающиеся в глаза особенности стиля Толстого: кажущаяся небрежность, синтаксическая усложненность фразы и т. п.

Но если это и в самом деле Толстой, то нельзя ли определить, о какой его книге идет речь?

Восхищаясь книгой, Игнатий Баштанов подчеркивает не столько образную силу, сколько мысль автора («гибкая, стройная, глубокая мысль»), хотя и говорит, что книга написана «страшным, необъятным художником». Это наталкивает на соображение, не была ли книга эта теоретической или публицистической работой прославленного писателя-художника? И не под впечатлением ли прочитанных им рассуждений Игнатий Баштанов загорается идеей «научиться объяснять» литературу «и все так называемые изящные искусства»?

Баштанов подробно описывает в своем письме «литературный спор», возникший у него с его знакомым Травниковым по поводу одной из страниц книги. Спор этот — сугубо эстетического свойства — касается вопроса предназначения и задач искусства. Все это подсказывает, что в «Письме» подразумевается теоретическая работа Толстого об искусстве, то есть книга «Что такое искусство?».

Это предположение было впервые выдвинуто З. Паперным и частью им аргументировано. Но исследователь не обратил вни-

мания на одну важную деталь. В письме Баштанов указывает страницы книги, которые он рекомендует прочесть с особым тщанием. Естественно, возникает вопрос: произвольно ли названы Чеховым страницы книги или они соответствуют какому-то вполне определенному и побывавшему у него в руках изданию?

Нами просмотрены все издания книги «Что такое искусство?», вышедшие в 1898—1899 годах, и в одном из них, а именно в издании «Посредника» для интеллигентных читателей (М. 1898), страницы книги, те, что соответствуют названным в «Письме», и в самом деле прямо перекликаются с размышлениями и спорами героев — Баштанова и Травникова. Чтобы не утомлять читателя длинными выписками, скажем только, что на отмеченных Баштановым страницах Толстой формулирует мысли о субъективности понятия красоты, о заразительной силе искусства и т. п., то есть как раз о том, что служит для героев «Письма» предметом горячего обсуждения.

В отрывке «Письмо» продолжается не только разговор об искусстве, но и спор о бессмертии, о смысле жизни, который вели Толстой и Чехов в больничной палате клиники Остроумова.

Конечно, нельзя полностью отождествлять взгляды Травникова с идеями Толстого, а слова Баштанова — со словами Чехова, но думается, что устами Баштанова Чехов доказывает то, чего не успел или не смог высказать Толстому маргзовским вечером 1897 года. Как бы отдавая на суд третьей стороне — читателю — свой спор с Толстым, Чехов делает до конца очевидной разницу двух взглядов на жизнь: «Он хочет и ищет бога, ищет день и ночь и находит одну только пропасть, в которую чем дальше смотришь, тем кажется она глубже и темнее. А какое высокое наслаждение для меня гулять по деревне и заходить в избы к людям и говорить с ними. Какое разнообразие лиц, голосов, умов, вкусов, верований!.. Хороша жизнь, Мария Сергеевна! Правда, она тяжела, скоротечна, но зато как богата, умна, разнообразна, интересна, как изумительна! Травников отравляет себя тоской по бессмертию и вечному блаженству; но я не так жаден и для меня совершенно достаточно этой короткой, маленькой, но прекрасной жизни». Если Баш-

танов — лирический герой Чехова (а этого нельзя не признать), то как характерно то, что его «томит жажда жизни», стремление больше узнать и понять, радость от знакомств с самыми различными людьми и желание быть им полезным. Выраженный здесь органический оптимизм, жадное любопытство к людям, жизнелюбие — коренные черты натуры Чехова, позволявшие ему при всей зоркости к скверным сторонам действительности и скептической трезвости ума не поддаваться чувству безнадежности и сохранять высокое доверие к жизни. Чеховский герой признается, что жизнь для него — это прежде всего люди, его окружающие, а среди них и Травников, с которым он яростно спорит, но любит его «тем сильнее, чем глубже засасывается он в тину, куда влечет его жадная, неумолимая, мучительная мысль». Нет ли в этом сложном чувстве чего-то напоминающего отношение Чехова к Толстому?

Несмотря на все несогласие с толстовской философией, Чехов гордится им как человеком, радуется, что может встречаться и говорить с ним. Толстой чарует Чехова не только своим несравненным искусством, а всем богатством и мощью своей личности. В нем Чехов видит свидетельство всемогущества человеческого разума и творческого гения. Поэтому и герой его так пылко выражает свое восхищение гениальной книгой, с которой он, как помним, во многом не согласен. «Я читал ее вчера весь день,— пишет Баштанов,— у меня захватывало дух, и я чувствовал, как новые элементы жизни, каких я раньше не знал, входили в существо моего сердца. С каждой новой страницей я становился богаче, сильнее, выше!.. мне казалось, что каждая из этих могучих, стихийных страниц создана не даром, что своим происхождением и существованием она должна вызвать в природе что-нибудь, соответствующее своей силе, что-нибудь вроде подземного гула, перемены климата, бури на море...»

Встреча в 1897 году в клинике Остроумова, несмотря на теплый, дружеский ее характер, яснее, чем когда-либо, показала обоим писателям их расхождение в важнейших вопросах жизни и искусства.

Все пристрастие Чехова к Толстому-человеку, его восхищение Толстым-художником не в состоянии было сделать его более терпимым к религиозно-философской «толстовской» тенденции, так же как все обая-

ние личности Чехова не искупало в глазах Толстого чеховского «безверия».

С весны 1897 года настоящее здоровье уже не возвращалось к Чехову. Выйдя из клиники, он старался ни в чем не изменить своей прежней деятельной и полной жизни, но мучительная болезнь заставляла считаться с собой. Врачи советовали большую часть года проводить на юге — в Крыму и за границей.

В Крыму, куда Чехов ехал с такой неохотой и который называл своей «ссылкой», он часто вспоминал о Толстом. В его душе не остывало желание снова увидеться, побеседовать с ним. Своих знакомых он осаждал из Ялты вопросами: «Знакомы ли Вы с Л. Н. Толстым? Далеко ли Ваше имение будет от Толстого? Если близко, то я Вам завидую. Толстого я люблю очень». Или неожиданно, без видимого повода, как бы делясь своими раздумьями, вдруг заявлял в одном из писем: «Я Толстого знаю, кажется, хорошо знаю, и понимаю каждое движение его бровей, но все же я люблю его». Характерно и это признание в любви и это «все же»: дескать, и знаю о его заблуждениях и слабостях, и не оглашаюсь с ним, а не могу не восхищаться и не любить.

Зимой 1898 года в Ялте Чехов закончил работу над рассказом «Душечка», которому суждено было стать любимой вещью Толстого.

Этот рассказ, напечатанный в журнале «Семья», принес в дом Толстых П. А. Сергеенко 14 января 1899 года. За вечерним чаем стали говорить о литературных новостях, и Сергеенко сказал о «Душечке». «Лев Николаевич спросил, — вспоминает Сергеенко, — читал ли я этот рассказ и как его нахожу. Я сказал, что читал и нахожу его «ничего себе». Впрочем, я пробежал мельком рассказ и, может быть, составил о нем неверное мнение. Узнав, что рассказ А. Чехова со мною, Лев Николаевич оживился и предложил читать вслух «Душечку». С первых же строк рассказа он начал делать одобрительные вставки: «Как хорошо! Какой превосходный язык!» и т. п. И, прочитавши с большим мастерством «Душечку», Л. Н. обратился ко мне с недоумением: — Как же это вы сказали «ничего себе»? Это просто перл. Как тонко схвачена и выведена вся природа женской любви! И какой язык! Никто из нас: ни До-

стоевский, ни Тургенев, ни Гончаров, ни я не могли бы так написать».

На следующий день — 15 января — Софья Андреевна записывала в дневнике: «Лев Николаевич опять прочел отлично всем «Душечку» Чехова, и все очень смеялись». 24 января Толстой вновь читал гостям «Душечку». И это было только начало. Чтение «Душечки» стало почти традицией. Если Толстой находился в хорошем расположении духа и хотел доставить удовольствие себе, своим домашним и гостям, он неизменно читал вслух «Душечку». Казалось, Толстой должен был помнить рассказ уже наизусть, но этот маленький шедевр никак не мог ему наскучить: он отыскивал в нем все новые красоты, восхищался гуманностью и глубиной мысли автора. «Ваша «Душечка» — прелесть! — писала Чехову Т. Л. Толстая. — Отец ее читал четыре вечера подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи».

Толстой высоко оценил художественность чеховского рассказа, но «Душечка» пришла ему особенно по душе еще и потому, что в ней он увидел подтверждение своих мыслей о женщинах и о любви вообще. Вчитываясь в рассказ Чехова, Толстой как бы ассимилировал его, включил в общий строй своих рассуждений о жизни и «дobre», придал рассказу дополнительный, не предусмотренный автором смысл. Свое понимание «Душечки» Толстой окончательно сформулировал в «Послесловии» к рассказу, написанном в 1905 году в связи с его изданием в сборнике «Круг чтения». Толстой не мог не почувствовать, что в своем толковании он существенно расходится и с самим автором и с большинством читателей. Это, впрочем, служило в его глазах лишним доказательством высокой художественности рассказа. «Превосходный рассказ! — говорил Толстой Сергеенко. — И как истинное художественное произведение, оно, оставаясь прекрасным, может производить различные эффекты, подобно лакмусовой бумаге». Любопытно это уподобление лакмусу. Произведения, верно отображающие жизнь, часто находят одобрение у людей противоположных убеждений, которые истолковывают нарисованное художником лицо или картину столь же различно, как и явления самой жизни.

Сам Чехов не сомневался, что написал юмористический рассказ. В письме к Суворину он так его и называет: «Я недавно на-

писал юмористический рассказ в 1/2 листа, и теперь мне пишут, что Л. Н. Толстой читает этот рассказ вслух, читает необыкновенно хорошо». Чехову казалось, что Толстого и привлек-то в его рассказе прежде всего юмор. «Мне пишут, что Л. Н. Толстой очень хорошо и смешно читает мой рассказ «Душечка», напечатанный в «Семье», — сообщал Чехов сестре. Юмор Чехова и в самом деле был по достоинству оценен Толстым, но не это поставило «Душечку» так высоко в его глазах.

Чехов рассчитывал на то, что его героиня должна производить жалкое и комическое впечатление. Это отношение автора к «Душечке», комизм самой ситуации обнажены уже в первоначальном наброске сюжета: «Была женой артиста — любила театр, писателей, казалось, вся ушла в дело мужа, и все удивлялись, что он так удачно женился; но вот он умер; она вышла за кондитера, и оказалось, что ничего она так не любит, как варить варенье, и уж театр презирала, так как была религиозна в подражание своему второму мужу». Оленька у Чехова — существо робкое, покорное, во всем послушное судьбе. Она начисто лишена какой бы то ни было самостоятельности в мыслях, и в мнениях, и в занятиях, не зная иных интересов, кроме интересов мужа-антрепренера или мужа-лесоторговца, которые и сами по себе ничтожны и смешны. Слепо повторяет Оленька чужие мнения: то об оперетке, то о балках и тесе, то о ветеринарном надзоре, то о том, как трудно стало учиться в гимназии. В тоне, каким это все рассказано, — не одна ирония и насмешка, но и чувство жалости и горечи по отношению к этой пустой, бесцветной и однообразной жизни, рассказать о которой можно на нескольких страницах, так она односложна и скудна. Это отношение Чехова к героине говорит о высокой гуманности автора, который под обыденным течением жизни вскрывает часто не ощущаемый персонажами, но глубокий драматизм бессмыслицы и пустоты обывательского бытия.

Толстой воспринял чеховский рассказ совсем по-иному. Оленька для него — это воплощение «того высшего, лучшего и наиболее приближающего человека к богу дела, — дела любви, дела полного отдания себя тому, кого любишь, которое так хорошо и естественно делали, делают и будут делать хорошие женщины». Толстой готов

был признать комическим что угодно, только не саму ситуацию «Душечки», не сам характер Оленьки. «Смешна и фамилия Кукина, смешна даже его болезнь и телеграмма, извещающая об его смерти, смешон лесоторговец с своим степенством, смешон ветеринар, смешон и мальчик, но не смешна, а свята, удивительна душа «Душечки...» Надо ли говорить, что такое понимание рассказа не входило в расчет автора.

Толстой чувствовал это и старался по своему объяснить. В «Послесловии» к «Душечке» он припомнил библейскую легенду о том, как царь Валак пригласил к себе Валаама, с тем чтобы тот проклял народ израильский, пообещав ему за это много даров. Валаам соблазнился и хотел проклясть врагов Валака, но вместо этого, словно не по своей воле, трижды благословил их... Это и произошло, по объяснению Толстого, с Чеховым, когда он писал «Душечку».

Толстой, таким образом, пускает в ход издавна известный аргумент, что намерения писателя приходят порой в противоречие с тем, что им пишется. «Валак общественного мнения пригласил Чехова проклясть слабую, покоряющуюся, преданную мужчине, неразвитую женщину, — пишет Толстой, — и Чехов пошел на гору, и были возложены тельцы и овцы, но, начав говорить, поэт благословил то, что хотел проклинать». Толстой намеренно несколько утрирует: Чехов не думал «проклинать» «Душечку» — он смотрел на нее всего лишь с улыбкой горького сожаления, но равно далек был и от идеализации Оленьки и от ее любви к Кукину или ветеринару. Толстой видел расхождение намерений автора и реального смысла рассказа там, где в самом деле было другое противоречие, связанное с субъективностью взгляда самого Толстого-читателя.

Совсем иначе, чем Толстой, смотрел на «Душечку» другой ее читатель — Горький. В героине чеховского рассказа ему антипатичны рабьи черты, ее приниженность, отсутствие человеческой самостоятельности. «Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает «Душечка», — пишет Горький, — милая, кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке, и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба». То, что Толстой идеализировал и «благословлял» в «Душечке» — неразборчивость любви, слепую предан-

ность и привязанность,— то не мог одобрить Горький, с его идеалами свободного и гордого человека. Как видим, «лакмусовая бумага» и в самом деле давала самый различный эффект, в зависимости от мировоззрения людей, знакомившихся с историей «Душечки».

Рассказ Чехова послужил Толстому поводом к тому, чтобы лишний раз высказать свое презрительное отношение к женскому вопросу, к «так называемому женскому вопросу», как спешит оговориться Толстой. Толстой вступил в спор с автором «Душечки» потому, что достаточно ясно чувствовал, что Чехов исходил из представления «о новой женщине, об ее равноправности с мужчиной, развитой, ученой, самостоятельной, работающей не хуже, если не лучше, мужчины на пользу обществу, о той самой женщине, которая подняла и поддерживает женский вопрос, и он, начав писать «Душечку», хотел показать, какую не должна быть женщина».

Правда, в иные минуты и Толстой мог признать, что чеховская Оленька и ее судьба далеки от идеала. Горький услышал однажды, как Толстой сказал Сулержицкому: «У Чехова есть прекрасный рассказ «Душечка»,— ты почти похож на нее.

— Чем? — спросил Сулер, смеясь.

— Любить — любишь, а выбрать — не умеешь и уйдешь весь на пустяки». Это косвенное признание того, что «Душечка» разменяла свою жизнь на пустяки, свидетельствует, что от Толстого не ускользнула и подлинная чеховская мысль рассказа. Но что можно было сказать в шутивном разговоре, то не должно было появиться в писаниях Толстого — учителя жизни. В «Послесловии» «Душечка» выступает безупречным «образцом того, чем может быть женщина для того, чтобы быть счастливой самой и делать счастливыми тех, с кем ее сводит судьба». Как не в ладу это утверждение со всем духом чеховского рассказа!

Само понимание любви, личного счастья не сходно у Толстого и Чехова. Толстому дорога прежде всего любовь-привязанность, любовь-самоотвержение, слепая преданность женщины мужчине. К тому же Толстого — великого жизнелюбца — все время поправляет Толстой-аскет. Он старается очистить любовь от «унизительных порывов плоти», от нерассуждающей живой страсти, оставив только то, что может походить на «всеобщий закон» любви к ближнему.

Не всегда, впрочем, это ему удается. Так Толстой считает «влюбленье» грехом и несчастьем, повторяет это упорно и чуть ли не с ожесточением, а на страницах дневника семидесятилетнего писателя мы встречаем такие строки: «Еще думал нынче же совсем неожиданно о прелести — именно прелести — зарождающейся любви, когда на фоне веселых, приятных, милых отношений начинает вдруг блестеть эта звездочка. Это вроде того, как пахнущий вдруг запах липы или начинающая падать тень от месяца. Еще нет полного цвета, нет ясной тени и света, но есть радость и страх нового, обаятельного». Так почувствовать и так написать мог лишь человек «язычески», попросту ощущающий все радости жизни, согретый ее поэзией, помнящий и знающий такие чувства, которые никакие аскетические теории не в силах задумать и опорочить.

И однако в рассуждениях Толстого о любви есть своя последовательность. Любовь для него находит высшее свое выражение в семейном долге, прочно осознанном женщиной. Толстому кажется неважным, будет ли предметом этой любви Кукин, ничтожный лесоторговец и неприятный ветеринар или Спиноза, Паскаль, Шиллер. Ведь любовь — это утешение, помощь, поддержка. Потому-то и неважно, обращена эта любовь «к Кукину или к Христу», в ней все равно «главная, великая, ничем не заменимая сила женщины».

Подобный взгляд на любовь, на призвание женщины сложился у Толстого в основных своих чертах еще в эпоху писания «Семейного счастья», «Войны и мира», «Анны Карениной». Наташа Ростова в финале романа. Кити Щербацкая — жена Левина — и, наконец, апофеоз женской добродетели Долли, отдавшая свою жизнь детям, — во всех этих образах высказано немало правды о женской душе — любящей, преданной, бескорыстной. В изображении супружеской любви, семейных радостей у Толстого нет соперников. Великий тайновидец, он прекрасно рисует и очарование юной влюбленности, прелесть просыпающегося чувства, и первое «кружение сердца» Наташи Ростовской и Кити, но «солнце брака» всегда все-таки затмевает у него «звезду стыдливую любви».

Есть, однако, у Толстого и героиня другого рода, к которой больше подходит соображение, высказанное им применительно к «Душечке»: писатель хотел «свалить» героиню, но «обратил на нее усиленное вни-

мание поэта и вознес ее». Это, конечно, Анна Каренина, которую Толстой должен был осудить и не смог. Притча о Валааме и Валаке здесь как нельзя более кстати. Страстная, искренняя, исполненная какого-то особенного душевного благородства, Анна своей личной значительностью, непреодолимостью и силой чувства, своей трагической судьбой наконец, становится на редкость притягательной для читателя, заставляя поборкнуться и отступить в тень Кити и Долли. «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, — писал молодой Толстой, — начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость». Внутренняя неуспокоенность, поиски, борьба — в противовес умеренности, покою, самодовольству всегда составляли свойство любимых героев Толстого, но не из числа женщин, которым писатель отводил совсем особую роль. Анна Каренина в этом смысле — редкое исключение. Пусть по-своему, по-женски, не выходя из круга интересов любви, но Анна — беспокойный, мятущийся человек, оскорбленный всем неустойчивым и фальшивым жизни.

«Милая и дорогая Анна», как помним, была самой близкой Чехову героиней Толстого. «Женщины и девицы» Тургенева не шли для Чехова ни в какое сравнение с ней.

Чеховская Маша в «Трех сестрах», Анна Алексеевна в рассказе «О любви», Анна Сергеевна в «Даме с собачкой» чем-то отдаленно родственны Анне Карениной.

Честность, искренность, высокая порядочность и одновременно неудовлетворенность своей жизнью, поиски полного, истинного счастья — и трудность, почти невозможность его достижения сближают этих героинь. В характере Анны, правда, больше определенности, решительности; чеховские же героини часто носят свою драму невысказанной, словно боятся расплескать свое чувство.

«В «Душечке» выведена истинная женская любовь», — говорил Толстой. С этим Чехов никогда бы не мог согласиться. Истинной любовью была для него любовь Анны Карениной, любовь Гурова и Анны Сергеевны в «Даме с собачкой». И не случайно Толстой-моралист сурово осудил этот лирический шедевр Чехова. У него, обычно такого благожелательного к чеховским вещам, на раз не нашлось ни одного сочувствен-

ного слова. «Читал «Даму с собачкой», — отметил он в записной книжке. — Это по сторону добра, т. е. не дошло еще до человека».

По мнению Толстого, в чеховском восприятии любви нет ничего духовного, его мораль «не дошла еще до человека». Но что считать истинно «человечным» в любви? Можно ли считать любовью лишь любовь-привязанность, служение женщины мужчине?

Для Чехова любовь — это независимое, вольное чувство, основанное на искренности и свободе выбора, на равенстве мужчины и женщины. «...Любить надо равных себе», — находим мы в его записной книжке. Любовь выступает у Чехова не служанкой добра, а в своем собственном высоком значении. Чехов согласен, что привязанность, забота, самоотвержение — все это прекрасные, сопутствующие любви чувства, но все-таки самое важное в любви — сама любовь. В ответ на письмо брата Михаила, со скучным здравомыслием советовавшего Чехову пожертвовать своим холостяцким одиночеством и жениться на хорошей девушке, писатель отвечал: «Жениться интересно только по любви; жениться же на девушке только потому, что она симпатична, это все равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша. В семейной жизни самый важный винт — это любовь, половое влечение. едина плоть, все же остальное — не надежно и скачко, как бы умно мы ни рассчитывали. Стало быть, дело не в симпатичной девушке, а в любимой; остановка, как видишь, за малым».

Чеховское понимание любви, лишенное и тени ханжества, аскетизма, озарено в то же время глубокой человечностью и духовным смыслом. Любовь для него — время высшего подъема душевных сил, особой чуткости ко всему прекрасному и доброму. «То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, — пишет Чехов, — быть может есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть».

Греховная и нечистая, с точки зрения традиционной морали, любовь Анны Сергеевны и Гурова кажется на самом деле островком правдивой и светлой человечности среди окружающего их фальшивого, пошлого, бесцветного мира. В любви чеховских героев все оттенки прекрасного чувства: живая, непосредственная страсть, нежность и искренность, глубокое внутреннее родство.

«Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в разных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих». Любовь в «Даме с собачкой» — это нечто прямо противоположное любви «Душечки», и надо ли говорить, какой из них Чехов отдает предпочтение.

То, что Толстой, по-своему истолковав, превознес рассказ Чехова «Душечка» и остался решительно недоволен «Дамой с собачкой», еще раз свидетельствовало о глубокой разнице их мировоззрений, на этот раз сказавшейся во взгляде на любовь и на призвание женщины.

Осенью и зимой 1901—1902 годов Чехов и Толстой оба жили в Крыму. Легко понять, какой отрадой было для Чехова это недалекое соседство с Толстым, возможность встречаться и говорить с ним. Как только позволяло здоровье и погода была сносной, Чехов отправлялся в гости к Толстому в Гаспру, где тот жил со своими близкими на даче Паниной.

Первый раз Чехов появился в Гаспре 12 сентября 1901 года. Бунин рассказывает в своих воспоминаниях, как волновался Чехов перед поездкой, как чуть не час собирался, обдумывая все мелочи, вплоть до костюма.

От чеховской Аутки до Гаспры было немногим более десяти верст, и около полудня Чехов уже подъезжал к воротам огромной дачи Паниной, напоминавшей скорее средневековый замок с высокими башнями-турами и стрельчатыми окнами. Заранее извещенные о приезде Чехова, хозяйева ждали его с нетерпением. Появился Чехов — и все оживились, обрадовались. Впрочем, гостивший у Толстых с утра П. А. Сергеенко, несколько недоумевая, записал в дневнике: «...Чехов вошел в некотором роде фертом, в модных узких штанах и с «развязностью почти военного человека» (Сергеенко и не догадывался, сколько забот доставил Чехову его костюм! — В. Л.). Но Лев Николаевич был опьянен Чеховым и все находил в нем превосходным, охот-

но соглашаясь с ним и уже авансом улыбаясь, когда Чехов собирался остричь».

Весь день Толстой и Чехов провели вместе, гуляли, спустились по тропинке к морю, дружески разговаривали, сидя на широкой открытой террасе дачи. Толстой очень хвалил рассказ Чехова «В овраге» и даже что-то цитировал из него автору наизусть. Разговор касался и пьес Чехова, которые Толстой недолюбливал: он находил, что они «еще хуже» шекспировских...

В этот день Сергеенко сделал свои знаковые многим уникальные снимки, сохранившие для нас со всей живой конкретностью мгновения этой встречи: Толстой и Чехов, присевшие отдохнуть на низеньком белом диванчике, и за беседой у чайного стола, на террасе.

Первая встреча в Гаспре доставила много удовольствия и хозяину и гостю, хотя она и была отчасти омрачена нездоровьем их обоих.

В месяцы, проведенные Толстым в Гаспре, он несколько раз серьезно болел. Письма Чехова этой поры в Москву и Петербург — О. Л. Книппер и друзьям — напоминают медицинские бюллетени. Почти в каждом письме среди первоочередных новостей Чехов пишет о здоровье Толстого. Доктор И. Н. Альтшуллер, лечивший Толстого, вспоминает, что в эти дни Чехов «страшно волновался; взял с меня слово, что каждый день, возвращаясь из Гаспры, я буду заезжать прямо к нему, а если уж почему-нибудь никак нельзя, то хоть по телефону сообщу ему самые подробные сведения о состоянии больного».

Толстой представляется Чехову главой русской литературы, высоко поставившим общественное и нравственное достоинство писателя, охранявшим реалистическое искусство от декадентских и иных модных «настроений и течений». Вся слава национальных литературных традиций, правдивость и мощь художественного слова, беспощадная искренность и стремление «дойти до корня», гуманность и народолюбие — все это соединяется для него в имени Толстого. Еще в начале 1900 года по поводу первой серьезной болезни Толстого Чехов прекрасно определил в письме Меньшикову, какое значение имел для него Толстой — человек и писатель. «Я боюсь смерти Толстого, — писал тогда Чехов. — Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не

любил так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие на литературу возлагаются. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени».

После первой поездки в Гаспру Чехов не раз еще навещал там Толстого и подолгу беседовал с ним. Коренная разница взглядов должна была подспудно ощущаться и в этих разговорах на самые разные темы. Сын Толстого, Сергей Львович, вспоминает о приездах Чехова: «Отец с ним разговаривал о литературе, о земельном вопросе, о современном положении России. . . Антон Павлович кротко его выслушивал и высказывал к его речам почтительный, но скептический интерес. Сам он говорил мало и не спорил. Отец чувствовал, что Антон Павлович, хотя относится к нему с большой симпатией, не разделяет его взглядов. Он вызывал его на спор, но это не удавалось; Антон Павлович не шел на вызов. Мне кажется, что моему отцу хотелось ближе сойтись с ним и подчинить его своему влиянию, но он чувствовал в нем молчаливый отпор, и какая-то грань мешала их дальнейшему сближению.

— Чехов — не религиозный человек, — говорил отец».

Психологически точно передано в этом рассказе и упорное желание Толстого всей гипнотической силой своей личности подчинить себе собеседника, сделать его своим единоверцем, и молчаливое, но твердое внутреннее сопротивление Чехова.

Многое в суждениях Толстого по-прежнему казалось Чехову ложным, но он приметил, как видно, и нечто новое в его образе мыслей: Толстой чувствовал приближение революционных событий. В июне 1902 года Чехов беседовал в Москве с драматургом Евт. Карповым о новых явлениях в общественной жизни и, уверяя его, что «пережили мы серую канитель», ссылаясь на свои разговоры с Толстым: «У нас на юге волна сильно бьет...

В народе сильное брожение. Я недавно беседовал с Львом Николаевичем. И он тоже видит... А он старец прозорливый... Гудит, как улей, Россия... Вот вы посмотрите, что будет года через два-три... Не узнаете России...» Новые неожиданные мысли не зря приходили к Толстому, как и Чехова не обмануло его предчувствие: сердца великих писателей — самые чуткие сейсмографы настроений народа: через два года грянул гром первой русской революции.

В Гаспре часто шла речь и о литературе, о новых именах в ней. Всякому успеху молодого русского литератора Толстой отечески радовался и когда, например, прочел рассказ Куприна «В цирке», рассказывал об этом Чехову как о счастливой находке и просил передать автору, что он с удовольствием бы познакомился с его творчеством поближе. Толстому не были симпатичны, однако, новомодные писания отечественных декадентов. В стихах декадентских поэтов Толстой находил обидный разрыв с русской национальной традицией. «Я — старик, — говорил Толстой Горькому, — и, может, теперешнюю литературу уже не могу понять, но мне все кажется, что она — не русская. Стали писать какие-то особенные стихи, — я не знаю, почему это стихи и для кого. Надо учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы, — он обратился к Чехову, — вы русский! Да, очень, очень русский».

И, ласково улыбаясь, обнял Антона Павловича за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах».

В личности Чехова, как и в его художественном таланте, Толстой особенно любил эти русские национальные свойства: ясную правдивость, простоту и душевную мягкость. Характерно, что Толстой, часто сравнивавший Чехова по «изящной правде» его письма с Мопассаном, вкладывал в это сравнение не всегда одинаковый смысл. Прежде, упоминая рядом имена Чехова и Мопассана, Толстой как бы делал этим честь молодому русскому писателю. В последние же годы он смело ставил Чехова выше прославленного французского мастера. «У французов, — говорил Толстой Горькому, — три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер, ну еще — Мопассан, но Чехов — лучше его».

На юге, в Крыму, томики Чехова в марксовском издании — всегда под руками у Толстого. Когда в дни болезни

Толстой чувствует себя слабым и не может работать, он обычно просит кого-нибудь читать вслух и почти всегда останавливает свой выбор на рассказах Чехова. Толстого восхищает своеобразие чеховского мастерства, его умение сохранить и закрепить в слове всю реальность ощущений живой жизни. Считая Чехова «Пушкиным в прозе», Толстой старается определить для себя суть его достижений, литературного новаторства. «У Чехова все правдиво до иллюзии,— записывал за Толстым А. Б. Гольденвейзер,— его вещи производят впечатление какого-то стереоскопа. Он кидает как будто беспорядочно словами и, как художник импрессионист, достигает своими мазками удивительных результатов».

Эти мазки, черточки, детали и в самом деле играют у Чехова очень важную роль, заменяя разного рода описания и объяснения. «Когда я пишу,— говорил Чехов,— я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам». Этот расчет на читателя, на его творческую возбудимость и чуткость — одна из коренных черт чеховской манеры. В какой-нибудь внешне незначительной сценке, обрывке разговора, бытовой подробности вдруг выявляется у Чехова характер человека, нравы и обычаи среды, идеалы и убеждения героя.

При этом у Чехова мы не найдем никогда лишних подробностей, каждая, по выражению Толстого, «или нужна, или прекрасна». Деталь «нужна», когда она несет важный идейный и эмоциональный заряд. Деталь «прекрасна», когда она, даже не претендуя на особую многозначительность, дает живое ощущение жизни, полную иллюзию реальности происходящего.

Эта иллюзия еще усиливается оттого, что при всей внешней объективности изображения автор старается все время думать и чувствовать вместе с героем, сохраняя его настроение, глядя на мир его глазами. Припомним это поразительное по реальности, зримости описание прогулки на лошадях в начале рассказа «Учитель словесности», который Толстой хвалил за его «художественность». Впечатление объемности, «стереоскопичности» возникает благодаря тому, что автор возбуждает в читателе целый рой личных ассоциаций.

Вместе с Никитиным и рассказчиком и мы словно слышим, как в городском саду играет музыка, хлопают калитки, раздается смех, говор и лошади стучат по мостовой. Мы видим, как ползут по небу облака, как тянутся через улицу тени (значит, скоро зайдет солнце), как спешит в сад на гулянье публикa. Мы вдыхаем запах белой акации и сирени и чувствуем благодатное тепло тихого летнего вечера. Мы как бы ощущаем, что мы движемся, так как навстречу попадают люди — солдаты, гимназисты, гуляющие. И эта иллюзия нашего присутствия и соучастия подчеркивается еще авторской интонацией удовольствия, оттого что его герой с милым семейством Шелестовых решили проехаться на лошадях в такой чудный вечер.

Чеховская краткость, верность деталей и воскрешение за деталью целого мира ассоциаций, его лиризм, объединение сцен жизни личным настроением создали особую форму, привлекательность которой — в ее реальности, сугубой близости жизни, зримости, пластичности и одновременно эмоциональной заразительности. Это художественное «открытие» и вызывало восхищение Толстого. Не отдельно в сугубой «натуральности», верности жизни до мелочей, и не отдельно в «лиризме» своеобразии Чехова-художника, а в сведении двух этих углов зрения в один, в умении лично, человечески, не описательно, а через индивидуальные ощущения запечатлеть быт, природу, характер.

Вопрос о том, следует ли описывать вещи «сами по себе» или лучше передавать впечатление, произведенное ими на человека, занимал и Толстого с молодых лет и до глубокой старости. В пору работы над «Хаджи-Муратом» Толстой говорил об искании «новых путей» в искусстве: «Для этого, несомненно, есть основания. Все старые приемы уже так избиты. Я больше не могу читать. Когда я читаю: «Было раннее утро...», я больше не могу, мне хочется спать. Больше нельзя описывать природу». В «Хаджи-Мурате» — этом художественном завещании Толстого — встречаются наиболее яркие примеры описания не «со стороны», а в постоянном соотношении внешнего мира с ощущениями и восприятием героя. «Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда,

весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и на видневшуюся из-за ущелья матовую цепь гор, как всегда старавшихся притвориться облаками» (разрядка наша.— В. Л.). Нетрудно заметить здесь родство с Чеховым и в безличных формах, словно стирающих грань между рассказчиком и героем, и в «очеловечении» природы («горы, притворившиеся облаками»). Стремление не застыть в своих творческих исканиях, достигнуть новой выразительности слова всегда отличало Толстого. Это и заставило его так высоко оценить художественное новаторство Чехова.

...31 марта 1902 года Толстой и Чехов виделись последний раз. В памяти Чехова Толстой до конца дней оставался таким, каким он увидел его в это последнее свидание. «...Он показался мне выздоравливающим,— писал Чехов Н. П. Кондакову,— но очень старым, почти дряхлым. Много читает, голова ясная, глаза необыкновенно умные. Писать, конечно, нельзя, но все же есть кое-что новое, им написанное...» Толстой работал тогда среди прочего и над повестью «Хаджи-Мурат», показавшей, как не по-стариковски свеж и жизнеспособен был еще его талант. Сила духа Толстого, не прекращавшаяся в нем внутренняя работа, напряженность творческой мысли в эту последнюю встречу, как и раньше, произвели на Чехова глубокое впечатление.

Весной 1902 года, дождавшись тепла, Чехов, по своему обыкновению, уехал из Ялты в Москву. Вскоре и Толстой вернулся в свою Ясную Поляну. Больше они не виделись.

Когда телеграф принес из немецкого курорта Баденвейлер горькую весть, что умер Чехов, Толстой больно пережил это. В

траурные дни июля 1904 года посетивший Ясную Поляну корреспондент газеты «Русь» А. Зенгер услышал от Толстого его прощальное слово о Чехове. Толстой будто размышлял вслух, пытаясь найти самые верные и точные слова, чтобы определить значение Чехова. «Чехов... Чехов, видите ли, это был несравненный художник... Да, да!.. Именно несравненный... Художник жизни... И достоинство его творчества то, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще... А это главное... Он был искренним, а это великое достоинство; он писал о том, что видел и как видел... И благодаря искренности его он создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы письма, подобных которым я не встречал нигде! Его язык — это необычный язык... Я хочу вам сказать еще, что в Чехове есть еще большой признак: он один из тех редких писателей, которых, как Диккенса и Пушкина и немногих подобных, можно много, много раз перечитывать,— это я знаю по собственному опыту... Одно могу сказать вам — смерть Чехова это большая потеря для нас, тем более, что, кроме несравненного художника, мы лишились в нем прелестного, искреннего и честного человека... Это был обаятельный человек; скромный, милый...» Говоря это, Толстой, возможно, вспоминал тихий солнечный день в Гаспре и приветливую улыбку, милую застенчивость прощавшегося с ним Чехова. Так и стоит перед глазами эта запечатленная Горьким в его воспоминаниях почти скульптурная группа: худая, высокая фигура Чехова, удаляющегося по дорожке парка, и выздоравливающий Толстой, потянувшийся вслед ему из своего кресла...

Есть какое-то особое обаяние и смысл в этих немногих эпизодах встреч двух замечательных русских людей, гениев нашей культуры.



НАТАЛИЯ МОДЗЕЛЕВСКАЯ

★

РЫЦАРИ ВЕЧНОГО РАЗЛАДА

Письмо из Варшавы

Говорят, что у каждой эпохи есть свои герои в литературе. В конце минувшего столетия значительная часть русской интеллигенции охотно усматривала свой портрет в так называемых положительных героях Чехова. Считалось, что это лестный портрет. Персонажи, которые получили общее имя «чеховских интеллигентов», выделялись из своей среды тонкостью душевного склада, чуткой совестью, способностью к самопожертвованию и демократическими взглядами. Правда, в то же время это были люди неполноценные, страдавшие немощью воли и устремлений, безнадежно запутавшиеся в лабиринте туманных идеалов, оторванных от их жизненной практики, но все это объясняли злополучной эпохой. Зато в качестве жертв эпохи они умели страдать, покоряться судьбе и погрязать в пошлости с таким обаянием, что это оправдывало их — а заодно их братьев по духу — перед собой и перед грядущими поколениями.

Так понимали чеховскую прозу, так стилизируют его пьесы. Особенно лучезарным светом засияли чеховские интеллигенты на сцене Художественного театра, который сумел придать им неотразимую прелесть, а их страдания перевел в план высокой трагедии. И можно было бы, пожалуй, считать, что все обстоит совершенно благополучно, если бы подобное толкование совпало с авторским замыслом. Однако в действительности происходило иначе.

Читатели чеховской прозы давно уже поняли, с какой горькой грустью писатель наблюдал даже лучших своих современников-интеллигентов, с какой порой безжалостной точностью рисовал их бесхарак-

терность, бесплодность их вечного разлада, нулевой итог их жизни. «Скучная история», «Дуэль», «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека», «Три года», «Моя жизнь» — ведь все это не только история житейских неудач весьма милых, благородных людей, но также история их морального и идейного краха.

Правда, рядом с ними выступают гораздо более отрицательные или примитивные натуры, но что ж из этого следует? Разве моральное превосходство над подобным окружением может дать кому-либо звание «положительного героя»? Вообще напрасный труд искать у Чехова «положительных героев» в качестве моральных образцов и глашатаев авторских взглядов. Чехов был слишком мудрым писателем, чтобы рисовать идеальные или безусловно «черные» характеры, а с помощью идеальных высказывать собственные взгляды. Неоднократно предостерегал он других литераторов против подобной авторской субъективности. И, вопреки распространенному обычаю, он делал передатчиками своих собственных мыслей очень различных по типу людей, выступающих в его произведениях. Иногда это были люди, явно ему несимпатичные, — достаточно сослаться на Тригорина.

Это факт чрезвычайно важный, и если его не замечают или недооценивают, это приводит к ложному толкованию чеховских замыслов. В таких случаях мировосприятие Чехова отождествляют с мировосприятием персонажей, высказывающих известное количество авторских взглядов, а их провозглашают «положительными героями» и считают доказанным, что Чехов относился к ним с полным уважением и симпатией.

Сейчас мы читаем прозу Чехова совсем иначе, чем читали его современники. То, что некоторым персонажам случается высказать ту или другую глубоко верную, близкую Чехову мысль, не мешает нам оценивать их критически, сообразуясь не только с тем, что они говорят, но главным образом с тем, как поступают. Доктор Рагин или Лаптев давно лишлись в наших глазах своих героических контуров и обрели свои нормальные размеры — людей среднего формата.

Зато сценическим персонажам Чехова посчастливилось: театр до сих пор навязывает нам представление о людях того же типа как о героях.

Эта традиция, начало которой было положено шестьдесят лет назад Художественным театром, прочно укоренилась во всем мире. Чеховские постановки, виденные мною на польских, русских и французских сценах, а также те, о которых можно судить по печатным материалам, отличаются друг от друга степенью талантливости режиссеров и исполнителей, но в основном все идет по дорожке, проторенной Станиславским и Немировичем-Данченко. Так в послевоенные годы были поставлены в Варшаве «Дядя Ваня» и «Чайка», а в Кракове — «Три сестры». Так же до последнего времени ставит в Париже чеховские пьесы Саша Питоев, повторяя интерпретацию ролей, принятую в театре его знаменитых родителей — Жоржа и Людмилы Питоевых.

Единственным известным мне исключением был «Вишневый сад» в постановке Сильвена Домма (1957). Этот молодой режиссер, принадлежащий наряду с Адамовым к прогрессивной группе французских работников театра, совершил очень смелую попытку порвать с традиционным толкованием чеховской драматургии.

Его замысел был необычайно интересен. Среди скупых, эскизных декораций двигались и говорили действующие лица, которые тоже были как бы эскизами людей. Все было как будто не совсем настоящее, ничего не изменяющие решения, планы предотвращения катастрофы, которая разражается в заранее предусмотренный срок... Весь их мир казался нереальным, как воскрешенный образ далекого прошлого, которое, после того как опустится занавес, вернется в небытие. Это был мир людей, жалких в своей неприспособленности, не

понимающих себя и окружающей жизни, никогда и не бывших настоящими людьми.

В атмосфере на сцене сильно чувствовалась та полная разобщенность между персонажами, о которой так метко писал А. П. Скафтымов: «У каждого из этих лиц имеется свой и чуждый для других круг эмоциональных пристрастий и тяготений. Каждый среди других — один. И отношения между ними рисуются в подчеркнутой разрозненности и несливаемости. Наиболее отчетливо это выражено в роли Шарлотты»¹. Разговаривая, все они словно обращались не к собеседнику, а к себе. были поглощены собственным внутренним монологом, не было между ними соприкосновения и понимания. И действительно, олицетворением этого полного одиночества и растерянности человека, загубленного в чужом, непонятном мире, была Шарлотта, образ которой приобрел символический, обобщающий смысл.

В сумме слагалось впечатление какой-то призрачности представленного мира, его неизбежной обреченности, показанной без всякой сентиментальности. Сцена жалкого бала в третьем акте, этого пародийного «пира во время чумы», приобрела удивительную, гротескную остроту. Сцена отъезда старых хозяев вишневого сада, когда говорят о том, что надо торопиться к поезду, но никто не спешит и все заняты какой-то возней и чувствительными излияниями, еще более усиливает впечатление неполноценности, неужности этих людей.

Разумеется, такая трактовка «Вишневого сада» и особенно средства ее сценического решения весьма дискуссионны. Работа Домма ценна главным образом как смелый эксперимент, как первая практическая попытка коренного пересмотра классической интерпретации чеховской пьесы. К сожалению, Домм не располагал достаточно талантливой труппой, которая могла бы воплотить его сложный и трудный замысел с соответственным актерским мастерством. Поэтому можно говорить об отдельных удачных моментах в спектакле, но нельзя признать его целиком удачным. Тем не менее даже в таком несовершенном исполнении спектакль захватывает зрителей оригинальностью замысла, побуждает к живой, творческой дискуссии, радует воз-

¹ А. П. Скафтымов. О единстве формы и содержания в «Вишневом саду» Чехова.

возможностью каких-то совершенно новых догадок, открытий и сценических решений при постановке этой пьесы.

В разговоре со мною Сильвен Домм сделал одно ценное признание: «Я уже двенадцать лет мечтал о том, чтобы поставить Чехова, но не чувствовал себя достаточно подготовленным. Только после того, как два года назад я поставил «Стуля» Ионеско, мне показалось, что я нашел ключ к Чехову. Ибо, по моему, Чехов — один из самых современных драматургов сегодняшнего дня».

Но вернемся к традиционным постановкам Чехова.

Недавно мы видели в Варшаве «Три сестры» и «Вишневый сад» в исполнении знаменитого МХАТа. Изумительное мастерство старых актеров, как Грибов и Зуев; а также сила молодых талантов, как Лукьянов и Юрьева, создавали на сцене впечатлительно подлинной жизни подлинных людей, и многие зрители чуть не до слез растрогались судьбой благородных сестер, которые так красиво мечтают и гибнут, и жизненным фиаско обаятельно непрактичной Раневской. Поистине, вот доказательство высочайшего искусства ансамбля, которому удалось соскрести пыль с этих фигур и оживить их теплом простого, доходчивого переживания.

Только не следует замалчивать или недооценивать факт, что зрительный зал отнюдь не был охвачен таким единодушным восторгом, как наша печать. В особенности зрители помоложе, которых даже самые отдаленные воспоминания не связывают уже с этим исчезнувшим миром, выходили из театра с чувством некоторой скуки, хоть и отдавали должное великолепной игре артистов. Не свидетельствует ли это о недостатке в них художественной восприимчивости или интереса к делам давно минувших дней?

Нет оснований торопиться с подобным выводом. Дела давно минувших лет способны взволновать зрителей, если в них раскрывается то, что может напомнить людям об их собственных переживаниях. И тогда представление перестает быть только историей, оно превращается в повесть о том, что могло бы случиться и с нами.

А может быть, содержание чеховских пьес ограничено бытом и проблематикой его эпохи, может быть, в них отсутствует

то живое, что каждое поколение, при всем своеобразии своей судьбы, перенимает от отцов и дедов, что продолжает его волновать и радовать, расстраивать и потрясать?

Наоборот. Чехов показал своих современников так, что не только можно уловить в них черты сходства с сегодняшними людьми — даже трудно было бы их не заметить. Но это, разумеется, только в том случае, если его пьесы будут поставлены согласно авторскому замыслу.

Тут уместно припомнить факт давным-давно известный и весьма хлопотный, ибо трудно решиться, как с ним поступить: замолчать, представить как пустяковый курьез или, может быть, задуматься над ним и постараться понять?

Дело в том, что Чехов не соглашался с постановкой своих пьес как драм и мелодрам. Он упорно называл их комедиями и в полемическом пылу договаривался до парадоксальных определений «водевиль» и «фарс». В первую минуту это производит ошеломляющее впечатление. Комедии? А неудавшаяся жизнь трех сестер, а гибель барона? А смерть старого Фирса, о котором забыли? Конечно, есть в чеховских пьесах и смешные моменты, есть комические фигуры, как Кулыгин или Епиходов. В основном, однако, тут не до смеха. Такова реакция каждого, кто сроднился с традиционным толкованием чеховской драматургии.

Современным зрителям, которые могут смеяться на угнетающе-мрачных пьесах Ионеско, Беккетта или Дюренматта, подобное противоречие не кажется парадоксальным — шестьдесят лет назад оно казалось прямо бессмыслицей. Ибо чеховское понимание трагизма и комизма ближе к нашему сегодняшнему дню, чем к его времени. Драматург слишком далеко опередил свою эпоху и потому оказался непонятым.

Может быть, ни один писатель не показал с такой впечатляющей силой, как Чехов, что комическое и трагическое в жизни и в искусстве не противоположны, что они часто коренятся в том же самом явлении. Трудно найти у него положения или характеры, которые были бы только смешны или возбуждали только восхищение, сочувствие, грусть. Его драматургия, особенно последнего периода, раскрывает, как по-разному можно подойти к каждому смешному или мрачному случаю. Показывая события на сцене через различное, субъективное вос-

приятие их участников, писатель дает перевес то комическим, то драматическим элементам — это зависит от его общего замысла. Верно угадать чеховский замысел — вот задача современного театра, к сожалению, еще не разрешенная. Пьесы Чехова написаны приемами, которые до сих пор поражают своим новаторством. Его сарказм, переплетенный с лиризмом, его мудрая, всепроникающая ирония, лаконичная простота действия, огромный интеллектуальный заряд подтекста, показ людей и событий одновременно в нескольких планах — все это еще дожидается конгениального воплощения на сцене.

И потому не удивительно, что Художественный театр в свое время принял возражения автора как милое, но нелепое чудачество гения и с ними не посчитался. Этой установки МХАТ с редкой последовательностью придерживается до сих пор до такой степени, что играет не тот текст, который был окончательно отредактирован Чеховым, а текст театральных премьер, в который Станиславский и Немирович-Данченко внесли изменения, убедив автора, что это необходимо. Того, что Чехов позже вернулся к своему варианту, театр попросту не принимает в расчет.

Например, в «Трех сестрах» у Чехова финальная декламация героинь звучит на фоне реплики доктора: «Тара... ра... бумбия... сижу на тумбе я... Все равно! Все равно!». В то же время улыбающийся Кулыгин несет талму супруги, чтобы забрать ее к уцелевшему семейному очагу, а Андрей послушно катит колясочку со своим детищем. Иначе говоря: вот действительность, в которую возвращаются сестры, несмотря на все их мечты и порывы. Театр усмотрел в этом недопустимый диссонанс и устранил со сцены все прозаические фигуры, оставив сестер наедине с их патетическим текстом. А ведь автор сознательно ввел тут прозаически-сатирический аккомпанемент!

Несколько лет назад, как мне рассказывала Эльза Триоле, Ольга Книппер-Чехова с глубоким убеждением сказала ей: «Ведь Чехов совершенно не понимал своих пьес».

В воспоминаниях Станиславского мы читаем: «Что его больше всего поражало и с чем он до самой смерти примириться не мог, это с тем, что его «Три сестры», а впоследствии «Вишневый сад» — тяжелая драма русской жизни. Он был искренно убежден, что это была веселая комедия, почти

водевиль. Я не помню, чтобы он с таким жаром отстаивал какое-нибудь другое свое мнение, как это, в том заседании, где он впервые услышал такой отзыв о своей пьесе».

Обратим внимание: писатель не отказался от своего мнения до самой смерти, то есть вопреки всем успехам Художественного театра, вопреки широко распространенному убеждению, что именно этот театр, называемый уже театром Чехова, вдохнул подлинную жизнь в его пьесы. Свое несогласие с толкованием Художественного театра Чехов неоднократно выражал в письмах и разговорах. Между прочим он сказал Сереброву: «Вы говорите, что плакали на моих пьесах... А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев сделал такими плаксивыми... Я хотел другое... я хотел только честно сказать людям: посмотрите на себя, посмотрите, как вы все плохо и скучно живете!.. Над чем же тут плакать?»

Разумеется, можно считать, что хозяином пьесы является не автор, а режиссер, — как известно, не всякий писатель разбирается в своеобразных законах сцены. Разумеется, можно также считать, что автор замечательного произведения иногда сам не сознает, что вышло из-под его пера. Но в данном случае кажется неправдоподобным, чтобы автор пьес, которые до сих пор ставят театры всего мира, «не разобрался в законах сцены», так же как трудно поверить, чтобы Чехов не сознавал, что и как он хотел выразить.

Наконец, можно было бы сказать: ну хорошо, допустим, что все театры неправильно ставят Чехова, — но какое до этого дело зрителям, поскольку результаты так превосходны? И с такой постановкой вопроса можно было бы в крайнем случае согласиться, если бы театральное толкование было умнее, вернее, интереснее для нас, чем авторское. Однако происходит нечто обратное. Интерпретация театра кажется сейчас устаревшей, она действует только на воображение зрителей, которым дорого обаяние прошлого, к тому же прошлого определенного типа, а то, что сказал о своих современниках Чехов, не перестает быть глубокой, мудрой и близкой нам правдой.

Понятно, что сведения о разногласиях между Чеховым и его театром сами по себе еще ничего не объясняют, они служат только исходной точкой, указательной стрел-

кой, дающей направление поискам. Как следует понимать утверждение Чехова, что его пьесы — это комедии?

Сказать, что писатель добивался более комической трактовки отрицательных персонажей, вроде профессора Серебрякова и Наташи, или второстепенных лиц, вроде Вафли и Епиходова, — значит ломиться в открытую дверь. Как раз насчет этих ролей, в которых комизм как на ладони, Художественный театр никогда не ошибался и передавал их великолепно, с обычным своим мастерством. Сказать, что Чехов употребил слово «комедия» в более широком смысле, как «человеческая комедия» Бальзака, — это значит выразиться красиво, но сказать, увы, только общее место.

С другой стороны, грубым упрощением было бы понимать тут термин «комедия» буквально, то есть как произведение, написанное на потеху публики. По-видимому, речь шла об ироническом показе довольно печальных явлений, о саркастическом раскрытии диспропорции между тем, что люди определенного типа, в определенных ситуациях думают и говорят о себе, — и тем, чем они являются в действительности. Конкретно: речь шла об иронично-сатирическом показе главных персонажей, которых театр играл всерьез, в тональности высокой лирики и трагизма.

Здесь и заключается источник разногласий между Чеховым и Художественным театром, проистекавших из их различного подхода к тогдашней действительности.

Чехов замечал, как измельчали люди и проблемы в эпоху «малых дел», и показывал, что даже лучшие, наиболее честные из интеллигентов его времени растрачивают без толку свои таланты и знания, изменяют собственным принципам, мешают жить себе и другим, томятся скукой и нагоняют скуку друг на друга, что они не способны ни к какому серьезному порыву и размаху, ибо размышления и бесконечные споры о смысле жизни и всеобщем счастье через двести-триста лет заменили им потребность и способность действовать.

Он рисовал их судьбу не без сочувственного понимания, но нередко и с поистине убийственной иронией. Как жалка была их беспомощность при устройстве простейших житейских дел вроде пресловутой поездки в Москву, о которой годами страстно мечтает вся семья Прозоровых, но которой ни-

когда не суждено осуществиться! Те, что видят тут символ прекрасной недостижимой мечты, забывают, что Чехов был реалист: наделяя своих героев именно этой мечтой, он превосходно знал, что в ней нет ничего неосуществимого, и хотел показать, что ее воплощению помешали не какие-то роковые, непреодолимые препятствия, а собственное слабование и отсутствие целеустремленности у его героев.

А театр воспринял эти персонажи как благородные жертвы зловещего исторического момента и главный конфликт усмотрел в контрасте между их возвышенными стремлениями и пошлой действительностью, которая связывала им крылья и тянула их вниз, в болото¹.

Обратимся же теперь к действительности, которая рождала чеховских интеллигентов, и попробуем выяснить: каково было отношение писателя к их прототипам?

В жизни передовой русской интеллигенции XIX века были свои героические периоды, когда она являлась подлинным носителем чаяний народа. Тайные союзы декабристов, более широкое демократическое движение сороковых годов, мощное движение революционных демократов в шестиде-

¹ В № 8 «Диалога» Адам Тарн в статье «Очная ставка» с неистовым возмущением напал на тех, кому не понравились чеховские постановки в МХАТе. «Известное дело, у нас поветрие «нового освещения»... — язвительно пишет он. — Ну, конечно, Бекетт не знает, как надо ставить его пьесы, а Станицын понятия не имеет, как следует ставить Чехова. Все это известно только варшавским и краковским знатокам».

Зачем же упоминать рядом эти два имени? Несомненно, Бекетт в качестве автора отлично знает, как надо ставить его произведения, между тем как В. Я. Станицын, будучи прекрасным режиссером, все же ни автором, ни авторским поверенным, кажется, не является. Больше того, развивая традиционную интерпретацию давнего Художественного театра, он попал в конфликт с Чеховым, о чем свидетельствует хотя бы горсточка данных, приведенных выше. А их имеется гораздо больше.

Между прочим, весьма утешительно то, что Тарн встретил так много оппонентов. Может быть, в скором времени мы дождемся какой-нибудь смелой постановки чеховских пьес на польской сцене, и это лучше всяких теоретических споров покажет, что Чехов до сих пор остается драматургом не только современным, но даже новатором.

сятых годах, массовое движение народников семидесятых годов — таковы основные этапы борьбы русской домарксистской революционной интеллигенции с царизмом. Борьбы, закончившейся после убийства в 1881 году Александра II кровавой расправой и длительной победой реакции.

Каждый из этих периодов дал России целую плеяду мыслителей, писателей-публицистов, деятелей с мировым именем. Насыщенная политическая жизнь обогащала публицистику и литературу, а те в свою очередь обогащали политическую мысль.

Несмотря на рогатки цензуры и полицейские репрессии, освободительные идеи завоевывали все более широкий круг интеллигенции, побуждая к деятельности пассивных, вовлекая их в водоворот неотложных вопросов. Активное участие в борьбе с царизмом грозило потерей свободы, имущества и даже жизни, однако в периоды революционного подъема, когда в обществе созревала твердая воля к свержению гнета, когда победа казалась реальной и близкой, в такие минуты отвага, самопожертвование и героизм переставали быть уделом исключительных одиночек, становились рядовым явлением.

После этих блестящих периодов, которыми интеллигенция могла по праву гордиться, наступили для нее мрачные времена. Чеховское поколение, вступающее в общественную жизнь с началом восьмидесятых годов, очутилось как бы на «мертвом поле», заваленном обломками идеалов, надежд и стремлений.

Массовый террор, направленный против всех подозревавшихся в неблагонадежности, преследовал одну цель: запугать поголовно все население, внушить ему, что какая бы то ни было борьба с царизмом совершенно безнадежна. Держиморды от цензуры, шпики и добровольные доносчики дружно принялись за работу, и вскоре, как писал Чехов, люди «начали бояться говорить вслух, посылать письма, заводить знакомства, читать книжки...» Пришла пора хамелеонов, унтеров Пришибеевых, челоуехов в фуляре — мрачные, долгие, тянущиеся без конца восьмидесятые и девятые годы, когда казалось, что все застыло на мертвой точке и никогда уже не двинется с места... Позже эти годы получили название «эпохи безвременья».

Подобно тому как в периоды подъема и борьбы, кажется, сама атмосфера вызывает

к действию заложенный в людях заряд героизма, так в годы упадка в обществе берут верх совсем иные черты. Все чаще раздаются голоса, что жизнь человеческая коротка, и эта неоспоримая истина приводит к разнообразным выводам. Одни говорят, что следует по мере возможности прожить ее в свое удовольствие, и сосредоточивают внимание исключительно на личных интересах. Другие во имя здравого смысла возделывают ничтожные огрызки общественной нивы, которые предоставляет в их распоряжение власть.

Те, которые не хотят отказаться от более широкого политического мышления, не видя соответствующего поля деятельности, мучаются над разрешением, казалось бы, неразрешимых проблем и мало-помалу поддаются упадочническим и нигилистическим настроениям. Те же, которые не отрешаются от концепций переустройства жизни и от активной борьбы, оказываются в ничтожном меньшинстве.

Именно такое расслоение наступило среди русской интеллигенции в восьмидесятых годах. Нейтральная масса довольно легко рассталась с надеждой на демократические свободы, вкус которых она почуяла в минувший период известных поблажек. Либералы и эпигоны народников удержались на политической арене, уместившись в тесных рамках, отведенных им полицией и цензурой; они остались на поле битвы, когда о битве уже не было речи, и развлекались «политикой», когда всякая политика, за исключением верноподданнической, сводилась к пустой болтовне. На противоположном краю оказались революционеры, которые перед лицом беспощадного наступления реакции сомкнули свои ряды и ушли в подполье. Там с половины восьмидесятых годов начало организовываться конспиративное марксистское движение, связывавшее борьбу за социализм уже не с крестьянством, а с пролетариатом, готовившее рабочих к революции.

Все же большая часть демократической интеллигенции потеряла веру в реальные шансы какой бы то ни было борьбы с царизмом и впала в угнетенное состояние. В самом деле, ей трудно было разобраться как и за что теперь бороться? И та часть интеллигенции, которая в период революционного брожения решительно шла за авангардом, теперь растерялась. Ее ждал тяжелый разлад с совестью или же потеря

интереса к общественным проблемам и циничное равнодушие.

Чехов, отличавшийся необычайной психической честностью, изображал только то, что он наблюдал вблизи и хорошо знал. Он не был политиком, не принадлежал ни к какой партии, не соприкасался с подпольем и даже, вероятно, не подозревал о его существовании до конца девяностых годов. Поэтому он и не брался описывать бойцов передовой линии.

Он описывал хорошо знакомую ему интеллигенцию — ту, среди которой даже наиболее передовые люди принадлежали всего-навсего к периферии революционного движения. Их прогрессивность выражалась главным образом в сознании, что существовавший строй основан на общественной несправедливости, и это сознание, застряв в совести занозой, мешало им чувствовать себя спокойно перед лицом народа. Вот этой беспокойной совестью они и отличались от сторонников самодержавия и от людей вообще равнодушных к общественным вопросам. Именно этим они привлекали к себе симпатию Чехова даже в тех случаях, когда их демократические убеждения ни в чем более не проявлялись.

Однако эта симпатия не равнялась признанию — это следует как можно сильнее подчеркнуть. Просто, наблюдая различные установки и поведение своих современников в эпоху безвременья, Чехов предпочитал тех, кто был недоволен как действительностью, так и собой, тем, которых удовлетворяла действительность или их собственная жалкая оппозиция. Да, из двух зол он предпочитал гамлетовский духовный разлад, чем самоуспокоение на «малых делах». Он уж предпочитал тех, которые после разгрома впади в духовный кризис, даже если они не умели самостоятельно преодолеть его и запутывались все сильней и сильней.

Именно к такого рода интеллигенции принадлежат его сценические герои — Иванов, Войницкий и Астров, Вершинин и Тузенбах.

Эпоха безвременья тянулась около двух десятилетий. Иначе протекал кризис среди интеллигенции в начале этого долгого периода, а иначе — к его концу. Не случайно Иванов (1887 год), промучившись несколько лет, кончает самоубийством, тогда как десять лет спустя дядя Ваня уже только неумело пытается лишить себя жизни,

а Вершинин и Тузенбах (1901 год) о самоубийстве даже не помышляют: ведут существование, весьма похожее на образ жизни всей их среды, придя к убеждению, что так или сяк, а жить надо. В утешение они рисовали себе картину светлого будущего, которое придет неизвестно откуда, неизвестно когда и как. Была у них даже какая-то уверенность, что их неудачно сложившаяся жизнь уже сама по себе каким-то таинственным образом будет способствовать наступлению счастливых времен.

Каково же было отношение Чехова к этому роду интеллигенции?

Все более и более критическое, по мере того как кризис затягивался и принимал форму хронической болезни. Все более и более сатирическое, полное горечи и грусти, по мере того как люди, зараженные этой болезнью, свыкались со своим положением. Но все же это отношение не было простым и отчетливым, как, например, неприятные позиции мракобесов или либеральных соглашателей. Ибо проблема сама по себе была очень не проста, отнюдь не легко было ее разрешить. Какую позицию должна была занять, какую фактически могла занять эта интеллигенция в безмерно тяжком периоде, когда возможности действия свелись для нее почти к нулю? Позицию Дон-Кихота? Или Пилата? Или какую-либо иную?

Сейчас, пожалуй, для всех ясно, что в борьбе прогресса с реакцией интеллигенция не представляет самостоятельной и решающей силы, хотя в революционных ситуациях, когда в народных массах назревает твердая воля к борьбе за свое освобождение, — в такие моменты знания, сознательность и активность идейной интеллигенции приобретают огромное значение.

Если мы хотим понять положение русской интеллигенции во время ее кризиса в восьмидесятых—девяностых годах, мы должны помнить о специфических особенностях интеллигенции вообще как определенной среды людей, так сказать, по роду работы сталкивающихся с морально-философской проблематикой и обладающих в этом отношении повышенной чувствостью. Специфика эта ясно проявляется и посейчас в подходе левого крыла международной интеллигенции к рабочему вопросу, в характере ее участия в борьбе за рабочее дело. Приливы и отливы ее политической активности, не раз напоминающие неврастенические

мышечные рефлексy, носят иной характер и протекают иначе, чем периоды подъема и упадка активности рабочего класса, хотя им сопутствуют.

Русская интеллигенция, борясь на платформе общедемократической программы за равноправие угнетенных народных масс, в этом деле — то есть в деле основном и наиважнейшем — защищала не собственные насущные интересы, ибо это ведь не она наиболее страдала от эксплуатации, это не ей грозило биологическое вырождение из-за несправедливого распределения материальных благ.

Дело защиты народных интересов становилось ее собственным делом только благодаря ее гражданскому самосознанию. Более непосредственно волновали ее такие части программы, как требование свободы мысли, слова, совести, художественного и научного творчества — то есть то, что было связано с ее собственной работой и образом жизни. Но эти задачи в свою очередь приобретали конкретный и осуществимый характер только при подъеме массового революционного движения. Так что можно бы сказать, что общая борьба была в обоюдном интересе интеллигенции и народа. Только поразному укладывалось соотношение всех проблем в сознании интеллигенции и в сознании рабочего класса, к тому времени уже многочисленного. Рабочие ежечасно чувствовали на собственной шкуре результаты эксплуатации и классового неравенства, и ежечасный гнет порождал среди них постоянное недовольство и протест.

Это различие обуславливало также различие установок и методов политической борьбы. Демократическая интеллигенция после победы реакции могла отойти и, за исключением своего передового отряда, фактически отошла от политической деятельности, переключив вопрос о разгроме движения в план своей личной трагедии, досыта упиваясь собственными страданиями. Только новая волна революционного прилива, поднятая рабочим классом, подготовленным марксистскими деятелями, в конце XIX века снова зарядила энергией широкие круги интеллигенции, вплоть до либералов.

Пока не пришло это широкое оживление общественной жизни, почти двадцать лет интеллигенция пребывала в состоянии пол-

ной политической расслабленности. Эта расслабленность, навязанная ей извне и сначала вызывавшая ее протесты и жалобы, мало-помалу превращалась в нормальное, привычное состояние, в некотором смысле даже удобное. Все глуше и реже заявляло о себе гражданское самосознание, все сильнее действовала сила инерции. Раньше или позже идейность исчезала совсем, ибо «идея без дел мертва есть». Оправдать свою бездеятельность было нетрудно: ведь всему виною была злосчастная эпоха! Однако пустоту, которая осталась в душах после поры насыщенной политической жизни, обычно ничем не удавалось заполнить.

Чехов слазится как несравненный мастер в изображении скуки жизни. Что ж, ведь скука была господствующим ощущением русских интеллигентов в эпоху безвременья! Она проникала и в состоятельную среду, настигала людей в самых различных тайниках и убежищах, как любовь, домашний очаг, разные увлечения и пристрастия. Когда политическая жизнь сводится к видимости, ощущают это не только люди, непосредственно занимающиеся политикой. Общественная мысль, так или иначе всегда связанная с политическими проблемами, на каждом шагу натываясь на рогатки и ограничения, неизбежно ссыхается, мельчает, что не может не отразиться на литературе, искусстве, гуманистических науках.

Чехов писал в 1892 году Суворину, анализируя положение творческой интеллигенции своего поколения:

«У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, бога нет, привидений не боимся... Кто ничего не хочет, ни на что не надеется, ничего не боится, тот не может быть художником...»

Получив в ответ упрек, что он все видит в черном свете, Чехов энергично протестует: «Я пишу, что нет целей, и вы понимаете, что эти цели я считаю необходимыми и охотно бы пошел искать их... Кто искренно думает, что высшие и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как корове... тому остается кушать, пить, спать или, когда это надоест, разбежаться и хватить лбом об угол сундука».

Чехов пытается исследовать и понять патологическое состояние, овладевшее современной интеллигенцией. В его полходе

к этому вопросу чувствуется врач, а одновременно — человек, который сам отчасти заражен болезнью своего времени и вполне сознает это.

«Вы и Григорович находите, что я умен. Да, я умен по крайней мере настолько, чтобы не скрывать от себя своей болезнью и не лгать себе и не прикрывать своей пустоты чужими лоскутками вроде идей 60-х годов».

Вот признание необычайной важности, помогающее нам понять, как оценивал Чехов свое ближайшее окружение. Воздавая должное тлетворной атмосфере эпохи, ясно видя ее губительное влияние на умы и души, писатель требовал от себя и других по крайней мере одного: отваги, честности. Он считал, что нужно иметь смелость глядеть правде в глаза и называть вещи своими именами. Тот, кого на это не хватало, не заслуживал его полного уважения и признания, даже если был наделен многими прекрасными качествами, даже если был милейшим человеком.

Чехов не обманывал себя надеждой, что та интеллигенция, с которой он сталкивался, создаст новую политическую программу. Но он верил и даже был убежден, что рано или поздно постыдная пора кончится и что можно будет не только мечтать об общественной справедливости, но и действовать. И считал, что долг каждого честного гражданина — переждать, не теряя собственного достоинства, не обезличиться, не втянуться в тупое прозябание, не пускаться на сделки с совестью, не изолгаться и не сваливать ответственности за собственное падение на всяческие роковые обстоятельства вроде злополучной эпохи. Ибо иначе интел-

лигенции грозит неизбежное разложение, а это значит, что, когда придет пора действия, не найдется уже среди нее никого, способного мыслить и действовать.

Так, кажется, можно было бы сформулировать кредо Чехова в годы безвременья. Было ли оно скромным, минималистическим? Не думаю. Требования его к себе и к окружающим были очень высокие, очень трудные. Сейчас мы должны это хорошо понимать.

Если, зная обо всем этом, мы снова обратимся к чеховским пьесам, они приобретут для нас совершенно иное звучание. «Люди, оказавшиеся в стороне от хода истории», — вот как можно бы определить их основную тему. Люди, которые в черную годину истории легко позволили оттеснить себя с главного тракта и довольствовались ролью зрителей, не переставая при этом сетовать на пустоту жизни и утешаться абстрактной картиной какой-то мифической светлой будущности.

Можно задать вопрос: а была ли у них, в их конкретном положении, возможность поступать иначе?

Действительно, у так называемого рядового человека не всегда есть возможность сказать свое слово, когда история решает его судьбу. Действительно, в жизни каждого народа бывают полосы хорошие и дурные. А все-таки мир непрестанно изменяется, и в конечном итоге, по-видимому, к лучшему. И ведь истинной правдой остается избитый афоризм, что изменяют мир люди. Но пока что никогда — а особенно в трудные времена — не занимались этим рыцари вечного разлада.

А. АНАСТАСЬЕВ



РЕПЛИКА КРИТИКУ

О Чехове сложилась большая литература на языках многих народов. К его пьесам обращались и обращаются театры в разных странах мира. И каждый критик, каждый режиссер стремится утвердить свое понимание Чехова. Это естественно — такова судьба творчества всех великих писателей.

Наталья Модзелевская в письме из Варшавы «Рыцари вечного разлада» по-своему

толкует идейный смысл и поэтическую природу чеховской драмы, делает попытки найти подтверждение своим выводам в жизни русской интеллигенции восьмидесятых—девяностых годов прошлого столетия. И, конечно, советским читателям интересно узнать, что думает польский критик о национальном русском гении, тем более что в статье Н. Модзелевской есть точные наблюдения, а ее желание прояснить и утвердить

живую современность Чехова близко нашим театрам и нашим историкам литературы.

В мировом литературоведении известно бесчисленное количество попыток — обстоятельных и поверхностных, дружелюбных и неприязненных — проследить роль Чехова в формировании, скажем, американской прозы двадцатых годов или в исканиях английских драматургов в тридцатые годы. Статья Н. Модзелевской снова свидетельствует, что наследие Чехова представляет для наших современников не только литературно-исторический интерес — оно входит живым в сегодняшние литературные споры.

Разговор о Чехове как о современнике, продолжающем воздействовать на нынешнего читателя и зрителя и вместе с тем на развитие литературы и театра, отличает статью Н. Модзелевской и делает ее особенно привлекательной для нас.

Плодотворна ее попытка протянуть нити от героев чеховской драматургии к современным «рыцарям вечного разлада» — известной части интеллигенции нашего времени.

Однако есть в этой статье и такие положения, которые, на наш взгляд, несовместимы с ясной оценкой явлений, совершающихся в современном театре Запада.

Н. Модзелевская рассказывает о том, как в Париже в 1957 году был показан «Вишневый сад» в постановке молодого режиссера Сильвена Домма. Из рассказа этого можно сделать вывод, что, «осовременивая» Чехова, французский режиссер трактовал «Вишневый сад» так, как если бы пьеса эта была написана кем-либо из таких драматургов, как Ионеско: чеховский диалог в парижском спектакле был искусственно лишен внутренних связей, в пьесе намеренно создавалась несвойственная ей атмосфера распада человеческой личности и беспросветного отсутствия перспективы — атмосфера, право же, абсолютно чуждая и даже враждебная драматургии Чехова, в которой доброе внимание к человеку ощутимо даже и тогда, когда писатель ироничен (о чем Н. Модзелевская говорит много и справедливо), и где вера в будущее звучит с неприглушенной силой, без боязни патетики.

Вот здесь-то и начинается спор Н. Модзелевской с МХАТом — в частности, с постановщиками «Трех сестер», — спор, в котором с автором статьи трудно согласиться.

В сноске к своей статье Н. Модзелевская осларивает выступление известного поль-

ского театрального деятеля Адама Тарна в защиту мхатовской интерпретации Чехова, против поветрия «нового освещения». Но Адам Тарн, как нам кажется, не столь уже неправ. Он пишет, что так называемый «свежий взгляд» на драматургию Чехова, «требующий от постановщика делать спектакль «современно», — это скорее трюк, нежели углубление тематики. И это касается вовсе не мхатовской постановки, а, по сути дела, самого Чехова». Далее А. Тарн продолжает разговор о тех, кому философия прогрессивных художников прошлого кажется устаревшей. Он иронизирует: «Известный возглас Бомарше: «Давайте смеяться! Кто знает, просуществует ли этот мир еще три недели», — стал девизом для многих «современных» художников. Но как может впечатлительность художника притупиться настолько, чтобы он перестал ощущать поэзию или реагировать на Баха? «Потому что, извините, скука. Вот если бы джаз!..»

В споре о «современности» искусства поборники «нового» как в теории, так и в практике литературы и театра нередко начинают подтягивать не только Чехова, но даже и Шекспира до уровня философии распада и безвременья, и об этом неоднократно говорит не только Адам Тарн, но и другие польские критики, которых никак нельзя заподозрить в симпатиях к «архаике»¹.

Новаторство, позволяющее в давно написанном произведении отыскать и усилить близкую к современности и реально в нем присутствующую (а не насильно втиснутую извне) тональность, кажется нам куда более подлинным и прогрессивным, чем «новаторство» «в ключе Ионеско».

Как и всякий великий драматический писатель, Чехов неисчерпаем для режиссерской фантазии, для театра, который взялся истолковать и поставить на сцене его пьесу. Вот почему неверно думать, что мхатовское прочтение Чехова — единственно возможное, а спектакли Художественного театра — эталон для всех. Вовсе нет.

¹ Один из редакторов двухнедельника «Современность» („Współczesność“), № 22, 16—30 ноября 1959 г.) Александра Корева начала свою статью следующей горькой фразой: «Стоит только вместо кресла, дивана и письменного стола поставить на сцене один стул, убрать аксессуары и повесить сукна, чтобы публика (и не только публика) признала спектакль современным, а театр, ставящий такого рода спектакли, — передовым».

Были и, конечно, будут еще спектакли, совсем не похожие на мхатовские и открывающие нам в Чехове то, чего мы не замечали прежде.

Но нет основания считать, что Художественный театр пошел против Чехова и утвердил неверную, как кажется Н. Модзелевской, традицию его сценического истолкования. Напротив, если мы окинем взором большую жизнь Чехова на мировой сцене, то убедимся, что именно Московский Художественный театр наиболее глубоко проник в тайны чеховской драмы. Не потому ли, скажем, в Англии и Франции, где существуют свои традиции Чехова на сцене, мхатовские спектакли, тем не менее, убедили зрителя? Прочитайте отзывы самых разных газет и критиков в пору недавней поездки МХАТа по Западной Европе, и вы согласитесь с тем, что это так.

Н. Модзелевская пишет, что Художественный театр поставил пьесы Чехова (в частности, «Три сестры» и «Вишневый сад», которые она недавно видела в Варшаве) вопреки замыслу автора. На чем же основан столь серьезный упрек? На широко известном факте: Чехов считал свои пьесы комедиями, а на сцене Художественного театра они звучали (и звучат ныне) драматически. В доказательство своей правоты критик приводит известные цитаты из Станиславского, из Серебровых, смысл которых сводится к тому, что писатель не соглашался с толкованием своих пьес как драм. Н. Модзелевская считает этот факт «хлопотным», ибо, пишет она, «трудно решиться, как с ним поступить: замолчать, представить как пустяковый курьез или, может быть, задуматься над ним и постараться понять?»

Конечно, последнее — самое разумное. Но для того, чтобы постараться понять его, надо вспомнить и другие суждения Чехова о своих пьесах на сцене Художественного театра. Так, например, в письме Л. Средину в 1901 году Чехов отмечал: «Три сестры» идут великолепно, с блеском, идут гораздо лучше, чем написана пьеса. Я прорежиссировал слегка, сделал кое-кому авторское внушение, и пьеса, как говорят, теперь идет лучше, чем прошлый сезон». Это мнение писателя подтверждает и Станиславский: «А. П. Чехов по возвращении из-за границы остался доволен нами...» А вот о «Дяде Ване». «На этот раз Чехов был доволен исполнением». Не забудем также,

что, говоря о комедийной окраске «Трех сестер», Чехов все же написал на титульном листе: «Драма...»

Как видим, нет оснований говорить, что Чехов не принял спектаклей Художественного театра, что он видел в них не то, что написал. Хорошо известна бескомпромиссность и высочайшая принципиальность драматурга — достаточно вспомнить, сколько решительно он отверг предложение переделать финал третьего акта «Дяди Вани» и взял пьесу у Малого театра. Так неужели бы он стал хвалить спектакли в Художественном театре, если они шли вразрез с авторским замыслом?

История говорит о другом: Чехов считал Художественный театр своим театром и потому писал для него до последних лет жизни, хотя, разумеется, между театром и писателем возникали и споры и несогласия.

Вопрос о жанровой природе чеховской драматургии также, по-видимому, трудно решить на основании высказываний писателя — надежнее обратиться к самим произведениям. В своей реплике я не предлагаю этого делать. Хочу напомнить только, что и на советской сцене были попытки играть чеховские пьесы как разоблачительные комедии — скажем, «Вишневый сад», поставленный в тридцатых годах А. Лобановым. Результат получился весьма плачевный. Чехов-поэт, Чехов-гуманист ушел из спектакля...

А ведь мысль Н. Модзелевской сводится именно к тому, что в чеховских пьесах речь идет об «иронично-сатирическом показе главных персонажей», о «саркастическом раскрытии диспропорции между тем, что люди... говорят о себе — и тем, чем они являются в действительности». Если бы дело обстояло так, то, конечно, можно согласиться, что Художественный театр не понял писателя и лишил его пьесы социальной силы. Но это не так. У Чехова есть и ирония и сатира, но разве это все? Великий человеколюбец, писатель горько страдал от того, что хорошие, духовно богатые люди живут в атмосфере тьмы, бездействия и пошлости. И не только страдал — верил, что наступит другая, лучшая жизнь, верил вместе со своими героями.

Н. Модзелевская полагает, что и в прошлом и в настоящем Чехов в толковании МХАТа обделен и удален от существенных сторон современной общественной жизни.

Что касается прошлого, то ведь это факт, что не только нытики, размагниченные интеллигенты, узнающие в чеховских героях свой «лестный портрет», принимали спектакли Художественного театра; они, эти спектакли, заняли видное место в духовной жизни времени потому, что широкая демократическая публика ощутила в них жестокую правду жизни, пробуждающую общественную мысль. Разве не достоверен рассказ А. В. Луначарского о письме, полученном им по поводу «Трех сестер»: «Когда я смотрел «Трех сестер», я весь дрожал от злости. Ведь до чего довели людей, как запугали, как замуровали! А люди хорошие, все эти Вершинины, Тузенбахи, все эти милые, красивые сестры,— ведь это же благородные существа, ведь они могли бы быть счастливыми и давать счастье другим. Они могли бы, по крайней мере, броситься в самозабвенную борьбу с душащим всех злом. Но вместо этого они хнычут и прозябают. Нет, Анатолий Васильевич, это пьеса поучительная и зовущая к борьбе. Когда я шел из театра домой, то кулаки мои сжимались до боли и в темноте мне мерещилось то чудовище, которому, хотя бы ценой своей смерти, надо нанести сокрушительный удар».

Дело, разумеется, не во мнении одного, да еще совсем юного зрителя. Дело в том, что драма бездействующих чеховских героев, не знающих, как побороть тьму и пошлость в жизни, в общественной атмосфере той поры звала к действию.

В трудное время жил Чехов. Не один писатель в ту пору приходил к разочарованию в человеке, к проповеди мрачного и безысходного пессимизма. Заслуга Чехова в том, что даже в период самой оголтелой реакции он не утрачивал веры в человека, настойчиво искал своего героя. Нет, не только обличением зла и неправды дорог нам Чехов и не только о несостоятельности своих персонажей говорил он. Вспомним рассказ «Учитель словесности». Разве не нарисован здесь образ духовно пробуждающегося человека, который решает бежать из мира пошлости и душевной сытости? А «Дама с собачкой»? А «Невеста»? Можно ли говорить о «нулевом итоге жизни» героев этих

произведений? Если мы обратимся к драме, то увидим, что уже один только образ Нины Заречной из «Чайки» опровергает представление о Чехове как одностороннем изобразителе «рыцарей вечного разлада», безвольных краснобаев и т. п. С этим глубоко лирическим образом связана большая, требовательная мысль художника о сопротивлении человека жизни, которая так груба и жестока.

Начав свой путь в глухие годы реакций, Чехов последние свои произведения создает уже в эпоху кануна первой русской революции. Чуткий художник, он не мог не уловить приближения решительных перемен в общем укладе жизни. Вот почему трудно говорить о его пьесах без учета стремительной творческой эволюции, нарастания лирического начала. И, конечно же, «Три сестры» и «Вишневый сад» — не только сатира на слабых и безвольных людей. «Убийственная ирония» далеко не исчерпывает отношения автора к трем сестрам. Можно, конечно, свести поездку в Москву к одному из «простейших житейских дел» и подивиться беспомощности трех сестер. Однако тем самым мы утратим тот лирический подтекст, ту глубину и многоплановость образа, без которых нельзя представить себе Чехова-художника.

Наталья Модзелевская написала интересную статью. Она права, выступая против того, чтобы сводить смысл чеховских пьес к размагничивающей сентиментальности. Но хочется обратить внимание и на другую сторону чеховского творчества, пожалуй недооцененную в ее статье: на лирический подтекст произведений, связанный с верой писателя в человека, с поисками героя, которые никак нельзя считать тщетными и безуспешными.

В дни столетия со дня рождения Антона Павловича Чехова театры разных стран покажут его пьесы. Вместе с Н. Модзелевской хочется верить, что эти спектакли откроют новое в чеховской драматической поэзии. И можно с уверенностью сказать, что опыт Московского Художественного театра, его давняя дружба с Чеховым помогут в решении этой большой творческой задачи.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Б. Сарнов. Новые стихи Михаила Светлова.— **А. Мацкин.** Игорь Ильинский и его книга.— **В. Аникин.** Друг народной песни.— **М. Злобина.** «Триумфальная арка».

ПОЛИТИКА И НАУКА

Я. Тавров. Азбука хозяйствования.— **В. Тулов.** Личные контакты — верный путь к миру.— **Г. Сухарчун.** Выдающийся сын китайского народа.— **Р. Натанян.** Повесть о прекрасной жизни.— Кандидат технических наук **В. Истрин.** Начало большого пути.

Литература и искусство

Новые стихи Михаила Светлова

Денис Давыдов в одном из писем Пушкину сказал по поводу каких-то строк: «...У меня сердце облилось радостью, как при получении записки от любимой женщины».

Каждому, должно быть, знакомо это чувство: наткнешься на строчку, на четверостишие — и сразу ощутишь знакомый толчок в сердце, словно в уличной толпе вдруг мелькнуло любимое лицо.

Раскроем эту книгу наугад, на любой странице:

Как мальчики, мечта о победах,
Умчались в неизвестные края
Два ангела на двух велосипедах —
Любовь моя и молодость моя.

Бесконечно знакомая интонация, задушевная, лирически мягкая, окрашенная едва уловимой иронией. Ну конечно, Светлов!

Речь идет о чем-то неизмеримо более важном и существенном, нежели индивидуальность манеры, своеобразие, неповторимость поэтического почерка. Речь идет о том, что составляет самое существо лирической поэзии.

Михаил Светлов. Горизонт. Новая книга. Стихи. Редактор В. Субботин. 260 стр. «Советский писатель». М. 1959.

Часто с понятием «лирический герой» связывают представление о человеческом облике, пусть неповторимо индивидуальном, но неизменном, застывшем в своей первоначальной данности. Говоря о стихах, мы готовы считать их лица «необщее выраженье» единственной приметой поэтической индивидуальности.

Нет, лирический герой не застывший лик, запоздало хранящий следы былых душевных бурь и тревог. Это живой человек, меняющийся.

Каждому с детства памяты знаменитые тютчевские строки:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

А вот и другие:

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Это тоже Тютчев. Но между этими двумя четверостишиями — целая жизнь, и, чтобы ощутить это, нет никакой нужды обращаться к биографии поэта.

Вышедший недавно сборник стихов Мп-хаила Светлова «Горизонт» имеет подзаголовок — «Новая книга».

Это действительно новая книга, и не только потому, что все вошедшие в нее стихи написаны в последние годы. Это новая книга прежде всего потому, что в ней перед нами новый Светлов. Тот — и вместе с тем не вполне тот, кого мы давно знаем и любим.

Когда-то давным-давно Светлов полусу-тя сказал:

Товарищи классики,
Бросьте чудить!
Что это вы, в самом деле,
Героев своих
Порешили убить
На рельсах,
В петле,
На дуэли?..

Я сам собираюсь
Роман написать —
Большущий!
И с первой страницы
Героев начну
Ремеслу обучать
И сам помаленьку учиться.

И если, не в силах
Отбросить невроз,
Герой заскучет порою —
Я сам лучше кинусь
Под паровоз,
Чем брошу на рельсы героя.

И если в гробу мне случится лежать —
Я знаю:
Печальной толпою
На кладбище гроб мой
Пойдут провожать
Спасенные мною герои...

(«Живые герои»)

Эпоха поэту досталась великая, не трудная. Мы не забыли героев старых светловских стихов — тех, кого поэт так и не смог спасти. В нашей памяти живут строки о том, как

Парень, презирающий удобства,
Умирает на сырой земле...
(«Ночь стоит у взорванного моста...»)

И о том, как

Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели...

(«Рабфаковке»)

Трудно было поэту уберечь от смерти этих презирающих удобства парней и

девчат. Но изо всех сил старался он сдерживать свою давнюю полусутильную клятву. И если герою приходилось очень туго, если вот-вот должна была настигнуть его неминуемая смерть, поэт готов был на все, даже на то, чтобы призвать на помощь заведомо несуществующих ангелов и послать их на выручку погибающему.

Ангелы, придуманные мной,
Снова посетили шар земной.
Сразу сократились расстоянья.
Сразу прекратились расставанья,
И в семействе объявился вдруг
Без вести пропавший политрук...

Я — противник горя и разлуки,
Любящий товарищей своих.
Протянул ему на помощь руки:
— Оставайся, дорогой, в живых!

(«Возвращение»)

В «Горизонте» Светлов остался самим собой. Так же, как прежде, он готов «сказкою, строкой стихотворенья, всем своим запасом волшебства» прийти на помощь тому, кто в этом нуждается. Так же, как прежде, он маскирует эту готовность юмором, шуткой, всегдашней своей иронией. Но годы не проходят бесследно. И все чаще поэт возвращается мысленно к тем, кому уже не помогут никакие ангелы, — к своим сверстникам, ставшим легендой.

Я сплю. Я не хочу проснуться!
Пусть в небе юности моей
Другие спутники несутся
Любых искусственных быстрей!

Запели птицы, всходят росы,
Рассвет рождается вдали.
Летят погибшие матросы
Вокруг моей родной земли.

Несясь в пространства мировые,
Небрежно расстегнув бушлат,
На европейскую Россию
Матросы издали глядят...

В безостановочном движении
Летят матросы в тишине...
Отчаянное положение —
Ни к ним я, ни они ко мне!

(«Видение»)

Никто не властен изменить эту орбиту. Никто не может сделать так, чтобы «он — к ним или они — к нему». И никакое волшебство тут не поможет. Даже если призвать на помощь последнее средство, так часто выручавшее Светлова — сказку, — окажется,

что и она не властна здесь что-нибудь изменить. Сказка может помочь ему на миг вернуться в 1918 год, встретиться с одним из первых красногвардейцев (стихотворение так и называется «Первый красногвардеец»), перекинуться с ним несколькими шутивными словечками. Но и она не в силах предотвратить неизбежную разлуку:

Висит над нами мирозданье,
Посеребренное зимой...
Мы растаемся. До свиданья!
Тебе — в легенду. Мне — домой.

«Мне — домой»,— это сказано не без горечи.

Да, поэт счастлив чувствовать себя нужным в своем большом доме. Он живет в нем не иждивенцем и не пенсионером. Его «живая капелька» есть и в труде комсомольцев-целинников и в полете спутников — в каждом часе, в каждой секунде наших громких, стремительных будней. Но он не может забыть спутников своей юности — тех, кто остался в пути.

Это не уход в воспоминания. Это верность прошлому, без которой нет и не может быть ни настоящего, ни будущего.

И к будущему выходя навстречу,
Я прошлого не скидываю с плеч.
Жизнь не река, она — противоречье,
Она, как речь, должна предостеречь...
(«Бессмертие»)

Светлов однажды сказал о том, чем жили, на чем выростали его сверстники, люди его поколения:

— Меньше чем на мировую революцию мы не соглашались.

В устах Светлова, автора «Гренады», с особенной силой прозвучало в годы войны:

Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?..

Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!
(«Итальянец»)

Между сегодняшними стихами Светлова и его лирикой военных лет та же дистанция, что между «Итальянцем» и «Гренадой». Речь идет не столько даже о том, что со времени войны прошло много лет, сколько об огромном жизненном содержании, которым были наполнены эти годы.

Прежний Светлов был очень сдержан в проявлении чувств.

В «Горизонте» Светлов не опасается показаться сентиментальным. Он готов предстать перед читателем растроганным и даже умиленным:

Чем могу я, скажите, товарищи,
Быть недоволен?
Мне великое время
Звонило со всех колоколен.
Я доволен судьбой,
Только сердце все мечется, мечется,
Только рук не хватает
Обнять мне мое человечество!
(«Бессонница»)

Поэзия Светлова не случайно вошла в сознание многих поколений людей как живая частица их биографии. Выразить свое время — это не значит уметь откликаться на факты и события. Это значит написать стихи, которые сами стали бы чертой времени, его приметой. Думается, что Светлов имеет право сегодня сказать о себе:

Я недаром погибал от жажды,
Я фронтов десяток пересек,
В душах комсомольцев и сограждан
Собирая золотой песок...
(«Золото»)

В одном из стихотворений сборника есть такие, очень светловские, насмешливые и одновременно грустные строки:

Скажите мне — ну, что вам стоит! —
Что я еще совсем не стар...
(«Моя поэзия»)

Сказать комплимент действительно ничего не стоит. И критик С. Бабенышева в своей хорошей статье, рецензирующей новую книгу Светлова, пишет: «Поэзия Светлова — поэзия ожидания, поэтому это и поэзия бесконечной молодости... Я написала о молодости светловской поэзии и невольно подумала: о ком только не говорят, что он молод, особенно в нынешнем году, так богатом славными юбилеями. Но что же делать, если это правда. К тому же Светлов не юбиляр...»

Ну а поэзия Светлова действительно молода по чувствам, по остроте желаний — догнать «убегающую даль», поглядеть на «еще не узнанное небо».

Ну разве мог бы немолодой человек сказать:

Есть желание! И будь благословенна
Этой каждой дали перемена!..
(«Литературная газета» от 22 IX 1959 г.)

Во что бы то ни стало С. Бабенышева хочет уверить читателя, что ее комплимент не традиционная дань вежливости, что обычай говорить поэту старшего поколения о его молодости в данном случае находится в полном соответствии с истиной. Однако в действительности все это совсем не так просто. Что там ни говори, а лирический герой последней книжки Светлова — человек немолодой. С грустью говорит он об ушедшей молодости:

Снова плачешь... Это безобразье!
Смело дедушкой меня зови —
У меня оборваны все связи
С дрейфующею станцией любви.

(«Разговор с дезочкой»)

О надвигающейся старости:

И становится мне зидней,
Как, схватившись за посошок,
По ступенькам грядущих дней
Ходит бритенький старичок.

Это — я! Понимаешь — Я!
Тот, кто так тобою любим,
Тот, кого считали друзья
Нескончаемо молодым...

(«Сулико»)

Нет, не в том обаяние новой книги Светлова, что поэту в жизни за пятьдесят, а в стихах, как прежде, двадцать.

Он был и остался поэтом своего поколения — поколения тех, чья юность была озарена пламенем революции и гражданской войны, чья зрелость совпала с грозными годами Великой Отечественной войны, тех, кого сегодня народ любовно называет своей старой гвардией.

Целая эпоха отделяет сверстников поэта, «комсомольцев двадцатого года», от сегодняшних покорителей целины. Об этом уже не скажешь так, как сказал когда-то Багрицкий в своих стихах «Разговор с комсомольцем Н. Деметьевым»:

Десять лет разницы —
Это пустяки!

Сорок лет — не пустяки, и не надо делать вид, что этой разницы в возрасте вроде как бы и не существует. Увы, нельзя остаться «нескончаемо молодым». Но стареть можно тоже по-разному:

В жажде подвигов и атак
Робко под ноги не смотреть,—
Ты пойми меня,— только так,
Только так я хочу стареть!

Жил я, страшного не боясь,
Драгоценностей не храня,
И с любовью в последний час
Вся земля обнимет меня.

(«Сулико»)

«Горизонт» — очень неровная книга. Есть здесь стихи, написанные словно по инерции, есть и бледные, совсем не светловские строки. Но одно качество этой книги несомненно: она живая. Ведь настоящие стихи те, в которых перед тобой не рифмы, примитивные или сложные, не образы, затертые или свежие, не поэтические находки, а живой человек, с его душой, с его болью и радостью. Читая такие стихи, хочется думать не о поэзии, а о жизни.

Б. САРНОВ.

★

Игорь Ильинский и его книга

На протяжении целого года в журнале «Театр» печатались воспоминания Игоря Ильинского «Сам о себе». У нас, его современников и людей близких к нему поколений, эти воспоминания вызывают прежде всего лирический отклик — ведь с искусством Ильинского связана наша, теперь далекая, молодость. Нельзя представить картины быта Москвы середины двадцатых годов, не вспомнив вызывавшие шумные споры роли Ильинского у Мефферхольтца,

весь цикл его фильмов начиная с «Закройщика из Торжка». Однако Ильинский писал свою книгу с совершенно практической целью.

Историк Художественного театра Любовь Гуревич в очерке о Станиславском говорит, что его «жгла потребность скорее поделиться с людьми достигнутым». «Жгла потребность» — не знаю, подходит ли эта романтическая формула к спокойному и уравновешенному Ильинскому, но взялся он за перо мемуариста по тем же мотивам. Уже давно, на границе зрелости, он понял, что, хотя сделал в жизни немало, самого главного еще не сделал: где его ученики,

Игорь Ильинский. Сам о себе. Журнал «Театр», №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 за 1958 год и №№ 1, 2, 3, 4, 5 за 1959 год.

кому передаст он свой опыт, что оставит будущего?

От года к году росло это сознание обязанности, и в конце концов он написал книгу, потому что не мог ее не написать.

В революционные эпохи люди созревают очень быстро. В семнадцать лет Ильинский уже был профессиональным актером, и знатоки хорошо отзывались о некоторых его ролях. В восемнадцать лет начались годы его «странствий» — он бросался из одной крайности в другую, от утонченных стилизаций студийного искусства к веселому и неразборчивому в приемах ремеслу оперетты. Его не смущали контрасты: он читал Маяковского рабочим и красноармейцам (с того времени художественное чтение стало его второй специальностью в искусстве) — и играл в добрых романтических традициях пастора в «Вильгельме Телле»; он был актером Детского театра и просто душно, с наивной верой в свой образ, «влезал в шкуру» медведя Балу в инсценировке «Маугли» — и он был актером у Фореггера, где решал задачи по гриму и пластике в комедии «Близнецы», самой замысловатой и мудрено-формалистской постановке этого режиссера. Недолгое время он пробыв в труппе Художественного театра, потом встретился с Мейерхольдом и сыграл у него в «Зорях» и «Мистерии-Буфф». Направление таланта Ильинского как будто определилось, но пора оседлости еще не пришла — несколько раз он уходил от Мейерхольда то в Первую студию МХАТа, то в труппу Александринского театра, то в кино, где для начала ему поручили комическую роль сыщика в «Аэлите».

Сколько различных школ и систем сошлось в его актерской биографии! От такой пестроты талант поверхностный мог бы быстро зачахнуть — талант Ильинского закалился. Он менял театры не от дурного характера и не потому, что ему нравилось бродяжничать, он искал в искусстве — пусть в какой-то мере даже бессознательно — точки пересечения с оим временем, искал масштабы, которые соответствовали бы масштабам великой революционной ломки в стране. Конечно, предпринимать такие поиски в содружестве с Фореггером было наивно, но в этом он убедился позже. Пока что, странствуя по театрам, он учился у многих известных и неизвестных актеров, с которыми его

сталкивал случай. Авторитеты в искусстве в те годы были поколеблены, не очень чтит традиции и молодой Ильинский, но когда дело доходило до репетиций, он сразу становился внимательным учеником. Даже служба в оперетте пошла ему на пользу — как-никак это было массовое искусство, а в студии, где он начинал, в расчет принимались только единицы...

Годы странствий открыли перед Ильинским не только тайны ремесла — это была в некотором роде и школа нетерпимости. В своей книге он высоко оценивает искусство «первого конферансье в России» Балиева и его театр «Летучая мышь» и даже сожалеет, что такой вид зрелища перестал существовать у нас после революции. Сожалеет, я думаю, напрасно. Балиев был человек очень одаренный, но трудно допустить, чтобы его искусство, расцветшее, по выражению Бунина, «в подвальных кабаках, называемых кабаке», могло бы в какой-либо форме возродиться в наши дни; слишком явно талант Балиева служил богатому заказчику, в меру его поддразнивая и не в меру ему потакая. Сорок лет назад Ильинский хорошо это почувствовал и, прослужив целое лето у Балиева в «Летучей мыши», затем резко с ним порвал. Повод к разрыву был ничтожный, причины, напротив, основательные: как вскоре выяснилось, Ильинский и Балиев принадлежали к разным лагерям в искусстве и, разумеется, в политике. Программа Ильинского, да и многих других художников-интеллигентов его поколения, начиналась с отрицания — еще не зная, кто его союзники, он знал, с кем ему не по пути и кто его враги.

Ильинский любит свою молодость, но ничуть ее не приукрашивает; тон его мемуаров критический; история в его книге взята в двух планах: какой он ее тогда видел и какой он видит ее теперь. Сравнение получается очень поучительное.

Бывают художники, которые с замечательной силой выражают свое время и, словно до конца истратив себя, уже не двигаются вперед. Вспомните некоторых наших драматургов, прекрасно писавших о гражданской войне, — на этом рубеже они остановились и дальше не пошли. И среди актеров — сверстников Ильинского — были сильные таланты, так и оставшиеся в нашей памяти актерами двадцатых годов. По сравнению с ними он обладал важным и

счастливым преимуществом — его искусство развивалось в вместе с веком. Без некоторого усилия нельзя даже представить себе, что один и тот же актер выступал в таких разных ролях, как ревнивец Брюно в футуристической постановке «Великодушного рогоносца» и Чеснок в популярной комедии «В степях Украины», как Аркашка в мейерхольдовском «Лесе» и Аким во «Власти тьмы» в Малом театре. Какая здесь дистанция! От озорного, беспечного комедианта — до толстовской мудрости, простоты и правды, от символиста Кромелинка — до Корнейчука, в пьесе которого Ильинский сыграл впервые крупную современную роль положительного плана. И что важно: так изменившись со времени молодости, он не изменил себе и только развил свой талант, особенно свой юмор — это неизменное свидетельство его душевного здоровья, юмор, в котором неожиданно встретились лприка Гоголя и размах Маяковского.

Покойный профессор С. Н. Дурылин в статье «Игорь Ильинский в Малом театре» сравнивал искусство актера с камнем-самоцветом, который переходил из рук в руки «разных мастеров-гранильщиков» (имеются в виду режиссеры антиреалистического направления), — «чем больше пробовали они на нем различные приемы гранения, тем сильнее проявлялась его природная игра». Это сравнение мне кажется не вполне точным уже по одному тому, что таланту Ильинского в нем отводится роль страдательная, он только материал для обработки, материал для гранильщика. Между тем, еще семнадцатилетним мальчиком, Ильинский удивлял своих учителей самостоятельностью замыслов; процесс творчества начинался для него с изобретательства, он сочинял гримы, походки, костюмы, акценты, мизансцены. Режиссеры, с которыми он работал, вынуждены были считаться с его требованиями, даже Мейерхольд терпел автономию Ильинского. Тогда, в молодости, он чаще всего изобретал только форму для своей роли; потом, в зрелые годы, его фантазия, долго не задерживаясь на внешних подробностях, устремилась к роли в целом, к ее «зерну», по мхатовской терминологии.

Известно, что актеру легче заслужить репутацию изобретателя в эксцентрическом жанре, чем в психологическом; Гамлет на трапеции — это уже сенсация. В Малом театре Ильинский выдержал трудное испыта-

ние как актер-реалист, как глубокий и оригинальный истолкователь образов русской классики. Вспомните самые знаменитые его роли в минувшем двадцатилетии: Хлестакова, нового Аркашку, Городничего, Фому Опискина и, конечно, Акима в толстовской драме — одну из лучших актерских работ последних лет. Комментарий Ильинского к этим ролям стоило бы включить в учебники актерского мастерства, если бы у нас существовали такого рода учебники.

Обязанности мемуариста Ильинский понимает широко; он не только восстанавливает картину пережитого, он дает ей свое объяснение. Его книга написана в пылу дела, в ней нет и тени созерцательности; для своего жанра это, пожалуй, недостаток, но, прочитав мемуары Ильинского, мы много узнаем для себя полезного. Уроки актера захватывают всю область театра — от понимания его условной природы до искусства составления театральной афиши; он придирчиво исследует свой более чем сорокалетний опыт и особенно свои ошибки, к которым, по традиции нашей мемуарной литературы, начиная со Станиславского, питает особое пристрастие: Ильинский — критик и толкователь замыслов неотступно следует за Ильинским-актером. Но его опыт — это не только он сам и его роли.

В одной из старых книг Фейхтвангера говорится, что мемуаристы — самые недовольные люди, потому что они преследуют только одну цель: так переиначить историю, чтобы для них нашлось подходящее местечко. Для подобного суждения есть свой резон — почитайте, например, воспоминания немецких генералов, участников второй мировой войны. Но ведь «Былое и думы» тоже мемуары, а мемуары Станиславского «Моя жизнь в искусстве» как раз Фейхтвангер, в свою бытность в Москве, назвал великодушной книгой, которая помогла ему понять Россию Чехова и Горького. Скромная книга Ильинского тоже помогает нам лучше понять прошлое нашего искусства.

Ильинский работал рядом с Маяковским и Мейерхольдом, с Мих. Чеховым и Певцовым, с Юрьевым и Садовым, и ему есть что о них рассказать. Он был связан с театрами, о которых из-за неосведомленности одних и групповой пристрастности других по сей день существуют превратные представления, и в своей книге он стремится дать правдивые портреты своих товари-

щей по искусству и прежде всего своего учителя Мейерхольда. Это, в сущности, главная тема всей первой половины книги.

История отношений Мейерхольда и Ильинского полна драматических событий; их дружба часто переходила во вражду и потом опять становилась дружбой; бывали в них и периоды полного духовного единодушия и периоды резкой отчужденности, при этом, однако, сохранялась грань, которую они не переступали. Мейерхольд неизменно признавал талант своего ученика, а тот платил ему глубоким уважением. В феврале 1933 года Мейерхольд выступил с большой речью на творческом вечере Ильинского в клубе театралов работников. «Игорь Ильинский, — сказал он, — здоровый актер, потому что это здоровая личность. Игорь Ильинский дает здоровый смех... Он полон тем, что кипит в нашей здоровой жизни». А Ильинский в своей книге пишет: «...Я всегда старался быть верен всему лучшему, чем меня обогатили годы творческого общения с Мейерхольдом». С чего же началось их сближение?

Напомню, что до встречи с Мейерхольдом молодой Ильинский короткое время был актером МХАТа; он сам выбрал этот театр, но, попав туда, сразу приуныл. Нужна была политическая пронизательность Луначарского, чтобы в те годы понять значение искусства Станиславского, Немировича-Данченко и их труппы для нашей культурной революции и не понукать их, не торопить с выводами. Восемнадцатилетний Ильинский об этом не задумывался, ему казалось, что театр, с которым он связал свою судьбу, никуда не движется и живет своим размеренным ритмом, как бы независимо от стихий, бушующих за его окнами. Даже в том факте, что в Художественном театре педантично соблюдался образцовый музейный порядок, Ильинский почувствовал какой-то контраст с эпохой, какую-то дисгармонию. И по нетерпеливой логике молодости он покинул МХАТ с его натертым до блеска паркетом и пошел к Мейерхольду, в его театр, больше похожий на транзитный вокзал, чем на театр.

Ему казалось, что плакатное, нарочито аскетическое искусство Мейерхольда выражает самую суть эпохи, романтику ее будней и тяготы ее быта. Мейерхольд и на самом деле был убежден, что современность — основа основ революционного театра, в этой связи и возник его союз с

Маяковским, к которому без раздумий примкнул Ильинский. В своей книге он рассказывает, как росло в нем чувство протеста против медлительности и нейтральности старого театра и вместе с тем росла потребность в революционном творчестве: «Я сам, сам хочу утверждать что-то новое, праздничное, театральное, необычное». Мейерхольд представил ему такую возможность; с первых встреч он произвел на молодого Ильинского большое впечатление — представил верхушечной части петербургской художественной интеллигенции, глубоко увязшей в декадентстве, Мейерхольд, не колеблясь, стал служить революции. Он порвал со своим прошлым, причем относился к нему с нескрываемой, едва ли не фанатической враждебностью. Вообще фанатизм — характерная его черта, очень сильно действовавшая на молодые умы.

Ильинский сохранил добрую память о Мейерхольде — он обстоятельно пишет о его смелых планах, о том, как собирался он сломать старую коробку сцены и вынести действие драмы на простор площадей, как воспитывал нового актера, развивая у него чувство ритма, как старался возродить условность в декорациях и приемах игры, доказывая, что она лежит в самой природе театра, как мечтал о том, чтобы зритель стал участником событий пьесы, и т. д. Он вспоминает репетиции Мейерхольда — случалось, что они проходили с большим подъемом, чем спектакли, и превращались в триумфы режиссера, — его показы и подказы с их головокружительными импровизациями, его уроки пластики, композиции, игры с вещами, взлеты его фантазии, силу его ненависти. Любопытно, что в педагогической системе Мейерхольда и в его так называемой «биомеханике» Ильинский находит теперь гораздо больше достоинств, чем тогда, когда работал у него в театре. Время, однако, помогло ему лучше понять не только в чем разум Мейерхольда, но и в чем его предрассудок.

В 1926 году А. В. Луначарский в «Известиях» писал, что Мейерхольд тяготеет к монументальным формам; в этом Луначарский усматривал важное преимущество Мейерхольда, поскольку революции «противно все, что мельчит», и нужны ей «вещи не микроскопические, а телескопические». Категоричность суждения А. В. Луначар-

ского смущает нас. Разве фадеевский «Разгром» телескопичен, и разве обходился без микроскопа, например, Гайдар? Но понятие «телескопичности» не вполне применимо и к Мейерхольду, хотя искусство больших планов, монументального, резкого изображения было ему присуще.

Вместе с автором мемуаров отправимся на один из самых прославленных мейерхольдовских спектаклей — «Лес» Островского, — и на нас обрушится поток неожиданностей, трюков, головоломок, в которых приемы цирка мирно уживаются с мелодрамой. Едва попав в зал, мы начинаем удивляться и удивляемся на протяжении всех тридцати трех эпизодов, на которые разбил Мейерхольд пьесу, желая осовременить ее и придать ей более стремительный темп. Все метко, остроумно, звонко, поражает находчивостью и шедкостью. Но, справившись с пестротой и изобилием впечатлений, мы вместе с автором мемуаров спрашиваем себя: а где же «золотой текст» Островского и в чем значение и смысл его комедии?

Нет сомнения, Мейерхольд был искренне увлечен Островским и хотел представить его в наилучшем и самом современном виде. Но свою задачу он решал по частностям, так сказать не всем фронтом, а операциями местного значения; его вдохновляли подробности, и он роковым образом упускал целое. Выдающийся экспериментатор, он ставил свои опыты, не контролируя их конечной целью. Эту своего рода закономерность вы обнаружите и в других спектаклях Мейерхольда, в том числе и самых лучших. Нет, это не телескоп, приближающий к нам звездные миры, это, скорее, «увеличительное стекло», с гениальной смелостью гиперболизирующее детали. Ведь что осталось в памяти, скажем, от постановки пьесы Вс. Вишневского «Последний, решительный»: молодой Боголюбов в финальной сцене — громадного трагического взлета (смерть героя матроса — защитника наших рубежей); или от «Вступления» Ю. Германа: молодой Свердлин на балу корпорантов обнимает мраморного Гёте — реализм, доведенный до степени символа. И так от спектакля к спектаклю: поэзия и величие в «кусках», ошеломля-

ющие «крупные планы» и неясность замысла в целом. В чем же здесь причина? Книга Ильинского ставит перед нами в упор этот вопрос.

Ответить на него не так-то просто, потому что картину очень запутали сперва азартные приверженцы Мейерхольда, потом люди, избравшие специальностью поношение этого большого художника. Видимо, объяснение надо искать в том, что эт декадентства Вячеслава Иванова, от философии модернизма Мейерхольд прямо шагнул к абстрактной социологии, с ее грубой схемой исторического процесса. Прочтите его режиссерские комментарии к спектаклям даже сравнительно позднего периода, например, к «Свадьбе Кречинского», — и вы увидите, что история в них теряет свои краски и превращается в игру понятий, в цепь аналогий. Стесненный схемой, им самим сочиненной, талант Мейерхольда уходит в подробности, в отделку «кусков», в открытия частного значения. Добавьте к этому, что новое в искусстве, по мнению Мейерхольда, обязательно должно было ссориться с прошлым и удивлять («удивлять во что бы то ни стало»), а еще лучше — ошарашивать зрителей своей неожиданностью — отсюда тоже его интерес к частностям и невнимание к целому.

Широкая, осознанная программа, как мне кажется, начала складываться у Мейерхольда только к середине тридцатых годов, когда у него проснулся интерес к новым исканиям Станиславского, к его постановочным и педагогическим идеям, к его пониманию реализма. Замечу, кстати, что и Станиславский с большим интересом и сочувствием относился тогда к Мейерхольду.

Честно, без предвзятостей, с настоящей революционной объективностью написал Ильинский о своем учителе.

Вероятно, здесь с нашей стороны должны были бы последовать оговорки — в мемуарах Ильинского есть сильные главы и есть слабые. Но ведь так всегда бывает, это общий закон. Нам же важно отметить, что умную и правдивую книгу выдающегося актера с интересом прочтет широкий круг читателей.

А. МАЦКИН.

Друг народной песни

Среди книг, выпускаемых областными издательствами, все чаще встречаются такие, которые хочется порекомендовать читателям всего нашего Союза. К числу их принадлежит небольшая книжка, посвященная памяти собирателя русского песенного фольклора Василия Ивановича Симакова, выпущенная Калининским книжным издательством.

«— Ваши труды, Василий Иванович,— говорил в свое время собирателю писатель В. Г. Лидин,— никогда не пропадут, а масштабы их вы даже себе и не представляете.

Он, как обычно, отмахнулся,— вспоминает Лидин,— считая преувеличением все, что может быть сказано о его деятельности».

Действительно, труды Симакова дают ему полное право именоваться крупным собирателем фольклора. Еще не раз добрым словом будет помянут кашинский крестьянин Тверской губернии, который к концу своей семидесятипятилетней жизни скопил огромное сокровище народно-песенного и пословично-поговорочного фольклора и все передал в наши научные учреждения.

Жизнь, прожитая Симаковым, типична для тысяч народных просветителей-собрателей, видевших в культуре народа, его фольклоре, языке свидетельство могучих, нерастраченных сил России. Задолго до революции, в 1890 году, десятилетним мальчиком он был отдан «в люди» — в услужение к одному кашинскому купцу. Сначала ученика держали на побегушках, затем стали приучать к торговле ситцами, а вскоре и книгами. За прилавком, заваленным учебниками, календарями, песенниками, лубочными изданиями сказок, сонниками, оракулами, Симаков научился любить массовую народную книгу.

Спустя несколько лет, в 1913 году, в Ярославле Симаков напечатал свой «Сборник деревенских частушек». Эта книга не потеряла своего значения и сегодня, несмотря на то, что наука обогатилась другими крупными собраниями деревенских припевок, или вертушек, дрындушек, набирушек, пригудок, сбирушек, скакух, ско-

моршин, топтушек, как называли частушки в разных местах России. Собрание двустрочных и четырехстрочных народных песен занимало Симакова всю жизнь.

В одном из писем к Демьяну Бедному Симаков так объяснял свою страсть собирать эти народные песни: «Сама частушка является прямой, раскрытой книгой всех душевных переживаний, в особенности переживаний молодежи. И никакое беллетристическое или научное описание не в состоянии этого сделать, как это делает сама коротенькая частушка, порой остроумная, порой наивная, может, иногда и глупая, но всегда неподдельно, верно отражающая истинный, настоящий народный быт со всеми его радостями и печалью. Вот за это я в особенности ценю частушку, потому что я так ее и собираю до сего дня».

В 1954 году свои неопубликованные материалы — стотысячный свод частушек — Симаков сдал на хранение в Литературный отдел Государственного архивного управления. Классификация этого огромного материала дана на основе установленной собирателем непосредственной связи частушек с бытом деревни, ее радостями и печалью. Эта классификация не выдержана в правилах строгой логики. Ее «логичность» в другом: частушки Симакова дают возможность понять самый уклад деревенской жизни, духовные интересы и вкусы народа.

Собирательская деятельность Симакова достаточно хорошо известна, и лишь небольшой круг личных знакомых Симакова знал, что он многие годы наблюдал за живой русской речью.

За несколько лет до смерти Симаков передал в Институт языкознания Академии наук СССР шесть объемистых рукописных томов систематизированных им материалов под такими заглавиями: «Торговая поэзия», «Заметки об условных, тайных и профессиональных языках», «Синонимы в торговом быту», «Торгово-бытовой словарь», «Краткие заметки и пояснения к торгово-бытовому словарю», «Словарь офенского языка». «Кроме того,— пишет С. И. Ожегов,— он (Симаков.— В. А.) предполагал передать в Институт богатейший словарь русских народных прозвищ, но, по-видимому, болезнь, заставившая его в последнее время жить безвыездно у себя в деревне, помешала исполнить это намерение».

Профессор С. И. Ожегов пишет о Симакове: «Будучи собирателем языковых материалов, он выступает и как истолкователь народной речи, обладающий незаурядным филологическим чутьем».

«Несколько пояснительных слов» к «Словарю прозвищ», опубликованные в калининской книжке, полностью подтверждают это мнение. Не увидевшая света, подготовленная к печати еще в 1929 году рукопись «Современная Москва в народном творчестве: торговых выкриках, присказках, прибаутках, поговорках, частушках, песнях, присловьях и т. д.», свидетельствует о том, как долго копил свои наблюдения Симаков и как тщательно готовился он к осуществлению своего замысла.

Много заботился Симаков о популяризации массовой песни и романса. Некогда они серьезно занимали русскую деревню и пригород, потянувшиеся к культуре и свету просвещения. О том, что и как делал Симаков в этой области, можно судить по списку опубликованных им работ (библиография приложена в конце книги, подготовлена Н. Черниковым).

Результаты, достигнутые Симаковым уже только в одной из областей, занимавших его внимание, могли бы дать ему право не быть забытым потомками, но это еще не все. Симаков был превосходным знатоком старинной любочной литературы, и видные литературоведы-фольклористы спрашивали у него совета. В маленькой деревеньке Челагине, где жил собиратель, в обитом железом сарае Симаков хранил семь тысяч редчайших, интересных изданий народной массовой литературы XVIII—XIX веков. Цела ли эта библиотека?

Обо всех этих заслугах Симакова перед народной культурой и повествует небольшая книжка, изданная в Калинин. Первая ее половина состоит из воспоминаний о Си-

макове. Здесь помещен рассказ И. Белоусова о встрече с собирателем, мнение Демьяна Бедного о «Сборнике деревенских частушек» из предисловия действительного члена Академии наук УССР Ю. Соколова к книге Симакова «Народные песни, их составители и их варианты» (М., 1929), превосходный очерк В. Лидина «Неутомимый труженик», статья профессора В. Сидельникова «Крестьянин-ученый», заметки профессора С. Ожегова «Народный филолог», воспоминания поэта и педагога С. Фомина и, наконец, статья профессора-фольклориста А. Смирнова-Кутачевского «В. И. Симаков и его книгохранилище». Из всех этих воспоминаний, статей и заметок встает образ собирателя, беспредельно преданного своему делу, скромного и обязательного человека.

Вторую половину книги составили «Материалы В. И. Симакова». Это наименее удачный раздел книги. «Материалы» представлены скупой подбор их случаен. Это в разное время написанные Симаковым заметки о песне, «пояснительные слова» к «Словарю прозвищ», воспоминания Симакова о С. Д. Дрожжине, взятые из сборника «Памяти С. Д. Дрожжина» (Калинин, 1951), наконец, несколько писем Симакова.

Надо думать, что и сами составители смотрят на этот раздел книги как на «заявку»: литературное и фольклорное наследство Симакова ждет своей публикации. Приложенная к книжке подборка «Лирические частушки из собрания В. И. Симакова», полагаем, не лишней раз заставит задуматься научные учреждения, которым Симаков при жизни передал свои ценные собрания, о скорейшем издании его многолетних трудов. Если это будет сделано, то книжка, изданная в Калинин, помимо своей очевидной пользы, принесет пользу еще большую.

В. АНИКИН.

★

«Триумфальная арка»

Действие «Триумфальной арки» завершается в момент объявления второй мировой войны, но именно война, не показанная в романе, определила его атмосфе-

ру и концепцию. Каменная громада Триумфальной арки — памятника былых побед — высится над городом как напоминание о войне, прошедшей и грядущей, как угрожающее предостережение, от которого тщетно отворачивается Париж. В ненастный ветреный вечер город отмечает двадцатую годовщину перемирия. «Толпа стояла молча.

Эрих Мария Ремарк. Триумфальная арка. Роман. Перевод с немецкого Б. Кремнева и И. Шрайбера. «Иностранная литература», 1959, №№ 8, 9, 10, 11.

«Перемирие,— сказала какая-то женщина около Равика.— Моего мужа убили в последнюю войну. Теперь на очереди сын. Перемирие! Кто знает, что еще будет».

И двадцать лет спустя после окончания войны эта женщина все еще говорит «перемирие» — мира нет, доброе старое мирное время кануло в вечность вместе с прочими понятиями и иллюзиями человечества; для Ремарка, как и для его героев, существует только послевоенное и предвоенное время или, говоря словами Равика, «безвременье между двумя катастрофами». Война нависла над Европой, и Париж видится Ремарку как новый Вавилон, которого неминуемо захлестнут волны всемирного потопа. Картина предвоенного Парижа дана писателем заведомо односторонне. Это не реальный исторический Париж, раздираемый социальными противоречиями, рукоплескавший Мюнхенским соглашениям и протестовавший против них, город разжиревших рантье и Народного фронта, мещанского самообмана и революционных традиций. Париж в романе символичен и иллюзорен (хотя отдельные подробности быта не только достоверны, но порой фотографически точны; символика, собственно, и вырастает на почве натурализма). В «Триумфальной арке» Париж — это как бы образ всего человечества. Великий, пошлый, прекрасный и убогий, космополитичный, многоязыкий и многонациональный, город живет торопливо, лихорадочно и жадно, словно каждый наступающий день может стать последним; обезумевший человеческий муравейник, отплясывающий жалкий и безрадостный танец на краю вулкана... Ремарк не довольствуется этой метафорой, повторенной многократно. Он снова и снова обращается к библейским и историческим ассоциациям. Костюмированный бал, куда увлекает Равика американка Кэт Хэгстрем, превращается в еще одно предостережение. Строгий ритуал изысканного маскарада, на котором современные хозяева жизни выступают в париках и фижмах, сметен внезапно налетевшей грозой; и вот уже пышный аристократический праздник, главное событие бального сезона, преобразуется в зловеще-многозначительный символ. Жалкие, панически мечущиеся фрейлины, герцогини и маркизы, бледные вспышки молний и грозные раскаты грома — «все здесь напоминает канун французской революции. Вот-вот нагрянут санкюлоты...»

Роман строится как фильм, его словно не читаешь, а видишь на экране. Ремарк широко использует эмоциональные возможности параллельного и ассоциативного монтажа. За сценкой в «Шехерезаде», ночном кафе, где под печальные и мятежные песни цыган Кэт празднует с Равиком свое возвращение в Париж — для нее это возвращение к жизни, избавление от нацистского кошмара Вены,— следует эпизод в больнице. Кэт на операционном столе, раскрывшийся под ножом живот, опытные, сильные, мудрые руки Равика, которые уже не в силах спасти это молодое, еще полное жизни тело: Кэт приговорена, у нее рак... Жоан, вновь обретенная Равиком возлюбленная, уходит от него, уходит к другому, гонимая смутным и темным беспокойством; и сразу же кадр в публичном доме — неторопливый, равнодушный разговор с распорядительницей о делах: «Дела идут блестяще», несмотря на мертвый сезон,— «в этом году словно сумасшествие какое-то на всех нашло». И Равик пожимает плечами: «Старая история об океанском корабле, идущем ко дну». В этом мире, стремительно несущемся к гибели, время как будто остановилось. Тягучий ритм отдельно взятых кадров составляет странный контраст с головокружительным и хмельным круговоротом эпизодов...

Земля утратила устойчивость, ничего не осталось надежного. Но обыватели еще вкушают покой в розовых кукольных домах, возделывают свои сады и приумножают капиталы. Рассудительная, добрая и строгая Роланда, единственная женщина, сохранившая незабываемые принципы буржуазной порядочности, работает распорядительницей в публичном доме и откладывает деньги на собственное дело. Для нее будущее ясно: она откроет в родном Туре маленькое кафе (когда умрет ее тетя) и выйдет замуж за своего друга (когда умрет его жена). Как немного нужно для благополучия Роланды! Кому еще дано построить свой дом на таком прочном и разумном фундаменте?

Кэт Хэгстрем, прожившая беспокойную и полную дешевых соблазнов молодость, тоже мечтает обрести тихую пристань, но тщетно. «Покой, камин, книги, тишина... Прежде в этом видели одно мещанство. Теперь это мечты о потерянном рае». Герои Ремарка, бездомные бродяги, иногда между двумя рюмками коньку тоскуют по

утраченному покою, тоскуют и все же не хотят его: они фатальным образом не приспособлены для него, они, пожалуй, даже гордятся тем, что выросли из этого мещанского идеала, как из детских платьиц. Их неудовлетворенность и цинизм становятся у Ремарка как бы положительной ценностью.

Имя Ремарка обычно связывают с судьбой «потерянного поколения»: он и впрямь был долгие годы его верным летописцем и поэтом. Но литературная история «потерянного поколения» закончилась в Испании. Какими бы ограниченными ни казались нам социальные взгляды Хемингуэя, его героев, сражавшихся с фашистами в Испании, нельзя причислить к «потерянному поколению», — в решающую минуту истории они возродились для жизни и борьбы. (Разумеется, были и другие, которые кончили тем, что — скандально или тихо — капитулировали.) Своеобразие героев Ремарка в том, что у них процесс возрождения затянулся. «Пятая колонна» и «Три товарища» вышли в свет почти одновременно. В то время, когда для героев Хемингуэя уже кончилась полоса духовного оцепенения, герои Ремарка все еще блуждали впотьмах, без идеалов и цели. Разные судьбы героев объясняются не только несходством мировоззрений и темпераментов этих двух художников. Истоки затянувшейся трагедии героев Ремарка — в исторической трагедии немецкого народа, нравственные силы которого были раздавлены и парализованы фашизмом. Не поняв этого, нельзя понять и Ремарка, его своеобразие, силу и слабость. Хотя в некоторых произведениях Ремарка отражены заграничные впечатления его, этот новый для него мир писатель воспринимает всегда со стороны, глазами чужака-эмигранта. В «Триумфальной арке» есть ряд очень точных портретов французов, но изнутри увиден только немецкий эмигрант Равик. Есть своя закономерность в том, что в понимании Ремарка возрождение начинается с возрождения индивидуальности (а не народа). Ремарк не видел в Германии сил, которые могли бы победить фашизм. В этом — корни индивидуализма Ремарка и его героев.

Мотив одиночества становится в «Триумфальной арке» одним из ведущих. Герой романа не только одинок — он изгой. Он все потерял — родину, дом, даже имя. Но Ра-

вик не только жертва фашизма, в не меньшей мере он и жертва буржуазной «демократии». Антифашист, бежавший из гитлеровского концлагеря, он живет в Париже нелегально и вынужден скрываться от французских властей. «Свобода, Равенство, Братство» в действительности обернулись тупой и бездушной жестокостью исправно работающей государственной машины. Бессмысленность и бесчеловечность этого механизма иллюстрируется Ремарком настойчиво и парадоксально. Равик попадает в тюрьму за то, что оказал первую помощь раненой женщине; из Франции его высылают чиновник Леваль, который обязан Равику жизнью (Равик оперировал его в клинике Дюрана). Правда, Леваль не знает о том, кто его оперировал. Но — знает или не знает — какое это имеет значение? Полицейский, арестовавший Равика, знает, что тот перевязал раны женщине, пострадавшей в уличном происшествии, — это не помешало ему отправить «преступника» в тюрьму. Закон, на страже которого они стоят, действует слепо и неотвратимо, как рок древних. Исключительная ситуация, в которую поставлен Равик, в романе Ремарка приобретает значение некой всеобщности. В сущности, она раскрывает лишь более обнаженно несостоятельность принципов буржуазной демократии, ее враждебность человеку. Судьба Равика из исключительной становится, таким образом, чуть ли не банальной. Это вообще характерно для творческого метода Ремарка. Роман, в котором речь идет, казалось бы, только об исключенных и сюжет которого являет собой цепь подчеркнута необязательных случайностей (случайная встреча с Жоан, случайная встреча с Хааке, случайное уличное происшествие, в результате которого Равика высылают из Франции, и т. д.), задуман как произведение символическое. И если Париж олицетворяет собой современный мир, то борьба Равика знаменует для Ремарка возрождение человека.

В начале романа Равик близок героям «Трех товарищей». Он живет скорее по инерции, спасаясь работой, цинизмом и водкой. Впрочем, уже тут обнаруживается одно существенное различие, которое по мере развития романа приобретает все большее значение. Прежние герои Ремарка — люди без определенных занятий. Равик — хирург; это профессия, так сказать, деятельного добра (не требующая к тому

же четкой политической позиции). Для Ремарка это обстоятельство принципиально важно (вот почему сцены в операционной, порой, казалось бы, совсем не связанные с развитием сюжета, занимают в романе такое большое место). Что бы ни случилось, руки Равика привычно и точно выполняют свое доброе дело. Уверенность в том, что человечество катится в пропасть, не мешает Равику ежедневно спасать людей. «Доброта придает человеку силы, если ему трудно живется». Спасение героя начинается с того, что он спас женщину, случайно встреченную им ночью на мосту. Так происходит к Равику любовь.

Великое чудо любви — постоянная тема Ремарка: чудо, надежда, спасательный круг и убежище, единственное доступное человеку счастье. Мотив этот в «Трех товарищах» носит открыто романтический характер; крушение надежд фатально предопределено (туберкулез, от которого умирает идеальная возлюбленная героя, в сущности, лишь предлог). В «Триумфальной арке» любовь — лишь первая ступень на пути героя к возрождению. Душа и тело Равика словно пробуждаются от долгого оцепенения, он вновь ощущает, что жизнь сама по себе есть благо. Стоя ночью под окном Жоан, уже изменившей и чужой, он, ревнуя и мучась, повторяет: «Ты вернула мне жизнь... Я снова живой». Чудо состоялось, хотя счастье и было иллюзорно. Жоан вернула Равику жизнь — отнять этот дар она уже не в силах.

Крушение любовного счастья в «Триумфальной арке» определяется вполне реалистическими мотивировками — характером отношений и характером героини. Жоан отнюдь не идеальная возлюбленная, она дочь своего времени, точнее, безвременья. Мятушаяся, переменчивая, страстная, пустая, жадная до наслаждений, она словно возникла из хмельного угара ночного Парижа. Ее тривиальный и мелодраматический конец закономерен: нелепый выстрел любовника — актера, ревнующего и страдающего с дурацкими театральными ужимками, — как бы подводит завершающую черту этой беспутной и пошлой жизни. Образ Жоан одновременно условен и правдив. Между Жоан начала и конца романа мало общего, это словно две разные женщины. На это имеются и особые причины. Хотя «Триумфальная арка» написана и не от первого лица, как большинство книг Ремар-

ка, события и люди даны и здесь исключительно через восприятие героя. (Характерно, что в романе нет ни одной сцены без участия Равика.) Глазами Равика увидена и Жоан. И пока он «ослеплен игрой воображения» и любовью, автор ослеплен вместе с ним, он видит не Жоан, а мечту Равика. (Неважно, кто она: «тебя держит сама любовь, а не человек, случайно носящий ее имя».) Видение это предстает в ореоле «погибельной красоты», безумной страсти и прочих соблазнов, порой весьма сомнительного вкуса. (Обнаженная Жоан, стоящая среди хризантем на коленях перед Равиком, — это уже «романтика» почти бульварного пошиба.) За этим дешевым идеалом уже угадывается антипоэтическая сущность Жоан, и, по мере того как рушатся иллюзии Равика, истинное лицо его возлюбленной проступает все более отчетливо. Мещанство и вульгарность героини, ее холодная расчетливость и уверенный цинизм раскрыты посредством двух-трех выразительных деталей: новая комната Жоан, где рядом с мебелью модерн пристроился фикус; шкаф, в котором мирно уживаются «справа мятная настойка — для того, другого, слева кальвадос» — для Равика. Убогое, половинчатое счастье, которым довольствуются не только Жоан и не только циники, не ведающие ни иллюзий, ни идеалов. Но для Равика оно уже невозможно, и это тоже его победа. Беспринципности общества, в котором само понятие о морали считается старомодным и смешным предразсудком, Ремарк противопоставляет благородный максимализм и бескомпромиссность героя.

«Судьба никогда не может быть сильнее нее спокойного мужества, которое противостоит ей». «Способность сопротивляться — единственное, что составляет непреложную основу жизни». Для Равика это не пустая фраза и не просто норма поведения, а итог жизненного опыта. Впрочем, несчастье научило этой мудрости многих героев Ремарка. Штейнер («Люби ближнего своего») не менее мужествен, чем Равик, но между концепцией этого романа, также посвященного судьбам немецких эмигрантов, и идеей «Триумфальной арки» существует различие. Не поддаваться отчаянию, все выдерживать, выжить во что бы то ни стало — вот смысл первого; выстоять самому и победить фашизм — вот пафос второго. Долгие годы Ремарк не уставал повторять:

«Люби ближнего своего», но перед пушками и концлагерями гитлеровской Германии бессилие этой проповеди было очевидным. «Люби ближнего своего» — одна из самых беспроблемных книг Ремарка. В 1941 году, когда она вышла в свет, фашисты победоносно шагали по Европе и положение казалось Ремарку безнадежным. Роман завершается гибелью Штейнера. Героическая смерть единственное, что еще можно сделать во имя человека и человечества, но вряд ли это что-либо изменит — вот горький итог романа. В «Триумфальной арке», написанной пять лет спустя, когда исторические итоги борьбы уже были подведены в Потсдаме, мужество героя не просто самоутверждение и убийство гестаповца Хааке не только личная месть, но «нечто гораздо большее — начало».

«Не ради себя самого, и даже не во имя мести... не из эгоизма и даже не из альтруизма — так или иначе, но все равно надо вытаскивать этот мир из крови и грязи, и пусть ты вытащишь его хоть на вершок — все равно важно, что ты непрестанно боролся, просто боролся. И пока ты дышишь, не упускай случая возобновить борьбу». В сущности, убийство Хааке — это именно тот «случай», который нельзя упустить. В романе образ Хааке олицетворяет собой фашизм. В галлюцинациях и воспоминаниях Равика это кладнокровный истязатель, палач, садист. Но в Париже Хааке всего лишь добродушный, ограниченный, блудливый и практичный обыватель. Самое страшное заключается именно в его заурядности и очевидной банальности, в том, что Хааке не исключение, а нормальный представитель фашистской Германии. Конечно, Ремарк, как и Равик, прекрасно понимает, что убийствами многого не добьешься. Здесь важно другое: решение Равика продиктовано твердой убежденностью в том, что перед лицом грозящей человечеству опасности никто не имеет права устраниваться («они и распоясались потому, что каждый твердит: меня это не касается»). Так впервые у Ремарка появляется герой, для которого борьба за общее дело становится целью жизни — осознанным долгом и потребностью души. Вместе с ним (а Ремарк всегда вместе со своим героем, не рядом, не выше, а именно вместе) писатель как бы освобождается от груза прошлого.

У «потерянного поколения» был особый счет с прошлым. Война выжгла и опусто-

шила душу; герои Ремарка были лишены дара забвения, прошлое жило в крови, хватало за горло, становилось более реальным, чем настоящее. Равик тоже прошел через это (до сих пор еще помнит он о первом человеке, убитом им на фронте), и все же он преодолел «яд войны». Но было нечто более страшное в жизни Равика. Потрясение, пережитое в фашистской тюрьме, едва не оказалось гибельным: кровавый туман пыток, бессильная ярость и унижение — кошмар, оставшийся позади, неотступно следует за ним. Только убийство Хааке наконец освобождает его. Кульминация романа — возмездие, очистившее и закалившее душу героя. (Эти страницы написаны необычайно сильно, жестко, напряженно и точно.) Прошлое умерло, «пепелище расчищено», все стало на свое место — «кончились шатания», «появилась устойчивость». Равик снова в пути, и дорога его ясна: впереди французский концлагерь, новые испытания, трудности, лишения, война; впереди — труд, борьба.

«Триумфальная арка» кончается объявлением войны; вот-вот уже вторгнется во Францию фашистская армия... Равик видит, как «Нормандия» — этот новый Ноев ковчег, оборудованный по последнему слову техники, — отплывает, сияя огнями, от темных берегов Франции. Непроглядная ночь опускается на Париж. «Нигде ни огонька. Площадь тонула во мраке... В кромешной тьме нельзя было различить даже Триумфальную арку...» И все же в финале романа настойчиво звучит мелодия надежды. Парадокс заключается в том, что Ремарк верит в человека и не верит в человечество. Он возлагает надежды на подвиг одиночек и нравственное самоусовершенствование. (Еще в «Возвращении» определились эти позиции. Итог этой трагической книги выражен в словах Эрнста: «Я хочу, чтобы руки мои трудились и мысль ярко горела. Я хочу работать над собой и быть ко всему готовым... Я хочу всегда идти вперед, даже если бы когда-нибудь у меня и явилось желание остановиться». «Вперед», — повторяет Эрнст беспомощно, как заклинание, но куда вперед — этого Ремарк не знал ни тогда, ни после.)

В конце «Триумфальной арки» Равик обретает ту внутреннюю свободу и уверенность, о которых прежде тщетно мечтали опустошенные и потерянные герои Ремарка. У Равика «появилась какая-то почти

мистическая уверенность в себе». Ремарк вынужденно прибегает к таким туманным определениям. Уверенность Равика если и не «мистическая», то, во всяком случае, иллюзорная. Индивидуалист, отторгнутый от всех общественных связей, он уповает лишь на самого себя. Он борется с фашизмом один на один. В отрыве Равика от антифашистского движения масс отразилась общественная позиция самого Ремарка, не верящего в эффективность политической борьбы. За скромной фигурой одинокого и мужественного Равика, вечного странника, бездомного эмигранта, кочующего по дешевым отелям чужих стран, спасающего заблудших женщин и карающего преступников, вырисовывается знакомый силуэт романтического героя, благородного мстителя, в гордом одиночестве сражающегося с мировым злом... Традиционные романтические мотивы, органически близкие

Ремарку, разумеется, приобретают в его творчестве современное звучание, но основа — концепция мира — сохраняется неизменной.

Ремарк не уклоняется от проблемы выбора, которую ставит перед ним история, но он решает ее в слишком общих чертах. Позиция Равика не есть позиция «над схваткой». Пафос романа — в утверждении необходимости борьбы за общее дело: «так или иначе, но все равно надо вытаскивать этот мир из крови и грязи». Осознание этой простой и великой истины определяет место и значение «Триумфальной арки» в ряду других книг Ремарка. Однако выход, предлагаемый писателем, иллюзорен и лишен исторической перспективы: индивидуальный подвиг бессилеи разрешить противоречия истории, «вытаскивать» мир надо не так, а иначе.

М. ЗЛОБИНА.

★

Политика и наука

Азбука хозяйствования

«Учись хозяйствовать» — так называется недавно выпущенная Госполитиздатом книга А. Бирмана. Ее язык, очень простой, доходчивый, и популяризаторская манера изложения рассчитаны на то, чтобы дать начатки экономических знаний самому широкому кругу читателей. Впрочем, «читатель» здесь не то слово, ибо речь идет о своеобразном пособии для изучающих конкретную экономику.

Не много есть предметов, которые бы привлекали внимание в столь обширной аудитории. Ее ответвления находишь на каждом заводе. Они есть и в рязанской деревне, вдвое перевыполняющей годовой план сдачи мяса, и на казахстанской целине. У нас существуют многообразные формы массового экономического образования. Оно ведется в кружках, в семинарах, индивидуальным порядком. Все больше участников вовлекается в экономические конференции. Проблему внутривозвратных ресурсов обсуждал не так давно хозяйственный актив Киевского района Москвы. Со всех

концов обширного края, из заполярного Норильска и с южной окраины Сибири — Хакассии, съехались в Красноярск люди на межотраслевую научно-производственную конференцию, посвященную совершенствованию экономики предприятий.

Все это рождает повышенный спрос на литературу, наиболее успешно помогающую усвоению основ экономической науки. К такой литературе смело можно отнести и книгу А. Бирмана.

Автор сумел живо рассказать о многих сторонах хозяйственной деятельности, включая и такие сложные и «сухие» вопросы, как организация снабжения, калькулирование себестоимости продукции, бухгалтерский учет.

Но удача книги не только в ясности изложения. Гораздо важнее то, что удалось убедительно показать увлекательность любого труда, который «вливается в труд республики». Когда автор говорит: «У каждой работы есть свои тайны и свои открытия» — это утверждение не повисает в воздухе. За ним стоит опыт Павла Быкова, десятикратно увеличившего скорость резания металла, блестящая творческая находка П. Дуванова, учетверившего съем крипища с одной и

А. Бирман. Учись хозяйствовать (Рассказы об экономике предприятия). Редактор В. Орлов. 392 стр. Госполитиздат. М. 1959.

той же печи. Автором названы два имени, а память подсказывает десятки других.

Хотя книга издана в 1959 году, но после ее выхода в свет уже возникло множество починов. Вот почему в книге нет рассказов ни о трудовом подвиге Валентины Гагановой, ни о начинании, появившемся на участке старшего мастера А. Я. Позднякова, где поставлена принципиально новая цель — комплексно совершенствовать производство, причем впервые понятие комплекса включает в себя и улучшение конструкции самих изделий. Не узнает читатель из книги и о работе станочников без наладчика, получившей широкое распространение на многих заводах Минска и Харькова, о смотре технического уровня машин, проведенном на предприятиях Московского совнархоза.

Особое место уделено в книге советам народного хозяйства.

Теперь, на пороге второго года семилетки, особенно ясно видишь, насколько своевременно был осуществлен революционный по своему значению поворот в методах и формах планирования народного хозяйства. За очень короткий срок совершена громадная по размаху и последствиям организационная подготовка к семилетке.

Читателю ясно видны и экономические выгоды новой системы управления промышленностью и ее политические преимущества. Создание совнархозов и их практическая деятельность, втянувшая в свою орбиту широкие массы, еще более укрепили демократические основы нашего хозяйствования. Все эти меры наряду с расширением прав мест и активизацией роли профсоюзов создали исключительно благоприятную обстановку для дальнейшего развития творчества масс.

Чтобы ускорить наше движение вперед, надо непрерывно повышать коэффициент полезного действия всех элементов производства, то есть достигать больших результатов с наименьшими средствами. На первый взгляд, не так уж трудно решить эту не новую задачу теперь, когда мы стали более зрелыми и опытными, чем вчера. Да, советский человек вырос, но выросло и хозяйство. Совсем недавно, в 1952 году, один процент прироста промышленной продукции составлял пять миллиардов рублей, а в конце семилетки он превысит девятнадцать миллиардов. В среднем за день в семилетии бюджет произведено строительных работ на

один миллиард рублей. Здесь выигрыш даже одной десятой процента выражается в громадных суммах.

Изменились не только масштабы, меняется и характер производства. На наших глазах совершается величайший научно-технический переворот. Электронноуправляемая техника, внутриядерные источники энергии, синтетические материалы делают реальными еще недавно, казалось бы, несбыточные вещи. Началась космическая эра человечества. Всюду нужны знания, твердые расчеты, оглядка на теорию.

Нужна точная наука, чтобы прокладывать новые пути в технике. Но проектировщики все чаще сталкиваются с таким фактом: внедрение новых машин сплошь и рядом осложняется совершенно неожиданной причиной, — не существует еще надежного метода подсчета экономического эффекта от применения небывалых механизмов. А всякое техническое новшество должно оправдать себя рублем.

Более восьмисот ученых и практических работников участвовали еще в 1958 году во Всесоюзной конференции по проблемам экономической эффективности капитальных вложений и внедрения новой техники. На конференции обсуждалась типовая методика подсчетов. Такая методика разработана как общие рекомендации для всего народного хозяйства. А для отдельных отраслей методики все еще нет. Как тут не вспомнить об упреках в адрес ученых-экономистов, раздававшихся на XXI съезде партии.

В экономическом обосновании своих замыслов нуждаются и институты, проектирующие сложные автоматические системы, и рабочие-изобретатели, рационализаторы. Эта армия творцов насчитывает около двух миллионов человек. Для каждого из них конкретная экономика — необходимый советчик. Поэтому крайне желательно появление книг, брошюр, которые бы, отличаясь общедоступностью, разрабатывали отраслевую экономику и ее отдельные разделы. Особенно важно направлять мысль новаторов по следу малоизученных ресурсов.

В книге А. Бирмана говорится о резервах в масштабе всего народного хозяйства. Автор останавливается, в частности, на соотношении между численностью основных и вспомогательных рабочих, характеризующем степень автоматизации и механизации производства. Доля подсобников в нашей промышленности очень велика. В машино-

строении вспомогательными, в большинстве ручными, делами занят каждый второй рабочий. К этим данным, приводимым автором, следует добавить, что то же происходит и на текстильных предприятиях. Во всей промышленности «вспомогательный корпус» насчитывает около девяти миллионов человек. Из них только на транспорте занято немногим менее одной трети.

Вникая в эти цифры, понимаешь, каким громадным экономическим выигрышем обернется комплексная механизация и автоматизация производства.

Очень дорого стоит нам универсальный характер многих заводов. В этом отношении нас поистине окружает еще индустриальная целина. «Трехкулачковый пневматический патрон, сделанный своими силами, обходится Ярославскому автомобильному заводу в две тысячи рублей, а специализированному заводу — в 437 рублей», — пишет А. Бирман. Эти цифры можно дополнить еще более разительными. Так называемые крепежные изделия (гайки, болты, заклепки) изготавливаются по сей день на 1350 предприятиях, из них специализированы лишь 18. При переходе на поточное производство тонна крепежа будет стоить в десять раз меньше, чем при полукустарном. В результате только от специализации производства крепежа страна получит за семилетие экономию более 3,7 миллиарда рублей. Почти половина потребности в инструменте покрывается за счет выпуска его в подсобных цехах самых разнообразных по профилю предприятий; при этом себестоимость инструмента в три—пять раз выше государственных цен.

Спутник специализации — стандарт. Он еще не завоевал должной господствующей роли в нашей промышленности. Ассортимент шестерен, вырабатываемых на советских заводах, измеряется пятью тысячами типоразмеров; по мнению авторитетных специалистов, его можно без ущерба свести к трем-четырем сотням типоразмеров.

Резервы сопутствуют нашим успехам. Неиспользуемые возможности возникают вместе с техническим прогрессом, и их тем

больше, чем строже, последовательней держим мы равнение на новое, передовое. Этот курс требует непрерывной ломки всего старинного. Но крутые повороты не всем по душе. Куда привычней идти по проторенной колее. Не случайно на июньском Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев с едким сарказмом обрушился на консерваторов от техники. Преодолеть рутину, косность — значит устранить психологические барьеры на пути к овладению бесчисленными ресурсами.

Все познается сравнением. Почти в каждую главу книги вкраплены сведения, цифры о капиталистической системе и в первую очередь о состоянии экономики Соединенных Штатов Америки. Автор приводит данные о непрерывном падении доли трудящихся в национальном доходе США за последние полвека, о страшной цене, которую платит американский рабочий за пренебрежение предпринимателей к технике безопасности (в американской промышленности каждые две минуты получает увечье один рабочий).

После того как в жизнь вошла семилетка, впервые обозначился хронологический рубеж обгона Америки. Но этот рубеж, по образному выражению Н. С. Хрущева, «для нас вовсе не конечная станция, а лишь разъезд, на котором мы сможем нагнать самую развитую капиталистическую страну, оставить ее на этом разъезде, а самим двигаться вперед».

Страна взяла в первом году семилетки прекрасный разбег. Опережены основные показатели годового плана. Как всегда, отдавая должное сделанному, советские люди, следуя большевистскому обыкновению, сосредоточивают свое внимание на нерешенных проблемах. Они очень велики. Темп нашего созидания зависит от того, что происходит непосредственно на предприятиях, стройках, в колхозах. Именно там должна работать на социализм наука хозяйствования, взятая на вооружение массами. Этой цели и служит своевременно изданная книга «Учись хозяйствовать».

Я. ТАВРОВ.

Личные контакты — верный путь к миру

Одним из действенных средств достижения лучшего взаимопонимания между народами и ослабления международной напряженности являются личные контакты глав государств. Особенно много сделано в этом направлении главой Советского правительства Н. С. Хрущевым. Недаром газета «Нью-Йорк пост» писала: «Советская космическая ракета, достигшая Луны, возможно, окажет меньшее влияние на ближайшее будущее человечества, чем приземление советского премьера Хрущева в Соединенных Штатах...»

Значительный вклад в дело мира представляют собой взаимные визиты государственных деятелей. В частности, это можно сказать о прошлогоднем посещении СССР премьер-министром Великобритании Гарольдом Макмилланом.

В докладе на III сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1959 года товарищ Н. С. Хрущев сказал:

«Обмен мнениями с премьер-министром Великобритании Г. Макмилланом во время его визита в СССР сыграл заметную роль как в деле улучшения англо-советских отношений, так и в оздоровлении общей международной обстановки».

Г. Макмиллана сопровождал в его поездке в Советский Союз Эмрис Хьюз.

Имя члена английского парламента лейбориста Эмриса Хьюза, неоднократно посещавшего Советский Союз, широко известно в нашей стране. В своих книгах «Вооружение и мистер Бивен», «Бомба над Англией», «Лейбористы и водородная бомба» и других он постоянно выступает за сокращение вооруженных сил, за отказ Англии от ядерного оружия. Еще в 1941 году им была написана книга «Большевистское пугало в Англии», в которой он показал, какие злостные измышления об СССР распространяла английская капиталистическая пресса.

Сразу же после возвращения из Москвы Э. Хьюз выпустил книгу «Странствия пилигрима в Россию» — о поездке Г. Макмиллана в СССР.

«Визит английского премьер-министра и министра иностранных дел, — пишет Хьюз в предисловии, — был одним из самых важных внешнеполитических событий со време-

ни минувшей войны. Как премьер-министр, так и министр иностранных дел заявляли в России, что, если их визит хоть в какой-то степени будет способствовать смягчению международной напряженности и приведет к большему взаимопониманию и к миру во всем мире, он будет оправдан. Это же является оправданием для настоящей небольшой книги».

За неделю до поездки Макмиллана в Москву Хьюз писал в еженедельнике «Трибюн», вспоминая о своем посещении СССР еще в 1930 году: «В то время немногие за пределами России верили, что первый пятилетний план будет выполнен. Но сегодня промышленные достижения России перестали быть предметом насмешек на Западе». Раньше, пишет Хьюз, Запад ошибочно считал, что экономические планы Советского Союза невыполнимы, теперь же все говорят, что «огромные экономические достижения России являются вызовом капиталистическому миру... Если мы живем вместе на одной планете, то мы должны не только сосуществовать, но и сотрудничать».

Вот как описывает Хьюз тенный прием, который встретил Макмиллан в нашей стране:

«Не было ни демонстраций, ни свиста, ни выкриков, ни сжатых кулаков. Это покажет англичанам, что русские совсем не желают войны и единодушно выступают за мир. Тогда почему мы должны тратить ежегодно полтора миллиарда фунтов стерлингов на подготовку к войне с русскими, которые совершенно очевидно не хотят войны с нами?»

На другой день после выступления Макмиллана по московскому телевидению газета «Дейли мейл» поместила заголовок через всю первую страницу: «Макмиллан превзошел все. Десять миллионов русских телезрителей были свидетелями его триумфа». Напоминая читателям, что та же «Дейли мейл» более всех других буржуазных газет Англии писала об «отсталости» и «дикости» русских, Э. Хьюз с едкой иронией отмечает:

«Многие из постоянных читателей «Дейли мейл», столь много читавших о «бедных угнетенных русских», были, должно быть, удивлены, узнав, что десять миллионов русских могли смотреть телевизионную передачу. Откуда они смогли достать столько телевизоров? Едва ли их специально взяли

Emrys Hughes. Pilgrims' Progress in Russia. London. 1959 (Эмрис Хьюз. Странствия пилигрима в Россию. Лондон. 1959).

напрокат, чтобы русские могли услышать задушевную беседу Макмиллана.

Одним из полезных последствий поездки Макмиллана в СССР было то, что миллионы людей в Англии впервые осознали, что в России протекает обычная, нормальная жизнь, о существовании которой они раньше не слышали.

Хьюз сравнивает огромные успехи, достигнутые нашей страной за последнее время, с тем, что представляла Советская Россия в первые годы своего существования, когда он также был в Москве.

«Без всякого сомнения, жизнь в Москве улучшается. И она станет лучше за короткий срок, если будет мир. У меня,— продолжает Хьюз,— всегда пробегают мурашки по спине, когда я слышу, как в палате общин невежды бойко рассуждают о нашей способности сбросить бомбы на Москву. С содроганием читаю я периодически появляющиеся заявления крикливых и хвастливых представителей американского стратегического командования ВВС о их способности разрушить города СССР. Ибо Москва для меня не просто точка на карте, а город, населенный человеческими существами — мужчинами, женщинами и детьми, которые много страдали и теперь видят перед собой перспективы прекрасной новой жизни».

Эмрис Хьюз ясно представляет, к чему может привести будущая война, если она разразится. Поэтому «землю обетованную» для всего человечества он видит только в мире.

«Есть полное основание считать,— пишет он,— что эти визиты (глав правительств.— В. Т.) могут быть действительно полезны в деле ликвидации предрассудков, устранения недопонимания, осуществления личных контактов и появления дружественных чувств и общественного мнения, которые могут положить конец «холодной войне» и сделать невозможной «горячую войну».

Пусть это будет, пусть все это будет!

В Берлине я часто посещал те места, которые произвели на меня самое гнетущее впечатление, сразу же после войны: зоопарк около вокзала, в то время заброшенный, без животных, а сейчас вновь полный жизни.

То же самое чувство я испытал и в Лондоне, когда возвращался домой с Флит-стрит на площадь Красного льва мимо руин Феттер-лейн и Невиллькорта. Там я обнаружил куст сирени и несколько рябин,

завезенных раньше из Шотландии и выживших среди руин. Вот в таких местах я чувствовал, что жизнь, что бы там ни было, победит и будет существовать на этой планете, а человечество найдет способ жить без войн».

Вполне резонно Эмрис Хьюз считает, что договор о ненападении между Советским Союзом и Великобританией мог бы служить важным фактором в улучшении международной обстановки.

«Не существует никакой причины,— пишет он,— препятствующей Англии и Советскому Союзу заключить с огромной пользой для себя договор о ненападении. Он мог бы проложить путь для заключения такого же договора между Западом и Востоком и тем самым спасти мир от третьей мировой войны. Действительно, почему бы нам не возобновить договор о союзе, заключенном с Россией во время войны, пересмотрев его в свете сложившейся международной обстановки и международных событий?»

Касаясь огромных успехов, достигнутых в Советском Союзе во всех областях народного хозяйства, в том числе и в области электрификации, Хьюз показывает, насколько наивно звучат ныне слова Герберта Уэллса, назвавшего В. И. Ленина «кремлевским мечтателем» и в то время, во мгле двадцатых годов, не разглядевшего светлого будущего великой страны. «Если бы Герберт Уэллс жил сейчас, он первым признал бы, что успехи, достигнутые в области электрификации в России, больше, чем те, которые он считал возможными. Подумайте только,— пишет Хьюз,— какое электроосветительное оборудование потребуется России и Китаю в ближайшие десять лет! Не можем ли мы подключиться к этому и обеспечить работой английских рабочих? Нам было бы выгодно подключиться к русскому семилетнему плану».

Как верно это сказано! Именно в мирном сотрудничестве всех стран заключается общая выгода для народов. Теперь Уэллс, в конце своей жизни активно поддерживавший коммунистов и голосовавший за них, мог бы без всякой натяжки назвать всех советских людей мечтателями, ибо мы верим не только в коммунизм, но также и в то, что путь к нему может быть без войн и кровопролития.

Визит Макмиллана в СССР, правдиво отображенный в рецензируемой книге, сы-

грал положительную роль в деле дальнейшего улучшения взаимоотношений между СССР и Англией. Об этом говорят соглашения об обменах в области культуры и подписанное затем торговое соглашение. Советский народ приветствует личные контакты между руководящими деятелями Запада и Востока, так как видит в них верный путь к взаимопониманию и миру.

«Наша позиция о встречах руководящих деятелей различных государств известна, — заявил Н. С. Хрущев. — Мы стоим за то, чтобы главы правительств или главы государств, люди, которые облечены высоким доверием и полномочиями, чаще встречались, обменивались мнениями. Мы думаем, что с каждой встречей обеспечивалось бы

лучшее понимание вопросов, которые необходимо решать, и лучшее понимание позиции партнера по переговорам. А это будет помогать достижению таких решений, которые были бы взаимовыгодны для обеих сторон».

Поездка Н. С. Хрущева в США вселяет в сердца миллионов людей новые надежды на укрепление мира и ликвидацию «холодной войны».

Предстоящий ответный визит в СССР президента Соединенных Штатов Д. Эйзенхауэра и совещание в верхах должны закрепить и продолжить намечившееся потепление в международной обстановке.

В. ТУЛОВ.

★

Выдающийся сын китайского народа

«**В**сякий литератор по существу является политиком». Эти слова, принадлежащие Цюй Цю-бо, он подтвердил всей своей прекрасной жизнью, жизнью пламенного революционера и выдающегося публициста.

Сын бедного учителя из провинции Цзянсу, с пятнадцати лет сам сельский учитель, Цюй Цю-бо уже в раннем детстве столкнулся с нуждой и лишениями. «От самого рождения, — писал он, — я не видел солнечного света и до сих пор не представляю, что это такое».

В поисках света Цюй Цю-бо всецело погружается в чтение буддийских трактатов: может быть, они дадут ответ на вопрос о смысле жизни.

Но опыт бедняка, приобретенный тяжелой ценой голода и страданий, обостренное чувство справедливости, столь присущее человеку труда, наконец, картины живой действительности, настойчиво вторгавшиеся в сознание, — все это никак не позволяло ему согласиться с буддийской философией примирения.

«Движение 4 мая» 1919 года, знаменовавшее начало народно-демократической революции в Китае, окончательно разрушило иллюзорный мир буддийской философии.

После ареста Цюй Цю-бо, бывший одним из руководителей студенческой демонстрации протеста против японской империали-

стической агрессии, еще увереннее становится на путь революционной борьбы.

По выходе из тюрьмы Цюй Цю-бо вместе с группой товарищей организует выпуск журнала «Новое общество». Но уже в следующем, 1920 году журнал был закрыт полицией за антиправительственные выступления. Тогда же Цюй Цю-бо начинает знакомиться с марксистской литературой. Он решает поехать в Москву, чтобы лично увидеть страну Октября, разобраться в происходящем и в меру сил своих помочь соотечественникам узнать правду о России. 16 октября 1920 года он выезжает из Пекина в Москву первым поездом, отбывавшим из Китая в Россию после гражданской войны. Ехал он в качестве корреспондента левой газеты «Чэньбао».

В отличие от Герберта Уэллса, который примерно в то же время посетил нашу страну и увидел в России только мглу, окутывавшую разрушения и застилавшую будущее, Цюй Цю-бо острым взглядом революционера хорошо рассмотрел главное — народ, впервые на нашей планете взявший свою судьбу в собственные руки. Символично звучат слова Цюй Цю-бо, которые как бы подводят итог спора с невидимым политическим противником: «Россия — это, быть может, и страна, где «люди питаются собаками», однако она не имеет ни малейшего сходства с Китаем, в котором собаки пожирают людей».

В Советской России «юнец с Востока», как он называл тогда себя, окончательно

Цюй Цю-бо. Очерки и статьи. Составление, перевод, вступительная статья и комментарии М. Е. Шнейдера. Под общей редакцией Л. З. Эйлина. 272 стр. Гослитиздат. М. 1959.

сформировался как коммунист-большевик. В феврале 1922 года ячейка Коммунистической партии Китая в Москве приняла его в свои ряды.

«Впечатления о красной столице» — так называлась обширная серия из сорока шести очерков Цюй Цю-бо, пять из которых публикуются в рецензируемом сборнике. Рассказывая о заседаниях Третьего конгресса Коминтерна, Цюй Цю-бо очень ярко передает свое ощущение Москвы как центра пролетарского революционного движения, которое, как лучи в фокусе, концентрируется в простой, очень живой и в то же время вырастающей до размеров символа фигуре Ленина: «Когда в зале зажигаются огни, большая тень Ленина, образуя удивительную картину, падает на плакаты и лозунги: «Да здравствует Коммунистический Интернационал!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Да здравствует Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика!» Этот силуэт на кумаче становится особым символом и рождает необыкновенные чувства».

Цюй Цю-бо отнюдь не сторонний, тем более не спокойный наблюдатель жизни чужой страны. Он не ограничивается описанием виденного и слышанного, он сам активный участник событий тех трудных боевых дней. Чтобы лучше понять эти события, почувствовать происходящее, «заглянуть в самую душу общества», он продолжает настойчиво совершенствоваться в русском языке, изучает программу РКП(б), материалы Коминтерна. Много внимания уделяет углубленному знакомству с русской культурой и особенно литературой. Все это находит отражение в его очерках, статьях, заметках, переводах русских и советских писателей. Дело России, ее народа становится его родным, кровным делом. «Когда я покидал Россию, меня охватила неодолимая грусть: простота природы, рост новых, глубинных сил, само время, безудержно идущее вперед, к светлому будущему, — все это привязывает человека к себе», — пишет он в очерках «Возвращение из красной России».

И он покидал молодую республику Советов не для того, чтобы расстаться с ней. Нет! Он вез на родину, в многострадальный Китай, ту великую правду, которую глубоко понял и прочувствовал в России. Очерки и статьи Цюй Цю-бо сыграли вы-

дающую роль в формировании пролетарских революционеров в Китае.

Вторую часть сборника составляют критические и публицистические статьи начала тридцатых годов. Их главная тема — борьба за новую, пролетарскую литературу, призванную воспитывать народ в духе непримиримой ненависти к своим угнетателям и формировать ряды бойцов революции. Этой же задаче служат и помещенные в сборнике статьи о книгах передовых русских и советских писателей, которые Цюй Цю-бо — мастер боевой революционной публицистики — великолепно знал.

Вот отклик на выход в Китае книги Фадеева «Разгром», переведенной великим Лу Синем. В статье всего три с небольшим странички, а какая в ней обличительная сила! Какое гневное обвинение по адресу японских империалистов, захвативших Маньчжурию, наконец по адресу тупой и самодовольной «нации купцов и шэньши» — этой китайской разновидности паразитов человечества!

Уже заглавие статьи — «Маньчжурский «Разгром» — сразу же вводит читателя в гущу событий того времени. А прочитав строки о том, что «Разгром» маньчжурский нам необходим!, твердо веришь в то, что книга Фадеева учит, как надо бороться с врагами и китайского народа.

Литература, как и искусство в целом, — это острейшее оружие в ожесточенной борьбе классов. Цюй Цю-бо отдает немало сил тому, чтобы вырвать это оружие из нечистых рук литературных спекулянтов, подобных Ху Цю-юаню и Су Вэню. Он рассматривает «борьбу за гегемонию в движении за литературную революцию» как составную часть революционной борьбы за диктатуру пролетариата.

Цюй Цю-бо, вооруженный марксистско-ленинской теорией, решительно и смело выступает против буржуазных писателей, напавших на себя «белоснежную личину «чистого искусства». Разоблачая их, он убедительно показывает, что если писатель и считает себя «свободным» художником, выражающим в своих книгах «независимое» мнение, он не может уйти от общества, встать над обществом. Сколько сарказма в словах Цюй Цю-бо, обращенных к «жрецам искусства». «Самый мучительный момент наступает именно тогда, когда начинаешь считать себя «надклассовым человеком». Превратиться в нечто, подобное агитатору,

не хочется, но неудобно быть и открытым прихвостнем буржуазии».

Писателю, который поставил свой талант на службу народу, нечего бояться, что его обвинят в агитации. Да, он агитатор за революцию, за справедливое общество на земле. «Художественное мастерство и агитация вовсе не являются чем-то несовместимым», а писатель, который служит массам, «может в процессе агитационной работы с еще большим успехом закалять силы своего художественного мастерства», — уверенно заявляет Цюй Цю-бо.

В своем знаменитом «Предисловии к «Сборнику избранных публицистических произведений Лу Синя» Цюй Цю-бо предстает перед нами как большой мастер литературной критики.

Шаг за шагом прослеживает Цюй Цю-бо трудный путь Лу Синя в пролетарскую литературу. Немалую роль в эволюции писателя сыграл и сам Цюй Цю-бо, его большой друг и собрат по перу. Учасье у Лу Синя литературному мастерству, Цюй Цю-бо плодотворно влиял на великого писателя в идейном отношении.

В период острой политической борьбы начала тридцатых годов Лу Синь обратился к наиболее оперативному жанру острых сатирических фельетонов, «пестрых заметок». Цюй Цю-бо показал в своем «Предисловии» все революционное значение этого боевого жанра, который в руках художника слова стал оружием, разширим насмерть.

Нет, пожалуй, ни одной статьи, ни одного выступления Цюй Цю-бо, которое так или иначе не перекликалось бы с творческими воззрениями советских писателей и критиков. Но нигде Цюй Цю-бо не снижается до

роли простого подражателя или копировщика. Всюду он умеет гуманные и революционные идеи советской литературы увязать с китайской действительностью, поставить на службу китайскому революционному движению. И дело здесь не только в выдающемся мастерстве Цюй Цю-бо, а и в том непреходящем значении, которое отличает самую справедливую, самую человечную литературу первой страны социализма.

Цюй Цю-бо погиб на боевом посту. Сражаясь в составе 24-й дивизии китайской Красной армии с гоминдановцами, он попал в плен. Ни провокации, ни пытки не смогли сломить дух стойкого революционера-большевика. Он неизменно повторял: «Всю свою жизнь я отдал революции. Меня ждет смерть, но на мое место встанут сотни миллионов, которые пойдут вперед. Погибнуть во имя революции — величайшая честь для человека». Когда в июне 1935 года Цюй Цю-бо вели на расстрел, он пел «Интернационал». Откликаясь на его гибель, Лу Синь писал: «Чтобы выразить свой протест и увековечить память Цюй Цю-бо, я издал его произведения. Он — убит, но его творенья уничтожить невозможно, они — бессмертны!»

Большинство статей и очерков, включенных в настоящее издание, до сих пор не были известны у нас. Поэтому хочется поблагодарить составителя и переводчика М. Шнейдера, познакомившего советского читателя с произведениями Цюй Цю-бо, так много поработавшего во имя культурного сближения и укрепления братской дружбы между народами Китая и Советского Союза.

Г. СУХАРЧУК.

★

Повесть о прекрасной жизни

О Камо — Семене Аршаковиче Тер-Петросяне, прославленном революционере-большевике, — было написано немало воспоминаний. Значительная часть их публиковалась в периодических изданиях. Естественно, что с течением времени они становились все менее доступными для читателей. Кроме того, воспоминания появлялись в печати обычно в связи с какой-

нибудь годовщиной и не давали достаточно полной характеристики Камо.

А между тем он на протяжении многих лет вызывал восхищение своим мужеством, преданностью идеям ленинизма, неустанной работой во имя торжества пролетарской революции. Он всегда находился на боевом посту и бесстрашно смотрел в глаза смерти.

В 1905 году впервые услышал имя Камо и восторженные рассказы о его революционных подвигах А. М. Горький. «Мне тогда подумалось, — указывал он, — что, если написать о Камо все, что я слышал,

Л. Шаумян. Камо. Жизнь и деятельность профессионального революционера С. А. Тер-Петросяна. Редактор В. Игнатьева. 304 стр. Госполитиздат. М. 1959.

никто не поверит в реальное существование такого человека, и читатель примет образ Камо как выдумку баллетриста... Но, как нередко случается, оказалось, что действительность превышает «выдумку» своей сложностью и яркостью».

Книга Л. Шаумяна, в отличие от ряда работ о Камо, основана на многочисленных архивных материалах, извлеченных из царских и иностранных хранилищ, и является не только изложением фактов его жизни, но неизбежно становится рассказом об определенном этапе истории нашей партии. Читатель почерпнет из книги много интересных, до сих пор мало известных сведений.

Книга читается с огромным волнением и неослабевающим интересом. Вот некоторые названия глав: «Организатор боевых дружин», «Доставка оружия из-за границы», «Переполох в Париже», «Камо решает начать симуляцию» и так далее. Нужно оговориться, что эти динамичные названия не придуманы нарочито для «оживления», а органически вытекают из самого содержания.

Камо вел активнейшую партийную работу начиная с 1901 года до конца жизни. За это время он около девяти лет провел в русских и зарубежных тюрьмах. Он принимал участие в организации одиннадцати подпольных типографий и трех лабораторий, где изготовлялись бомбы, успешно работал и в России и в Европе по транспортировке оружия, столь необходимого для вооруженного восстания против царизма. По этой работе Камо был связан с рядом крупных деятелей нашей партии — М. М. Литвиновым, Л. Б. Красиным, Н. А. Семашко и другими.

С самого начала своей деятельности Камо твердо верил в правоту ленинского дела. Он создавал боевые организации, организовывал экспроприации, в том числе знаменитую экспроприацию на Эриванской площади Тифлиса.

В. И. Ленин и Н. К. Крупская любили Камо. После его трагической смерти они возложили на гроб венки с надписью: «Незавенному Камо». Надпись на другом венке гласила: «Бессмертному часовому пролетарской революции — от ЦК РКП».

Книга «Камо» безраздельно захватит молодых читателей своей революционной романтикой и познакомит с некоторыми яркими эпизодами героического прошлого Коммунистической партии. Пожилым людям,

принимавшим непосредственное участие в революционной борьбе против царизма, книга напомнит дела давно минувших, но немеркнущих дней, заставит сильнее забыть их сердца, воскресит в памяти дорогие образы ушедших из жизни боевых товарищей.

...Листая страницы книги, я вспоминаю неповторимый по смелости побег Камо из тифлисской психиатрической больницы, где он симулировал безумие и подвергался страшным пыткам; его участие в организации побега ряда мужественных большевиков; его возвращение из Парижа в Тифлис для продолжения революционной работы; его рассказы о Владимире Ильиче и Надежде Константиновне.

Вспоминаются и драконовские меры, которые принимало тифлисское охранное отделение для розыска и ареста Камо. Все проживавшие в Тифлисе большевики были взяты под бдительный надзор филеров. Был случай, когда жандармы заgrimировались под Камо, пытаясь ввести в заблуждение товарищей, поддерживавших с ним связь. Но друзья Камо укрывали его у себя, хотя и сознавали, что в случае обнаружения у них бесстрашного революционера им как укрывателям и соучастникам будет грозить смертная казнь.

Однажды — это было в Тифлисе в 1911 году — ко мне пришла большевичка Оля Натадзе и заявила, что она явилась по поручению Котэ Цинцадзе узнать, можно ли на мое имя перевести деньги из Парижа. Котэ Цинцадзе был испытанный большевик и входил в группу Камо. Я, конечно, немедленно дал согласие.

Вскоре я получил из Тифлисского коммерческого банка извещение на получение из-за границы тысячи сорока рублей. За мной была установлена постоянная слежка. Поэтому, получив деньги, я немедленно ушел из банка, даже не осведомившись о фамилии лица, от имени которого был сделан перевод. Для меня было очевидно, что столь крупная сумма могла быть переведена лишь по указанию Владимира Ильича. Деньги были предназначены для организации побега Камо из тифлисской психиатрической больницы. Побег удался.

После этого прошел год с лишним. Както, вернувшись с работы, я застал у себя молодого человека, одетого в отлично сшитый модный костюм. После некоторого молчания он спросил:

— Не узнаешь меня?

Всмотревшись внимательно, я узнал Камо. Он не боялся появляться и в общественных местах (например, на спектакле грузинского театра), хотя многие знали его в лицо.

Мы беседовали продолжительное время. Разговор шел главным образом о В. И. Ленине и Н. К. Крупской, о товарищах эмигрантах. В конце разговора я сказал ему:

— Будь поосторожнее, за мной слежка, ты можешь провалиться.

На это он ответил:

— Этот дом мне хорошо известен, у него имеется второй вход, с переулка. Здесь в 1905 году жил член ЦК Посталовский.

Я был крайне удивлен, так как знал только один вход.

О популярности Камо можно судить по следующему эпизоду.

Однажды я, бывший в то время присяжным поверенным, отправился в тюрьму на свидание с одним из моих подзащитных. Надо было пройти через двор Метехского замка, куда в это время были выведены на прогулку заключенные. Вдруг один из политических заключенных подбежал ко

мне и тихонько спросил, верно ли, что приехал Камо. Весть о его прибытии в Тифлис проникла даже в тюрьму!

После одной неудачной операции Камо был арестован, судим, приговорен к смертной казни, которая на основании манифеста была заменена каторгой. На этот раз Камо не пришлось бежать — из каторжной тюрьмы его освободила революция. Он вновь с головой ушел в революционную работу, принимал активное участие в гражданской войне, был полон надежд и грандиозных планов.

Уже после революции один писатель намеревался сделать Камо героем своего будущего произведения и просил его записать свои воспоминания. Камо обратился за помощью ко мне. Не перестаю сожалеть, что я в то время не сумел этим заняться. Кто мог предвидеть, что эта замечательная жизнь вскоре так нелепо и так трагически оборвется?

Материал, который удалось собрать Л. Шаумяну, обеспечит его книге широкое распространение среди читателей, и особенно среди молодежи.

Р. КАТАНЯН,
член КПСС с 1903 года.

★

Начало большого пути

Книгу называют зеркалом культуры. Лучше, чем что-либо иное, она отражает уровень и особенности культуры того общества, где была создана. История книги позволяет получить представление и об истории той или иной страны.

К сожалению, приходится отметить, что вопросами книговедения у нас не занимается ни один из научно-исследовательских институтов.

Тем большее значение имеет каждое проявление инициативы отдельных советских ученых в этой области, каждая из пока еще немногих новых работ.

Видное место среди них занимает сборник «У истоков русского книгопечатания».

Сборник состоит из двух частей. Первая носит исследовательский характер и вклю-

чает статьи академика М. Н. Тихомирова «Начало книгопечатания в России», члена-корреспондента Академии наук СССР А. А. Сидорова «Художественно-технические особенности славянского первопечатания», Г. И. Коляды «Из истории книгопечатных связей России, Украины, Румынии в XVI—XVII вв.» и Е. В. Зацепиной «К вопросу о происхождении старопечатного орнамента». Вторая часть представляет собой научную публикацию важнейших документов и материалов — описание первопечатных русских книг (автор Т. Н. Протасьева), сказания о начале московского книгопечатания (Т. Н. Протасьева и М. В. Щепкина), переводы предисловий и послесловий первопечатных книг (М. В. Щепкина), библиографию первопечатной книги (Т. Н. Каменева) и другие.

Сборник интересен как для ученых-книговедов, так и для широкого круга любителей книги. Значение сборника особенно велико в связи с тем, что многие важнейшие вопросы, относящиеся к началу русского

У истоков русского книгопечатания. К трехсотсемидесятипятилетию со дня смерти Ивана Федорова. 1583—1958. Под редакцией М. Н. Тихомирова, А. А. Сидорова и А. И. Назарова. 268 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1959.

книгопечатания, все еще не разрешены и остаются белыми пятнами на карте науки. До сих пор остается неясным, когда точно началось книгопечатание на Руси, кто был первым русским печатником, где печатались первые русские книги и, наконец, что послужило причиной отъезда Ивана Федорова в Литву, после чего возник перерыв в книгопечатании в Москве.

Многие продолжают считать первой русской печатной книгой Апостол, изданный в Москве в 1564 году Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем. Убеждение это спирается на то, что сам Иван Федоров в послесловии к Апостолу называет его своей первой книгой и указывает дату его выхода.

Однако, по последним исследованиям, книгопечатание началось на Руси лет на десять раньше. Достоверность этого подтверждается целым рядом документальных данных, упоминаемых в сборнике.

Иван Федоров в конце выпущенных им книг обычно указывал свое имя. Между тем библиографам еще во второй половине XIX века стало известно несколько старопечатных изданий, не имевших указаний на имена печатников. К этим так называемым «анонимным» изданиям относятся три евангелия, одна Псалтырь и одна Троиць, открытые в прошлом столетии, и другая Псалтырь, обнаруженная сравнительно недавно А. С. Зерновой.

В XIX веке ученые А. Викторов, Леонид, Л. Кавелин путем анализа языка и стиля «анонимных» изданий доказали их московское происхождение. Вывод этот был, в частности, подтвержден тем, что в предисловии к одному евангелию, напечатанному в семидесятых годах XVI века на Украине В. Тяпинским, имелась ссылка на какое-то «Евангелие Московское, недавно друкованное»; этим евангелием могло быть только одно из «анонимных» изданий.

Но возможно «анонимные» издания были напечатаны позже Апостола 1564 года?

При решении этого вопроса А. Викторову, Леониду, Л. Кавелину, а в советский период А. А. Гераклитову, М. Н. Тихомирову, А. А. Сидорову, А. С. Зерновой, Т. Н. Протасьевой и другим помогло изучение водяных знаков на бумаге «анонимных» изданий, особенностей их шрифта, заставок, концовок, а также приемов набора и печати. Как убедительно показывает это в своей статье А. А. Сидоров, «анонимные»

издания отличаются от Апостола значительно более примитивной техникой оформления: шрифты их более архаичны, правые края строк на страницах не выровнены и образуют зубчатую линию, техника двухцветной печати менее совершенна и так далее. Это дает основание предположить, что «анонимные» издания предшествовали Апостолу.

Это подтверждается также изучением царственных надписей на «анонимных» изданиях. Так, еще в 1939 году М. В. Щепкина обнаружила на одном из «анонимных» изданий — евангелии — полустертую запись с датой «1559 год». А. С. Зернова, а вслед за ней Т. Н. Протасьева доказали, что до этого евангелия было напечатано по крайней мере два-три других «анонимных» издания. Сопоставляя их объем, а также возможную производительность небольшой типографии XVI века, исследователи подсчитали, что на выпуск каждой из этих книг печатники должны были затратить около года. Отсюда следует, что типография, в которой печатались «анонимные» издания, должна была начать работу приблизительно года за три-четыре до 1559 года.

Вывод этот подкрепляется также следующими данными. В 1551 году на Стоглавом соборе было решено упорядочить издание церковных книг, исправить ошибки, вносимые переписчиками. В следующем году к России было присоединено Казанское царство, для которого, как указывает сам Иван Федоров, потребовалось особенно много церковных книг. Все это вызвало настоятельную необходимость организовать в Москве книгопечатание.

В недавно открытом М. Н. Тихомировым рукописном сборнике копий с различных старинных документов помещена копия с рукописи «Русский летописец», найденной в 1847 году в городе Тотьме. В этом документе под датой «1553 год» значилось: «Начатся печатание книг в Москве при митрополите московском Макарии».

Таким образом, 1553 год можно считать наиболее вероятной датой принятия решения о начале русского книгопечатания. Фактическое же его начало следует связывать с выпуском «анонимных» изданий, то есть отнести к годам 1555—1557. Укажем для сравнения, что столь же условно, вследствие отсутствия точных документальных данных, была установлена и юбилейная дата начала книгопечатания в Западной Европе — 1440 год.

Возникает вопрос: не пропустили ли мы четырехсотлетний юбилей русского книгопечатания?

Неясным остается вопрос о том, кто же печатал «анонимные» издания. Очень вероятно, что в этом принимал участие Иван Федоров. Может быть, он называл Апостол своей первой книгой только потому, что это была первая книга, напечатанная им в государственной типографии; «анонимные» же издания печатались при его участии в какой-то кустарной, возможно домашней типографии. Еще вероятнее, что в создании «анонимных» изданий участвовал упоминаемый в письмах Ивана Грозного «мастер печатных книг» Маруша Нефедьев.

А. А. Сидоров, на основе анализа оформления и техники «анонимных» изданий, доказывает, что все они, видимо, печатались в одной и той же типографии, но разными печатниками.

До сих пор не разрешен очень важный для судеб русского книгопечатания вопрос и о причинах отъезда Ивана Федорова из Москвы в Литву. Несомненно только, что отъезд этот имел иные причины, чем, например, бегство князя Курбского, так как не был следствием измены Федорова московскому царю. Это подтверждается, в частности, послесловием Ивана Федорова к напечатанному им уже во Львове Апостолу 1574 года. Федоров прямо указывает, что виновником отъезда был не Иван Грозный, а иные лица. Это подтверждает и недавно опубликованное патристическое послесловие Федорова к его русскому букварю, напечатанному тоже во Львове в 1574 году.

Обычно отъезд Федорова из Москвы объяснялся преследованиями его невежественным духовенством, а также переписчиками книг, заработкам которых угрожало книгопечатание. По свидетельству тогдашнего английского посла Флетчера, типография Федорова будто бы была даже сожжена его противниками. Но Флетчер писал, что пожар московской типографии произошел в 1588 году, то есть более чем через двадцать лет после отъезда Федорова в Литву, причем основывался на слухах и легко мог перепутать события; типография

могла сгореть во время крупного московского пожара 1571 года.

М. Н. Тихомиров еще в 1940 году выдвинул гипотезу, что Иван Федоров не бежал в Литву, а уехал туда с согласия и даже по поручению царя. В интересующем нас сборнике М. Н. Тихомиров по-новому развивает эту гипотезу. Иван Федоров, пишет он, никак не смог бы тайно пересечь границу, тем более во время войны с Литвой, так как вез с собой большой груз — матрицы, пунсоны и около двух десятков деревянных гравюр. Вероятнее всего, царь отпустил Федорова в Литву по просьбе гетмана Ходкевича, стремившегося организовать в Литве печатание православных богослужебных книг.

Академик М. Н. Тихомиров выдвигает также новую версию о причинах, побудивших Федорова уехать из Москвы. Иван Федоров незадолго до своего отъезда овдовел, а овдовевшие священники и дьяконы должны были постригаться в монахи. Желание избежать этого и могло послужить причиной, толкнувшей Федорова на отъезд за границу.

Мы коснулись лишь нескольких важнейших проблем, рассматриваемых в сборнике. В нем по-новому освещаются и некоторые другие вопросы: об иноземных влияниях на русское книгопечатание середины XVI века, о своеобразных национальных особенностях оформления и техники русских первопечатных книг по сравнению с западноевропейскими, об индивидуальных творческих особенностях русских первопечатников, позволяющих различать их книги, о тесных связях русского книгопечатания с украинским и румынским.

В сборнике имеются отдельные фактические неточности. Например, 1482 год был началом печатания в Венеции не кирилловских, а глаголических славянских книг; в публикации документов пропущено одно из послесловий Федорова. Но это не заслоняет основных достоинств книги — в первую очередь широты исторического фона и новой, оригинальной постановки и решения ряда важнейших вопросов.

Кандидат технических наук
В. ИСТРИН.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ И СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО О РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ. Госполитиздат. М. 1959. 120 стр. Цена 1 р. 20 к.

Сборник этот станет полезным пособием для пропагандистов. В помещенных здесь документах — решениях партийных съездов, постановлениях ЦК, декретах Советского правительства — отражена политика нашей партии и государства по отношению к религии и церкви.

В числе документов — декрет Совнаркома «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» и подготовленный специальной комиссией проект этого декрета, в который В. И. Ленин внес принципиальные изменения и дополнения, указания партии о постановке антирелигиозной агитации, постановление ЦК КПСС от 10 ноября 1954 года «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения» и другие.

Кроме того, в сборник включены, полностью или частично, работы основоположников марксизма-ленинизма, в которых дается научно-материалистическое определение сущности и происхождения религии, ее социальной роли как «опиума народа».

Н. Т. КАЛЬЧЕНКО. Украина в великом семилетии. Госполитиздат. М. 1959. 96 стр. Цена 1 р.

Какие изменения произойдут в народном хозяйстве Украинской республики в семилетии? Где вырастут новые заводы, шахты, доменные печи? Что даст стране сельское хозяйство? Как изменится облик городов?..

В своей книге Председатель Совета Министров УССР Н. Т. Кальченко обстоятельно рассказывает о перспективах развития народного хозяйства республики. Среднегодовой прирост промышленного производства составит 8,5 процента. Это означает, что темпы развития промышленности УССР в семилетии будут почти в три раза выше американских темпов за последние сорок лет.

Украинские горняки и металлурги взяли на себя обязательство досрочно, в 1963 году, добиться уровня добычи железной руды и производства металла, запланированного на конец семилетки.

Предстоит коренная перестройка всей горнорудной базы, строительство крупнейших в мире доменных печей. Значительно

расширятся границы Донбасса, где разведаны большие запасы углей. В республике появятся свои легковые и мощные грузовые автомашины, большой шинный завод, расширится производство синтетического волокна. Превратятся в крупные индустриальные центры старинные города — Житомир, Полтава, Чернигов и другие. Капиталовложения за семилетку составят двести с лишним миллиардов рублей; примерно столько же было вложено в народное хозяйство Украины за пять первых пятилеток, вместе взятых.

Много интересного узнает читатель из этой небольшой, но содержательной книги.

П. П. ЛОБАНОВ. Сельскохозяйственная наука в семилетке. Сельхозгиз. М. 1959. 126 стр. Цена 1 р. 65 к.

Обширна и богато оснащена в нашей стране сеть сельскохозяйственных научных учреждений: 135 крупных научно-исследовательских институтов, 413 опытных станций, 224 других опытных учреждения, более полутора тысяч сортоиспытательных участков.

Книга П. П. Лобанова, президента Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, рассказывает о той ведущей роли, какую призвана сыграть наша передовая сельскохозяйственная наука в борьбе за выполнение семилетнего плана.

Читатель узнает о важнейших проблемах, на которых сосредоточены силы сельскохозяйственных научных учреждений. Это прежде всего разработка и внедрение в колхозах и совхозах научно обоснованной системы ведения хозяйства применительно к местным природно-экономическим условиям. Автор приводит любопытный расчет. Внедрение такой системы, например, в Новосибирской области позволит почти вчетверо больше производить мяса, в три с половиной раза увеличить производство молока, в три, три с половиной раза — шерсти и так далее. Производительность сельскохозяйственного труда повысится не менее чем втрое.

Примерами эффективного применения тех или иных достижений или рекомендаций науки и передового опыта обильно иллюстрирована вся книга. Особый раздел отведен исследованиям по использованию в сельском хозяйстве изотопов, ядерных

излучений, методов атомной физики, полупроводников и других новейших достижений мировой науки и техники.

Г. А. ЛИНЕНБУРГ, Н. Н. ЛЕОНОВ. *Товарищеский суд на предприятии. Юридическое издательство. М. 1959. 78 стр. Цена 95 к.*

В своем докладе на XXI съезде партии Н. С. Хрущев отметил, что «главным направлением в развитии социалистической государственности является всемерное развертывание демократии, вовлечение самых широких слоев населения в управление всеми делами страны...» В связи с этим все более возрастает и роль товарищеских судов.

Очень своевременным является выпуск брошюры, в которой обобщена практика товарищеских судов на предприятиях, суммированы законодательные акты об их деятельности. Авторы объясняют порядок учреждения этих организаций, их компетенцию. В брошюре освещена и техническая сторона работы судов. Здесь говорится о том, как нужно готовить и рассматривать дела, оформлять решения и так далее.

Жаль только, что полезная эта книжка написана очень сухо, «циркулярным» языком. Для издания, которым будет пользоваться массовый читатель, такой недостаток особенно ощутим.

МАКСИМИЛЛИАН РОБЕСПЬЕР. *Революционная законность и правосудие. Статьи и речи. Перевод с французского. Юридическое издательство. М. 1959. 276 стр. Цена 11 р. 35 к.*

В многогранной, кипучей деятельности Максимилиана Робеспьера, олицетворявшего величественную и грозную революцию 1789 года, значительное место занимают вопросы революционной законности и правосудия. В одной из своих речей он сказал, что стремился «сделать людей счастливыми и свободными при помощи законов».

До сих пор в исторической литературе юридическим взглядам Робеспьера не уделялось достаточного внимания. Предпринятое во Франции много лет назад издание его сочинений до сих пор не доведено до конца. Часть речей Робеспьера опубликована лишь в газетах в виде более или менее полных записей современников. На русский язык произведения «великого буржуазного революционера», как назвал Робеспьера В. И. Ленин, почти не переводились.

Теперь советский читатель получил возможность ознакомиться со многими выступлениями Робеспьера, оценить отличающую их громадную революционную энергию.

М. П. ЧЕХОВ. *Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. «Московский рабочий». 1959. 304 стр. Цена 5 р. 55 к.*

Воспоминания М. П. Чехова впервые увидели свет в 1933 году. Сейчас они вышли в третьем издании.

М. П. Чехов — младший брат великого русского писателя — рассказывает о семье Чеховых, родных и близких Антона Павловича, товарищах его детства и юности, соратниках по литературе. Воспоминания помогают лучше увидеть среду, в которой рос и развивался писатель.

Особое внимание уделено в книге тем годам, когда Чехов создал лучшие свои произведения.

В воспоминаниях М. П. Чехова рассказывается и о людях, окружавших писателя: журналисте А. В. Гиляровском, известном под именем «дяди Гиляя», популярном поэте Пальмине, писателях Короленко, Григоровиче, Лескове, выдающихся драматических актерах Давыдове, Ленском, Свободине, композиторе Чайковском и художнике Левитане.

Воспоминания М. П. Чехова давно уже заняли почетное место в мемуарной литературе о великом русском писателе. Новое издание их, несомненно, будет с интересом встречено читателями.

ТВОРЧЕСТВО Л. Н. ТОЛСТОГО. *Сборник статей. Гослитиздат. М. 1959. 559 стр. Цена 13 р. 35 к.*

Сборник составлен научной группой по изучению жизни и творчества Л. Н. Толстого при Государственном музее Л. Н. Толстого и сектором русской литературы XIX века Института мировой литературы имени А. М. Горького. Большая часть статей была прочитана в качестве докладов на ежегодных «Толстовских чтениях», проводимых Музеем Л. Н. Толстого.

В сборник включены работы о крупнейших произведениях Л. Н. Толстого: А. А. Сабуров — «Война и мир» как национально-героическая эпопея, Ю. Н. Троицкий — «Война и мир» и западноевропейский исторический роман XIX века, С. Н. Дурылин — «Драма Л. Н. Толстого «Власть тьмы», Е. А. Маймин — «Некоторые особенности композиции романа «Воскресение» и другие.

Кроме того, в сборнике имеются статьи, посвященные отдельным проблемам творчества писателя: его идейно-художественным исканиям (статья Б. И. Бурсова), личным и творческим взаимоотношениям с А. П. Чеховым (статья Ф. И. Евнина), отношению к народному театру (статья К. Н. Ломунова). Интерес представляют также статьи В. Д. Пришвиной «М. М. Пришвин о Л. Н. Толстом» и А. И. Шифмана «Лев Толстой — критик буржуазной науки».

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА. *Воспоминания. Гослитиздат. 1959. 382 стр. Цена 7 р. 25 к.*

В советское время воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой издавались всего один раз — в 1929 году. Новое, второе издание, предпринятое Государственным издательством художественной литературы, отличается полнотой собранных материалов (отрывок «Возвращение», например, печатается впервые), обширным сопроводительным аппаратом.

Воспоминания интересны прежде всего тем, что они тесно связаны с образами, с биографиями Герцена и Огарева (Н. А. Тучкова-Огарева была женой Огарева, а позже вышла замуж за Герцена). Среди друзей и знакомых автора мемуаров много выдающихся людей своего времени: Тургенев, И. Аксаков, художник Иванов, Марко Вовчок, Серно-Соловьевич, Бакунин, Гарибальди, Гюго и другие. В доме своего отца А. А. Тучкова, связанного с передовыми кругами русского дворянства, Тучкова-Огарева встречалась с декабристами. Прожив трудную, полную значительных событий жизнь, она оставила после себя замечательную книгу, воскрешающую важные страницы в истории нашего народа.

Подготовка текста воспоминаний, вступительная статья и примечания — В. А. Пунтцева. Книга вышла в серии литературных мемуаров.

СОВРЕМЕННЫЕ НЕМЕЦКИЕ РАССКАЗЫ. 1945—1955. Переводы с немецкого. Составитель и автор предисловия Сергей Львов. Издательство иностранной литературы. М. 1959. 390 стр. Цена 11 р. 40 к.

На обложке этой книги значатся двадцать девять имен современных немецких писателей, представляющих литературу обеих Германий. Одни из них, такие, как Бредель, Брехт, Бёлль, Гейм, Зегерс, Франк, Херmlin, Штриттматтер и другие, в различной степени уже знакомы нашему читателю. Другие — такие, как Бендер, Глогер, Каммер, Пумп и другие — встречаются чуть ли не впервые. Их рассказы были созданы за последние десять — двенадцать лет. Каждый писатель по-своему пытался отразить в них те глубокие изменения, которые произошли в жизни его страны и в сознании людей после краха фашизма. Разумеется, существование двух немецких государств с совершенно различными государственными системами сказалось на характере творчества писателей. Отражено это и в данном сборнике. Вошедшие в книгу тридцать рассказов дают читателю возможность обогатить свои представления о сегодняшней жизни простых немцев, их надеждах и чаяниях.

ПЕТРО КОЗЛАНЮК. Крысы в бочке. Сатира и юмор. Авторизованный перевод с украинского Г. Шипова. «Советский писатель». М. 1959. 267 стр. Цена 3 р. 90 к.

В книге известного украинского писателя П. Козланюка «Крысы в бочке» собраны фельетоны и сатирические рассказы, созданные в последние тридцать лет. Большинство из них писалось до 1939 года, когда родной город писателя — Львов — входил в состав буржуазной Польши. Приуроченные к конкретным фактам того времени, фельетоны и рассказы печатались на страницах прогрессивных западноукраинских газет.

П. Козланюк разоблачал фальшивую буржуазную демократию, обрекавшую украинцев западных областей на социальное и национальное угнетение. Он издевался над вздорным мифом о том, что в условиях буржуазной Польши якобы возможно процветание трудящихся. Когда апологеты капитализма предложили бороться с нищетой с помощью копилки, в которые трудящимся предлагалось откладывать деньги на «черный день», писатель иронизировал:

«Кризису — конец! Достаточно переключить всю промышленность на производство глиняных копилки... и раздать их тем миллионам, что бедствуют в холоде и голоде».

С особой резкостью бичует писатель в рассказах и фельетонах военного и послевоенного времени главарей украинского националистического движения, оковавшихся за границей. В фельетоне «Вопросы перемещения» зло высмеиваются украинско-немецкие националистические деятели, которые «перемещаются уже тридцать лет» по капиталистическим странам, пытаясь «освободить» Украину.

В книге помещена также антирелигиозная сатирическая комедия «Паника в небесах».

НОВГОРОД В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII—XX вв. Составил А. З. Жаворонков. Книжная редакция газеты «Новгородская правда». 1959. 256 стр. Цена 7 р. 50 к.

Новгород, новгородцы, новгородское вече, новгородские князья, противившиеся русскому самодержавию, издавна привлекали внимание русских писателей. Богатейший материал для их произведений дали древние летописи, сказы, легенды. Цель настоящего сборника — дать читателям представление о месте и значении темы Новгорода в русской литературе.

Открывается сборник наиболее примечательными памятниками народной поэзии — новгородскими былинами («Садко и морская царь», «Василий Буслаевич и новгородцы», «Гость Терентище») и народными песнями. Далее составитель в хронологической последовательности приводит художественные произведения и отрывки из них, посвященные Новгороду, начиная с трагедии Сумарокова «Синав и Трувор» (в отрывках) и кончая произведениями современных советских поэтов и прозаиков.

Во вступительной статье А. Жаворонков дает краткую характеристику приводимых в сборнике текстов, рассказывает об эволюции взглядов писателей разных эпох на роль и значение древнего Новгорода в жизни русского государства. В разделе, посвященном советскому периоду, составитель особо отмечает патристический дух произведений, связанных с темой Новгорода, созданных в годы Великой Отечественной войны.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Заседания Верховного Совета СССР пятого созыва. Третья сессия (27—31 октября 1959 г.). Стенографический отчет. 736 стр. Цена 12 р. 50 к.

Стенографический отчет издается на языках союзных республик: русском, украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском, туркменском и эстонском.

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Н. С. Хрущев. Советская печать должна быть самой сильной и самой боевой! Выступление на приеме советских журналистов в Кремле 14 ноября 1959 года. 16 стр. Цена 20 к.

Н. С. Хрущев. Претворение в жизнь ленинских идей электрификации страны — верный путь к победе коммунизма. Речь на Всесоюзном совещании по энергетическому строительству 28 ноября 1959 года. 32 стр. Цена 35 к.

Ю. М. Мельников. США и гитлеровская Германия. 1933—1939 гг. 352 стр. Цена 7 р. 50 к.

И. Милованов, Ф. Сейфуль-Мулюков. Ирак вчера и сегодня. 128 стр. Цена 1 р. 50 к.

Основы марксистской философии. 672 стр. Цена 9 р. 50 к.

Г. Платонов. Дарвин, дарвинизм и философия. 432 стр. Цена 9 р. 50 к.

Д. С. Полянский. Величественный план подъема экономики и культуры Российской Федерации. 112 стр. Цена 1 р. 30 к.

Л. Н. Столович. Эстетическое в действительности и в искусстве. 256 стр. Цена 5 р.

С. Трапезников. Исторический опыт КПСС в социалистическом преобразовании сельского хозяйства. 448 стр. Цена 9 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических республик. С изменениями и дополнениями, принятыми на третьей сессии Верховного Совета СССР пятого созыва. 32 стр. Цена 25 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Абсалямов. Огонь неугасимый. Роман. Перевод с татарского. 592 стр. Цена 10 р. 55 к.

М. Армен. Солнце у порога. Повести и рассказы. Перевод с армянского. 300 стр. Цена 5 р. 30 к.

К. Вайрас-Рачкаускас. Пережитое. Перевод с литовского. 396 стр. Цена 5 р.

Н. Винников. Пьесы. 440 стр. Цена 11 р. 25 к.

О. Вишня. Думы мои, думы мои. Рассказы, фельетоны, дневники. Перевод с украинского. 520 стр. Цена 7 р. 60 к.

Н. Грибачев. Прямой свет. Стихи. 108 стр. Цена 1 р. 65 к.

А. Дерман. О мастерстве Чехова. 208 стр. Цена 5 р. 30 к.

А. Димаров. Сын капитана. Повесть. 164 стр. Цена 3 р. 5 к.

Л. Жуховецкий. Дом в степи. Рассказы. 276 стр. Цена 3 р. 15 к.

Вл. Лидин. Ночные поезда. Рассказы. 300 стр. Цена 5 р. 30 к.

В. Лозовой. Село под горой. Роман. 296 стр. Цена 5 р. 30 к.

М. Лоскутов. Следы на песке. Повести и рассказы. 416 стр. Цена 6 р. 90 к.

Г. Маари. История старого сада. 480 стр. Цена 7 р. 50 к.

А. Маневич. Солнце на березах. Повесть. 212 стр. Цена 2 р. 85 к.

Молдавские рассказы. 400 стр. Цена 6 р. 60 к.

А. Недогонов. Возвращение. Стихи. 144 стр. Цена 3 р.

П. Орозецкий. Цвет земли. Очерки. 400 стр. Цена 6 р. 75 к.

Ф. Певнев. Апрельское небо. Повести и рассказы. 376 стр. Цена 6 р. 35 к.

В. Сидоров. Заветное. Стихи. 184 стр. Цена 2 р. 95 к.

С. Смирнов. Лирика, юмор, сатира. 284 стр. Цена 4 р. 65 к.

М. Эдель. Важный пассажир. Юмористические рассказы. 300 стр. Цена 3 р. 70 к.

И. Эренбург. Стихи. 1938—1958 гг. 128 стр. Цена 2 р. 40 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Антология бурятской поэзии. 399 стр. Цена 9 р. 50 к.

Антология чешской поэзии XIX—XX веков. В трех томах. Том I. 610 стр. Цена 7 р. 75 к. Том II. 446 стр. Цена 5 р. 75 к. Том III. 510 стр. Цена 5 р. 90 к.

Антология эстонской поэзии. В двух томах. Том I. 384 стр. Цена 7 р. 55 к. Том II. 451 стр. Цена 7 р.

Мигель Анхель Астуриас. Сеньор президент. Роман. Перевод с испанского. 255 стр. Цена 6 р. 55 к.

Д. Благой. Литература и действительность. Вопросы теории и истории литературы. 516 стр. Цена 14 р. 65 к.

Иоганн Готфрид Гердер. Избранные сочинения. Перевод с немецкого. 392 стр. Цена 9 р. 10 к.

Оливер Гольдсмит. Векфильдский священник. Роман. Перевод с английского. 231 стр. Цена 5 р. 25 к.

Антонин Заптоцкий. Избранные произведения. В двух томах. Перевод с чешского. Том I. 479 стр. Цена 11 р. 15 к. Том II. 608 стр. Цена 13 р. 80 к.

Мор Йокай. Сыновья человека с каменным сердцем. Роман. Перевод с венгерского. 623 стр. Цена 9 р. 75 к.

Новая китайская поэзия. 1919—1958. Перевод с китайского. 543 стр. Цена 11 р.

Рассказы китайских писателей. В двух томах. Перевод с китайского. Том I. 440 стр. Цена 10 р. 30 к. Том II. 383 стр. Цена 9 р. 10 к.

А. Фадеев. Собрание сочинений. В пяти томах. Том I. 655 стр. Цена 13 р. 50 к.

Джордж Элиот. Сайлес Марнер. Роман. Перевод с английского. 190 стр. Цена 2 р. 90 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Мargarита Алигер. Стихотворения и поэмы. 288 стр. Цена 8 р.

Ал. Алтаев, Арт. Феличе. Могучий слепец. Роман. 376 стр. Цена 9 р. 60 к.

А. Булгаков. Сквозь пургу. Повести и рассказы. 318 стр. Цена 6 р. 5 к.

В сердце гор. Сборник стихов чечено-ингушских поэтов. 88 стр. Цена 3 р. 10 к.

С. Донцов. Чудесные люди. Повесть. 208 стр. Цена 4 р. 60 к.

Дорога в сто парсеков. Сборник советских научно-фантастических повестей и рассказов. 286 стр. Цена 5 р. 80 к.

Евг. Евтушенко. Стихи разных лет. 240 стр. Цена 6 р. 60 к.

В. Крупин. Невидимые сокровища. 224 стр. Цена 3 р. 20 к.

Лев Ошанин. Так нам сердце велело. Сборник лирических стихов и песен. 160 стр. Цена 3 р. 30 к.

Р. Райт-Ковалева. Роберт Бернс. 368 стр. Цена 6 р. 90 к.

Ю. и С. Сафроновы. Внуки наших внуков. Роман. 254 стр. Цена 5 р. 15 к.

М. Халдеев, Г. Коваленко. Ленинские принципы работы ВЛКСМ. 110 стр. Цена 95 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

А. И. Арнольдов, Г. М. Новак. Культура народного Китая. 150 стр. Цена 2 р. 30 к.

П. К. Иванов. Повышение плодородия черноземных и каштановых почв. 136 стр. Цена 2 р. 10 к.

Проблемы современного капитализма. К 80-летию академика Е. С. Варга. Сборник статей. 400 стр. Цена 15 р.

СЕЛЬХОЗГИЗ

Достижения науки в животноводстве. 302 стр. Цена 16 р. 50 к.

Г. И. Зеленко. Кадры сельских механизаторов в семилетке. 116 стр. Цена 1 р. 60 к.

Коллектив авторов. Бахчеводство. 567 стр. Цена 9 р. 5 к.

Коллектив авторов. Выращивание овощей. Сборник статей. 619 стр. Цена 9 р. 30 к.

Коллектив авторов. Краткий справочник по борьбе с сорняками химическими средствами. Перевод с английского. 175 стр. Цена 3 р. 20 к.

П. Н. Сергеев. Из опыта освоения системы земледелия. 246 стр. Цена 4 р. 25 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 27/XI 1959 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 30/XII 1959 г.
А 10485 Формат бумаги 70x108^{1/16}. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 90.000 экз.
Зан. № 2370.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.